
Геннадий
ФИШ
Письмо Надежде

Геннадий
ФИШ

•

Письмо Надежде

•

РАССКАЗЫ

Москва
Советский писатель
1982

Р 2
Ф 68

Имя Геннадия Фиша (1903—1971) хорошо известно читателям по таким книгам, как «Падение Кимас-озера», «Мы вернемся в Суоми», «Третий поезд», «Здравствуй, Дания!», «Норвегия рядом», «У шведов» и др.

Эта книга рассказов охватывает два периода времени: довоенный — рассказы о геологах в Карелии — о гражданской войне («Первая винтовка»), о деревне («Ялгуба») и военный — о подвигах советских воинов на Карельском фронте с первого до последнего дня войны.

Рассказы привлекли широкое внимание читателей и критики. О «Ялгубе» М. Горький писал, что это «интересная, социально значительная вещь, которая будет прочитана с радостью и пользой для души». Многие из этих рассказов переводились на языки народов СССР и на иностранные языки. По рассказу «Письмо Надежде» был снят кинофильм к тридцатилетию Победы.

Художник Николай КРЫЛОВ

Ф 4[illegible]010200 028 / 083[illegible]-82 140-82.

ЯЛГУБА

(Онежские новеллы)

ПЕРВАЯ ГЛАВА

ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ

Покачивание рессор «форда», однообразное мелькание листвы, хвои, стволов, веселый ветер движения — все это уводило мысль вдаль. И мне вспомнилась девушка, которую я недавно встретил. О чем она думала? Какие слова выкликала в бегущий за окнами лес?.. Неужели прошла целая неделя с той ночи?.. Это было в вагоне, недалеко от Петрозаводска. Поезд, как водится на Мурманке, запаздывал. Ночь колебалась — стоило ли задерживаться ей здесь, в этой северной тайболе, или обрушиться всей своей темнотой на Крымское побережье. Она нерешительно застыла на час-два и потом побежала на юг... Небо над озерами и лесами украсилось алой каймой, и явственно зазвенела на все голоса пернатая лесная жизнь.

Было душно.

В этот час я встал со своей полки, прошел по вагону. И заметил стройную светловолосую девушку в ротфронтовке. Вечером ее не было. Она вошла на каком-нибудь промежуточном полустанке... Куда она едет? Девушка пыталась что-то прочесть в своей тетрадке, но для чтения было все-таки еще темно, и, вздохнув, она положила тетрадь в фанерный баульчик. Мне захотелось подойти к ней, взять ее за руку, расспросить ее, посмеяться вместе с ней, рассказать о том, как чудесна жизнь, как просыпается лес и на каждой травинке трепещет холодная роса... Как в торжественном спокойствии идут реки Карелии и, споткнувшись о камни, начинают бурлить, пениться, волноваться... Но она, положив рюкзак на вторую полку, подошла к окну и открыла его. Свежий воздух ворвался в вагон...

Так и не познакомившись с девушкой, вхожу я в свое отделение. На верхней полке пассажир спит — как порог шумит... На нижних проснулись, переговариваются. До меня долетают обрывки фраз:

— Жил я, жил, а житья-бытья мне не было. Ну, думаю, свет не баня, в нем не только семерым место... Подался на север, и вот...

И другой, не слушая собеседника и не отвечая ему, бубнит свое:

— Хороша ягода черника — не украдешь. Сама расскажет... Но верно говорят: чего жена не любит, мужу ввек не едать.

Я тоже опустил оконную раму и подставил лицо освежающему ветру — наступающей заре... И, высунувшись в окно по самый пояс, я снова увидел незнакомку...

Солнце только приподняло свой красный краешек над синими лесами, и от этого лицо девушки было розово и казалось разгоряченным. Прядь светлых волос то вилась по ветру, била в глаза, то жалась к свежей щеке... Незнакомка пела... Ветер относил ее песню прочь, и до меня долетали обрывки слов... Хорошо видеть это вдохновение молодости, это безотчетное счастье человека, вбирающего в себя всю свежесть рассвета, радость быстрого движения, когда сам воздух приобретает необычную плотность.

Но «шум порога» прекратился, и голос с верхней полки, основываясь на правилах внутреннего распорядка, безапелляционно приказал:

— Гражданин, закройте окно!

В станционной суете я потерял из виду мою незнакомку и совсем забыл о ней. Но сейчас опять встает передо мной ее образ. И мне кажется, что вот-вот выйдет она из-за какого-нибудь поворота. Леша остановит автомобиль, она сядет рядом с нами... и мы помчимся.

ЗНАКОМСТВО

Но Леша дал полный газ. Наш автомобиль мчался по дороге, с обеих сторон ее обступали леса... хвойные и лиственные — черничник, брусничник, бурелом... Порою мелькнет сквозь зелень хвои и листвы голубое озеро.

Машина проезжает по узкому перешейку. Слева и справа от нас озера. Соединяет их речка, кипящая порогами. Дробью стучат доски мостика.

— Здесь бы электростанцию! — мечтательно говорит Леша и добавляет: — Обязательно будет... еще в эту пятилетку...

Мчимся дальше... Снова обступают нас леса... Даже мелкие островки озер поросли густым лесом. Изредка встречаются расчищенные из-под леса поля, огромные двухэтажные избы деревень. Здесь, как нигде, начинаешь понимать истинное значение слова «деревня»... Это там, где были деревья,— с бою у деревьев отвоеванное место; из огромных бревен рубленные избы. Все — деревянное: и утварь и инструмент — вся жизнь; лишь несколько узких полосок железа. Было...

Но вот проносится почтовая машина; дребезжа и чадя, идет трактор. Фырча, трудятся дорожные катки...

Мы пролетаем районное село. Снова леса...

— Зачем гонишь так? — спрашиваю я Лешу, голубоглазого парня с пышной копной льняных волос. Он всем обликом своим напоминает вывалянный в муке калач.

— Моя «кобыла» быстроту любит,— скалит он ровные зубы.— Жаль только, спидометра нет. А дорогу я закрыв глаза знаю. Сколько раз по ней шпарил, кого только не возил! Меня больше всего посылают за город — во все районы, с разными командировочными. Всего насмотришься! В прошлом месяце только пять дней и был в городе — все за рулем. Даже спина иногда болит. Вот возьмут в армию в этом году, тогда уж походить придется. Впрочем, и тогда, думаю, командирскую машину водить буду. Потом маневры. Лихо!

Всю эту тираду Леша выпалил единым духом. Он был общителен и разгозорчив. Молчаливые пассажиры его всегда угнетали... Позади нас сидели товарищи, которых мы видели в первый раз. Они назвали фамилии и забрались со своими портфелями на задние сиденья. Один из них, Вильби,— высокий, полный, чисто выбритый, с золотой коронкой во рту. Он напоминал добродушного сенбернара с резной трубкой в зубах. Сейчас лицо его выплывало из тумана табачного дыма, которым он методически наполнял автомобиль. Второй пассажир — Ильбаев. Бритое кругловатое лицо с восточным разрезом глаз, подстриженные усики, сухая фигурка, строго обтянутая суконной гимнастеркой, высокие начищенные сапоги и картуз. По всему чувствовался военный... Всех нас познакомил заведующий гаражом КарЦИКа Арви Пустынен, посадив в одну машину.

Только в дороге мы, разговорившись, узнали, что все едем в Ялгубу. У каждого в этой деревне свои дела.

ЛИШНИЕ ВЕРСТЫ

Лешу Коровина, отчаянного шофера КарЦИКа, я уже знал и любил ездить на его машине. Он всегда рассказывал забавные истории, случаи из своих поездок, а таких случаев у него была уйма, потому что в месяц его «форд» пробегал не меньше двух тысяч километров по дорогам Карелии.

Запахло гарью...

— Лес горит,— флегматично отметил Вильби и снова вставил в рот трубку.

— Леша, сколько еще километров до Ялгубы?

— А черт его знает! Раз спросил я одного здешнего прадеда, сколько верст от их деревни до соседней, так этот старик даже ругаться начал: «Новые порядки! Всю жизнь жили — до Наволока семнадцать верст считали. Так и ходили. А теперь землемеры проклятые приехали, столбов наставили — двадцать три насчитали. Вот и ходим мы теперь из-за этих чертовых землемеров лишние версты». Старина, видишь, ему мила! А что было? Ничего не было. Нигде не пройдешь, не проедешь.

Леша сбавил газ. Навстречу нам шли загорелые люди с лопатами, кирками, топорами.

— На пожар идут. Теперь у нас здесь аэропланы летают... Смотрят, где дым. Знать дают. В самом начале захватывают. А то раньше, говорят, без спросу, целые волости выгорали...

ИСПЫТАНИЕ ШОФЕРА

— Леша,— говорю я шоферу,— наша машина как-то ненормально скрипит, не по-хорошему.

Но Леша даже и не хочет отвечать на мои замечания о машине. Куда, мол, ты, профан, суешься. Но я не полный профан. По военному званию я командир взвода танковых частей.

Узнав об этом и задав два-три вопроса о танках, Леша снисходительно говорит:

— Машина моя сношена. Сотни километров пробежала сверх норм. Вот Гюллинг,— ну, знаешь, наш карельский председатель Совета Народных Комиссаров,— меня один раз испугал. Едем мы по гладкой дороге, на хорошем, новом «бьюике». Вез я его в Маткачи в баню. Там на берегу озера есть черная деревенская баня. Гюллинг очень любил в народной

бане мыться и на полках париться. Часто перед выходным ездил туда из города.

Я везу его, вдруг он мне говорит: «Леша, слышишь, машина скрипит?»

Я прислушался и слышу — действительно скрипит. А откуда скрип, понять не могу. Машина совсем новая. Перед выездом, как всегда, осматривал. Знал ведь, что председателя везу.

А он смотрит на меня, весело улыбается и снова говорит: «Скрипит...»

Остановил я машину... Мотор осмотрел. Проверил... Казалось бы, все в порядке. Под машину слазил... Все ладно. Поехал дальше. Никакого скрипа. Через минут пять опять начинает скрипеть. И опять товарищ Гюллинг скрип этот заметил раньше, чем я.

Эх, думаю, нашего горя и топоры не секут... Опозорился...

Снова осматриваю мотор, рессоры, кузов, шасси. Все как быть должно. А вот поди ж ты, скрипит...

Хороший пассажир, думаю, этот Гюллинг: все сидит, улыбается, другой бы уж и ворчать начал.

Это, заметь себе, факт из жизни: чем главнее и умнее начальник, тем обходительнее и вежливей, а какой-нибудь барской курицы племянник всегда кичится, грубит ни за что ни про что.

Ничего не обнаружил. Но еду уже тихо. Газ даю в обрез.

Попарились мы с Гюллингом в бане.

На обратной дороге опять нет-нет да заскрипит.

«В какой части,— спрашивает товарищ Гюллинг,— заело? В моторе? В передаче?»

«Ни в какой ничего не вижу. Должно быть, все в порядке»,— отвечаю. А сам думаю: черта с два в порядке, когда такой ехидный скрип.

Доставил домой Гюллинга. Приезжаю в гараж, машину ставлю, осматриваю — ничего понять не могу. Вожусь, разбираю. Ума не приложу.

Арви видит мое беспокойство.

«В чем дело?» — спрашивает.

Объясняю, что скрипело, а причин не вижу...

«Помоги, говорю, разобраться».

А он только смеется и говорит:

«Молчи громче. Ты Гюллинга вез... Он это не в первый раз над молодыми, новыми шоферами шутит. Ставь машину — все в порядке».

«То есть как «шутит», как «в порядке», когда я сам все скрипы слышал?»

А он еще пуще смеется.

«Это Гюллинг сам и скрипел».

«Как? Чем?»

«Да у него одна нога искусственная, протез на шарнирах, он и поскрипел немного, чтобы тебя испугать, проверить твою шоферскую подготовку, не найдешь ли ты ненастоящей причины, не станешь ли ему пули заливать...»

Ну, думаю, хорошо, что не соврал ни про подшипник, ни про диск. А признаться, не хотелось перед самим Гюллингом показаться дураком. В первую минуту соврать хотел: на дифференциал сослаться.

— Гюллинг каждую самую захудалую кузницу в Карелии знает... Все изучил и изъездил,— с уважением говорит Ильбаев.— Достойная личность. Энтузиаст.

И снова летит по прямой дороге — видно вперед на несколько километров — наша машина...

— Да, Гюллинг человек заслуженный,— медленно говорит Вильби, не выпуская изо рта трубки.— Из финского рабочего правительства в восемнадцатом году он последним покинул Финляндию. Во время белого террора он в Выборге в канализации шесть дней прятался. Выжидал. Потом уже нелегально перешел в Советскую страну. Это было нелегко.

После его медленной речи в автомобиле снова воцаряется молчание.

Резкий толчок сбрасывает меня с пружинного кожаного сиденья. Я ударяюсь головой в натянутую парусину потолка. Машина останавливается.

Перед нашим «фордом» стоит пустая телега. Пожилой крестьянин ехидно спрашивает Лешу:

— Что, твоя машина лошади моей испугалась?

— Ты должен был уступить мне дорогу,— сердится Леша.

Встречный крестьянин проезжает дальше без лишних слов. На Лешином лице написаны тревога и злость. Он озабоченно говорит:

— Камера сдала. Если бы и не этот дядя, все равно пришлось бы остановиться.

Мы выходим из машины.

Да, пострадали и шина и покрышка...

По очереди накачиваем ручным насосом воздух. Мы уже вспотели, но результатов нашего труда не видно... Камера пропускает воздух.

— Всегда беру с собой и запасную шину и покрышку, а сегодня как назло!..— И Леша смущенно снимает покрышку и начинает возиться с камерой.

Мимо нас проезжает еще одна пустая телега.

Человек, сидящий на ней, приветливо с нами здоровается:

— Бог в помощь!

— Сколько осталось до Ялгубы? — спрашивает его Ильбаев.

— Километров шесть.

— Ну, мы пешком дойдем за час,— не обращаясь ни к кому, говорит Ильбаев.

— Зачем пешком? Может, еще исправлю.

Но в этом Лешином «может» слышится нотка безнадежности.

— А сколько от Ялгубы до железной дороги? — продолжает свой допрос Ильбаев.

— Больше двадцати,— нехотя отвечает Леша.

Я же думаю о другом. Вот сейчас проезжий, видя наши хлопоты с машиной, желая нам всяческого благополучия, приветствовал старинной, сохранившей хождение и посейчас формулой приветствия: «Бог в помощь!» Сам он, может быть, колхозник и неверующий. Но выразить свое отношение к нам и нашему делу, да так, чтобы мы никак иначе не могли истолковать, он может только этими словами. И, накачивая шину, я думал о том, как медленно создаются новые языковые формулы.

Мы застряли на тракте, соединяющем районные центры со столицей республики, и поэтому трудно было сосредоточиться на своих мыслях. Вот и сейчас вплелись в них гулкие и нестройные голоса, ведущие незнакомую мне песню.

Навстречу нам продвигалась телега, груженная ящиками. Три возчика шли рядом и нестройно скорее выкрикивали, чем пели. Все они были не совсем трезвы...

— Эй, что везете, ребята? — полюбопытствовал Леша, подымая голову от своей безнадежной работы.

— Русскую горькую! — весело ответил один из возчиков.

И второй добавил:

— Для колхоза «Заря».

Но третий был явно недоволен словоохотливостью своих товарищей.

— Бросьте разговоры со всяким встречным заводить. Тоже — объяснений требует! А к чему объяснять... И так ясно. Третья годовщина колхоза... обязаны вспрыснуть, бесспорное дело... У нас ни в какой церковный праздник сей год прогулов не было, напротив, давали повышенные нормы выработки... А теперь, позвольте, свой, кровный праздник... Трехлетье поворота всей жизни... Постановление общего собрания. Празднуем... Думали, к нашему берегу не привалит хорошего бревна, а вот и привалило... А вы тоже — объясняете! — И он укоризненно покачал головой, глядя на своих товарищей.

— Да,— сказал Леша, углубляясь в работу,— выпить можно по разному случаю, и по-разному пьют люди. Сидели мы как-то в «Маяке» с приятелем, шофером Васей, и к нам за столик подсел американец. Он выпьет стопку, палец перед собой поставит, посмотрит и еще стопку требует. Вася и спрашивает его:

«Для чего ты палец перед носом вертишь?»

А тот в ответ:

«Я пью с толком, свою меру знаю. Ставлю перед глазом один палец, а когда вместо одного три у меня в глазу заиграют, тогда «финиш воркать». Это по-ихнему — кончай работать,— объяснил мне Леша.— Ну, дальше. Смотрю, приятель мой заказывает стопку, заглатывает, сухой корочкой закусывает и начинает у себя перед носом махать всей пятерней.

«А зачем ты всей пятерней машешь?» — изумляется американец.

«А я свою меру, свою силу знаю,— отвечает приятель мой.— Пока пятерню перед носом вижу — пью, а как ничего не увижу — баста! Довольно...»

Снова подъехал воз, на нем сидели рядом благообразная женщина и нарядно одетый мужчина. Доехав до нас и поняв, что мы потерпели крушение, они остановили лошадь. И женщина приветствовала нас возгласом:

— Честь труду!

— Есть, есть уже! — громко сказал я вслух, обрадовавшись новой формуле.— Есть «честь труду»!

— Может, помочь вам? — любезно предложил мужчина.

В его лице было что-то странное, необычайное... Но я не мог сообразить, что именно.

— Да нет.— Леша с отчаянием махнул рукой.— Впрочем, помогите... Вы в район едете. Позвоните в Петрозаводск; гараж КарЦИКа — пусть с первой попутной машиной вышлют шину Алексею Коровину.

— Ладно,— сказала женщина и дернула вожжи.— Позвоню...

Когда они скрылись из глаз, Леша сказал:

— Ну, товарищи, говорят, без хлеба и у воды жить плохо, а насчет машины без шины я вам скажу одно слово: ни с места!

— Это три слова,— педантично заметил Вильби.

— Тут грузовые машины часто ходят. Шину пришлют... Утром рано в городе будете. Идемте в деревню.

— А машина?

— Здесь народ честный, не тронут...

И мы зашагали по пыльной дороге к деревне Ялгуба, в которой у каждого из нас были свои дела... Шли молча. Ильбаев и Вильби досадовали на задержку. У меня же дело было неспешное, и я с удовольствием шагал по дороге, вдыхая чистый лесной воздух. После запаха бензина он был вдвойне приятен.

КАПИТАН ВОРОНИН

— Вот где только мы переночуем? — сказал Леша.— Впрочем, деревня не Петрозаводск. Повалят где-нибудь за милую душу. Это только в Петрозаводске такие истории случаются, как с товарищем Ворониным.

— Что же это за история?

— А он, знаете, уроженец Карелии, происходит из Сумского посада. После льдины и всесоюзных почестей и встреч приехал он к нам, попросту говоря, к себе на родину. Давно не бывал. После льдины все интересно. Я его в Маткачи возил, в Косалму, на Кивач, на Сунастрой, в Кондопогу на стройку и на бумажную фабрику. Всюду приветствовали, речи произносили, рабочие и колхозники автомобиль этот самый цветами забрасывали, а мы ведь без предупреждения мчались. В дом отдыха в Маткачи мы во время обеда прикатили. Так повар не растерялся, со всех столов из вазочек цветы вытащил, приветственную речугу загнул и подал букет товарищу Воронину. Тому неловко отказаться, а с цветов, со стеблей то есть, вода струится на его белые брюки. И он, извольте видеть, должен

безмолвно стоять и речь повара Федора Михайловича выслушивать. Но только это все было после, а вначале вот какая история проистекла. Какой невыносимый случай. Пришел товарищ Воронин утром в Карельский исследовательский институт.

«Здравствуйте!»

«Здравствуйте».

«Я капитан Воронин».

«Садитесь, капитан Воронин, милости просим».

Стали они по телефонам в редакцию «Красной Карелии», в Совнарком секретарю названивать:

«Капитан Воронин у нас. Капитан Воронин приехал!»

Ну, тут началась суета... Шум. Гром. Радость. Речи...

Не знал я, что у нас в Карелии так много разных цветов.

Я с трудом добился, чтобы меня послали возить капитана. Подкатил я лихо. В Маткачи повезли, оттуда в Косалму. Всюду кормят, ласкают. Все Воронина увидеть хотят, а челюскинка из скромности в уголок машины забилась. Сидит, сердечная. После в городской сад катим. А там общегородской митинг... Улыбки... Люди сияют. Радуются. Мне лично Воронин, между прочим, говорит:

«Ухитрился я все-таки один денек побывать частным, неизвестным гражданином. Большую в этом прелесть нахожу... Хотя есть и мелкие трудности».

Лихо подкатили к саду. Сам секретарь обкома на митинге с Ворониным выступал, а после спрашивают там товарища Воронина:

«Вы, наверное, устали, то есть утомились? Может быть, вас отсюда доставить прямо на место ночевки?»

«А куда?» — задумчиво спрашивает капитан.

«А туда, где в прошлую ночь ночевали».

«Извините за выражение,— отвечает товарищ капитан,— но ночевал я в прошлую ночь у одного честного, славного человека, извозчика, который меня в город со станции доставил».

И рассказал он все происшествие. Приезжает это товарищ Воронин со своей подругой,— она тоже на льдине с ним бедовала,— в Петрозаводск на поезде. Поезд запоздал... А капитан никаких громких телеграмм перед собой не посылал... Пригласили его, ну и ладно. Приезжает он... В очередь на автобус не становится, а автомобиля ему не выслали. Берет он извозчика и говорит:

«В гостиницу, да помедленнее. Мы с пролетки городок посмотрим».

Ну, добрались до гостиницы. Дежурная говорит:

«Номера все заняты, никаких возможностей нет. В крайнем случае могу, чтобы вам благодеяние оказать, вещи ваши в камеру хранения...»

«Я,— говорит он,— капитан Воронин, на льдине со мной медведи и то вежливее обращались».

«А мне все равно,— отвечает дежурная,— я не медведь и здесь для дела посажена».

Ну, поехали они на том же извозчике в Дом крестьянина. И представьте себе, что уже темно, учреждения не работают. В Доме крестьянина говорят:

«Одна свободная койка в женской комнате имеется, а мужчин класть некуда...»

«Я капитан Воронин».

«Подумаешь, нашел чем хвастать! Этот дом не для капитанов, а для колхозников».

Не стал он спорить, что я — челюскинец, мол. Да кто бы ему поверил... Челюскинцы, мол, по Домам крестьянина не ходят, они теперь в домах отдыха на юге отдыхают, в дворцах проживают. Вот как у нас думали... Опять садится капитан Воронин со своею спутницей в пролетку и не знает, куда им ехать.

«А знаете что,— говорит тогда им извозчик,— переночуйте у меня эту ночку до утра. Вполне благоустроенно уложу... Клопов нет...»

Так и сделали.

Утром умылись, поблагодарили извозчика, а он, узнав из разговоров, что седоки — челюскинцы, даже за провоз не захотел брать денег. «Я не зверь, а человек»,— отговаривался.

Капитан Воронин чуть ли не силой заставил принять по таксе...

Узнав про такой случай, все переполошились. Неудобно, сами понимаете. В гостиницу и Дом крестьянина, конечно, товарища Воронина не отпустили. Хорошо устроили. Все остальные ночи ночевал у какого-то наркома. А дневал по всей Карелии. На реке Суне, на сплаве, по бревнам с багром в руке прыгал, молодость вспоминал. Он ведь из Сумского посада... То есть вру, теперь это село его имя и носит. Самое закоренелое село было в смысле кулачества и сектантства: раскольничьи кулаки, пожалуй, цепче всяких иных будут... Не одну революцию за эти годы в посаде провернули, пока до сегодняшней жизни дошли... Село имени Воронина. Теперь там жизнь кипит, не узнать. А ведь гнездо кулацкое было.

Тамошние ребята мне рассказывали, что собираются писать историю села... Историю всех хозяйств, а дела там проворачивались немалые, и фамилии в рыбачьем и мореходном деле — древние, заслуженные.

«Вы,— говорю им,— скорее пишите, а я с удовольствием почитаю...»

Дорога шла под гору. Вдалеке уже виднелись высокие тесовые крыши Ялгубы.

Ильбаев шел быстрым шагом.

— Товарищ Ильбаев, вы в этих местах впервые? — спросил я его.

Он улыбнулся, словно вспомнил что-то занятное, и замедлил шаг.

— Нет, товарищ, не впервые. Первый раз я попал в Карелию в шестнадцатом году... Это было время...

И он снова замолчал, как бы припоминая то время...

— А какое же это такое особенное время? — полюбопытствовал Леша.

И тогда Ильбаев рассказал нам свою историю.

УРАЗА

— Я был мусульманином когда-то. У всех религий, товарищ, свои предрассудки. Вот иранцы тоже мусульмане, но у нас нет «пирохан э мурад», а у них есть.

— Что такое «пирохан э мурад»?

— Это «счастливые в сорочке». Двадцать седьмого рамазана иранские женщины шьют эти сорочки в мечетях. Материал для этих сорочек, понимаешь, товарищ, покупается только на выпрошенные монетки. И вот за две, за три недели до двадцать седьмого рамазана женщины бегают по улицам, пристают к прохожим с просьбой дать несколько шай. Это делают и бедные и богатые. Ведь перед аллахом все равны. Понимаешь, как это ловко! Демократия аллаха старше британской. В мечети эта сорочка должна быть сшита в промежуток между двумя молитвами. И двадцать седьмого рамазана все мечети переполнены.

— А допускаются швейные машины к этому богоугодному делу? — спрашивает Леша.

— Как я ушел от демократии аллаха? Как отказался от райских пиршеств? Любви гурий? Как пророк оставил меня

на путях своих и сделал безбожником и работником во славу безбожия? Но я скажу все по порядку.

Двадцать первый год — это бессмысленный возраст. Двадцать первый год — это блаженный возраст. Двадцать первый год — это начало военной службы. И мне шел двадцать первый год. И это было в тысяча девятьсот шестнадцатом году.

В этом году я усомнился в мудрости аллаха, а первому сомнению, сомнению величиной в горчичное зерно, расширяясь, дано вытеснить веру, хотя бы вера была выше Гиндукуша.

Знаешь, у нас, антирелигиозников, есть пословица: если гора не идет к Магомету, то пусть она идет к чертовой матери.

Так вот, вместе со старшим братом моим, тоже Ильбаевым, ему было тогда двадцать семь лет, сейчас он кончает свою перековку на канале... Он был басмачом, а дело началось так. Он убил свою дочь, мою племянницу Зейтунэ, за то, что она участвовала в клубной постановке, призывавшей девушек открыть свои лица. Ты можешь не поверить, но это так... С этим братом взяли меня тогда в действующую армию. А надо тебе сказать, что наше племя никогда в русскую армию не брали. Мы считались слишком дикими.

Мы не выносили войны с единоверцами: турками, иранцами, афганцами; мы не выносили отдаленного от нашей страны климата; мы не выносили, наконец, мордобоя. Вот если бы я оставался по-прежнему таким, какими были тогда большинство моих единоплеменников, я должен был бы убить судью, приговорившего брата моего Ильбаева к работам на канале. Но если бы сам я был судьей теперь, то приговор не изменился бы.

Так вот, в армию нас не брали, потому что царский офицер терял свою честь, если не мог бить, мы теряли свою, если нас били, а правительство в результате теряло бы своих офицеров и своих солдат.

Но война с немцами все перевернула вверх дном, и нас стали забривать в армию. Правда, огнестрельного оружия нам не давали в руки, нам дали холодное: кирки, ломы, заступы, лопаты, мотыги, — одним словом, погнали на тыловые, на окопные работы.

Нас угнали из Узбекистана, увезли далеко от границ Оттоманской империи, от иранского льва, от афганских гор, — нас отвезли в Россию.

Мы ехали день, мы ехали два, мы ехали три, мы ехали

четыре, пять, шесть, семь дней. И в пятницу нам дали остановку.

Людей было много, земли много, и мы видели, что земля такая же большая, как небо. И люди стали роптать — нет, не на пищу, она была еще сносной,— стали огорчаться и негодовать, что трудно молиться в битком набитой теплушке. Поезд трясет, омовение совершать невозможно, и вот нам дали пятницу...

Потом опять мы ехали семь дней. Солнце наших мест сначала бежало за нами, потом стало уставать, стало отставать, и по ночам прохлада забегала в теплушки.

Я видел сны: сохнет наш виноградник, разбежались бараны и Зейтунэ — ей было семь лет — не может их собрать. И я плакал ночью, что земля такая большая, как небо, и что пути нашему нет конца, и я молился.

Потом пошла дикая, ни на что не похожая страна — болотистые перелески, невиданные белые березы, покорные ели, мелкий дождь и ни одного тополя, ни виноградника. Мне грустно вспоминать об этом.

И вот нас высадили на одной печальной станции и погнали пешком. Приближался ураза... Мы должны были дойти к месту назначения до начала поста. Нас пугали слишком молочные ночи, и нам трудно было засыпать.

Мы шли пешком.

На нас насели неистребимые полчища комаров. Они усеивали наши лица, руки; они забирались в уши, в глаза. Мы вдыхали их с воздухом; они нас одолевали. Это было еще хуже, чем отсутствие молитвы.

Наши командиры имели покрышки от этого гнуса — накомарники. А мы были пищей комаров. Но и мы их тоже ели — в супе, в каше, во сне. И во сне тот, кто мог спать, видел только комаров.

Мы шли день, мы шли два, мы шли три, четыре, пять, шесть. Была пятница. Потом мы опять шли до другой пятницы.

Нас ел гнус. Ноги были изранены.

Если бы аллах существовал, то он приговорил бы меня за дела мои, в вечной моей жизни, к таким прогулкам. Но все это ничего. Приближался ураза. Знаешь, что такое ураза? Нет?

Ураза — это месяц поста и радости для правоверных.

От восхода солнца до захода верующий мусульманин не имеет права взять в рот и маковой росинки. Но как только

солнце зайдет, открываются вечерние и ночные пиршества. Днем же строжайший пост.

Ты, наверное, уже догадался, куда нас гнали. В те годы строилась железная дорога из Петрограда в Мурманск. Самая северная железная дорога в мире. Она строилась на костях. Там работали китайцы, мы, татары, финны, русские. Там впервые я в бараках узнал, что сортов людских не меньше, чем сортов винограда. Да, нас пригнали туда, куда не ступала нога мусульманина, куда не залетала слава о мудром Саади.

Я шел рядом с братом, и брат шел рядом со мной.

Иногда мы говорили о баранах, о виноградниках, о посевах, о родимом зное нашего лета и о Зейтунэ. Мы с братом никогда не ссорились. Отец завещал ему беречь меня, и к тому же брат хорошо учился в медресе. Он наизусть знал Коран и, если бы не война, может быть, стал бы муллой. Голос у него был протяжный, как у его учителя — нашего старого муллы. И в те часы твердил он из Корана, из книги «Пчела», данной в Мекке, стих девятый: «Он заботился о направлении дороги. Есть, которые от нее удаляются. Если бы он захотел, то направил бы всех вас».

Мы шли долго. Знаешь, здесь, на севере, горькие, странные ягоды — брусника, костяника, морошка. Есть грибы — не различить съедобные от ядовитых, и потом, повторяю тебе, этот гнус, этот невероятный гнус. Когда мы работали,— но это уже позже,— наши руки и лица были окровавлены. Люди доходили до безумия.

Едкий дым костров, разложенных, чтобы отгонять комаров, больше, чем комарам, досаждал нам.

Но все это после, а сейчас я подхожу к самому главному — к непереносимому ужасу бесконечного серого дня.

Нас опять посадили в теплушки, и в течение ночи мы ехали к северу.

Приехали рано утром. Высадились полусонные. Нам отвели землянки.

Ты знаешь, какие это были землянки? Наверно, нет. Ну, так тебе лучше и не знать! И здесь, у землянок, мы пали на колени и молились, ибо был первый день месяца ураза, месяца дневного поста.

Был первый день ураза.

Днем мы работали, не надрываясь, ведь есть ничего нельзя было. К вечеру оживились: скоро еда.

Нас повели к землянкам.

Дымились баки, где урчал и булькал, испуская к небу густой пар, почти готовый суп. Рядом стояли баки с пшенной кашей. Каша, кипятясь, взрывалась, шипела, а кашевар стал заправлять ее льняным зеленоватым маслом. Был по всем вероятиям и предположениям вечер.

Скоро должна была начаться ночь... И тогда — о, тогда бы мы наелись вдоволь!

Но все же, хотя был вечер, было так же светло, как и в часы работы, как в часы полудня, и хотя должна была начаться ночь, она не начиналась.

Но, несомненно, она сейчас начнется,— так думали мы и весело шутили на пустой желудок.

Мы смеялись, но ночь не начиналась.

Суп был готов, каша поспела, но ночь не начиналась.

Суп выкипал, и кашевар унял огонь. Под баком с кашей тоже залили топку водой; пошел густой, едкий дым. Но ночь не начиналась.

Самые набожные из нас окончили свою вечернюю молитву и омовения. Прошло уже очень заметных два часа, но было так же светло, как и в тот час, когда мы приступили к работе.

О, мы были в первую ночь терпеливы!

Некоторые свалились в землянках и заснули, прося бодрствующих товарищей разбудить их, когда начнется ночь.

Многие, я и мой брат Ильбаев в том числе, остались — поедаемые гнусом и ничего не понимая — на дворе ждать наступления ночи.

Было прохладно.

Суп уже остыл, каша твердела в баках, и мы ждали.

Мой приятель по кишлаку, высокий, бритоголовый Зелим, сказал брату моему:

«Чего это аллах на небе своем зазевался и солнце прогнать забыл?»

И ему ответил брат из Корана, из книги «Паук», стихом первым:

«Элиф. Лам. Мим. Думают ли люди, что их оставят в покое, если только они говорят: мы веруем, и что их не приведут в искушение?»

«Но искушение искушению рознь,— сказал высокий Зелим.— Это не искушение веры, а искушение желудка».

Я полностью был согласен с ним.

Брат мой ответил стихом вторым:

«Мы искушали тех, которые им предшествовали, и, веро-

ятно, бог совершенно знает, которые говорят правду и которые лгут».

Уже к рассвету я забылся неспокойным кратким сном, и мне снилось,— но зачем тебе знать, что снилась мне Зейтунэ...

Я сказал, что заснул на рассвете, но это неправда, потому что рассвета не было.

Был свет такой же мутно-молочный, такой же сероватый, какой был днем.

Проснувшись, я увидел свет и решил, что проспал ночь, но ночь не заметили и те, кто бодрствовал.

Уже трубила труба.

Голод одолевал нас. Многих тошнило.

Затверделая каша, как вещественное напоминание о рае для правоверных, стояла по-прежнему неприкосновенной.

Пришел русский начальник, и нас погнали на работу.

Какая может быть работа на пустой желудок? — спросишь ты. Но мы работали, потому что брат мой сказал, что аллах не послал нам ночь за то, что днем мы трудились не в полную меру.

Но высокий Зелим и я не верили ему. И почти не работали. К тому же тошнота подступала к сердцу моему.

И русский начальник, техник, который прятался от войны на работах в здешних промерзлых болотах, стал матерно ругаться и объявил нам, что мы дураки и что такой нескончаемый день, такой безобразный свет будет продолжаться больше месяца.

«И если вы, дикари, пищи принимать не будете, то скорее подохнете, чем ночь увидите».

Зелим ему сразу поверил, а я и другая молодежь не сразу.

Люди же постарше стали честить его разными словами, и хорошо для него и для нас, что он не понимал по-узбекски.

Опять пришли мы к землянкам, опять нюхали с вожделением пар от супа и каши и опять ждали ночи. Один только сухопарый Зелим тайком взял миску каши и, забившись в угол землянки, украдкою стал уплетать. Но кто-то из старших заметил.

Зелима вытащили из землянки, избили, едва-едва не убили, и никто не хотел принимать к себе в землянку нечистого.

Так пять дней жил он без крова. И медленно погибал от гнуса и жестокой утренней росы.

А брат старший мой, Ильбаев, говорил стих девяносто пятый из Корана, из книги «Пчела»:

«Если бы бог захотел, то составил бы из вас один народ. Но он, кого хочет, заблуждает и, кого хочет, направляет. Некогда у вас спросит отчет о ваших действиях».

И многим слова эти были насущнейшей пищей и удерживали от еды.

Мы, верные, ждали конца испытания, мы молились горячо. Но ночь не приходила.

Отчаявшись, мы спали.

Просыпались и засыпали, вновь и вновь просыпались, но ночи не было. Был свет, и было холодно.

Опять пришел русский начальник, опять ругался и говорил, что не мог предусмотреть аллах и пророк его Магомет всего, что творится на земле, что его, начальника, из-за нас сгноят и что ночи здесь тоже длятся по три месяца.

Но на работу мы не вышли и выйти не могли: ослабели.

Опять подогревали кашу и суп, но несколько правоверных во избежание соблазна опрокинули бак, вылили суп, а кашу выбросили в ровики, выкопанные невдалеке от землянок для нужного дела.

Молодежь начинала роптать и сомневаться, действительно ли всемогущ аллах, действительно ли он все знает и все предусмотрел, а если не предусмотрел, то не плохой ли он хозяин.

Бок о бок с нашей артелью работали финны.

Мы с ними объяснялись кое-как, большей частью руками. Они чуть-чуть по-русски говорили, мы тоже знали по-русски несколько слов.

Теперь смотри, как я по-русски щеголяю! А тогда знал всего лишь с полсотни слов.

Но все же и таким манером финны сумели объяснить мне и другим тоже, что летом здесь солнце светит круглый день месяца три, и так всегда, испокон веков.

Мы перестали молиться и, голодуя, сидели притихшие.

Старшие молились.

Ночь не наступала.

Русский начальник ругался и обещал нам, если мы не выйдем на работу, сначала высечь, а потом — в тюрьму.

Мы ждали ночи.

Некоторые не могли дождаться и тайком, озираясь, чтобы другие не видели, ходили к канавкам и выбирали там холодную кашу. Но они или отравились, или с голоду съели так много, что их стало корчить, и двое тут же скончались.

Фельдшер сказал:

«Заворот кишок».

Брат и старшие говорили:

«Аллах наказывает».

Закапывали умерших финны, потому что никто из наших не хотел пачкать рук прикосновением к отступникам.

Но я не вытерпел голода и пошел как будто для разговора к финнам и там у них тихо попросил немного супа, чтобы другие не знали, и, помня слова фельдшера, решил для начала есть немного.

Это уже кончалась третья ночь.

В землянке, куда привел меня финн, перед миской с супом сидели трое наших и медленно ели. Тут же с ними разговаривал фельдшер.

Эти трое ели здесь уже второй раз, и ничего с ними не случилось. Бушевавшие во мне сомнения поднялись с новой силой. Двое из моих единоверцев тоже уже не верили.

Вот путь моего ухода от аллаха.

Мы пришли обратно в наши землянки.

Некоторые бредили в полусне, остальные, почти отчаявшись, ждали ночи. Но ночи не было.

И я затеял первый спор, страшный спор со старшим братом,— спор, который развел нас разными дорогами до конца жизни нашей.

К тому часу, когда должно было бы начаться утро, вскочил один из наших и, громко будя спящих, тревожа бодрствующих, закричал, что он видит — началась ночь, темная, настоящая ночь.

Он вертелся на одной ноге. Он кричал громко. Он плакал. Он просил плова, барашка и винограда.

Его увели.

Тут я встал, и два товарища мои встали рядом со мной, и я объявил, что мы ели суп, что мы нарушили пост и все же стоим перед всеми здоровые и что аллах, если он есть, не знает, что делает.

Все переполошились.

Одни только и ждали, чтобы кто-нибудь начал, и сразу присоединились к нам; другие проклинали нас.

Подняли крик. Завязались горячие, горячечные споры.

Проклятья и имя аллаха, перемешиваясь, звенели в воздухе.

Брат мой ударил меня заступом по голове, но, к счастью, он был слишком слаб, и поэтому я сейчас иду по этой дороге в Ялгубу и разговариваю с вами, товарищи.

Что было потом?

В лазарете я узнал, что был бунт, что некоторые, смирясь, стали есть, многие умерли, а самых упорных увезли южнее. Работали мы на месте теперешнего Нивастроя.

Русского начальника за то, что он допустил такие волнения во вверенных ему частях, отправили на фронт.

А те двое, что ели в землянке суп, как и я, теперь активисты-антирелигиозники, ибо неисповедимы пути аллаха.

— Что же сейчас делаешь здесь ты, товарищ Ильбаев?

— Я был воспитателем посланных на Беломорский канал узбеков, таджиков и других мусульманских кулаков и басмачей. Я вел среди них разъяснительную работу, учил их грамоте, организовал рабочие бригады, объяснял религию. О, многие из этих людей стали басмачами только по своему круглому невежеству, по своей темноте. Они верили муллам и баям, а те указывали им неверную мишень. Мы повели с ними большую работу. Многие стали у нас честными людьми, настоящими работниками. Они теперь горькими слезами обливаются, когда вспоминают о своем диком прошлом. Мне пришлось одного бывшего муллу срочно переслать в другое отделение, потому что, когда мы открыли глаза на свет большевистской истины бедным дехканам, пошедшим в басмачи по его приказу и настоянию,— я не мог гарантировать ему безопасность.

Они работали в своей бригаде под красным знаменем, и каждый мечтал о том, чтобы прикончить эту тлю на теле — аллаха...

Мы подходили уже к самой деревне, до нас долетали звонкие выклики трехрядки, но Ильбаев продолжал свою речь:

— Иногда в работе я оглядываюсь, вспоминаю прошедшее и смотрю на теперешнее. И тогда думаю: вот канал строим в тех же местах, где когда-то прокладывали Мурманскую железную дорогу. И тогда нас прислали сюда насильно, и пленные австрийцы тоже не сами собрались сюда. И теперь рабочие, рвущие скалы, поднимающие землю, ставящие плотины, пришли сюда не по своей охоте... Но, черт дери, какая разница! Тогда нас, честных тружеников, оторвали от привычного и нужного дела, пригнали сюда и здесь обращались как со скотом, били кнутом, верное слово! И многих честных людей сделали преступниками — убийцами, ворами, бандитами, бродягами, потерявшими честь, совесть, свое лицо. А теперь мы привезли сюда преступников — воров, убийц, басмачей, банди-

тов, спекулянтов, бродяг, кулаков. Мы заставили их работать. Дали трудную работу. И грязную. Но мы обращались с ними как с настоящими людьми. И многие из них действительно стали настоящими людьми. В труде и поте своем обрели лицо честного труженика...— Глаза Ильбаева блестели.— И на каменистой земле мы проложили канал.

ВТОРАЯ ГЛАВА

КАДРИЛЬ НА МОСТУ

Мы подошли к мосту.

Под однообразный, но веселый наигрыш трехрядки, взметая пыль, шаркая высокими сапогами и босыми ногами, на мосту танцевали. Парни, уставшие от танцев, сидели на деревянных перилах моста. Девушки и те молодые женки, которых на этот танец не пригласили, жались пестрой кучкой к перилам. А на большом круглом полене сидел гармонист, приподымая и опуская в такт веселой музыке запыленный носок сапога. Танцующие не обращали на нас никакого внимания, и мы остановились около гармониста. Ровными шеренгами сходились и расходились танцующие, меняли своих дам, кружились так, что ситцевые юбки раздувались колоколом. В их движениях была свобода, непринужденность, самозабвение ухарства и импровизация, которой лишены городские «бальные» танцы.

— Кадрель черти, танцуют! — с восторгом сказал Леша.— Пойдем, что ли, и мы, ребята? — обратился он к нам.— Пойдем, милая, пойдем, тоненькая,— пригласил он стоявшую у перил полнотелую девушку.

Но та, застеснявшись, только смеялась в ответ.

— Теперь вся республика танцует, такое уж время,— убежденно промолвил Леша.— В одном Петрозаводске специально две площадки для танцев выстроили, а тебе только и делов, что смеяться.

— Да нельзя в середине колена встрять, потерпи до нового танца,— урезонила Лешу девушка.

— Сколько деревень, сколько колхозов за этот год изъездил на своем «форде» — всюду танцуют.

АНТОН ИЛЬИЧ РЫКОВ

Один из танцующих, в высоких начищенных сапогах, во френче добротного зеленого сукна, гладко выбритый и стройный, покинув свою подругу, подошел к нам. Он слегка волочил левую ногу, и странно было, что мы не заметили этого, когда он танцевал. Его партнерша покорно отошла в сторону.

— Рад познакомиться, член сельсовета Рыков.— И, поймав невольную улыбку на лице Ильбаева, развел руками.— Ничего не поделаешь — однофамильцы.

Узнав про наши дела Рыков понимающе покачал головой и несколько неодобрительно посмотрел на Ильбаева.

— По вашему делу с колхозом согласовать надо...— И потом усмехнулся.— Знаете, как у нас говорят: поселенец — что младенец, на что взглянет, то и тянет.

Партнерша Рыкова громко фыркнула. Ильбаев спокойно молчал.

— Я у Петра Петровича Петрова повалю всех вас спать... Вот молодежи не хватает. Один в школе летчиков, двое вузовцами, один в городе монтер, трое в армии. Приходится мне танцевать.

И затем Антон Ильич обратился уже прямо ко мне:

— Тебе к Петру и надо. Мастак песни вести. Как поднимет, так и держи душу — до слез доведет. И рассказов у него прорва... Всех не запишешь. И все, знаешь, из жизни. В артели лесорубов был на половинной работе, а оплату полностью получал за то, что разные рассказы рассказывал и песни тоже. Так уж и подрядились. Вот... Но только и врет он как сивый мерин. Да, соврет — недорого возьмет. А то и вдвадорога приходится. Так все складно получается... Заслушаешься в лавке и такой поход дашь, что...

И Рыков махнул рукой.

ШАПКА НА МЕХУ

— Про него рассказывали, что в молодости, бывало, придет к девушкам там или женщинам и говорит: «Соглашайся, а не то я такое про тебя совру, что никто пусть и не поверит, а все же слава в могилу с тобой ляжет. Мои слова прилипчивые...» И правда...

— Да откуда ты знаешь это? — возмутилась вдруг «дама» Антона Ильича.

— Да он сам рассказывает, не стесняется.

— Дак ведь он враль, сам ты говоришь...

Но Антон Ильич как бы и не слышал этих слов.

— У нас кто его завидит, всегда и просит: «Петр, соври чего-нибудь...» Врет он, конечно, не по-охотничьи. Трудно разобраться. Не как Матвей из Наволока. Темная, доложу я вам, деревня Наволок. Дороги туда нет. Одна пешеходная тропа. Был у нас Матвей, когда к нам охотники пришли, а ему желательно этих охотников к себе в деревню затянуть. Он около них юлил-юлил, все свои наволокские места в смысле зверя выхваливал, блазнил. Все, мол, есть.

— Сохатый есть?

— И лось есть.

— И заяц есть?

— И косой есть.

— И медведь есть?

— И хозяин есть.

— И рысь есть?

— Да что рысь — такая лиса, что за одну трубу сотню отдашь! И песец. А пернатое: чирок, тетерь, чухарь, рябец — все есть!

Тут охотник подумал и спросил:

— А автомобиль есть?

— Как же, как же! Самоха Силантьевский намедни два раза стрелил... Он как шасть в сторону и там порск-порск по кустам... Не меньше шести пудов был. Самоха и сейчас шапку на его меху носит.

ВРЕМЯ ЛИ ВРАТЬ?

— Да... от Петра Петровича такой штуки не жди. У него вас и повалю спать. Да вот он сам на возу...

На возу, на свежем сене, въезжал на мост, прервав течение кадрили, давний знакомец. Это был тот самый колхозник, чьей лошади испугалась наша машина.

— Вот тебе, Петр, ночевники. Ты им чего-нибудь и на пропитанство устрой.

Мы познакомились. Петр брал нас к себе ночевать без видимой неохоты, но и особого радушия не обнаруживал.

Антон Ильич подмигнул мне, как единомышленнику, и брякнул:

— Петр, а Петр, соври чего-нибудь!

Тот в ответ угрюмо буркнул под нос:

— Время ли врать, когда лошади в яровом... Кони в овсе, как в озере плавают.

— Лошади в яровом, а ты, умник, молчишь,— засуетился Антон Ильич.— А ну, бросай играть! — закричал он гармонисту. И уже тоном приказа: — Девки, ребята, члены, частники — бегом гнать лошадей из овсов!

Все заторопились к яровым. А мы пошли устраиваться на ночевку в дом Петра Петрова.

ПАСТУХ

Рядом с возом шли любопытные бабы постарше и вели между собой пересуды:

— Шутка ли — версты две бежать до яровых!

— С гаком. И хромой-то, хромой впереди!

— Зачесть пастуху потраву в счет трудодней.

— А он из пастухов уйдет, где найдешь замену? Теперь каждый отнекивается и никто пастухом не хочет ходить. И я, мол, не от девки рожден.

— Да что вы судите-рядите,— рассердился на баб Петр Петров,— пастух у нас золотой. Он за каждой коровой отдельный глаз имеет, все привычки каждой понимает. Он все пастбища вокруг лучше, чем поп службу, изучил. А вы хаете... Попался бы вам такой, как в Ниве: брюхом кверху лежал, галок в небе считал, а волки у него жеребенка да нетель зарезали. А Егор наш...

И как бы в осуждение сплетницам бабам Петр рассказал про колхозного пастуха:

— Недаром сорок лет Егор в пастухах ходил. Пес у Егора, кличка Дар, то ли матку свою навестить в Наволок пошел, то ли самосильно охотой занялся,— только пропал. Егор немного и загрустил. А тут видит, скотина забеспокоилась, ноздрями воздух щупает. Минута прошла, и видит — на него комолая бежит через кусты, ломает. Дышит часто и неровно. Не иначе зверь из лесу идет, а у Егора пса нет, ружья тоже не предвидится. Один только рожок большой берестяной — стреляй из него! А тут прямо на стадо, на поляну бежит хозяин — большой, мохнатый, бурый, хворост под ним так и трещит... На Машку, рекордистку нашу молочную, путь держит, а у Машки со страху коленки подгибаются. Чего прикажете делать?

Медведю ни к чему, что Егор Богданович подписался не дать ни одного процента поголовья в отход.

Но и Егор не растерялся — навстречу Топтыгину побежал, руками замахал. А медведю наплевать. Тогда Егор Богданович поднес к своим усищам рожок, впустил в себя воздух — да как изо всей силы дунет.

Медведь от неожиданности, от такой резкой и громкой звучности, в воздухе раза два с половиной перекувырнулся и таким же ходом обратно в тайболу. Ушел.

— Ну, а коровы?

— Коровы, что ж,— усмехнувшись, ответил Петр.— Машка в тот день кислое молоко дала. Сам пил, по усам текло, в рот не попало. Специальная комиссия из города приезжала это молоко проверять.

Тут мы подошли к дому Петра, и словоохотливые спутницы, оставив нас, пошли по домам, не понимая, как мог премированный Егор пустить лошадей в яровое. Одна из баб взялась проводить Вильби к Федору Кутасову, из-за которого он и приехал в Ялгубу.

— Кутасов-то Федор — муж жениной племянницы, председательницы. В новой избе живут,— сказал Петр Петрович.

Ильбаеву не терпелось осмотреть окрестные места, чтобы выбрать удобные для переселения... И он ушел бродить, а мы с Лешей подождали, пока Петр выпряг низкорослую, но сильную шведку, отвел ее в колхозную конюшню, и вместе с ним поднялись по ступенькам высокого крыльца. Изба была высока и просторна (леса здесь на жилье не жалеют), но уже ветха.

— Сын на Мурмане рыбачит, помощник капитана на тралере,— с гордостью сказал Петр Петрович, увидев, что мы осматриваем его покосившуюся избу.— А здесь был бы, так мы бы новую срубили, на двенадцать венцов. Так... Ну, входите, гостями будете. А ты, машинист, не забудь, когда наладишь, и старуху мою на машине покатать... Ни разу ей не ходилось. Вот разве когда колхозом грузовик приобретем... Так нет, не такой уж у нас колхоз заслуженный. «Золотой дождь», «Каменистый», «Буря», «Догоняй», «Северное сияние», «Сяде», «Сыны севера» впереди идут, а им еще не дали.

Хозяйка, высокая, плотная, плавно двигавшаяся по избе женщина, пригласила нас к столу снедать:

— Самовар вот-вот поспеет, сейчас загудит.

И принялась раздувать самовар. Она все время, что мы были в избе, занималась по хозяйству. И я не мог толком разглядеть, молода хозяйка или на ее лицо уже легли морщины.

ПЕСНЯ О МЕСТИ

— Так ты говоришь, за былями, песнями приехал и рассказами... Про Ваньку Каина, партизана, интересуешься,— сказал Петр.— Ну, про Ваньку я не скажу, сам не видал... А песни отчего же... Вот перед чаем затеплю песню, последнюю, что от Василия Ивановича Зайкова перенял.

— Да брось ты своего Зайкова... Кулацкие запевки!

— Ведь товарищ для научной обстановки собирает, за это мне ничего дурного не припишут. А Зайкова действительно раскулачили, и поделом: раньше с зубов шкуру драл. Вот мутил, бес...

Я уже приготовил блокнот и карандаш.

Наталья тоже перестала хлопотать и приготовилась слушать, время от времени вскидывая глаза на меня — не возмущает ли меня песня, которую равнодушно вел своим спокойным, приятным голосом муж.

А он пел:

Несть спасенья в мире! Несть!
Лесть одна лишь правит, лесть!
Смерть одна спасти нас может, смерть!
Несть и бога в мире! Несть!
Счесть нельзя безумства, счесть!
Несть и жизни в мире, несть!
Месть одна лишь, братья, месть!
Смерть одна спасти нас может, смерть!

Эту раскольничью поморскую песню любил Зайков.

— Ну и как, отомстил он? — спросил я, когда Петр окончил песню.

— Да нет, раскулачили его и выслали...

— А может, Марьину избу сожгли его родичи?

— Дело темное.

Тут загудел самовар. Так я и не узнал, о каком пожаре шла речь. Мы сели за стол.

— Петр Петрович, откуда ты много песен знаешь? Как запомнил?

— От волков и другого кровожадного зверя песня очень хороша. Бывало, едешь по лесам верст пятьсот, до Званки, а то и до Питера. Место наше темное, как Литва. Лапшу и ту топором крошат. Вот и запоешь. Зверь на человека не пойдет, он лошадь норовит подломать... А как услышит голос, песню, значит, ну и в сторону. В извозе и выучился... И время не так длинно тянется, и в отношении зверя легче. Ведь железной дороги здесь не было. Мимо нашей деревни тракт проходил — и то слава богу, а дальше такая глушь. Одна волокуша. Видал, может быть?

А раньше и у нас дороги не было. Старики вспоминают,— они тогда еще в мальчиках числились,— что бегали за двадцать верст смотреть, как на телеге ездят и что за колеса такие надеты. До войны, когда еще Мурманку и не строили, я в извозе ходил. Ну, еще совсем молодой.

Обыкновенно по первому санному пути, с середины ноября, отправлялись мы с возами сена в Питер. Или там с рыбой после ярмарки с Шуньги. Продавали свой товар, а то и просто сдавали торговцам по контракту, брали другую кладь — и обратно в Петрозаводск. Риска было не меньше, чем в море... Всецело на господа надежда, на погоду то есть. А она у нас изменчива и поздно устанавливается. Бывало и так: чтобы дорогу продолжать в Питер и обратно, приходилось менять сани на телегу. Потом опять телегу на сани.

Подолгу проживаться. Прохарчивались многие. А фуражу сколько шло! А потом нагрянет еще неудачная переправа: обледенелый, скажем, паром или лед подломился, и не то что над товаром — над лошадью ставь крест. Вот в дороге и затеплишь песню и ведешь, ведешь ее — голосом перебираешь, душу себе тешишь и волков гонишь...

Но погибла все же кобылка моя.

Ну, тогда я к Зайкову и переметнулся. Он три почтовых станции держал.

А ты, товарищ, спрашиваешь, откуда петь научился? От бездорожья.

Карелу в глубину на своей спине хлеб тащить по сту верст приходилось, через болота, через пороги. Так потому, может, карел и кору ел.

От бездорожья прибыль была одному только губернатору. Он девять лошадей в карман клал.

— То есть как это — девять лошадей в карман? — изумился Леша.

— А просто... Ему по штату на поездки разные там, в Питер или по губернии, причиталась дюжина лошадей. Ездил-то он на тройке, от положенного не отказывался. Вот тебе и выходит, что девять лошадей в карман ложил.

Ну, а дело свое губернаторское он отлично знал. У нас раньше с сосен кору сдирали, сам знаешь. Мука лучшего помола... для нашего брата! Ну, случалось, в голодный год целые рощи ободранные стояли. Однажды царь Александр Второй по нашим местам проезжал. Видит он эту картину и спрашивает у губернатора. А тот рядом в карете сидит.

«Что это такое? Почему облуплены?»

Ну, а тот свое дело знает — отвечает:

«По случаю проезда вашего величества сняли неприятную для глаз грубую кору».

«Глупый народ»,— сказал царь.

Пожалел нас, значит.

— А-а! — протянул Леша, и мы рассмеялись.

КАК Я ЖЕНИЛСЯ

Петр Петрович тоже улыбнулся и, словно вспомнив что-то очень приятное, продолжал беседу:

— Во время извоза-то я с моей Натальей и познакомился, всей душой к ней припал, и поженились мы. Сам я из других волостей, а из-за нее в Ялгубе и осел. Как было, так было, все тебе расскажу. Под вечер пришел я с кладью в Ялгубу. Лошадь заморилась. Распутица была непролазная. Надо здесь ночевать. А шел нас целый обоз. Сельский исполнитель разместил всех. Кого где устроил, а мне и говорит: «Прямо не знаю, куда тебя, мил человек, спать повалить. Все занято рыбаками, лесорубами и возчиками. Очередь Зайкову к себе принимать. Да неудобно такого человека беспокоить. Дай-ка, говорит, я тебя на отшибе устрою. У молодой вдовушки Натальи. Бедствуют, правда, они со своей матерью, старухой параличной, ну да тебе к бедности не привыкать стать».

Повел он меня в избу к Наталье — к ней, значит,— Петр Петрович показал на свою жену, со вниманием слушавшую его рассказ,— вроде как вас Антон Ильич Рыков ко мне на-

правил. Идет он со мною и приговаривает: «Вдова — дверь приотворенная» или там: «Вдова — мирская жена»,— и пальцами вот так прищелкивает.

А я молодой был. «Красивая?» — спрашиваю. «Сам увидишь, если старухи не испугаешься. Но та бессловесная».

Так... И сейчас моя Наталья хороша собой, ну, а тогда я сельского исполнителя за такую оказию в самый рот целовал.

— Хороша красавица — конопатая,— вставила Наталья.

— Ну, одна-две рябинки только красят.— И Петр продолжал: — Правда, старушка, мать параличная, за ситцевым пологом на кровати лежала, вот в том углу, где и сейчас кровать стоит. Набросала мне Наталья сена на пол. Я сено попоной покрыл.

«Выпей, говорит, квасу, помолись спасу, да и ложись».

Ну и повалились мы: она к своей матке на кровать, а я на сено на полу, у этого окошка.

С дороги приустал, а все ж таки сразу сон нейдет: то о словах сельского исполнителя вспоминаю, про вдов, то лик Натальи у сердца держу. Только я дремать стал, как вдруг глаза открыл — шевеление заметил. Полог заиграл. У нас, сами знаете, к лету какие светлые ночи бывают. В горнице-то совсем светло, каждую ниточку видно. Ну, а за пологом, конечно, черт глаз выколет. Смотрю — рука из-за полога с кровати, значит, высунулась и такой знак приманчивый — подойди, дескать — делает. Дерг-дерг — и снова за пологом скрывается.

У меня сон с глаз долой. Ну, думаю, не ошибся ли, не привиделось ли? Но сам уже спать не могу.

Не прошло и трех минут, как снова занавеска заколыхалась. И опять оттуда ручка та же — дерг-дерг — подойди, дескать! Значит, не ошибка.

Вскочил я на ноги и в чем был — к пологу. Думаю, еще раз позовет — нырну за полог. Она сама лучше понимает. Мать, стало быть, спит... Не успел я подумать, как в третий раз из-за занавески ситцевой рука просунулась и — дерг-дерг,— дескать, чего ждешь, иди!

Перекрестился я и шасть за полог... Темно. Да сами знаете, не маленькие. И четверти часа не прошло, как уже заснул я на своем месте пьяным сном...

Утром просыпаюсь от бабьего визга, плача. Открыл глаза — солнце слепит, сидит Наталья на кровати, простоволосая, в одной сорочке, и голосит. Чего, думаю, ей реветь, сама ведь приглашала.

«О чем слезы льешь, Натальюшка?»

«Да как же мне не плакать... Совсем я на свете сирота. Одна матушка у меня параличная была, только так вот рукой делать могла,— и показывает ночной, значит, знак рукой — дерг-дерг.— А сегодня ночью и совсем скончалась... Я без просыпу спала, а она уже похолодела. Смотри...»

Ну тут у меня кошки заскребли. Молчу, а сам думаю: я тебя сиротой сделал, я тебя из сиротства и вырву...

«Стань, говорю, Наташа, моей женой».

Налюбоваться ею не мог, готов был за пазушкой ее носить,— такая мне любовь пришла. Вот. Тем дело и кончилось. И пошла у нас жизнь. Долго жили-тужили, а вот лонись шестьсот трудодней сняли. В этом больше будет.

В горнице наступило молчание... И опять его прервал Петр:

— Наталья сама об этом не знала до сего дня. Молчал я. И почему это на меня нашло поделиться с вами таким грехом...

Наталья, потупившись, молчала с минуту, теребя бахрому скатерти. Леша вкусно причмокивал — чай пил вприкуску.

НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ

Наталья резко поднялась с места и пошла ставить горшки в печь. Потом, возвратясь к столу, понизив голос, строго сказала:

— Каку пустошь, каку пустошь рассказывает! Ведь люди добрые тебе, старый хрен, могут еще и поверить... Не так было. Соврал, старый пес...— И она взглянула на Петра Петровича.— Как было, так было, все тебе расскажу...

Петра годов на пять старше меня, ну, а росли мы по соседству вместе. С детских игр друг дружку выбирали. Он мне заступником был. Когда ногу там, руку досажу себе — утешал. Так... И сговорились мы, значит, жениться. По бедначеству нашему о приданом и не разговаривали. Но сватьи, и песни, и байну [1], и причитания, и пир, как полагается, устроили. Родители у Зайкова одолжились. Так. А мать у меня и в самом деле параличная была, только много позднее. Да! Все как у добрых людей: и спели, что положено, и в церкву съездили, поп кадилом помахал. Пир горой. А я сижу и вся дрожу. Трепещу. Молоденькая, семнадцати не было. Разные рассказы

[1] Б а й н а — баня (*местное*).

бабы сказывали. Страшно! Робкая я была. Что я знаю? Всего боюсь. А Петра в святом углу под образами сидит. И тоже немного пьет... Ну, думаю, один раз смерть бывает. А сама страшусь.

Вот гости дружно встают... Сватьи и крестный под руки меня и Петра берут, к кровати во вторую горницу ведут. За полог кладут, вдвоем оставляют. Замкнули дверь на ключ. Сразу у нас тихо стало, а там, за стеною, слышим, веселие и того пуще вспыхнуло. Как будто керосином в костер прыснули.

Вижу, Петр так серьезно смотрит на меня. Я и заплакала. Потому у нас раньше такой закон был: наутро сватья всем гостям простыню из-под новобрачных вытаскивала и показывала... Если руда была, невесте, то есть молодой,— почет и уважение, жениху, молодому то есть,— всеобщее поздравление. А нет руды на простыне, на всю жизнь позор женщине, а мужику опять-таки всеобщее сожаление.

Вот он на меня серьезно смотрит, а я плачу... Так...

«Любишь меня, Наталья?» — спрашивает.

Я сквозь слезы головой только мотнула — да, значит.

Он молчит... Потом ничего не сказал, только сказал:

«Не плачь, не бойся, ничего делать не буду. Привыкай ко мне сначала».

А я опять сквозь слезы:

«Ославят меня, Петенька, на всю волость».

«Не бойся, не ославят».

А сам обутки скинул, штанину на левой ноге закатал, большой нож со стола взял...

Я и слов решилась. Дрожу вся... Что, думаю, делать будет. А он ко мне — сама не разберу, ласково или зло молвит:

«Скорей стели простыню...»

А я ни рукой, ни ногой не могу шевельнуть. Достал тогда сам Петр простыню, ставит на нее свою ногу и чирк ножом по своему телу, по ноге то есть...

Кровь как закапает, струей как побежит на белый плат... А он не унимает. Тут-то я все и поняла... Плачу от радости, хочу к нему на шею броситься — обнимать, целовать, а саму ноги не держат.

Он мне и молвит:

«Ну, милая Наташенька, все у нас в порядке... Полежимка теперь, отдохнем спокойно».

Так... Тут я к нему всей душой и припала.

Наутро размахнулись двери.

Петр сватьям рудяную простыню подает... Ну, опять песни, вино, кричат, поздравляют, целуют, бородами колют. Сватья, как положено, говорит:

«С вечера — девка, с полуночи — молодушка, а на заре — хозяюшка».

Матушке моей и мне уваженье. Петру поздравленье несут. Вот... Через неделю только сделались. Так... А небось больно ногу хватил?

— И по сей день след остался,— смущенно махнул рукою Петр.

— Вот как было, а он для красного слова ишь какой поклеп на себя возвел.

— Ну и здорово! — крикнул Леша и стукнул стаканом о блюдечко.— Молодцы, старики!

КУМ ИМПЕРАТОРА

Помыслы Леши долго не задерживались на одном.

— Вот ты о кулаке Зайкове обмолвился. Что это за птица была, как ее ликвидировали?

— А ты не знаешь? — изумилась Наталья.— Я думаю, почитай, вся наша сторона о нем знает.

— Да это императорский кум.

Петр обрадовался возможности перевести разговор на другую тему.

— Когда у Зайкова Василия Ивановича народился сын, он тогда уже три почтовые станции держал, шняку в Белом море и трактир на тракте да членом Союза русского народа имени Михаила-архангела состоял. Ну, родился у него сын. Он на телеграф смотался.

Телеграмму в Царское Село:

Его императорскому величию государю императору Николаю Александровичу Второму. Точка. Родился сын. Точка. Прошу быть восприемником святого крещенья.

Подпись: член Союза Михаила-архангела купец крестьянин Зайков.

Притом оплаченный ответ. Так...

Через три дня ответ:

Крестное отцовство принимаю. Точка. Лично прибыть не могу. Точка. Высылаю крестнику полтораста рублей. Точка. Николай Второй. Точка.

Василий Иванович с этой телеграммой чуть ли не всю губернию обскакал... Гордился. Так...

Он и такую штуку вытворял. Поедет на нижегородскую ярмарку или там на другую. До железной дороги больше чем полтыщи верст. Он вперед себя телеграмму всем становым приставам посылал:

Выехал. Встречайте. Зайков.

Становые сначала и придумать не могли, кто такие депеши посылает. Должно быть, высокое начальство. Сразу, моментально всполошатся. Дороги приготовят... Подметут. Мостки проверят, чтобы все в самый раз, и при полном параде стоят у околицы — ждут. А тут Зайков на тройке — гривы лошадиные в лентах — летит. Увидит он народ со становым, полтинник швырнет в зубы. Те столбами стоят и ругаться позабыли.

— А когда англичане да американцы у нас стояли, такое с ним случилось,— заговорила Наталья.— Идут аглицкие солдаты по улочке, а Зайков окно свое распахнул, из окна выглядывает. Увидел их, рукою приглашает — зайдите, мол. Словом — милости просим. Добро пожаловать!

Они его и послушались. Размахнули двери. В горницу вошли. Так... Пусто. Никакого Зайкова нет и в помине. Подождали, может, хозяин за закуской побежал. Нет. Всю избу обыскали, на чердак даже лазали. Словно корова языком слизнула — нет и нет Зайкова. Обозлились они. Выругались по-своему, решили: после придем насмешника пощупать — не красный ли. И ушли. Делать нечего, а Зайков все время в бочке был. Перед окном стояла большая бочка сорокаведерная, водой до краев полна. Он, как англичан пригласил, сразу же и запугался, как бы чего не вышло, или не знаю чего уж ему в голову пришло,— и сиганул из окна в бочку. Там все время и просидел, пока у него гости были. Высунет голову, вздохнет и снова нырнет. Пересидел. А когда наши пришли, стал он доказывать, что от империалистов пострадал: «Чуть в воде не захлебнулся и болезни разные в бочке получил».

Ну, а я в глаза ему: «А кто «добро пожаловать» говорил? «Милости просим»?» Все с нашего крыльца явственно. И если к тебе пристала котора из двенадцати сестер там — веснуха или знобиха, коркота ли, томика, сухота, искрепа, свороба черная, огненная, синяя, зеленая,— так на капиталистов заграничных сваливать нечего. Так тебе и надо: столько неприятностей людям сделал из-за своего кармана.

О купце Зайкове уже в Петрозаводске узнал я следующее. В тысяча девятьсот двадцать первом году он попал на съезд Советов Карелии и произнес приветственную речь от имени своей деревни. Он предложил выкачать досуха Белое море, чтобы удивить весь мир и чтобы никакие неприятельские суда не могли подойти к побережью. После этой речи он был отправлен на психиатрическую экспертизу в петрозаводскую больницу, где и получил справку, много помогшую ему в позднейших плутнях.

КУПЕЦ В. И. ЗАЙКОВ

— И то сказать, оборотистый, черт, был,— снова повел речь Петр.— Сначала думали, Советская власть на нем крест поставит. Да нет, вывернулся, столько лет юлил еще. Думал обойти Советскую власть, ну, а в тридцать втором выяснили его, к ногтю взяли. Но он еще перед концом людей подурачил...

— Про себя говорит,— вставила Наталья.— Уж я ему так и эдак говорила: иди в колхоз. Хуже не будет, а лучше может выйти. Так нет, уважал Зайкова. Все «Василий Иванович да Василий Иванович». На море убег из деревни. Я в артель на свой страх вступила. Всю работу по хозяйству вытянула — полегчало. Так и так, письмо пишу, окрепли мы. Приезжай, муженек... И много таких мужиков было — не скажите...

— Так не об этом речь сейчас,— недовольно нахмурился Петр,— дураками были, дураков и били. Я про художества Зайкова в двадцать пятом году расскажу.

В городе Архангельском большой купец был Вавила Ильич Зайков. Василий Иванович к нему и покатил на тройке по тракту с женой своей Анной Тимофеевной. Он всегда с женой всюду совался. Приехали.

«Позвольте познакомиться: ялгубский купец Василий Иванович Зайков, вот моя законная. Однофамильцы...»

«Как же, как же,— слыхал. Приятно познакомиться. Пожалуйте с дороги к столу».

Сидят они, чай распивают, ложечками звякают. Друг на друга удивляются.

«Дозвольте мне,— спрашивает Василий Иванович,— в ознаменование такой счастливой случайности со своей супругой на вашем балконе сняться. Фотографироваться то есть».

«Почему нельзя? Можно».

Вот вышел Василий Иванович со своей законной на балкончик. Фотограф — чик-чик, и через час карточку несет...

Осушили самовар, другой. За ручку попрощались однофамильцы и половины ихние, и покатил Василий Иванович, не заезжая домой, прямо в Питер. А надо тебе сказать, мил друг, что у архангельского-то Зайкова Вавилы Ильича дом был трехэтажный, каменный, старой постройки, недавно крашенный, под железную крышу подведенный. И через весь дом по главному лицу-то, под балкончиком, огромная вывеска:

ТОРГОВЛЯ
КУПЦА В. И. ЗАЙКОВА
СОБСТВЕННЫЙ ДОМ

Да... И над этой вывеской, в этом белокаменном доме снялся с женой своей Василий Иванович... Приходит он в Питер в городскую там банку или как ее иначе прозывают — не знаю. И просит там товару — не знаю, как по-русски, а по-карельски — в кредит называют. Тогда товарооборотность поощрялась. Большие деньги были от власти на это дело отпущены. А Зайков про это знал. Ну, там ему и говорят: кроме ваших расписок, то есть векселей, какую обеспеченность сумеете дать?

Он обижается недоверию и вытаскивает из бумажника полный портрет дома с вывеской.

«Вот, говорит, дом у меня каменный, шестнадцать окон на улицу. Торговля большая. Вот я сам, вот моя подруга жизни Анна Тимофеевна. Довольно стыдно мне от вас такие слова слышать, когда сами обстоятельства за меня говорят. Да и товар от вас я забираю не ахти какой дефицитный — музыкальность одна: балалайки, гармоники, граммофоны, мандолины и даже барабан... И всего-то один вагон».

Ну ладно. Перед карточкой не устояли, да и документ у него — патент — на имя купца Зайкова был. Вот дали ему в кредит вагон музыкальности. Привез он в наши места и по дешевке живо по окрестным деревням сбагрил. Нажился отчаянно. У нас в избе-читальне музыкальность его привоза. Он мне граммофон навязывал, да я не взял. Граммофон для вдового попа выдуман. Заскучает поп без жены, вот и ставит.

Прошло время да еще время.

Из Питера одна за другой записки полетели: возвращай, мол, Зайков, деньги за музыкальность. Он молчит. Только ценное, что было, по родственникам на время в соседние дерев-

ни роздал. Деньги, какие были, в горшке на чужом дворе закопал. Приезжает из города комиссия, а он в пустом доме хозяйствует. Бедно одет.

«Здравствуйте, говорит».

«Так и так — давай деньги».

«Да нет ничего. Сами зрите, в прах расторговался, нечем сдачи давать».

«Почему так?»

«В долг мужичкам давал, расписки не брал... А они обманули. Кто сколько хочет, столько и платит. А кто и признавать не хочет...»

А нет таких у нас законов, чтобы сажать за долги в тюрьму. Зайков это и пользует.

«Чтобы по-любовному дело кончить, тысячу вам хоть из-под земли достану, а не хотите — подавайте в суд. Только вперед говорю — меньше возьмете, потому что петрозаводская больница меня еще в двадцать втором году психическим сделала».

И верно, такая бумага у него была.

Ну, тоже не дураки приехали. Тысяча лучше, чем ничего. Тем дело и кончилось... Только, может, то была последняя его вывертка. Да что я тебе все про Василия Ивановича да про Зайкова рассказываю. Тебе песни нужны? Вот за Степкой послать бы — он песне корень.

— В городе он,— сказала Наталья.— Налить вам еще чайку? — уважительно спросила она у шофера; ко мне обращалась она на «ты».

— Почитай, все песни у нас с голодухи подохли. Теперь новые подымаются, да уж другие. Ну, затеплю, что ли...

ВРЕМЯ ЛИ ВРАТЬ?

Только не пришлось Петру Петровичу в этот раз сказывать ни старые, ни новые песни. Дверь распахнулась, и, задыхаясь от бега, раскрасневшийся, отирая пот со лба, в избу вскочил Антон Ильич Рыков, член сельсовета. За ним протиснулись еще парни и девушки; застряли у дверей, увидя посторонних.

— Это безобразие! Куда это годится — людей обманывать!.. К чертовой матери за такие слова!..

— А что? — спокойно спросил, вставая из-за стола, Петр.

— Да никаких лошадей в яровом нет и не бывало...—

И снова вспыхнул.— Людей понапрасну гоняешь... Да я тебя из колхоза вытравлю!

— Ну ладно, не обманывай, не в церкви. Не выгонишь. А зачем лошадям-то в яровых быть? — с ледяным спокойствием произнес Петр.

— Так ведь ты сам мне это объявил.— И Антон Ильич с размаху сел на лавку и стал обмахиваться платком.

— Эх! — уже укоризненно сказал Петр.— Сам ведь просил меня: «Петр, соври что-нибудь». Я тебе и услужил...

Тут Леша не выдержал, фыркнул. Чай брызнул у него из рта во все стороны.

— Я свидетель, Антон Ильич,— сказал я,— вы просили Петра Петровича: «Петр, соври что-нибудь». Он и сказал: «Время ли врать, когда лошади в яровом».

Тут уже настала очередь смеяться тем парням и девушкам, которые прибежали вместе с сельсоветчиком звать Петра на суд, на расправу... Пришлось и члену сельсовета улыбнуться.

— Да разве так можно... У меня ноги ведь нездоровы, не мальчик я, чтобы так гонять!

— И я не мальчик,— резонно заметил Петр Петрович,— чтобы при посторонних за вруна меня выставлять. Набегался, говоришь, так садись чаевать с нами.

ИВАНОВСКИЕ ОСТРОВА

— Один раз меня так здорово обманули, что думал, я больше никогда не втяпаюсь,— уже отдышавшись, сказал Антон Ильич.— А вот поди ж ты, опять как кур во щи влетел, даже перья все взопрели.

— Да никто обманывать не станет, если сам не ввяжешься,— возразила Наталья.

— Ну, я и тогда сам ввязался,— откровенно признался кооператор.— Дело прошлое. Ногу жаль только и костюм, а так даже и приятно вспомнить.

— Так ты и вспомни,— сказал Леша в то время, как Наталья наливала чай Антону Ильичу.

— Вернулся я с петроградского фронта после ранения в трехмесячный отпуск на поправку. Живу день, другой, третий — отдышался. Самый чистый, парадный костюм, еще до царской мобилизации купленный, надел на себя и выхожу на набережную прогуляться. Людей посмотреть, себя показать.

А часы у меня были испорчены. Очень рано встал я. На набережной пусто. Словно пулемет прошелся. Только в отдалении вижу людское скопление у самой пристани... Подхожу. Много ребят знакомых — со станции, с Онежского завода. Обрадовался. Давно не видались... Про фронт я им рассказал, как Питер отстояли. Про штабс-капитана Дзевалтовского. Между прочим, который час узнаю. Точное время...

«Я, говорю, по причине испорченных часов и отпуска так рано по набережной шатаюсь, а ты чего, Ваня, делаешь, да и остальные ребята?»

Он немного жмется,— только мне это ни к чему было,— да и говорит:

«В экскурсию мы все собрались».

Другой приятель обрадовался и добавляет:

«Сегодня день субботний, так на два денька решили на Ивановские острова закатиться. Погулять там... Всей экскурсией».

Смотрю, люди есть солидные, семейные, и опять мне совершенно ни к чему, как это они без жен своих гулять едут. Буквально ни одной женщины. В экскурсию! Это даже смешно... Ну, перекинулись мы еще одним, другим словом, а тут главный их и командует:

«Становись!»

Все выстроились в две шеренги по росту.

«По порядку номеров рассчитайся!»

Меня словно бес какой попутал. Парни, думаю, свои, давно не виделись, до Ивановских островов рукой подать... Смотаюсь, думаю, со всей этой экскурсией... Жалко только новенького костюма, ну да куда ни шло.

«Можно, спрашиваю, с левого фланга пристать? Охота мне с экскурсией на Ивановские острова прогуляться».

Распорядитель огляделся — нет ли кого посторонних на набережной, а мне опять ни к чему...

«Становись,— говорит.— Если добиваешься, добровольцем поезжай».

Я и стал... Ну, пароход — «Анохиным» сейчас прозывается — отвалил от пристани.

Люблю, знаете, я эту природу. Смотришь на зеленые крутые берега, небо чистое, вода гладкая, за кормой чайки — петь хочется... Но ребята все серьезны. А друг мой подходит и говорит:

«Командир приказал тебе явиться к нему».

«Зачем звал?» — спрашиваю.

«Какая у тебя военная специальность?»

«Пулеметчик,— отвечаю.— А чего?»

«А вот чего. Не экскурсия мы, а десант в тыл белым. Вот кто мы. Почему экскурсией назвались? Военная хитрость. Почему рано уехали? Чтобы никто не увидал. Почему тебя с собой захватили? Чтобы ты не разболтал. Да и к тому же парень ты свой. Пулеметчик нам не в обузу. На отдых после десанта пойдешь».

Вот, думаю, моя поправка как в прорубь ухнула.

«А где же оружие, товарищ командир?» — спрашиваю.

«Иди на палубу».

Вышел я на палубу, а там из трюма парни уже винтовки повытаскивали, начищают... Тут-то все мне ясно стало: и насчет женщин, которых не было, и все остальное.

Взялся я за свой пулемет и так от него десять месяцев не отходил. Как припаянный был. Вот моя побывка домой на излечение! Ну, а когда на ноге жилы подрубили — по пустякову делу,— тогда уж навсегда в тыл списался.

— А как же ты по обмундированию, по форме не догадался, что грузится воинская часть? — полюбопытствовал Леша.

Антон Ильич снисходительно улыбнулся.

— Ну чему вас учат в школе, если не знаешь, что в полной бесформенности мы воевали. Кто что имел, то и носил. Бывало, русские сапоги гармонией с лаптем простым, австрийский ботинок с босой ногой в строю рядом равнение держат... Когда до белых английских и сербских складов дорвались, тогда уж форму и обмундирование получили.

— Ну, а как с десантом вышло дело?

— Раз пошли,— значит, вышло... Мы напрасно не ходили. Или выйдет, или смерть. А я перед тобой живой сижу. Погнали мы белых. Операцию выполнили. Потом уж, спустя время, разбили нас. И мы на мелкие группки по лесам разошлись. Партизанами. В моей группе семеро отборнейших ребят было: трое — рабочий класс, четверо — крестьянство. Бедняки. В тылу мы действовали. От всего российского пролетариата оторвались.

Остановили однажды днем обоз в двенадцать подвод. Еду, какую могли, себе забрали, патронами нагрузились, а остальное опружили [1] в речку с моста. Ушли в лес, а обоз крестьянский обратно в штаб. Конечно, без двоих, без конвоиров то

---

[1] Опружить — опрокинуть.

есть. Там тревога... Подъем. Подозревали, что мы на Наволоке в лесу живем. Там настоящая тайбола, на этом мысу, была. А вот про то, что у нас пулемет, они и не знали и сколько нас, тоже не знали. Думали, нас много.

Как-то утром сижу я на бережку после завтрака, портянки, кажется, на камнях раскладывал, сушил. И вдруг вижу — идут три больших карбаса. Вгляделся. Битком людьми набиты. Как патронташ патронами. Скликал я живо свою команду. Пулемет в гнездо. Камни были дерном прикрыты — черта с два разглядишь!.. Винтовочки верные в руки. Так... Сами за камни между сосен запрятались.

«Держись,— говорю ребятам,— покрепче!»

Но им говорить ничего не надо было. В партизаны пошли, дак уж...

Ну вот, приближаются карбасы. Можно сосчитать — по пятнадцать голов в посудине, не меньше. Все в английской полной робе... Штиль полный был... По всей губе гладь что зеркало. Так. Паруса не действуют. Спущены. Веслами загребают. А мы молчим.

Скоро и разговор их слышен стал.

А мы молчим.

Скоро и голоса отдельные различать можно, слова иностранного капитала.

А мы молчим.

Скоро уж и цвет глаз у каждого виден стал.

«Ну, командую, крой, ребята, бога нет, царя скинули, я за все в ответе!»

Дали мы полный залп по ним. Они всполошились. Кое-кого, значит, пробуравили у них. Качнулись карбасы чуть ли не вверх дном.

Они за винтовки схватились.

А мы молчим.

Они стрелять начали.

Да разве нас достанешь, когда нас не увидать даже. Они костер наш в суматохе покинутый заметили и садят туда. Я раньше хотел Петьку изругать, зачем головешки не раскидал. Теперь, думаю, благодарить надо. Они бьют, а мы молчим. Ну, обрадовались они — и за весла. Но как только веслами взмахнули — мы опять залп. Опять у них паника. Галдеж. Один карбас чуть ли не зачерпнул воды. И уже метров двадцать до берега. Чего доброго, думаю, про панику свою забудут и до берега догребут или вплавь бросятся. Нас ведь всего семь. И тут из пулемета своего загрохотал. Трах-тах-тах, трах-

тах-тах. Дам очередь и замолчу... Эхо у нас замечательное — по лесу, по берегу от всех камней отдает. Отвечает: трах-тах-тах да трах-тах-тах. Ну и мнится, что со всех сторон пулеметы бьют. У интервентов, конечно, еще больше смущение. Тем более и командир их повалился на дно. Там один подхалим был, поднимает его, поддерживает. А я новую большую пулеметную очередь дал, и ребята мои уже из-за всех камней без команды почем зря бьют. И метко. Здорово.

Патрон все-таки жалко впустую истратить.

Вижу я — весла от карбасов уже по воде уплывают. Они уже, англичане то есть, винтовки из рук выпустили. Руки вверх все подняли. Горе ты мое: вижу, сдаются. Нет у них партизанской выучки. Ребята мои поднятые руки увидали,— даже платок кто-то поднял, размахивает,— и перестали стрелять.

А что мне прикажете делать? Как с ними переговоры вести, когда языка нет? Эх, горе ты мое, сдаются! Как мне их в плен брать, когда у самого шесть человек? Чем их кормить, когда у самих вся еда за плечами? Куда их спрятать, когда сами, как зайцы на лежке, даже берлог, нор своих, и то не имеем.

— Ну и что ж? — не вытерпел Леша.

— Никого не осталось. А что ж делать? Полезли — получайте. Так и на будущее время знайте! Поймай они нас, мы бы так дешево, простой смертью, не отделались. Когда пошел, то пошел — и только! Одно жаль — костюма нового, от костюма одни только швы остались. Ну, довольно, всем достанется — всяк растянется. Так пусть белый сначала ляжет. А мы еще поживем вволю... Так, что ли, или не так?

— Так,— сказал Петр Петрович.

— Ах, так! Ну, так... так так, перетакивать не будем.

ПЕСНИ, СОБРАННЫЕ РЫБНИКОВЫМ

— Петр Петрович, пора бы по-обещанному песенку-другую сказать,— попросил я.

— Ну, нет,— решительно ответил Петр.— Очень меня своим выговором товарищ Рыков расстроил: совсем с голоса я спал. Не могу петь.

Тут я, желая возможно скорее записать песни, нечаянно обидел Петра Петровича... Впрочем, это мне же принесло и пользу.

— Откровенно говоря, Петр Петрович,— сказал я,— меня сейчас не столько напев интересует и ваш голос, сколько сами слова. Я слова одни хочу записать. Так что если голос пропал — это безразлично.

И я вытащил тетрадь.

Но Петр Петрович обиделся... Лицо его сразу сделалось суше, и борода его показалась мне длиннее и гуще.

— Ах так, пение неинтересно. Слова только. Дак ведь как можно слово без голоса вытащить? Записать хочешь? — заворчал он.— Так зачем же трудиться и говорить?.. Просто возьми эти слова и запиши себе...

Он встал, подошел к красному углу, где на фоне выцветших обоев темнели квадраты, в свое время заслоненные от солнца складнем. Сейчас там стояла небольшая шкатулка. В ней хранились документы, трудодни, может быть деньги. Он раскрыл эту шкатулку, осторожно вытащил оттуда несколько листов бумаги, бережно разгладил их и подал мне.

— На, списывай себе слова... сколько влезет.

Я осторожно взял листки. Я думал, что мне попались, тайные раньше, а сейчас и совсем пропавшие, сектантские записи песен. Но увы... Это были вырванные и уже истрепанные листки из книги, напечатанной, правда, по старой орфографии, но гражданским шрифтом. Это были стихи-песни... но... из книг Рыбникова. Если напрячь память, то, пожалуй, даже и вспомню, в котором из трех томов напечатаны эти строки. Разочарование мое увидели все.

— Чего скорбишь-то? — уже снисходительно, отложив свою обиду, проговорил Петр Петрович.— Старые песни я по этим листкам заветным и выучил. Их и взял на свой голос. Эти листки у меня заветные, непродажные...

Теперь я уже не захотел обидеть Петра Петровича, объявив, что у меня дома стоят на полке три тома Рыбникова с этими заветными листками, да еще Гильфердин, и Ончуков, и Шейн, и Соколовы... Огорченный, я теперь был доволен, что не потратил целый день на то, чтобы с глупым видом сидеть и записывать песни в свои тетради. Каким бы простаком оказался я, если бы, записав, сверил с книгой и потом похвастался бы Ирине Валериановне Карнауховой и другим товарищам о том, что в глубине Карелии бытуют еще песни, сохранившиеся со времени записей Рыбникова. Сохранились — и все тут...

Видя мое смущение, Петр Петрович сказал:

— Из новых я мало знаю, молодежь спроси, она тебе такие споет:

Сеял репку — не взошла,
Сватал девку — не пошла.
Пересею — прорастет,
Пересватаю — пойдет.

Или такую:

Наше поле каменисто,
Ваше каменистее,
Ваши девки коммунистки,
Наши коммунистее.

СИБИРЯК И КАНАДЕЦ

В горницу вошли Вильби и Ильбаев.

— Ну, как дела?

Ильбаев удовлетворенно кивнул головой.

— Все в порядке... Места есть... Осталось с обществом договориться.

— А у меня неудача,— сказал Вильби и сел рядом со мной.— Не застал Федора Кутасова.

— Зачем он тебе? — промолвила Наталья.— Ты бы меня спросил, сразу бы сказала. С женой в район уехали, завтра будут.

— Вот зачем... Он у вас лесоруб... хороший. Одиннадцать фестметров дает в день. Мои американцы двадцать дают. Хочу взять Федора Кутасова в леспромхоз к себе: опыт американский передать. Пусть берет... Социалистическое соревнование. Пусть все двадцать фестметров дает.

— Да, Федор у нас почетные грамоты имеет,— торжествующе сказал Антон Ильич.— Он свой опыт канадцам передаст, пусть тоже совершенствуют.

— Я и говорю, социалистическое соревнование,— подтвердил Вильби.

Так вот, значит, зачем приехал он сюда.

Усвоить канадские методы — это значит поднять производительность вдвое.... Уменьшить число рабочих в лесу. А у нас не хватает людей. Отхожие промыслы превратить в профессию...

Мне вспомнилась встреча в Матроссах, на показательном лесозаготовительном пункте. Молодой, выбритый, розовощекий канадский парень в шелковой трикотажной рубахе. Он положил гитару на койку, взял свой топор и лучковую пилу с волчьим зубом и вышел из барака в лес. И рядом с ним шел рослый, мощный сибиряк. Мужик-борода. Таких рисовали народники, когда хотели изобразить мужицкую исконную стихийную силу. Не то Микула Селянинович, не то Илья Муромец. Он тоже шел со своим «струментом», сноровкой, усвоенной еще от дедов. А деды всю жизнь лесовали. Шел он в лес с хитрой уверенностью в своей непобедимости. Еще бы! Один из лучших сибирских ударников-лесорубов. Когда он увидел своего соперника, ему стало смешно. Такому бы с портфелем ходить, на беседах девкам головы кружить, а не в лесу дерево валить. И вот оба они взялись за свои инструменты. Сибиряк сразу же вошел в работу, и казалось — кто может сравниться с этой неодолимой силой?

Канадец входил в работу осторожно. Он сначала расчистил свое рабочее место от лишней лесной мелкоты. Решил, в какую сторону валить, затем принялся за дело.

В конце дня обмерили друг у друга... Сами... В таком деле главное доверие своим рукам и глазам. Получилось у канадца восемнадцать фестметров, у сибиряка — восемь. Перемерили. Цифры сходятся. Сибиряк про себя усмехнулся снова. Думает: поднатужился, значит, паренек. На один день, может, и потянет. А вот ты регулярно, изо дня в день, восемь давай.

На другой день, когда промерили, сибиряк уже удивился. Цифры остались на своих местах. На третий — он поднажал и дал девять фестметров. У канадца по-прежнему оставалось восемнадцать. На четвертый день сибиряк со злости до десяти дошел. У канадца было восемнадцать. После работы сибиряк валился без задних ног на койку. А канадец на гитаре тренькал... Что-то под нос себе напевал и брился... Сибиряк начинал ненавидеть этого беспечного с виду юношу, канадского парня. Про себя ругался, вместо слова «канадец» говорил «канальец». Но все же, когда после двух дней десятиметровой выработки снова пришлось на восемь и даже семь переходить (жила тонка оказалась), а у канадца по-прежнему восемнадцать фестметров было,— сибиряк почувствовал к нему уважение. Это к молодому, розовому, как поросенок, парню, чистенькому, как будто не на работу в лес, а на свадьбу собрался.

На двенадцатый день сибиряк сдался. Пришел к заведующему и сказал ему:

— Ладно. Признаю. Ваша пила лучше и топор тоже. Отцы наши чего-то недодумали. Согласен...

Выдали ему новый, по канадским образцам сделанный инструмент, и довел он свою ежедневную выработку до двенадцати фестметров. А тогда и в остальном на выучку к канадцам пошел.

Вот тебе и стихийная сила... Сдружились они с канадцем... Под руку на собрание шли.

— Мой старший брат в американских частях здесь, на севере, был,— говорил канадец, и я переводил его слова сибиряку.— Потом он отказался стрелять в красных... Обратно домой увезли. А я сюда приехал. Теперь здесь мой дом.

— А я в партизанах с разными иностранными войсками дрался. Били мы их. Учись по-нашему говорить... я тебе многое расскажу. Я тебя политике научу. Своих белых поедешь бить.

А я переводил слова сибиряка канадцу.

Теперь сибиряк у себя на родине знатный человек. А Вильби сюда приехал за лучшим здешним лесорубом, чтоб таким же способом и в этот район внедрить канадские усовершенствованные методы валки, разделки и вывозки леса...

ИВАН НЕГРАМОТНЫЙ

— А чтобы Петр на себя и на меня напраслину не возводил, я тебе про его брата Ивана расскажу,— перебила мои мысли Наталья.— Иван в красных партизанах ходил. По лесам. По тайболе. С охотничьим медвежьим ружьем. Он совсем неграмотным был. Сами знаете, жили мы в недостаточном положении при старом времени. Куда же подпаску в школу без бахил бегать. А когда Иван в партизанах ходил, Мотя ему письма отписывала обо всем, что в деревне деется. И про солдат чужих там, и про домашнее положение. Как она там ухитрялась пересылать ему,— может, под камень в лесу, может, в дупло прятала,— бог знает, только все ее записки достигали Ивана. А он неграмотный был. Он товарищу своему Кузьме письма эти давал читать. Кузьма сидел на пне и вслух ему все Мотины письма читал — и раз, и другой, и

третий. Иван-то сам читать не умел. И очень ему не хотелось, чтобы кто-нибудь про его домашние обстоятельства узнавал. Не хотелось чужого на телеге в свою душу пускать. Ну так, когда Кузьма его письмо вслух громко читал, он, Иван то есть, чтобы Кузьма сам ничего не узнал, уши ему пальцами затыкал...

Все засмеялись, а Петр Петрович смутился за брата.

— Это тебе за то, что ты на мою сестру Мотю всегда поклеп возводишь. И совсем Мотя не такая дурная, как ты рассказываешь. Она сейчас на ферме работает. Так ее коровы первыми по району идут. Шутка ли — больше двух тысяч литров в год доят... Вот!

— Правильно,— вмешался в разговор Антон Ильич,— не та уж Мотя, что двенадцать лет назад. Ударница, но до своего потолка еще не дошла, есть куда расти. Скажем факт — была она на курсах животноводов в тридцать третьем году три месяца. Но вот — тоже факт. Заболел у нас на скотном дворе племенной теленок, а в деревне как раз телячий врач был, ветеринар. Так твоя Мотя теленка к нему не понесла. Я спрашиваю — почему? А она отвечает: «Теленок не от простуды болен, не из-за плохого ухода — я ночей недосыпаю, дни днюю здесь. А теленок потому заболел, говорит, что на двор зашла молодая скотница, не сполоснувшая после сна свое лицо». Так... «И теперь, говорит, не фельдшер нужен, а сведущий человек». Колдун, наверно. «Я, говорит, нарочно умывальник у ворот поставила и полотенце завела. Но если не слушаются, дак уж...» Вот и разговаривай. А во всем остальном вполне сознательная женщина...

Смущение Петра Петровича тем временем уже прошло, и он тоже выступил в защиту своего брата.

— Не так уж Иван и глуп, как ты, Наталья, его выставляешь.

— Да куда уж глуп — умнее тебя. Ты еще под Зайковым ходил, от коллективизации на Мурман покрутился за рыбой, а он здесь хозяйствовал. Дела ворочал... Вот ты глупее и вышел.

— Дак уж, Наталья...— И Петр развел руками.— Это только теперь пошло — артельная каша гуще кипит, а тогда говорили: корову продам, лошадь продам, кошку за хвост, да и пойду в колхоз. Это теперь сразу нахлынуло на нас будущее, так все и ясно, а тогда...

— Да вот Ивану тогда ясно было.

— Правильно: и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Так, значит, вы и рыбачить умеете?

— Чего он у меня только не умеет,— переложила гнев на милость Наталья.— Он и слесарь, и маляр. Не скажу, чтоб он был художник, но настолько рука его славная, что он может и человека нарисовать. Все праздничные дуги в колхозе его письмом покрыты. Розы райские, птицы сирины, васильки и колосья — все умеет. Раньше даже лики на старых иконах подновлял, но правильно теперь поется:

Раньше были времена,
А теперь законы.
Даже стара попадья
Пропила иконы.

— Известно, попадья умрет — поп игумном, поп умрет — попадья по гумнам,— засмеялся Антон Ильич.

ЗУЕК И НОСОВЩИК

— Да, не один год я на хозяина покручивался,— уважительно сказал Петр Петрович.— Как раньше трудились? С молодых лет до дикой старости! Я зуйком начинал и до носовщика произошел. Знаешь, что такое зуй? Насмешка одна над мальчишками. Птица такая морская, подачкой от улова пользуется... Ну, так и мальчишка: никакого пая в промысле нет — будь счастлив всякой подачкой. Но зуй-птица совсем не работает, а зуй-мальчишка еду для рыбаков готовит, уху там, кашу, чай. Чистоту по стану блюдет, охраняет весь скарб и снасть. Отвивает и просушивает яруса, которые с океана привозят. И всегда он на стану у старших рыбаков выполняет всякие послуги. Порою хоть вниз головой в воду. А без этого промышленником не станешь. Сейчас, говорят, другой порядок насчет зуйков пошел, ученичество вроде... Ну, дай бог этим мальчикам лучше нашего жизнь прожить! Да ты, пожалуй, не знаешь, что такое и носовщик? А я вам скажу: без носовщика никакой хозяин на промысел, особенно сельдяной, не пойдет. От носовщика весь улов зависит. Стоит он, значит, с шестом на носу. И шестом щупает: юр, сельдяной косяк. Тонкий конец шеста в море. Шест мелкую, рассыпчатую дробь выбивает, значит, идет сельдь редкая. Частая дробь — сельди много, и идет она впереди. Гнаться за ней надо. По головам, значит, шест бьет. Под шестом легкий ше-

лест — рыба навстречу идет, шест ее по хвостам треплет. Шест с трудом продвигается,— значит, рыба идет вкось воды, шест ее по тулову треплет. И на всякий случай свой обычай, своя ухватка. От зуйков до носовщика прошел. Потом в извоз ударился. Потом Мурманку строил, а в коллективизацию опять Зайков попутал... ушел я на море. Умен, казалось, он — всех вокруг пальца обвести мог. Самого себя надуть и то старался. Помню, долгий штиль был. Вторые сутки нет ветра. Тогда подошел Зайков наш к мачте, начал царапать ее ногтями своими и стал с присвистом звать: «Беля, беля, беля, белолапко!»

— Ну и что? — спросил Леша.

— Да на этот раз не помогло. А другие разы, рыбаки говорят, и помогает. Сначала легкий ветерок повеет, а потом и сильный подымется, паруса ставить можно.

ОСТРОВ КИЛЬДИН

Там мне и рассказали историю, старую историю, как остров Кильдин произошел.

Знаешь остров Кильдин, у самого входа в Кольскую губу? Чуть-чуть не запирает ее...

Я вспомнил моторный бот, моросящий дождь, в сумерках рассвета полупьяную команду бота, ночевку в каменистой бухте за Полярным и вставшую справа при входе из залива высокую каменную стену Кильдина... Так передо мною впервые открылся океан. До самой Америки нет земли, и лишь водные необозримые просторы. Шла мертвая зыбь. И низкое еще солнце торжествующе озаряло каменную стену Кильдина.

— Это когда Мурманска не было, Александровска не было, жил в Коле настоящий святой. Благочестивой своей жизнью просветил он весь край и очень досадил этим самому дьяволу. А со всех становищ плывет к Колу народ — советом просветиться, излечиться или из интереса — святого увидать. Вот и вздумал черт запереть Кольскую губу, город то есть Колу... чтобы не было к ней морем подходу. А сухопутьем кто ж дойдет! По морю-океану и слава быстрей бежит. Без моря и народу кольскому не до святости будет. Животы подведет. Да. А чем губу-то замкнуть?

Вот и отломил черт большой кусок от Новой Земли. Остров такой есть. Или не слыхали? А мы-то там бывали.

Отломил он огромный кус и по морю-океану повлек его. Тащит он, значит, обломок этот. Остров тоже не маленький. Работа не легкая. Да. И сил у нечистого не мало. Узнали это поморы... На шняках, на ёлах своих быстрее ветра к Колу добежали и к своему кольскому святому с мольбой и причитанием кинулись.

«Спаси!» — кричат.

Многие усомнились.

«Из-за твоей святости погибаем!» — попрекают.

Опустился святой на колени и стал молитвы к богу посылать. Да скоро ль они дойдут! Дистанция немалая. А черт свой кус по морю волокет... Все ближе и ближе к Кольской губе подтаскивает. А старец молится, и все усерднее и усерднее... Не на самолете молитва — пеша идет, а все же на море-океане буря началась. Вал через вал перекатывает. У черта от этой качки прямо пятки через горло повылазили... Сила, конечно, убывает... Но он и через силу старается... Така ему охота настала. Така злость приспичила. А народ на берегах стоит — которы на колени пали, молятся, которы святого старца матерным словом донимают.

А старец глаз не опускает, на коленях уж кровь просочилась, на лбу язвы зияют. И дошла его молитва до бога, и стала она богу угодна. И лишился дьявол силы своей нечистой. Отступился он от обломка своего и оставил его на том месте, куда приволок. И стал этот камень — остров Кильдин, у самого входа в губу лежит.

Теперь на острове том становище. Когда мы там рыбачили, йодный завод строился и песцов разводили. Серые такие, как бесы... И правду, вовремя молитвенная депеша пришла,— улыбаясь, добавил Петр Петрович,— на одну минуту опоздай, так уж завалил бы дьявол самый выход из губы... Одна минута целый век спасла... Так.

Я взглянул на часы-ходики. Гиря дотянулась почти до пола... Я встал, чтобы подтянуть ее.

Петр опрокинул чайный стакан вверх дном и сказал, вставая из-за стола:

— Чай не водка, много не выпьешь... А ну, готовь, Наталья, ночлег гостям.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

ПАСТУШИЙ РОЖОК

Засиделись мы допоздна, и выспаться в ту ночь мне не пришлось.

Леша много раз за ночь выбегал на улицу. Он ловил проходящие автомобили и спрашивал, не передавали ли им что-нибудь из гаража. Возвращаясь в избу, он сразу же засыпал до следующего гудка, оставляя разбуженных им ворочаться с боку на бок.

Заутро, с солнцем, встали и ушли на работу Петр и Наталья: бригада их работала далеко от деревни. Уходили они осторожно, тихо, чтобы не потревожить гостей. Да по такому делу разве не проснешься! Не успел я толком размыслить, спать дальше или вставать, пришли молодые парни, колхозники, будить Лешу. Он вчера им пообещал разъяснить, как действует мотор, или, как здесь говорят, мо́тор. Здесь говорят и то́пор, и ко́нтора, и мо́тив, а́кула, ко́мар. В стремлении передвинуть ударение на первый слог, особенно в словах иностранного происхождения, сказывается влияние финского языка. Леша обещал по доброму сердцу своему, но воробей вылетел, его поймали, и вот любознательные парни встали пораньше и выволокли нашего водителя Лешу из логова.

После ухода Леши я полежал минуты две в раздумье, как вдруг такой чудесный рожок пастуший — тюрю-тюрю — затюрлюкал и уже совсем поднял меня. Да это, наверно, Егор Богданыч играет на своем боевом рожке, которым он вспугнул медведя. Где ж тут было лежать! Я вышел на улицу.

Пастух оказался совсем сухоньким старичком, с огромным кнутом и сумкой. Волосы его достигали плеч, как у дьячка. В руке он держал деревянный рожок, обитый сверху берестой. Формой он напоминал бутылку. Рожок был большой. Береста на нем совсем влажная, как будто только что вынули ее из воды.

— Здравствуй!

Но пастух руки мне не подал.

— Почему мокрый рожок? — спросил я у пастуха, чтобы завязать беседу.

Он удивился вопросу.

— А затем, чтобы щелей не было, воздух не уходил. Вся-

кий толковый пастух на ночь в воду рожок окунает... чтобы не рассохся... А ты не здешний?

— Не здешний, да про тебя, дед, слыхал... Раньше говорили, что хорошая слава лежит, а дурная по свету бежит. Теперь и хорошая побежала.

Мы пошли рядом. Старик молчал. И на его скупом, сморщенном и загорелом лице я не мог прочесть ни удовлетворения, ни смущения. Кожа на его шее напоминала грубую кожу черепахи.

— Дед,— сказал я,— почему раньше тебя не знали, не говорили: Богданыч всем пастухам пастух? Или ты хуже работал?

Старик оживился.

— Работал я хорошо. Вся жизнь моя в том. Только если бы хвалили, так больше платить надо было бы... А это хозяину досадно... Да-а... А потом,— добавил он, помолчав,— и работаю я сейчас лучше, сердечнее. Раньше что я? Бобыль. Чужие щи по очереди хлебаю. По милости людской чужих коров пасу, чтобы чужим людям прибытка больше было... А иной и обругает. И по шеям наложит... Да... А теперь... я своих коров пасу... Мои они... как и всякого колхозника. Так... Не из милости существую, а из своего труда. Мне, как и каждому, трудодни идут. Председателю трудодни записывают. И мне записывают. Вот. Я девкой рожден был, потому — пастух. А вот из крепкой середняцкой семьи мне на лето подпасок дан. И общественная нагрузка — учи! Ладно... Да ты кто такой будешь? — прервал себя старик, и снова рожок завел несложную, но приятную свою мелодию.

МЕДВЕДЬ

— Этим рожком медведя в тайболу угнал? Правду люди говорят?

— Почем я знаю, что тебе наболтали. Ну, в тайболу ушел медведь, а куда же ему уходить, как не в тайболу? Ну, над ухом медвежьим затрубил, так он этого опасается. Он умный, а между рожком и рогатиной не разберет... «Говорят-говорят»! — передразнил он.— Не все правда, что бабы врут. Про такие вещи лучше молчать. А то не ровен час... Не от первого ухожу,— снова переложил старик гнев на милость.— Давно было. Рыбачили мы компанией на Онежском... вчетвером на посудине. Баба одна с нами. Далеко ушли от берега, верст во-

семь... Вода гладкая. Ветру нет. Клев на уду... Рыбы — как никогда. И вдруг приятель кричит мне: «Егор, смотри,— плывет что... Морской зверь! Кажется, нерпа... Заяц морской... или кот?»

Только я думаю: откуда на Онежском морскому зверю взяться? Неоткуда... Однако струхнул. Оружия у нас, кроме наживных крючков, ножа, весел, нет... Баба крестится. И мы за нею... А оно плывет... из середины озера. Плывет и фыркает... фыркает и путь держит на карбас.

«Да это медведь!» — кричит приятель.

И впрямь медведь... Только откуда ему из озера плыть? Вот подплывает он к нашему карбасу... От воды совсем бурый. Бьем мы его изо всей силы с размаху веслами по голове. Он и внимания не обращает ни на весло, ни на нас. Уцепился своими лапищами за борт, у самого носа, и лезет. Мы его веслами бьем, а он знай выскребывается, карабкается. Посудина наша набок накренилась, сейчас воду зачерпнет. В человеке четыре пуда веса, а тут медведь — дак уж... Чтобы лодку не опружить, перебежали мы все на корму. А медведь-то влез на нос... Сидит — вода с него струями так и течет. Сидит на сетях и смотрит. То на нас взглянет, то на берег, а потом и на то место, откуда приплыл. Мы безоружные... Сидим на корме, шевельнуться боимся. А он как хозяин сидит да так тяжело дышит. Боками поводит... Храп от дыхания над водой далеко идет... Да... А мы...

— Ну и что? — прервал мерный рассказ старика подпасок.

— Да ничего. Посидел, посидел он на носу. Отдышался. Сколько время прошло — не считали. Отдохнул да снова в воду бросился и поплыл дальше по своим делам... К берегу, к лесу... А чего ж ему в озере...

— А как он туда попал? — полюбопытствовал подпасок.

— У него и спрашивай,— сказал дед и опять обратился ко мне: — Вот ты все медведь да медведь, а на такой вопрос ответь: какой лошади повагнее уйти от него — лежачей или стоячей?

— Ну, конечно, стоячей повагнее.

Пастух покачал головой, а подпасок громко засмеялся и стал перепрыгивать через обочину — туда и обратно.

— Вот и сказал не так... Лежачей лучше. Потому стоячая со страха на все четыре ноги падет и ей опять вставать надо. А лежачая от страха вскочит, да и поминай как звали...

На том мы попрощались у самой околицы.

За руку старик прощаться не стал.

— Для скотины,— пояснил он,— чтобы не было чужого духа. Вот из-за того и волосы отрастил. Тоже для скотины. Постригся бы среди лета, так ни одна корова не признала бы...

Ильбаева и Вильби в избе уже не оказалось. Только я расположился за столом у окна и раскрыл свою записную книжку, как заскрипели ступени крыльца и без всякого предварительного стука, распахнув дверь в горницу, вошла немолодая уже женщина — невысокая, остролицая, с глубоко запавшими глазами. Видом своим напоминала она образ великомученицы.

— Это ты будешь американец? — спросила она меня.

— Нет, американец ушел уже по делам. Да и не американец он вовсе, а финн.

— А-а...— как-то неопределенно протянула женщина.— А куда же он пошел?

— К Федору Кутасову... А ты случайно не Матрена Петровна? — вспомнил я вчерашний разговор о том, что Мотя, заслышав о приезде американца, обязательно прибежит.

— Она самая и есть!

— Федор, значит, приходится мужем твоей племяннице Марье... Боевая женщина... В председателях у вас ходит.

— Обыкновенная женщина, баба как есть!

Нет, Мотя не особенно гордилась своей племянницей.

— Ну, не всякая могла бы мужиками верховодить, колхоз вести.

— Про колхоз, пожалуй, правда... А в остальном, бабьем деле, так сестра моя Наталья, к примеру, куда умнее. Пожилая женщина больше значит.

ВАЛЕНКИ СГОРЯТ

Вот, к примеру, как дело было. Запрошлый год, когда Марья еще не была председателем, пришел из лесу Федор, разноглазый-то, Марью свою проведать... Он, может, месяца три, а то и больше дома не был... В дальнем леспромхозе лес валили. Ну, пришел он домой с подарками. Заслуженный. За ударную работу выдали ему почетную грамоту с портретом Калинина и наградили премиальными — дорогими валенками-чесанками... Вот он домой пришел, с Марьей поздоровался, сам грамоту в красном углу на стенку лепит,— рамка стеклян-

ная, от оклада иконы со старины осталась,— а валенки скинул, Марье дал.

«Вот возьми новы, ударны валенки, просуши, да смотри, чтобы не сгорели».

Положила Марья валенки на печь, да на радостях захлопоталась, недоглядела. Валенки и сгорели.

Как быть, чего делать, как горю пособить?

И валенок жалко, и самой страшно — рассердится хозяин. Говорил ведь: смотри, чтобы не сгорели!

Слезами горе не утешишь, и пошла Марья к умной тетке своей Наталье — сестре моей... ну, у которой вы эту ночь ночевали.

Так и так — валенки ударны сгорели... Все как на духу рассказала. Что делать?

Ну, а Наталья острая женщина, пожилая. Она и говорит племяннице:

«Возьмись полы мыть...»

«Чего ты насмешку строить надо мной? Не дело говоришь. У меня тако горе, а ты — мой полы!»

А Наталья на одном стоит: мой полы да мой полы. Вот и весь сказ.

Марья домой к себе в избу — в старую еще — пришла, ничего толком в ум взять не может. Однако решила по совету сделать. Хуже быть не будет, а лучше все может быть.

Детей спать повалила, а сама принялась мыть полы. А муж на кровати лежит. Отдыхает.

Сам знаешь, как это у нас бывает... Подол к поясу подберешь, сама нагнешься с тряпкой, и все, что надо и чего не надо, видать... А своего мужика и совсем не стесняешься.

Федор на постели лежит, слышит — жена делом занята, и про себя думу ведет: «Кака у меня хороша жена, кака исполнительна... Муж, видишь, из лесу пришел, так ей и охота, чтобы дома все было по-хорошему, чистоту наводит».

Повернулся он на бок, отдернул полог и стал на нее глядеть. Разными-то глазами еще лучше видать. Святители при таком искушении скользили, а тут молодой еще мужик... да своя жена... Да он три месяца дома не был! Да и не три месяца, а три месяца да одиннадцать ден!

Мыть-то она начала от окошка. Моет и все ближе к кровати подвигается... А он все смотрит и разгорается. Когда она уже совсем вплотную к пологу подошла, не стало ему желанья на это дело только глядеть. Вскочил он с кровати да обнял ее, жену свою Марью... А она его отталкивает...

Он тогда в сердцах крепче к себе прижал. А она вырывается. Вырывается, а сама шепчет ему на ухо:

«Федя, а Федя, валенки сгорят! Валенки-то сгорят!»

А он уже ничего слушать не может.

«Пускай горят, говорит, завтра новые купим!»

Вот...

Так что Наталья тоже с умом племянницу-то выучила. А ты говоришь!

— Да ничего я не говорю, тетя Мотя,— рассмеялся я.— Может, и про мужа Марьиного, про Федора, сказку скажете?

— Какую сказку? — обиделась Мотя.— Я тебе истинную правду сказала. А про Федора что? Синий да карий глаз — больше ничего не скажешь. Ударный работник... Он с топором своим не расстается... Люди говорят — с ним в баню ходит. Ну, да это смешки только. Вот еще скажут, что хвойным веником парится. А вот это правда: не то на съезд, не то на слет в Петрозаводск поехал и топор дома оставить забыл, с собой захватил. Опомнился — поздно. Так с топором все время и заседал. А потом от людей отбивался, говорил: «Плотник топором думает». Ну, да уж заговорилась я с тобой. Прощай, мил человек.

С тем Мотя и ушла.

Не успел я углубиться в свою записную книжку, как вижу — идет по улице Антон Ильич с каким-то бородатым дядей. Они громко спорят между собой и держат курс на нашу избу. Выхожу встречать гостей.

СПОР

— Вот познакомьтесь,— говорит Антон Ильич.— Это историк, разные истории про гражданскую войну собирает, а это Иван Петров, брат Петра Петрова.

— Только что,— говорю я Ивану,— твоя жена сюда заходила.

Сказал и сам язык прикусил: не выдаю ли с бухты-барахты чьей-нибудь тайны?

— Должно быть, американа своего искала.

Борода Ивана буйно завладела всем лицом, подступала к самым глазам. Она начиналась еще на шее.

— А все-таки ты, Иван, не прав,— продолжал начатый ранее спор с Иваном Антон Ильич.

Он обращался теперь ко мне, ища себе поддержки:

— Понимаете, товарищ, Иван Петров у нас в конюхах ходит. Лошадей бережет. Но вот беда — часто он невнимательно следит за общественным добром, конями то есть... На прошлой неделе молодежь самовольно брала лошадей — Томилин Иван, Темнев Василий, Степанов Илья, опять же Мишка Томилин,— и поехали они не по делу, а на самую обыкновенную гулянку, на вечеринку в соседнюю деревню. Было ведь дело? Правду говорю?

— Правду! — усмехнувшись в свою буйную бороду, ответил Иван.

— По частным, не колхозным делам уезжает колхозник в город, а он ему общественную лошадь дает. Тот ее и загоняет.

— Это он, подлец, понятия разумности не имеет! А кто ему за это по морде дал: ты или я? — начинал уже выходить из себя Иван.

— И что же он в ответ на мои обвинения говорит? — уже почти кричал Антон Ильич.— Он говорит, что с последними единоличниками и спекулянтами борется.

— И борюсь! — упрямо сказал Иван.— В гражданской с белыми и спекулянтами боролся. Я и сейчас буду бороться. Я и не отступаю. Я и не буду отступать — раз и навсегда. Не так, как в Намоеве... Там председатель лошади не дал колхознику, красному партизану, мать в больницу свезти... Довольно стыдно... А в Тулгубе никуда лошадь не дают: ни на гулянку, ни в район по личному делу, только на общественное. «Где бары?» — спрашиваю. «Померли».— «Где гробы?» — спрашиваю. «Погнили!» — «Кто их бил и в гробы укладывал?» — «Мы! Да мы сами...» А теперь и на рынок и на гулянку тридцать три километра пехом, говоришь. Автомобилей не напасли... Да вот в Тулгубе на чем единоличник держится? На этом самом и держится... Надел забросил... Кое-как клок земли нацарапал. А как живет! На гулянку парни хотят — лошадей им не дают. Они к единоличнику: «Порфирий Васильевич, выручай!» Он и выручит. А уж они в долгу не останутся. В другой раз на беседу к девушкам охота поехать. На рынок колхозник собрался... Лошади не дают. «Порфирий Васильевич, выручай!» Он выручит... Недорого возьмет, не втридорога, нет. Вдвадорога. Пойди выясни, сколько колхозники ему трудодней своих спустили! Бедняком числится, а живет, жиреет за счет глупостей таких бюрократов-доброхотов. Вот!—И Иван Петрович указал на Антона Ильича.— И в других местах от

конюхов слышал такие же погудки. В нашей деревне узнал я про то: единоличник Федька Сенькин тоже хотел спекульнуть. Но я ему, гаду, дорогу перешиб... За работу взялся. Вот и жди от него прошения: «Прошу принять в артель... Подпись: Сенькин». А живи я по-твоему, так и Сенькин трудодни чужие хапал бы. Кормили бы своей шеей, как Зайкова... Да еще и ходили бы к нему за лошадкой на поклон — одолжались... Поодолжались, будет! Я на собственной свадьбе в чужой сатиновой рубахе гулял. Своей не довелось... Я свое дело знаю. Даром что неграмотный был, а в борьбе закален. Я подкулачника и спекулянта чую. Он от меня жизни иметь не будет! А ты учишь!

— А как же, Иван Петрович, если лошадь кто испортит?

— Эх ты, доброхот! Мужик-то — человек сознательный. Трезвый разве он скотину свою тронет? То есть бывшую свою. А если и не бывшая, так теперь все свои. А бывает иногда, попадется пьяный дурак, так я жаловаться на него не буду. Пока из трудодня штраф возьмут, все в памяти травой порастет... Я того просто проучу. По спине палкой. В игольное ушко продерну, мешком под ноги кокну. Возьму за хвост да и перекину через мост. Вообще не сладко тому приходится. На другой раз лошадь в аккурате приведет... Поставит ее, почистит. Вот... Только спор наш неинтересен товарищу историку, давай мы его на правление и перенесем.

СКОТ И СКОТ

— Эй, куда мчишься, товарищ Коровин! — закричал Рыков нашему шоферу Леше, который шел быстрым шагом по деревенской улице.

— У вашего сапожника, говорят, резиновый клей есть,— не оборачиваясь и не замедляя шага, прокричал в ответ Леша.

— Товарищ Коровин... Товарищ Коровин...— пробормотал себе в бороду опытный конюх Иван Петров.— А скажи, товарищ историк, твой-то шофер не из англичан будет?

— Откуда ты взял это?

— Да так, уж больно английская это фамилия.

— Коровин-то?!

— Ну, а что? Когда англичане над нами бедовали, был у них начальник... Сволочь... Чужих не жалел, да и над своими измывался... И фамилия у него подобная твоему машинисту была — Скот... Или, говоришь, это фамилия не английская?..

Все возможно... Тогда это его подчиненные так за характер, за лютость прозвали — капитан Скот да капитан Скот. Только не думаю. Потому сам слышал, как ему в лицо говорили — капитан мистер Скот, а он не обижался. Так, говоришь, Коровин твой не из англичан... Ну, раз про англичан разговор зашел, расскажу тебе историю про черта и приятеля моего.

РАССКАЗ О ЧЕРТЕ И КРАСНОМ ПАРТИЗАНЕ

— Это рассказ такой. Не в котором царстве, не в котором государстве, по правде говоря — в нашей губернии, в нашем отряде партизанском. Хорошо-с... Отступали мы... Пятили нас в тайболу. А был у меня приятель... Известно вам? Я определенно говорю. Это есть приятель Хрисанф Артемов, крестьянин. Так мы друзья друзьями всегда и будем. Я всего не знаю, дорогой товарищ. Справься в штабе, а справок официальных я тебе давать не буду... Я говорю, что знаю. Что товарищ рассказывал, все передам... Были мы в лесах с винтовками. Был так был, а коли не был, так не был. В лесу медведь — архимандрит, а мы хуже святых отшельников жили. Да. Богато жили, с плота воду пили... Ягоду ели. Только и посуды, что горсть да пригоршня... А как зимой дорогу вершили... Бог ты мой, прямо как в бабьей сказке! Пойдешь налево — костей не соберешь. Пойдешь направо — буйну голову сложишь. Прямо пойдешь — живому не бывать... Вот тут и выбирай! Обмундирование — шапка волосяная, рукавицы своекожные. Мы ведь богам, никому не верили, черт их дери! На фронте, какой тут бог должен быть! Пули летят. Да что тут рассказывать! Довольно... Мы прошли медные трубы и черту зубы сломали. За трудовую правду, за рабочую правду бились. Большевиков командирами держали... Богатый в драке бережет рожу, а бедный одежу... Но у нас и одежа совсем прохудилась. Дотянулись мы до капиталистической рожи — исхлестали ее и ремнем, и еловой хвоей. И тем себе одежу добыли. На их же складах, против нас заготовленных...

Только после одной стрельбы друг мой, приятель, товарищ — Хрисанф Артемов, крестьянин, красный партизан, от отряда отстал и в болоте наш след потерял. Вот он, родимый, один на весь лес стоит и не знает, в какую сторону надо идти... Болото, лес — дак уж где тут знать! Вот он идет день, другой — сам все мне, приятелю своему, рассказывал,— на другой день заутро попадает в лапы английских солдат. Чет-

веро его изловили и к своему Скоту привели. А Хрисанф, приятель мой, на груди своей под рубахой книжку прятал. За каждый отдельный листок этой книги расстрелять могли... «Коммунистический манифест» называется. В свободный час приятель Кузьма нам вслух из этой книжки читал.

Было там еще пленных штук пять. Не из нашего отряда.

Приговорил их Скот всех к вышке — и приговор привести в исполнение в двадцать четыре минуты... Только приятелю моему Хрисанфу определенно подвезло... Промазали, в него стреляючи. Безымянный на левой руке отстрелили. Но от волнения чувств и грохота выстрелов он со всеми в кучу повалился. Очнулся, когда уже землей на лицо стали насыпать. Вытянулся из ямы. Встал... Ведут его опять к Скоту:

— Вот выжил. Этого и пуля не берет. Что прикажете делать?

— Посадить в холодную... С другой партией расстреляем,— а сам от злости задыхается.

Утром, значит, новый расстрел... Смотрит Хрисанф в окошечко, а там многие односельчане прогуливаются, бывшие знакомые, и на него даже не взглядывают. На обеде — все соседи, а пришла беда — все прочь, как вода. Сидит он ночью и думает: утром расстрел, а стены плотные, без зазора; изба в двенадцать венцов кладена... Сына вспомнил, жену вспомнил, а пуще всех лесных своих товарищей, красных партизан. Да какое он имеет право погибнуть без их разрешения!.. Грустно человеку стало. Тут всякая чертовщина в голову и полезла.

«Эх, что бы я сделал, что бы я отдал, чтоб снова в лес с трехлинейкой или в деревне с трехрядкой на свободе погулять... Дьяволу бы душу — и то отдал».

А тут как раз из печи дьявол и выполз. Нет, на змею не похож. Скорее, песец голубой, в весенней масти, когда линяет. Такой серовато-бурый, облезлый, на четырех не то кошачьих, не то лисьих лапах и со старушечьей головой.

— Это,— говорит,— можно. Почему же нельзя... Только недешево я возьму за выручку... Душу-то отдать легко: на кой она тебе здесь нужна! А что в придачу?

Вскочил на окно и как кошка перед ним ходит.

— А что тебе еще понадобится? — отвечает Хрисанф, приятель мой, а сам про себя думает: «В последнюю мою жизненную ночь, последнюю мою ночку на земле, когда о светлом будущем людского рода надо подумать, такая чертовщина бессмысленная в голову лезет!»

— А вот что хочу...— юлит бес на подоконнике.— Кто у вас главный, у ваших партизан?

— Иван Поспелов,— говорит.

— Трижды отрекись от этого имени и кровью своей подпиши отречение.

А Хрисанф неграмотный был, как и я в ту пору. Но понимал, что это будет подлость — в такие сделки броситься.

Ну, мучился он своими думами до самого восхода. Думал, с ума сходит... Но как рассветать стало, решился. Выжить бы... Англичан и других белых выгнать бы, а там и с чертом и с бесовским заклятьем справимся. А нет, так пуля в лоб.

— Ладно,— говорит,— я согласен.

По неграмотности писать ничего не стали. А только трижды громко прошептал за бесом Хрисанф такие слова:

— «Отрекаюсь от командира партизанского Ивана Поспелова — Ваньки Каина. Отрекаюсь. Отрекаюсь. И ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Сказал он так первый раз и через левое плечо плюнул.

— Нет,— ответил бес,— так не годится,— и пересказать заставил.

Вместо подписи Хрисанф на подоконнике кровью три креста поставил: безымянный-то, отстреленный, палец, поди, еще с неделю кровоточил.

— Лезь в печь! Через трубу на крышу! — приказал бес.

И Хрисанф туда за ним... Только как он утончился, не знает, отчету не отдает.

Сам в душевном смущении все время пребывает: муторно ему от отречения.

Опомнился уже в глухом лесу, в болоте.

Между кочками чертов хвост мельтешит.

Убитый, расстрелянный, то есть англичанами, лежит.

— Снимай с него сапоги,— это бес-то.

Снял.

— Надевай на себя! Правый сапог на левую ногу, левый — на правую. Это для того, чтобы дурной след сделать.

Ладно. Обулся — ноги жмет. Но, однако, идет. Бес из виду пропал... День идет. Морошку — в рот и дальше идет... На третьи сутки нашли мы его, приятеля моего, друга-товарища Хрисанфа, красного партизана. Лежит он как бы в забытьи, с отстреленным пальцем, в чужих сапогах, не на ту ногу обутых. В жару разные невнятные речи бормочет... К концу недели выдюжил, но всю правду только мне и высказал. Не поверил я сначала ему. Но он страшной партизанской клятвой

поклялся... И с той поры самым храбрым в отряде был. В разведке или в бою напролом лезет. Ничего не боится. Наш отряд тактичность военную не соблюдал. С барса шел. Нахрапом. Ивана Поспелова за отличность характера и непроницаемость для пуль «Ванькой Каином» и прозвали. И Хрисанфа тоже пуля не берет. Только как мы жили в лесу?! У одного ничего, у другого совсем пусто. Дружили. Но, вижу я, нет в приятеле моем прежней веселости. Смеха его веселого не замечаю больше, да утешать не берусь.

Ну, выгнали мы гнуса. Войну гражданскую завершили — и по деревням.

С бандитизмом еще повозились — до полной победы, а потом и совсем тихо стало... Довольно? Или досказывать про приятеля?

— До полной победы досказывай, Иван Петрович.

БАНИ

— Было это уже в двадцать девятом. Встретились мы с Хрисанфом, приятелем моим, в поезде. Ну, рады,— надо ли рассказывать как! И замечаю — опять приятель мой весел: и прибаутки, и рассказы разные, и огоньки в глазах.

— Что,— спрашиваю,— с бесом разделался?

— Подчистую,— говорит и смеется: — Разрешен от клятвы!

— А как?

— Да так,— рассказывает. Это, значит, он, приятель мой, говорит.— Размежевали у нас после бандитизма точно государственные границы, с Финляндией то есть. И представь себе — по недосмотру бюрократов из землемеров бани наши за границу отошли. Бани через ручей испокон веков строились, а ручей-то и стал государственной границей. А за границу мыться не пускают... Не имеете соответствующих паспортов-документов!.. Ну, ходим месяц, другой немытыми. Невтерпеж. Решили по банному вопросу ходоков в Москву посылать... Я и вызвался... Уважают нас с тобой за то, что в лесах бедовали.

Приехали в Москву... Сунулись к товарищу Литвинову.

— Нет его,— отвечают нам.— Народный комиссар по иностранным делам на иностранную конференцию международные дела поехал вершить. А я — секретарь. Может, смогу помочь?

Растолковали мы ему наше горе. А он его ни во что не

ставит. Дело, говорит, международное. Интересы задеты... Конфликты возможны... Ноты, говорит, разосланы.

И поняли мы всего только, что он в кабинете сидит, а помочь нам другой должен.

К Михаилу Ивановичу сразу же от него двинулись. Час прошел. Другой. В начале третьего часа допустили.

Он с нами за руку поздоровался. Кабинетик у него простой: небольшая комната, окна в два. Стол. Книги. Газеты. А так ничего особенного. Да и мы по делу, а не на бал пришли. На кресла усадил. О деле разговор повели...

— Н-да,— говорит Михаил Иванович.— Вернуть бань старых нельзя. Ошибка с вами вышла. А льготу я вам выхлопочу... Без ссуды на постройку не уедете.

В трубку поговорил с кем-то.

— Дело улажено, товарищи!

Прощается с нами, советы дает, как надо жить. И нашим мнением интересуется... Вот когда другие попрощались и вышли, я минутку улучил и говорю ему:

— По личному делу просьбу к тебе, Михаил Иванович, имею.

— Пожалуйста,— отвечает.

Ну, я ему и рассказал о партизанщине нашей, о плене, о бесе, с моем горьком отречении. Прошу, одним словом, разрешить меня от клятвы.

А он этак добро улыбается и отвечает:

— Как же это дьявол крестов не испугался?

— Да он мелкий был, вроде песца. Облезлый.

Засмеялся Михаил Иванович и говорит:

— Ничего это, ничего, что ты от Поспелова отрекся. От этого разрешить могу... Вот если бы ты от товарища Ленина отрекся, тогда я бессилен был бы помочь тебе... Разрешается,— говорит,— но при том условии, товарищ Хрисанф Артемов, что в этом же году грамоте выучишься и мне про все положение в своей деревне подробно в письме опишешь.

На том и порешили.

— Ну, а теперь как?

— Уж третий год переписку с Калининым веду.

Это приятель мой рассказал, ничего не утаил... А я тебе, товарищ историк, всю эту быль и передаю, как слышал... Вот... А Ваньку Каина, знаменитого нашего партизана, Ивана Поспелова по паспорту, сам видать-то его видал, но вместе не действовали. Не пришлось... Про суд, что ли, Ваньки рассказать? Расскажу.

— Стоял партизан в дозоре. За можжевельник прятался. Неприятеля высматривал. И видит — едут двое верхами на одной кобыле. Что за люди? Незнакомы. Куда едут? Неизвестно. Может, к белым с донесением, может, к самому английскому генералу Майнарду. Откуда он знает! У него делов — что у пудожского старосты. Затвором щелкнул — патрон дослан, и поджидает верховых. Как только они к можжевеловым кустам подъехали, вышел он с винтовкой наперевес:

— Стой! Кто идет?

Лошадь от такой неожиданности на задних копытах остановилась. Передними по воздуху машет. Ну, наездник, всадник то есть верховой, через спину назад повалился. Другой соскочил и около павшего захлопотал.

...А это дьякон со своей женой в гости в соседнее село ехал... А темновато было партизану, потому он и не разглядел. «Эх, ты, думает, беда, какая оказия произошла!» Жена дьякона на сносях, на шестом месяце прозябала. Преждевременно с лошади свалилась. Ну и схватило ее. Партизан дьякону помог дотащить больную до деревни. И от всего этого родился у нее мертвый мальчик. Такое дело... Винить некого. А только мать дьякона, то есть свекровь роженицы, ужасная женщина была. Она дьякона подбила жаловаться на партизана начальнику партизанскому Ивану Поспелову, Ваньке Каину.

Дьякон ее послушался, вместе с ней и пошел к Ваньке Каину. А она такая путаная была, сама не знала, против чего она за и за что она против. Так и так — командиру вдвоем дело сообщили.

— Обвинение против твоего партизана держим...

А он на пне сидит криво, а судит прямо.

— Адвокатов, отец дьякон, не хотите ли? Дело запутанное... Позвать партизана!

Позвали.

— Ну, теперь ты говори!

А партизан и говорит:

— Мне все равно, хоть пасть, хоть пропасть, уж таково наше дело партизанское, в клящие морозы ходим и летом от комара кровью обливаемся. Только в этом деле я неповинен... Нечаянно... Лошадь и вините, а я свое дело делал.

Ну, свекровь пуще прежнего взъелась.

Ванька Каин говорит ей вежливо:

— Как видите, обстоятельства дела таковы, что не могу я виноватить моего партизана.

А свекровь пуще. Такая баба — дай ей щенка, да чтоб не сукин сын.

— Моя невестка,— кричит она,— шесть месяцев ни собаку, ни кошку, ни кота не ударила — сдерживалась. А теперь все прахом пошло. Шесть месяцев никого ни словом, никак не дразнила — крепилась... Мимо падали проходила — ни носа, ни рта не закрывала. Шесть месяцев с мужиком вместе не мылась. Мальчик должен был тихий нрав жизни иметь, моложавым весь век прожить. Специально корову случали, чтобы теленок ровесником новорожденному был, и теперь все эти труды и страдания пойдут прахом. Яви свою справедливость, начальник, накажи виновного по заслугам, возмести нам убытки наши!

Ванька Каин не сразу ее понял. Однако для справедливости повел следствие. Спрашивает: почему она собаки, кошки не трогала?

— Чтобы ребенок кривым не был, батюшка начальник.

— Почему,— спрашивает он,— хорошая женщина, твоя невестка шесть месяцев никого не дразнила?

— Для того чтобы ребеночек статным, стройным вышел, держался прямо.

— Почему,— спрашивает он,— умная женщина, твоя невестка мимо падали проходила — носа, рта не зажимала, с мужиком не мылась?

— Чтобы изо рта у мальчика не шел дурной запах, товарищ командир, а с мужиком в баню не ходила, чтобы двойни не получилось.

Так.

— Откуда же ты знаешь, мудрая женщина,— это Ванька Каин спрашивает,— что мальчик тихого нрава жизни должен был быть?

— Как же, как же, господин начальник. Младенчик первый раз в утробе матери затрепетал не днем, а ночью. А моложавый потому, что в ту ночку новолунье было... Ежели бы в полнолунье, так скоро состарился.

— А для чего в неурочное время, хитрая женщина, корову случали?

— Разве неизвестно тебе, господин начальник, что если во время рождения ребенка у хозяина овца ягнится или корова телится, то дитя на всю жизнь счастливо будет.

— Все это правильно, красный начальник,— подтвердил отец дьякон.

— Так-так,— сказал судья и спросил: — Чего же вы добиваетесь?

— Наказать виновного. Возместить убытки,— сказала старуха.

— Ведь на шестом месяце была,— сказал дьякон. А сам, наверно, уже соображал, сколько деньгами взять, сколько мукой.

— Ладно,— сказал, подумав, судья, красный партизан Ванька Каин, Иван Поспелов.— Накажу я партизана. Заставлю возместить убытки... На шестом месяце, говоришь, жена твоя была?

— Да, да,— в один голос заволновались старушка с сыночком.

— Так вот что: приведи теперь твою жену порозную к этому виновному партизану и пусть она у него живет до тех пор, пока опять не станет на шестом месяце ходить. И пусть он тебе тогда и возвратит ее. То есть в таком же самом виде, какой был у нее в тот злосчастный день... Приговор привести в исполнение в течение сорока восьми часов... Следующий!

И стал судить дальше.

На другое утро партизан к дьякону приходит. Приговор приводить в исполнение.

— Давай,— говорит,— жену.

А свекровь и вскочила.

— Замнем,— говорит,— это дело. Чего хочешь возьми.

А партизан не берет... Приговор!

Дьякон выбежал, на мать кричать стал:

— Из-за тебя, старуха, всегда что-нибудь лишнее случается...

Ну, партизан попугал, попугал и ушел. Фронт, значит, дальше на север передвинулся...

А хочешь знать, за что Поспелова выгнали из партии, не посчитавшись с заслугами? За дело! Вот за какое.

Партизаны и красноармейцы, бились мы до последнего старания! Пусть рубаху вши съели — была бы душа в теле. Мы одной душой и держались. Хоть не ел, да будь смел! Вот и побежали к морским своим пристаням, на пароходы восвояси, белые... А в этот самый отчаянный момент времени один молодой красный командир не совладал со своими красноармейцами. Они тоже молодые были. Из степей — да в леса. Болота первый раз видели. Но не совы-филина испугались...

Враг-то настоящий был... Не досмотришь, он по голове раз стукнет, другой пристукнет и на могиле креста не поставит. Ну, а командир не доглядел... Его армейцы бегут, за брусникой не нагибаются, под кочками вода хлюпает... Ну, прорыв произошел. Партизанские тыловые успехи рухнули. Рассвирепел Иван Поспелов. Чуть ли не по земле катается. Когда мальчишкой был, так один раз с товарищем так поспорил, в ярость вошел — в прорубь бросился. За то еще с детства прозвище получил. Так и пошло... Ну и теперь вошел он в гнев. Взял с собою трех молодцов и в ту самую часть с ними является:

— Где командир такой-то?

Молодой командир заявляется.

— Пожалте неподалеку поговорить. Я партизан Поспелов.

Выходят они из избушки в рощу.

— Расстреливаю тебя за прорыв фронта! — кричит Ванька Каин.

И с тремя ребятами своими тут же молодого командира и хлопнули.

Ну, потом, когда до этого дела дошли, дознались,— уже в мирное время,— этого Ваньку Каина совсем и навсегда из партии наладили — катись! Да...

Извини, товарищ историк, я тебя на минутку-другую покину. Послышалось мне, что в конюшне лошади не по-хорошему ржут.

И с этими словами Иван Петрович Петров неуклюже побежал по деревенской улице.

Я не слышал никакого ржанья, а не только что нехорошего. И эта профессиональная чуткость уха конюха меня удивила.

Так с товарищем Рыковым мы остались вдвоем на крыльце дома Петра Петровича Петрова. Оглядевшись, точно он опасался соглядатаев или подслушивающих, Рыков конфиденциальным тоном, будто сообщая важнейшую государственную тайну, проговорил:

— Вот вы прослушали сейчас некоторые истории про Ваньку Каина, но должен предупредить вас, что очень много у нас про него нелепостей и несообразностей сообщают. По этим историям выходит, что он в один и тот же день орудовал в разных концах Карелии, что есть чепуха несообразная... Я поэтому серьезно советую вам: прежде чем писать научную ис-

торию про этого человека, съездить к нему и самолично расспросить про все и все проверить. Он живет и работает нынче на Ковдинском лесопильном заводе, в нашей же Карелии. От него и разузнаете, что и как... А человек он образованный. В своей комнате энциклопедический словарь держит «Брокгауз и Эфрон». Все девяносто шесть томов. Вот. А действительные приключения у Ивана Каина тоже бывали...

ЧЕРДАК

— В селе Шижне расположился белый английский штаб. Тогда у них много территорий было: и Княжая Губа, и Медвежья гора, и Каменное озеро... Они собирались наступать на Петрозаводск, но отряд Ваньки Каина очень досаждал им. То обоза недосчитаются, то офицерика английского тюкнут. А все орудует партизанский отряд Ваньки Каина. И вот объявляют они награду в пять тысяч северных рублей тому, кто укажет местопребывание вышеизложенного красного партизана Ваньки Каина.

А работал при штабе крестьянин один, невзрачной наружности человек, лицом на лопаря смахивал. Он был осведомителем. Сообщал, где что видел, где что от кого слыхал, разные лесные обходные тропы разыскивал,— считался необходимейшей личностью. А проживал этот крестьянин на чердаке над самым штабом. В том же доме... Заинтересовался он очень объявленной наградой, по всем окрестностям, как гончая, зарыскал, даже воздух ноздрею щупать стал. Да разве учуешь? Ванька, он тем и знаменит был, что увидишь, да не словишь. Хоть и ничего не выходило у него, а все ж таки за усердие выдали ему наградные. И вот в одну ночку, когда все спали,— солнце и то на ночь к бабе уходит,— разыскал этот крестьянин начальника белого... С постели сорвал... Тревогу поднял... Тот в чем был к нему выскочил.

— Что и как? — спрашивает.

Рядом — брюки натянуть не успели — переводчики беспокоятся. А он передает конверт в руки начальнику и говорит:

— Здесь полный план, где и как найти Ивана Поспелова, Ваньку Каина, и где он все это время проживает.

Сказал он эти слова и вышел из дому в лес, в ночь, за ближними деревьями и растаял. Те надорвали конверт, записка вылетела. В записке обрисовано:

«Идите на чердак в штабе. Там все узнаете».

Ну, те единым духом на чердак взлетели.

Там на столе конверт, в конверте запечатано:

«Приказываю немедленно убираться восвояси и не мучать трудовой народ. В противном случае будете наказаны по заслугам.

Красный партизан Ванька Каин».

Тут они за головы схватились... Сообразили, кто над ними на чердаке жил. Это и был он. Да.

Это есть неопровержимый факт. Можете сослаться в случае опровержения на меня. Адрес мой я самолично запишу в вашу тетрадочку...

ШИНКАРЬ

— Слышал я еще,— продолжал товарищ Рыков,— что вчера вы про юродствующего кулака Василия Ивановича Зайкова интересовались. Так и про него много врут. Я его хорошо знаю. Сколько раз его арестовывали, но по психической справке освобождали... Болен, мол, да не опасен. А как, спрашиваю, не опасен, когда он недозволенным шинкарством занимался, пользуясь этой бумажкой? Его все районные люди знают... Прибудет, бывало, новый предрика, или райзо, или секретарь райкома, Василий Иванович со своей супругой немедленно на дом припрутся.

— Так и так, здравствуйте, новый товарищ!

— Здравствуйте, чем могу быть полезен?

— А мы к тебе не с корыстью, а дружелюбно... Проведать. Чайку попить зашли...

И сядут за стол — с места не стронуть, пока не выдуют целиком самовар. Тогда стаканы вверх дном перевернут, попрощаются, к себе в гости пригласят и домой пойдут.

Зайков, бывало, купит большой каравай хлеба, весь мякиш изнутри выскребет. Одна корка наружная остается. А внутрь запихнет две бутылочки горькой: литровку и пол-литра. Приезжает в лес к лесорубам или к морю на стан к рыбакам. Притворяется, что хлебом торгует из-под полы. Трудовую деньгу гребет.

«Вам сколько,— спросит,— полкилограмма ситного? Берите»,— и отрежет меньший кус хлеба. Тот самый, где полулитровка. А ежели кто кило хлеба попросит, тому краюху с лит-

ром. Сколько я раз его на этом ловил... Посидит дня два — выпустят. Психическая бумажка. А мне опять возня с ним. После того как третью конфискацию товара я у него произвел, он телеграмму закатил:

«Москва. Кремль. Калинину. Жид сельсоветчик при попустительстве Гюллинга, которому я оказал благодеяние, притесняет трудовой народ. Требую снять, чтоб тебе же худо не было. Василий Зайков».

Когда по этой телеграмме было расследование, спросили его — что за благодеяние. Он и написал:

«О Гюллинге, получившем мое благодеяние в проносе чемодана от станции до города Кемь, дома Антонова, могу сказать следующее. Гюллинг мне за пронос чемодана не заплатил, но я на это не обижаюсь. Факты на него имею такие. Поезда у нас все время опаздывают, а он со своим прокурорским надзором бездействует».

Ну и снова его выпустили на мою голову.

ЗАЙКОВ НА ТРОНЕ

— Зайков мне под нос кукиш сует:

— Что, выкусил? Я на царском троне восседал, а он меня хотел подловить. Шутишь!

И действительно. Был он в Ленинграде. И захотелось ему в дом своего кума сходить. В Зимний дворец, что на Урицкой площади построен. Ладно! Примкнул он к экскурсии от Дома крестьянина. А с экскурсией фотограф ходил от какого-то журнальчика. Дошли всей экскурсией до зала, где балдахин под потолком, а под балдахином тронное кресло, на котором в оные дни царь восседал... Тут фотограф и попросил разрешения, чтобы кто-нибудь сел на трон. Ему от журнала было заказано. Ну кто ж, как не Василий Иванович по своей природной прыткости первым на трон взобрался. Он, конечно. Его фотограф — раз, два, три — и снял.

До спальни царской дошли.

— Как изба — такая большая кровать,— рассказывал он после.

А через две недели приезжает в деревню обратно. В руках журнальчик.

Несколько штук закупил.

— На станцию идите, покупайте,— всем встречным и знакомым говорит.

А в журнале действительно большая фотография пропечатана и подпись:

«Крестьянин В. И. Зайков на б. царском троне».

И статья «С крестьянской экскурсией по Зимнему дворцу».

Вот он всем это и показывает:

— Я на троне.

А в статье, между прочим, мелким шрифтом — мало кто и прочел — было:

«Придя в царскую спальню, крестьянин Зайков (см. фото на троне) хотел было растянуться в широкой постели бывшей императрицы Александры Федоровны, но администрацией и, главное, товарищами экскурсантами был остановлен».

— Не допустили меня,— жаловался в ответ на расспросы Василий Иванович.

КУЛАК И ФРАК

— Но все ж таки наконец пришло время коллективизации. Стали у нас досконально разбираться, кто друг, кто враг, кто трудовик, кто кулак. Пришел на это собрание и Василий Иванович Зайков — в одних опорках, в лаптях, всклокоченный. Ну, чуть было суму через плечо не повесил.

— Какой я,— кричит,— кулак? Я всю жизнь никого, кроме лошадей да посудины, не эксплуатировал! Я трудился, из зуйков в люди выбрался... У меня и теперь ничего нет. Одежи — что на себе, хлеба — что в животе! Помилуйте... Неужели Петр Петров забудет, как его хлебом из беды выручал? Меня в кулаки зачислите? А у кого, Степан, одалживаться станешь, когда у Петра никогда ничего нет, а у Федора всегда пусто?

Вот какую линию повел...

Ну и наши тоже дельную отповедь дали. Да я вам скажу: ложка в бане не посуда, девка бабе не подруга, а кулак трудовому человеку враг. Ну, когда узнал он, что все же мы его вывели на чистую воду, кулаком в списках проставили, очень рассердился он.

У нас станция железнодорожная отсюда в девяти километрах. Так на другой день скинул он с себя бедняцкое обмундирование:

— Раз кулак, так кулаком и буду!

Разворошил в погребе сундуки, напялил на себя фрак... Из кармана в карман через живот золотую цепочку перепустил, в летнее время енотовую шубу на плечи да черный блестящий цилиндр на голову. Да... И так на станцию попер... Сел в пассажирской зале, курьерского поезда дожидается: тогда еще «Полярной стрелы» не было. Так. Поездов ждет, хочет показаться в таком виде всем пассажирам, которые с севера на юг и с юга на север едут, а пуще всего иностранцам. Дескать, не умерла еще мировая буржуазия. Есть она и в Советской республике, поддержите, кто может. А для того, чтоб обратить на себя внимание народа, этот неугомонный гад запел нашу песню — гимн «Интернационал»... Тут его и взяли.

...Леша с торжествующим видом торопился обратно к своей машине; тащил он в руках банку резинового клея.

— Не надо помощи ждать, не надо на железную дорогу на станцию идти. Сами выкарабкаемся, и на большой палец с присыпкой!

Рядом с ним шагал Иван Петрович.

— Леша! — крикнул я.— Ты же сказал, что до станции тридцать километров по бездорожью, а вот здесь официальное лицо утверждает, что около десяти.

— Да, да! — подтвердил Рыков.

— А это я нарочно сказал, чтобы вы на станцию не ушли. Я вас привез, я и увезти должен. Теперь уж недолго ждать. Да меня бы в гараже товарищи шоферы засмеяли, если бы вы приехали обратно на поезде.

Он смеялся и говорил с подкупающей искренностью. Значит, и впрямь мы сегодня уедем, и даже совсем скоро.

— Что там было на конюшне? — спросил Рыков Ивана Петрова.

— Да так! — махнул тот рукой.— Кони между собой заспорили. Да разве можно двух таких норовистых рядом ставить? Я их обязательно в разные углы развожу... Конь свое место должен иметь. Вот часок недоглядишь, а помощник по-своему переделает. Я ему письменный приказ про лошадей составлю. Тогда не отвертится никак. Ну, товарищ историк, чего тебе еще рассказать? Про Ваньку? Сразу всего не припомнишь.

— Товарищ еще про Зайкова интересуется.

— Ну, про эту кулацкую падаль мне и совсем неохота разговаривать. Повозились мы с ним довольно. У него я свою службу в людях начинал. Батраком работал. Имущество мое: на брюхо лег — спиной покрылся. Да уж... Ну и мне же пришлось его ликвидировать как класс, когда коллективизация созрела... Жадный он был, но не больно умен... Да... Тогда масло по его бороде еще не текло, сам с батраком работать ходил. Но уж жаден был, с грязи пенку снимал, из блохи голенище кроил. Смотрит, чтобы батрак меньше ел, и даже себе жалел хлеба. Ну, а вместе работаем, ему и неудобно особиться. Звал поесть, когда уже самому невмоготу становилось. Так... А мы на пожнях у самого озера работали. Вот зовет он раз меня полдничать... И вижу я: себе берет, пес, весь мякиш, а мне сухую корку подкладывает. Так сказать, корка к корке, а мякиш на задворке.

«Ах так! — думаю.— Погоди, хлебнешь и ты у меня кислого квасу...» Работаем так, что упрели. В животе пусто... Ну, поработавши, Василий Иванович и говорит:

«Мне есть хочется».

Голодному всегда полдни. Однако ж я отвечаю:

«Странно чего-то. Я совсем сыт, на еду и глядеть не могу...»

«Как же это?» — удивляется хозяин.

«А я наелся вкусных корок... Пока эти корки в животе не размякнут, до той поры и есть неохота...»

Ладно. Садимся за еду... На сей раз вижу — Василий Иванович весь мякиш мне подвалил, а себе больше корку да самую горбушку подбирает...

Ну, опять жнем. То есть горбушей работаем... На пожнях пот проливаем... К вечеру время-то клонится. Василий Иванович и говорит опять:

«Что-то мне есть захотелось».

А я в ответ:

«Ну и прожорлив же ты, хозяин! Мне так неохота на еду и глядеть».

«Почему, Иван?» — опять удивляется он.

«А я отлично мякишем наелся. Хлебный-то мякиш в брюхе как глина слипается. Вот пока он совсем не рассосется, до той поры и сыт человек...»

Тут, конечно, Василий Иванович отложил в сторону свои

аферы. Проняла его насмешка. Понял он, что человека надо кормить без хитростей. Раз хлеб даешь, так чтобы как полагается — мякиш и корка. Вот он каков... А ты просишь, чтобы я тебе о таком человеке рассказывал.

ЗАГОВОР-ОБОРОНА

— Да, уж очень-то он в себе был уверен...

«Советской власти не было, а я уже был. Советская власть пройдет, а я останусь!» — вот что он о себе думал... Да поворотили его... Под конец, видя безвозвратность выхода для себя, купил у беглого с Соловецких лагерей монаха оберег против раскулаченья. Вот он встал у росстани в полночь и гнусаво запел:

«Господи, благослови; господи, спаси; господи, помоги... Встал я, раб божий Василий, благословясь, умылся утренней ледяной святой росой. Как на высоте господь бог украсил небо звездами, землю — зелеными травами, реки — берегами, мужей — женами, лесников-охотников — божьими птицами, рыбаков-промышленников — красной рыбою, так нас, зажиточных и крепких,— землею, достатками, умом и богатством... Сияйте же звезды в небе, цветите на земле травы, бегите реки промеж берегов, мужья спите с женами, рябцы, рябушки, тетерева, тетеревушки на охотников летите со всех четырех сторон. От востока до западу, из ельников, из осинников, из березников, из малинников, из ракитников. Иди сельдь, треска, семга и зверь сальный рыбаку на промыслы... А мне, Василию, из века в века теките, идите, умножайтесь земля зелена, достатки, умство и богатство. Сгиньте в века коммунисты-большевики и коммуны дьявольские! Не с ними живу, не об них думаю. Не сам я иду — на ведмеде еду, жабою одемся, гадюкою подпояшусь. И вас, совецка власть, не боюсь! Аминь».

— Что, не помог тебе твой заговор-оборона? — сказал я ему, когда в район отвозил.

— Не помог. Это потому, что я от младшего получил... Монах-то меня моложе был. Тогда сила теряется. От старшего к младшему — тогда возможно.

На том и расстались. И вспоминать его больше не хочу... А по правде говоря, тороплюсь я. Ты мне, товарищ историк, свой адрес оставь. Если что вспомню, обязательно напишу.

— Так ты, значит, грамоте знаешь?

— Еще бы... Я уже неграмотность свою в прошлом году покончил. Сейчас занимаюсь в группе малограмотных, туда и спешка. Через несколько минут начало занятий. Надо торопиться еще забежать за тетрадью домой.

— А что в тетради-то?

— Задачи, по арифметике решение. Четыре действия кончаем... К процентам подходим,— гордо сказал бородач.— А седня поочередно вслух читать будем книгу писателя Максима Горького. Слыхал? «В людях» называется. Не лучше нашего мучился... И теперь я в себе тоже желание имею... Группу окончу, как партизана красного и ударника-конюха на курсы животноводства обещают отправить... А там... Мы такое хозяйство поставим... Мне это, мил человек, с трудом дается... Не безусый... Ну, да к старости дал бог ярости... Это я после экскурсии на Беломорский канал разгорелся... Эх, думаю, если бандиты, воры, кулаки, монахи и контра такую работу загнули, если они такую мощь произвели, то что же мы, красные партизаны, честные колхозники, провернуть можем по силе убежденности своей! Горы перевернем, моря к небу подымем, богатство всеобщее на каждую душу — бери не хочу! Ну, тут-то я и почувствовал, что без грамоты кишка тонка... Даже не подберешься. С канала, значит, и решил... А теперь уже писать могу... Трудновато только. Вот жена моя Мотя, она в школе грамоте не училась. Натурой дошла. Хоть справки наводи. Оставь адрес, я тебе дополнения сам пришлю или через сына. Сын в Москве в техникуме учится...

Тут нашу беседу прервал расстроенный Вильби. И Иван Петрович заторопился на занятия в кружок малограмотных.

— Помогите мне, пожалуйста, товарищ! — взмолился по-английски Вильби.

Когда он торопился и хотел говорить по-английски, чтобы мне было понятнее, он повышал голос и вставлял в свою речь финские слова... Говоря по-русски, он на место нехватавших ему слов вставлял то английские, то финские.

Товарищ Рыков сказал про него: «Все равно как речь ручья: слушать приятно, но о чем — непонятно».

Нет, я понимал, о чем шла речь. Вильби сегодня повезло. И ударник-лесоруб Федор Кутасов, и его жена Марья были сейчас дома, но у Вильби не хватило слов, высокие договаривающиеся стороны никак не могли договориться. И я был призван как — пусть и неумелый, но все же кое-что смыслящий — переводчик.

И я вспомнил, как мне самому во время скитаний по северо-западной Карелии был необходим переводчик. Я вспомнил двести километров лесного пути от Кеми, снежную ночевку в Шомбе; трясины, запорошенные снегом, разговоры и договоры с охотниками на лосей, будничную жизнь пограничного отряда — свои кочевья. И вспомнил я, как мне хотелось побриться, чтобы принять человеческий вид, когда после всех этих скитаний я достиг Ухты. Теперь-то туда можно лететь на аэроплане. Меня поразила тогда необычайная чистота убранства изб, радио, всеобщая грамотность, газеты, внешняя цивилизованность и глубокая культурность обитателей этого, казалось бы, медвежьего угла.

Мне нужно было побриться. Я нашел парикмахерскую — дощатый домик, выстроенный на берегу мрачного северного озера Куйто,— и вошел... Но как было объяснить парикмахеру, чего я от него хочу? В этих местах говорили только по-фински. Дождавшись очереди, я сел в кресло в некотором затруднении, решившись отдать себя полностью на волю парикмахера. И вдруг услышал: «Гуд бай». Клиент прощался с мастером.

— Так вы говорите по-английски? — обрадовался я.

— О, это единственный язык, на котором я говорю.

— Как же вы попали сюда — двести километров от железной дороги, в лес?

Мастер лучше разбирался в милях, чем в километрах, а миль выходило значительно меньше.

— Все мои клиенты — лесорубы. Они покинули леса Канады, они бежали от безработицы сюда,— так скажите мне: неужели же я должен был оставаться у себя в Канаде только потому, что я там родился, когда все мои клиенты уехали сюда? У парикмахера родина там, где есть работа. А потом... А потом это все-таки Советский Союз...

Парикмахер был солидный, высокий и крепкий англосакс, он совсем не походил на Фигаро — он был серьезен.

Чисто выбритый, еще раз убедившись в недостаточности своего английского словаря, я вышел из парикмахерской и пошел по берегу... Перешел по мостику и, пройдя небольшую рощицу у самого берега, увидел раскидистую живописнейшую сосну. Она была огорожена. Здесь же я прочел надпись. Это была та самая сосна, под которой Лёнрот записывал руны... Руны, ставшие «Калевалой». Это был настоящий живой па-

мятник и тому, кто собирал песни, и тому, кто сохранял сосну... Сосну сохраняли лесорубы. Во время карельского кулацкого мятежа, организованного великофиннами, они восстали в тылу белых в Финляндии. Они прошли по этим тылам, по занесенным снегами дорогам, они посеяли панику у белых, сорвали мобилизацию. Их лозунгом было: «Руки прочь от Советской России!» Плохо вооруженные, сметая все преграды — и шюцкор, и полицию, и войска,— в бесконечных метелях, ледяных морозах, прошли они, по колено в снегу, с детьми и женами, больше трехсот километров, с боем прорвались на свою новую и подлинную родину, в Советскую республику...

Они пришли в разрушенную белыми Ухту.

Дверные переплеты были сорваны, рамы окон покорежены, стекла выбиты. Картофель поморожен, скот зарезан. Взрослое население было уведено интервентами. В деревне остались лишь глубокие старики и маленькие дети...

И одним из первых законов эти лесорубы, прошедшие великий снежный поход, издали закон о сохранении сосны Лёнрота. Сосна, под которой Лёнрот записывал руны...

Они принимали наследство...

Вот дом.

— Сюда, сюда,— вежливо подтолкнул меня Вильби.

Мы стояли у крыльца свежесрубленного дома... Прозрачная, клейкая сосновая слеза еще не успела засохнуть на досках двери.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

ЛЕНИН И РОВИО

Дверь растворилась, и оттуда выскочил мальчишка лет девяти.

— Постой, постой! — кричала ему вслед мать. Но он не обращал на нее внимания.

— Здравствуй, Марья!

— Не ту заботу имеем о детях,— с сокрушением сказала Марья,— какую надо. Наверно, можно больше сделать, да разве придумаешь! А вот Ленин ребенка всегда в мыслях держал!.. Слышал небось, что Ровио рассказывал?

— Нет, расскажи.

— А было так... На Третьем конгрессе Интернационала подошел товарищ Ленин к товарищу Ровио... нашего секретаря Карельского обкома партии товарища Ровио он раньше знал...

Когда товарищ Ленин от Керенского после июля в Финляндии скрывался, товарищ Ровио в Гельсингфорсе жил и помогал там Владимиру Ильичу скрываться.

Так вот, подходит он на конгрессе к товарищу Ровио, про то, про другое ведут они беседу... Владимир Ильич вдруг и спрашивает товарища Ровио по личному делу...

«Да так,— отвечает Ровио печально,— совсем недавно жена моя скончалась. Тиф...»

В те годы, знаете ли, тиф налево и направо людей косил... Без разбору...

«Ах так...— говорит Ленин и тоже озаботился.— А сынок ваш?»

Про мальчика, значит, спрашивает.

«Мальчик ничего,— отвечает товарищ Ровио,— только скучает очень».

Сами знаете, без матери от радости не поскачешь.

«Ах так,— говорит Ленин.— Игрушек ему тоже не хватает?»

А в те годы не до игрушек было.

Взял товарищ Ленин и чего-то в свой блокнот черкать стал, между прочим спросил у товарища Ровио адрес. А тот работал в Интернациональной военной школе комиссаром... Ровио все это ни к чему. Он думает: Ленин, Владимир Ильич Ульянов, готовится к заключительному слову... Прения шли.

Поговорили они о делах еще с полчаса и разошлись. А тем временем конгресс кончился, и уехал Ровио к себе в Петроград. Работа не ждет...

Проходит неделя, другая, третья идет... И вдруг сообщают товарищу Ровио, что получена на его имя посылка... Он удивился... Откуда это быть может? Никто не должен. Никто не обещал... Ни у кого не просил... Хоть оно, конечно, и голодно было.

Приносят ему посылочку... Небольшая... Холстинкой обтянута. В левом краю снизу надпись:

От председателя Совнаркома РСФСР
товарища Ленина В. И.

Товарищ Ровио даже смутился. Что б это могло быть? В первую минуту даже не решился распечатать посылку. Потом самосильно взялся... По шву холстинку разорвал — там фанерный ящичек. Фанерный ящичек разломал, оттуда и выпало... Да... И вышло оно, что товарищ Ленин, Владимир Ильич, для сына Ровио строительного материала и заводной автомобиль, игрушки то есть, прислал... Не забыл... Вспомнил... В порядке прений в записную книжечку записал и после заключительного слова догадался.

А ты припомни, какое время было, какие дела шли — война, голод, мор, четырнадцать держав, а он каждого ребенка в уме держал... Это ли не пример нам, занятым людям... Не веришь? Пойди в Музей Революции, теперь эти игрушки там в память великого вождя сохраняются. Только потрепанные, поломанные. Мальчику, что от Ленина, что от отца, все равно — была бы игрушка, сломает...

И она, не попрощавшись с нами, вышла из избы, и мы теперь уже вплотную занялись делом, ради которого пришли сюда...

— А кто вас ко мне направил? — спросил Федор.

— Да мы сами твое имя знаем как лесоруба-ударника, потому и пришли, а дом твой указал Петр Петрович Петров, твоей жены дядя.

— А, Петр Петрович,— улыбнулся Федор.

И я понял, чем поразило меня его лицо в первую встречу. Левый глаз у него голубой, правый карий. И это придавало его открытому лицу странноватое выражение.

— Он вам, наверно, рассказал много интересных историй...

— Да уж не без того,— сказал Рыков, и мы все понимающе переглянулись.

— Все, наверно, про других, а не про себя,— продолжал Федор, подмигнув карим глазом.— Ведь не рассказал про чудо святого Николая Мирликийского.

— Нет.

— Ну так я вам за него расскажу.

Федор совсем развеселился.

ЧУДО СВЯТОГО НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО

— Раньше, до революции, в нашей губернии пропасть была монастырей — мужских, девичьих, скитов, пустынь. Это всем известно: кошка Марья покаялась, постриглась, посхими-

лась, а все во сне мышей видит! Так вот, в одном женском монастыре одна молодая монашенка возьми и согреши. Грех до игуменьи дошел. Ну, сора из избы не выносят, но ослушницу, грешницу молодую, монашенку эту, другим для острастки наказать надо, и престрого... так... Судили, рядили и приговор постановили: на другой день утром на лавочке разложить и высечь.

Самой же согрешившей приказано вицы для березовой каши наломать... Наломала послушница эта тонкие вицы, да хлесткие, клейкие еще: дело по весне было. Наломала, села на завалинке у ворот пустыни своей и заплакала горькими слезами. Оно и понятно — кому сечься охота...

О ту пору проезжал дорогой мимо обители Петр Петрович — сам Петров,— он извозчиком в те дни ездил...

«Так и так, молода сестра, почто плачешь, почто слезы льешь?»

«Как же мне не плакать, когда завтра раненько меня сечь будут?» — отвечает она и, видя в человеке душевность, выкладывает все свои обстоятельства.

«А я этому делу могу помочь,— обнадеживает ее Петр Петрович,— могу так сделать, что никто пальцем тебя не коснется. Голову на отсечение даю, вот те крест!»

«А не врешь?»

«Какая мне корысть врать-то... Я дело говорю!»

«А что за это возьмешь?»

«Да мне от тебя ничего не надо, я для интереса и под честное слово, что будешь молчать. Не то и меня под монастырь могут замести».

«Я согласная!»

«Ну, тогда идем со мной, до моего дома семь верст!»

«Ладно... Только греха не будет?»

«Как перед богом!»

Ну, приехали к ему в избу... А он, знаешь, на все руки мастер.

«Ну,— говорит ей,— сестра, ложись. Да не так — спиной кверху!..»

Ладно.

Заворачивает подол. Повозился он над ней.

«Ой, чего-то щекотно!»

«Молчи, молчи, дура!»

«Ой, чего-то сыро стало!» — это монашка скулит.

А он ей:

«Молчи, молчи, дура!..»

Поработал и говорит ей:

«Вставай, обсыхай!»

Встала она. Обсохла. Рясой взмахнула и пошла... Пришла к себе в обитель...

«Ну, думает, поможет ли мне, или этот возчик надо мной насмешку строил?»

Утром берут ее, сердечную, под руки, ведут во двор. А середь двора лавочка приготовлена, и около лавочки другие молодые и старые, монашенки и послушницы стоят. В руках свежие розги держат. Тут грешница пуще прежнего залилась слезами.

Эх, напрасно на новый грех пошла, с чужим мужиком говорила, все равно не помогло!

Только самой себя стало жальче и на душе плачевнее...

Подвели к лавочке. Встала она на колени и помолилась... Все округ стоят, зыркают и тоже молятся... Ну, чему быть, того не миновать. Ложится она на лавочку... Сестры-послушницы подол ей подняли, на спину заворотили. Но как только они это сделали, сразу же на колени пали и в один голос закричали:

«Свят! Свят! Свят!»

И стали целовать ей зад, прикладываться то есть. А та ни жива ни мертва, ничего не понимает.

Эх, ладила баба в Ладогу, а попала в Тихвин!

Тут все на колени пали, молитву благодарственную запели.

«Свят! Свят!»

На заду-то был явлен лик святого Николая, чудотворца Мирликийского. Петр Петрович его славной клеевой краской намалевал. Ну, а монашкам это неизвестно, думают: сам святой на защиту невинной отроковицы предстал.

Ну, а если б они так и не думали и все выпытали, все равно нельзя розгами по святому лику хлестать, потому святотатство. Так она в святых все время и ходила. Пока Красная Армия монастыри не порушила.

Сказка вся, поцелуй гуся!

— Нет, не вся,— деловито сказала Марья.

Увлеченные течением рассказа, мы и не заметили, как она вошла в горницу.

— Нет, не вся. Когда началась у нас коллективизация, эта самая монашка ходила по деревням и старух смущала:

«Не ходите в колхозы, в артели! Там старухам не будут чай давать!»

«Как так не будет чая? Не хотим, да и только!»

Пришлось немало поработать. Да, на наше счастье, во время такой беседы, когда она старух агитировала, подоспел Петр Петрович.

«А, говорит, святая!» — признал ее.

Ну, всю эту историю и выложил... Так она с позором бежала. Со смеха мои бабы чуть не подавились... После этого она к нам и не заявлялась.

— Напрасно мне тогда не заявили,— сказал Рыков.— Поработала бы она лучше на канале, чем языком махать.

КАНАДСКИЙ БАНК

С Федором мы легко договорились по главному, интересовавшему Вильби делу. Ударили по рукам.

— Ты думаешь, легко победить в этом соревновании, что с такой охотой соглашаешься? — спросил я Федора.

— А мне терять на этом деле не приходится. Победа моя — отлично. Проиграю — тоже неплохо, лучше научусь... Хорошее занимать — почему же нет, за милую душу! От проигрыша я Советской властью застрахован.

Вильби засмеялся.

— Так-так, правильно, товарищ, камрад, нам о черном дне думать не надо. Здесь не та земля... А на другой земле, как ни думай, все равно не поможешь. В мой леспромхоз приехали иностранные лесорубы... Финны из Канады. Работать. По нашему совету они сложились, кто сколько фунтов или долларов имел, и купили производственные инструменты. Сюда привезли, мы у них здесь этот инструмент и купили. Люди не в убытке остались... Живут люди как люди — работают неплохо. Но среди них один разгуливает индейским петухом.

«Я, говорит, умнее вас всех. Если вам здесь не понравится, как вы обратно уедете? Валюты у вас нет».

«Да мы обратно и не собираемся».

«А если захотите обратно? Нет, я определенно умнее вас, легковерных. Вы на все свои деньги инструменты купили, а я три тысячи скопленных долларов в банк положил, из расчета трех годовых. У меня и валюта есть. Да еще и процент растет...»

С таким разве станешь спорить! Даже и разговаривать не хочется.

Приезжаю через два месяца я на этот пункт снова. Вижу — другая картина. Шум, грохот... Громадная толпа идет...

Вгляделся — вижу индейского петуха ведут.

Бледный такой, обрывок веревки на шее болтается.

«Что такое, где порядок?» — кричу.

«Да он повеситься собирался. С трудом отговорили, из петли сняли».

«А что случилось?»

«Смотри...»

Подводят меня к стенгазете. А в стенгазете вырезка из канадской газеты приклеена.

Читай, говорят.

А там было написано, что в связи с общим кризисом, неблагоприятной конъюнктурой канадский банк, в котором лежали деньги этого индюка, по-нашему — в трубу вылетел, а по-коммерчески — банкротство. Банк свои обязательства погашает и вклады выдает из расчета три на сто...

Вот и высчитал! Вот и застраховал себя!

«Возвращайся за своей валютой»,— говорю я ему на другой день.

Нехорошо над чужим горем смеяться, но в этом случае не удержался.

А он тихий, сумрачный, как это по-русски сказать... одним словом, как в воду опущенный ходит.

«Я нищий,— говорит.— Моей страховке финиш. Стоп. То есть точка!»

Я ему говорю:

«Посмотри руки свои».

Он посмотрел: сильные, крепкие.

Я ему говорю:

«Подумай хорошо».

Он спрашивает:

«О чем думать?»

«С такими хорошими руками в Советской стране, даже с такой плохой головой, как у тебя, ты — богач, обеспеченный, застрахованный...»

«А ты, Федор... молодец, Федор! Правильно: победить ты не победишь, но выиграть все-таки выиграешь. Олл коррект... Но ты в самом деле придешь, не обманешь?»

— Я в работе не обманываю,— даже обиделся Федор.— С того дня, как на первую работу встал. Какого хочешь десятника, табельщика, товарища по работе спроси, всякий в одно слово мою дотошность подтвердит. Скажет: «Федор — человек верный».

Да, с первой работы... А пошел я с невеликого возраста из дома в лес... Отец рано скончался... Дом без работников, а было это к весне двадцать второго года. Бандитизм финский окончился. Опустела родная Карелия. Белые скот повырезали, народонаселения, не считая убитых, к себе четырнадцать тысяч за границу угнали. Это взрослых и работоспособных. Да... Ну, а когда осенью и зимой леса наши на время захватили, возмечталось им, что уж засели они на нашей шее на веки вечные... Леса, мол, уже им достались, до последней коры, до гнилого пня, навсегда. Начали они тогда своими силами и мобилизованными валить этот лес. Валили выборочно. Самое лучшее, самое первоклассное, валютное дерево.

У них с Англией контракт был заключен на такое дерево. А в Финляндии такого уже мало. Они к нам и сунулись. И без английской помощи, конечно... Ну, этого я точно не знаю, не был при переговорах.

Замечательный лес выбрали они у нас. Повалили, раскряжевали; обработали на первый сорт. И лежат эти бревна мачтовые стеллажами на берегах речонок, которые все текут в Финляндию. Так... Размечтались... Спят и во сне нашу сосну и английские деньги видят... Но номер не удался. Не вышел... То есть боком вышел...

Поднатужились наши ребята, красные бойцы, и всю эту лавочку компанейскую из Карелии вышибли. Не хотите ли до дому прогуляться... А бревнышки у рек лежат как миленькие. Мы высматриваем — и к нашему берегу хорошее бревно привалило. А они облизываются. Говорят, большую неустойку английскому капиталу должны были заплатить. Ну, когда деньгами запахло, амбиция у них пропала. Представители финских лесных фирм заявляются к нам:

«Так и так, на вашей территории повалено, не будем разбирать, кем и как, а только известно нам, что повалено много дельного леса на берегах речек, которые текут в Финляндию. У вас строительство еще не развернулось — тысяча девятьсот двадцать второй год, и бревна впустую погниют. Так мы пред-

лагаем вам продать бревна за сходную цену... Наличными дадим... Только цены без запроса...»

Наши, конечно, не глупее их. Соображение развито. Тоже кое-что знают. Наши говорят:

«Будем откровенны. У вас есть у самой границы большие продовольственные запасы. Хлеба там и прочего. Для белых карельских войск готовили, только маленько подзадержались, а мы тем временем ликвидировали их, белых-то... Они, отступаючи, не без вашего содействия массу деревней порушили, домашнего и рабочего скота порезали... Короче говоря, мы согласные вами же порубанный лес к вам сплавить при одном условии: вы передаете нам это ненужное уже для вас продовольствие. И столько-то лошадей».

Ну, те торговаться. Мы у них поперек горла ершом встали. Поторговались-поторговались, но все ж таки пришли и по рукам ударили. Они вынесли двойную неприятность. Во-первых, за порубленный ими же лес своим же продовольствием заплатили. А Карелия быстрее оправилась от последствий бандитизма. Сами знаете, двадцать второй год несытый был. А пока по нашему бездорожью да притащить мешки с рожью... ведь сколько времени надо! А здесь — на тебе, у самой границы приготовлено.

Так вот, все обусловили и стали скликать народ. Я еще был в несовершенных летах, но пошел. Так впервые на сплаве и работал... Спустили мы со стеллажей... Молевым сплавом пошло. Прямо с ледоходом еще... Потом ходил я хвост зачищал, чтобы ни одного бревна не оставить. А уж у границы хвост от нас принимали другие рабочие. Иностранные. А с этого сплава я уже из года в год без перерыва на всех сплавах и всех заготовках работаю...

Мы договорились, когда Федор явится к Вильби, и уже совсем было собрались уходить, как снова вмешался товарищ Рыков.

— Федор, вот этот товарищ,— он указал на меня,— разными фактическими историями из гражданской войны интересуется. С тобой тоже, наверно, кое-что случалось, так уж уважь.

СМЕРТЬ ОТЦА

— Да нет, что могло быть? Молод я еще был, чтобы делу способствовать. Да и отец был не больно политический. Беспартийный бедняк... По этой линии он и пострадал...

Сам в домовину лягу, доску сверху приколотят — и то помнить буду.

В то утро позвали меня ребята:

«Разноглазый, идем смотреть мертвяков...»

Отошли мы две версты от деревни в болото. Смотрю — и вправду руки из тины, из болотной грязи, торчат.

«Дерни за палец, слаб!» — говорит мне Мишка Пертуев.

Ну, я взял и дернул изо всей силы... Палец у меня в руке и остался... Уж тут такой страх на меня напал, что закричал я и, не разбирая дороги, домой побежал... И мальчишки тоже со мной вместе бегут. Бегу, и нет того, чтобы мертвый палец бросить. С собой в избу доволок. Ногу разодрал, посегодня след остался,— может, полюбопытствуете? Мать на меня обрушилась: откуда кровь, почему лица на ребенке нет, отчего мертвый палец... А отец и отвечает:

«Наверно, ходил смотреть с ребятишками расстрелянных англичан в болоте...»

«Да»,— говорю.

На том и успокоился.

А отец и говорит матери:

«Чтоб у тебя дома не баловал, возьму я разноглазого сегодня с собой».

А надо сказать, в ту пору совсем соли не стало, не торговали, а если торговали, то не по нашим ценам... Вот многие крестьяне и уходили к морю — соль из воды выпаривали... Денька два поработают, ведер с пятьдесят выпарят — полведра соли домой и приволокут.

В тот вечер отец со своим двоюродным братом, дядькой моим, отправились к морю за этим делом. И меня, стало быть, отец с собой захватил. Напекли на дорогу подорожничков — и в путь.

Едем мы помаленьку через лес.

И вдруг военные:

«Стой! Куда?»

«К морю, соль парить едем!»

«Знаем вашу соль... Красные шпионы».

«Нет, мы здешние бедняки».

«Ну, да так и есть красные бедняки... К своим пробираются».

Взяли отца и дядьку. Пригнал я утром домой порозную телегу — и к матери:

«Тятьку с дядей взяли!»

Дедушка прибежал... Отец моего дяди пришел — тоже глубокий старик.

«Возьмем Федьку с собой — и в штаб. Нам што будет? На помойную яму не накопаешь хламу. А сынам поможем, может быть... Только вряд ли. Пусть разноглазый в последний раз на отца поглядит».

Мать в слезы, дед дернул вожжи.

Поехали, таким образом, в белый штаб...

Входим без помехи туда.

Как раз перед столом начальника стоят отец и дядя и держат ответ. Тут же английский офицер, из комнаты в комнату переходит.

«В болото их! — говорит белый начальник и спрашивает: — Что вам, старики, надо?»

«А это наши сыны,— отвечает мой дед,— мы к вашей милости пришли, просить об одном одолжении».

«А что?» — спрашивает.

«Просим мы у вашего превосходительства, чтобы вы разрешили выдать нам тела наших сынов. Обмыть мы хотим их и христианское погребение невинно убиенным сделать по церковному чину».

«Не проси у их, батюшко,— говорит отец деду,— не дадут наши тела на обмовение...»

Тут белый начальник как вскочит с места, как закричит:

«Ах вы, сукины дети, на моих глазах сговор строите! Вон к чертовой матери из штаба, а не то...»

При ударении таких слов все всполохнулись, ну, а деды пошли и меня с собой прихватили.

Отца, конечно, в ту ночь в расход пустили.

И меня било тогда, трясло, и злоба была неимоверная.

После отца мать, младшая сестренка остались и одна пустая изба.

А я, главный хозяин — молокосос.

НОВАЯ ИЗБА

— Изба-то совсем на снос годилась... В нее после я и привел Марью мою. Да что вы осматриваетесь, совсем не эта изба... Та, я говорю, ветхая... А эта новая, осенью рубили... Ну и напугался я с этим делом! Думал, не то с ума сошел, не то Маруся меня спокинула.

Марья с шумом переставила табурет.

Ей, видимо, не хотелось, чтобы муж рассказывал об этом.

Но Федор, подмигнув ей своим голубым глазом, продолжал:

— Помню, иду я из лесу в деревню домой, думаю: скоро жёнка встретит. Посмотрю, как ребятишки за это время поднялись. Растянусь на постели, погреюсь, отдохну, одним словом. Подхожу к деревне, душа песню просит. Казалось бы, с дороги приустал, а ноги идут быстрее прежнего. Эх, думаю, к ночи в баньке попарюсь, чайком запью... И вот с такими мыслями подхожу я к своему дому. Подхожу... Голо... Место припорошено.

Пусто.

Не то что пня — щепки не найти...

Одним словом — ни дому, ни лому.

Нет, думаю, ни с вечера, ни с утра ничего спиртного в рот не брал. На ногах держусь прямо, с одного удара чурбан надвое расколю. Может быть, не в ту деревню случайно забрел.

Оглянулся я. Нет, все в порядке.

Тетка Наталья с коромыслом к озеру бредет.

Все дома на месте стоят, только моего нет...

Прошел знакомый, шапку ломит. Все в ясности. Моя деревня... Мои знакомцы. А спросить неловко — боюсь, засмеют. Скажут, с пьяных глаз. Еще перекреститься посоветуют... Ни дома, ни жены, ни ребят.

Ну, я решился. Подхожу спокойно к тетке Наталье, помог ей воду зачерпнуть в ведра, а сам мимоходом, будто ни к чему мне, и спрашиваю:

«Не видала ли, тетя, где сейчас Марья находится?»

А она так на меня лукаво посмотрела, что душа моя ушла в пятки.

«А вот,— и показывает на новую, свежесрубленную избу в другом конце деревни,— вот там Марья теперь и живет, почитай, уже месяца два как перешла...»

Эх, думаю, горе мое, покинула меня Маруся с ребятами! К кому же она перешла теперь? Кто показался ей слаще? Куда ж я теперь один, бобылем, пойду, где отдых найду... Кому предложение сделать, или уж по такому случаю, когда кровочка изменила, на всю жизнь останусь холостяком...

Это внутри меня кипит...

А тетке Наталье я, конечно, даже и слова не сказал про такие душевные дела...

«Хорошая, говорю, изба».

«Еще бы не хорошая! Всем обществом рубили, вперегонки старались. Уважили нашу Машу».

Ну, думаю, всем обществом рубили, не иначе как за товарища Рыкова вышла... Он у нас который год прозябает холостяком... Прельстилась... Идти некуда, подхожу к лавочке, вижу — торгует там Рыков.

«Ударникам лесозаготовок привет!» — кричит и рукой машет.

Нет, думаю, не то. Не стал бы мне по такому случаю рукою махать... Значит, председатель колхоза... Тогдашний был не из наших мест. В районе имел жену. А здесь, значит, к Марье, думаю, подошел. Его-то понять могу, а ее ни за что: чем прельстилась, на что польстилась? Плешь с бородой,— головы не было.

Брожу это я так по деревне, а уж смеркается. К ночевке готовиться надо.

Ну, думаю я, в своей деревне у других проситься ночевать стыдно, сбегаю-ка в соседнюю. Всего километров восемь. Там и заночую. А надо было проходить мимо этого дома. Ну, я котомку вскинул, топор за пояс, пилу через плечо — и продвигаюсь.

По сторонам не гляжу, знакомых не замечаю. Иду... Поравнялся я с домом, и вдруг под ноги наш пес бросается... Прыгает, ластится, хвостом по земле метет — пылит. Даже скулит от удовольствия.

Эх, думаю, в животном — и то ласка есть. И то помнит. А женщина взяла да и забыла...

И горько тут стало мне на душе. Захотелось приласкать детей... А тут они сами выкатываются: с псом играли, за ним и выбежали. На шее повисли, за руки хватаются. Сынишка себе пилу и топор взял и гордо шагает.

«Дай, говорю, мне обратно!» — и поцеловал его: дескать, прощайте, ухожу...

И вдруг слышу голос Маруси:

«Федя!»

Вглядываюсь. Она и стоит на крыльце, меня зовет. Говорит:

«Уже вся деревня тебя видела, доносили мне, что явился, по улице ходишь, в лавочку заглядываешь. А домой ко мне, к жене, не заходишь. Или спутался с кем на заготовках?»

«В лавку я зашел, Маруся, чтобы купить ребятам гостинца. А по деревне хожу — дома своего не нахожу...»

«Нет старой избы у нас, Федя».

«Пришел на побывку, придется заняться работой, новую избу себе рубить. Долго в чужой не станешь гостить. Кого только взять товарищем в работе?»

«Никого и не надо брать».

«Одним нам никак не управиться».

«Да и управляться не надо. Изба-то уже готовая есть, срубленная. В нашей избе и живем. И ужин готов, сейчас за стол сядешь снедать».

«Какая же это наша изба? Не путай, говорю, Маруся».

«Да я не путаю... Моя это изба — значит, и твоя...»

«Да откуда она у тебя взялась? Разве без меня еще раз замуж вышла, да враз и овдовела...»

«Брось, говорит, пустяки загадывать. Наша это изба. Колхоз нам ее взамен прежней и построил».

«Чего ж он так резво за работу взялся?» — спрашиваю я, а сам не знаю еще, верить или не верить.

«Вижу,— говорит она,— что действительно в лесу вы живете... Сторожила я в поле урожай снятый и сено в зародах... Колхозное имущество — на круглый год... Ну и задумал кто-то — потом выяснили — сверх плана поживиться этим добром. В этом году больше сняли, чем всегда...»

— А в этом еще больше, чем в том,—вставил Антон Ильич.

— Значит, надо было им отвлечь сторожа от исполнения служебных обязанностей. А при мне дробовик был. Ну и придумали, как отвлечь... Смотрю, ночью вдруг чего-то огнем в деревне полыхнуло. Рассердилась: кто разводит костер в такой ветер!.. Нет, то не костер был...

Через минуту вижу, дом горит. Стала я в воздух стрелять... чтобы разбудить людей. Чей бы мог дом гореть? Уж очень близко от моей избы разгорается.

Зазвонили в колокол.

Голоса слышу, крики. И вдруг поняла я — это мой дом горит.

Сразу схватилась бежать.

Пробежала метров двадцать, дыхание перехватило. И вижу: по дороге к стогам чья-то тень прошмыгнула. Ну, тут я сразу вспомнила: «Кто я? Сторож, в ответственный момент года, на ответственном колхозном посту! Я побегу спасать свое барахло, а здесь весь урожай спалить могут».

«Стой!» — говорю себе.

Стою это я. Нет, не стою — по полю мечусь туда и обратно. И вдруг голос чей-то из канавы, да такой придавленный, нутряной, чтобы страшней было и непохоже на настоящий:

«Марья, твой-то дом горит...»

Я как на этот голос стрелила...

Замолк он.

А я о детях... От них, наверно, огонь. Может, они сгорели, может, горят сейчас. И опять к деревне метнулась.

Снова одумалась. Если сгорели, все равно не помогу. А сейчас там люди: колхозники, родственники. Что можно — сделают. Косынка с головы слетела. Простоволосая бегаю по полю, все около снопов. Даже плачу...

К утру сменщик пришел:

«Все сгорело, дотла...»

«Я,— говорит мне Марья,— чуть ума не решилась».

«И дети?» — голосом кричу.

«Нет,— отвечает,— дети у тетки спасались».

Домчалась — пепелище одно, головешки чадят и тлеют. Я не смотрю на них... К тетке Наталье...

Целую ребят. Обнимаю...

Потом собрание было. Все обсудили, приняли во внимание.

«Бдительность»,— говорят.

И решили ударно построить новую избу вместо сгоревшей. Так и сделали.

— Вот в ней вы сейчас и находитесь. А потом уж избрали Марью новым председателем колхоза. Так ведь, Маруся?

Но Марья ему сразу не ответила: она сердилась.

— Ну, чего ты всю эту историю рассказываешь? Человек по делу торопится, а ты только языком чешешь.

— Эх, собака умнее бабы, на хозяина не лает,— покачал головой Федор.

— Да какая же я тебе собака? — уже начинала сердиться всерьез Марья.— Ты такие речи в сторону отложи.

— Да это же пословица такая, из песни слова не выкинешь,— смущенно оправдывался Федор,— а про все это и в газете было написано.

— Ну так там строчек десять... Ты бы и показал, если охота. А то развел канитель на полчаса.

— Вы напрасно горячитесь,— сказал Рыков.— Товарищ не только про войну интересуется, но и про кулацкие штуки, про Зайкова тоже спрашивает.

— Про Зайкова? — удивилась Марья.— Да что о нем любопытствовать? Нету его и слава богу.

— Вот умный, хитрый был, из мужиков все выжимать умел. А на проверку все ж дураком вышел. Не о том говорю, что всю жизнь бился, чтобы с чужого пота жирным быть, а про суеверность... Словно старая баба, гадалкам верил. И приметы все держал в уме.

Невестка его рассказывала: пришла как-то к ним цыганка, гадалка бродячая. Посадили ее за стол, накормили, наложили полный туес вяленой рыбки, и тогда попросил ее Василий Иванович:

«Прошу тебя, открой день и час моей смерти, скажи мне всю правду, ничего не скрывай. Я слову твоему верю и судьбы не испугаюсь».

Она карты по столу разметала, быстренько собрала в колоду, перетасовала, снова разложила, чего-то прошептала и под конец сказала:

«А умрешь ты, желанный, своей смертью, ровно через год, в этот месяц, в это число, в этот час, когда солнце утонет в озере».

Старуха Зайкова заголосила, а он только перекрестился и сказал:

«Сподобил господь открыть тайну часа смертного мне, грешному».

Крепко запомнил он слова гадалки. Ни к чему на человека напраслину взводить: Василий Иванович был аккуратный, строгий, дотошный... Все дела и все денежные расчеты в голове держал, а для себя книги все-таки вел... Вот и не просто он стал смерти своей ждать, а все дела подготовил, долги со всех взыскал. Что сам был должен — отдал...

Домовину себе заказал по росту — расплатился. Место на кладбище выбрал. Священнику за заупокойную заплатил да за панихиды, за поминовения — все честь честью.

Каждому домашнему определил долю в наследстве, если захотели бы делиться.

И вот прошел год, и наступил тот день, когда он, по гаданью, должен был приказать долго жить. Домашних своих угнал на работу — в поле и по другим делам,— не пропадать же дню без прибыли...

Сам надел чистую рубаху и уселся под образами. В сенях домовина раскрытая сохраняется.

Смотрит на стенку, на ходики, а там стрелки только за

полдень перешли. Долго ждать до захода солнца. И вспомнил он, что остался у него куль ржи, еще не молотой.

«Надобно, думает, снести на мельницу и смолоть, чем так без дела сидеть-то! Как раз к часу смерти обернусь, дома буду, снова успею надеть чистую рубаху».

Ну, он быстро от думки к делу переходил.

Взвалил куль на спину и к мельнику поволок. Благо, всего три или там четыре дома только и пройти. Ну конечно, с мельником поговорил — разговорился. Потом колеса в ход запустили, жернова заворочались. Зерно было в самый раз, и мучица вышла не плоха. Насыпали в мешок, завязал и домой заторопился Василий Иванович. И в самом деле — время, оно быстро идет. За разговором и не заметишь будто, а оно не на волокуше — на самолете летит.

Вот он идет по улице — мешок на спине тащит — и торопится: успеть бы до закату добраться домой, вымыться и переодеться. Хотел он посмотреть, далеко ли еще солнышку до озера. Поднял голову и видит вдруг, что самый только малый краешек из воды вытарчивает, и того через полминуты не будет...

Все всполошилось у него в сердце.

Ну, а пока он по сторонам на озеро взглядывал, ноги его о зеленую ветку — ребята играли да бросили — запнулись, и шмякнулся он со своим мешком прямо на дорогу, да бородою в пыль. Растянулся он. А мешок развязался...

«Ну, думает, я теперь умер. Самый и есть час, когда гадалка завещала. Что теперь со мной будет делаться?»

А тут на дороге свинья со всем своим опоросом в грязи копалась. Видит это она — мешок развязанный, мука сыплется, пятачком своим ткнулась — хрю-хрю да хрю-хрю, всем семейством за этот мешок и принялись. А Василий Иванович лежит без движения, и вся душа внутри его закипает. Сам от злости белыми губами шепчет:

«Ваше счастье, свиньи, что я мертв, ваше счастье, свиньи, что я умер. А не то несдобровать бы вам».

Так и лежал, пока автомобиль проезжий перед ним не остановился.

Гудел, гудел — дескать, уходи с дороги. А свиньи хоть бы что... Им гудок ни к чему.

И Василий Иванович тоже думает, что мертв,— лежит...

Уж и ругался после этот шофер...

— Товарищ председатель, товарищ председатель! — раздался из сеней робкий голос.

— Войди,— громко сказала Марья.

И в горницу вошел крестьянин, держа в руках шапку и какую-то бумажку.

— Что скажешь, товарищ Сенькин? — спросила Марья.

— День-то, видишь, неприсутственный, выходной, а я тебя тревожу. Одним словом, принес я к тебе заявление... В колхоз хочу поступить... Можно?

— Ну, ну,— сказала Марья, вся просияв.— Пойдем поговорим подробно, не с налету такие дела решаются.

— Какое уж с налету... Всю ночь с женой не спали, разговор вели... Шутка ли — всей жизни другое направление!

Вместе с Марьей Сенькин вышел из избы, а товарищ Рыков хитро подмигнул мне:

— А может, Иван, конюх-то, был прав?

Приятно было видеть, что сельсоветчик без сожаления соглашается признать правоту человека, с которым только что спорил.

Потом Антон Ильич решил сделать выговор Федору:

— Чего ты на Марью-то при посторонних огрызаешься?

— Да мы с ней ладно живем. Это только к слову было.

— Подумайте только,— продолжал Рыков,— осенью тридцать третьего не хватало у нас в колхозе мужчин: кто на путине, кто на лесозаготовках. Хлеба недособраны, не пахан стебель. Председатель правления тогдашний на производственном совещании и говорит:

«Нет мужчин, придется землю непаханой оставлять до весны».

«А если женщины будут пахать?» — высказалась Марья.

«Ишь ты, боевая какая нашлась. Бабы пахать будут — урожая не жди!»

Ну, она на собрании ничего не сказала... Но насмешку приняла к сердцу, а утром чуть свет приходит она к бригадиру, берет от него плуг, лошадь и выходит на пахоту... Пашет круглый день... Притом не просто пашет, а хорошо перевыполняет нормы. Два дня одна на поле за конем ходила, а потом другие женщины смотрят — Марья на пашне:

«А мы-то чем хуже...»

И вступили... Так и пошло... Да не то что пашню — и целину в ту осень подняли... А ты к ней как слепень вяжешься.

Из окна новой избы видно было озеро, камыши... и за озерной широкой зеркальной гладью вставали дальние синеватые леса...

— На охоту на уток ходишь? — спросил я Федора.

— А зачем ходить-то? Из окна прямо влет и бью... Их здесь без счета...

И вдруг с улицы донеслись резкие радостные, призывные звуки клаксона... Машина в деревне.

— Наша машина! — обрадовался Вильби: он свое дело сделал и мог уже уезжать.

Значит, Леша отремонтировал шину. Ну что ж, отлично. Мы быстро и в последний раз попрощались с Федором. Но в сенях нас задержала Марья.

— У меня к тебе просьба: передай, пожалуйста, в редакцию «Красной Карелии» наше самообязательство. Пусть напечатают скорее. Пусть только ничего не переврут.

Она сунула мне в руку открытый конверт.

— Мы это можем спокойно сделать. Из года в год росли наши доходы, а в этом году мы будем своим хлебом на круглый год обеспечены. На годовом собрании хотим переименовать наш колхоз. Назовем — артель «Счастье».

УРОЖАЙ

— Счастье-то счастье, — сказал Антон Ильич, — только скоро ли и у нас в колхозе придется по дворам с милиционером ходить?

— А на кой тебе с милиционером по дворам ходить? изумился Федор.

— Вот муж председательши, — иронически отметил Антон Ильич, — а дело-то и не знаешь. Не все, видно, жена тебе рассказывает, а нам сразу после колхозного съезда доложила. Речь-то идет про Северный Кавказ, про Осетинский край, и рассказал ей тамошний председатель колхоза — старик партизан Хаджи-Мурат.

В тридцать третьем году такой урожай с полей сняли, что на бедняцкий и середняцкий двор вагон, полтора вагона трудодней пришлось. Пшеница, кукуруза, картофель, а это, знаешь, пятнадцать — двадцать полных грузовиков!

Раньше самые богатые богачи, самые жилистые кулаки столько у них не получали... Место, что ли, безводное, пашни далеко от деревни, или там, по-ихнему, аула. Как один выедешь? Страшно. Ну, а всем станом за милую душу даже и весело.

Колхоз все-таки.

Ну вот, привозят все это добро, трудодни то есть, на машинах к Дому колхозника, гудят:

«Отворяй ворота!»

Сваливают прямо во двор.

Председатель говорит:

«Убирай. Твое добро... Пользуйся, наслаждайся!»

Ну, а колхозник убирать не хочет. Картофель закапывать даже и не думает... Не верит, что его собственное.

Да здесь три года в два горла ешь — и то не переесть... Откуда взялось такое богатство?

Колхозник говорит:

«Это нарочно придумали. Просто некуда вам на станции сваливать, амбаров не хватает, поездов тоже. Так уж если нас прямо просили бы до времени сохранить, мы, пожалуй, и сберегли бы это государственное добро, а так нечего нам пушку заливать, будто все это наше».

И никто на себя это богатство не принимает...

А председатель бегает, суетится, кричит:

«Плюньте на кулацкие шепоты, забудьте прежние недороды, это теперь все ваше, берите и наслаждайтесь!»

Ну, а они ни в зуб ногой.

На другой день только партийные и комсомол забрали и упрятали свой пай. У остальных как было — все на дворах лежит, под открытым небом.

Не ровен час, тучи прольются, такое добро перепреет, испортится!

Опять председатель забегал по дворам. Кое-кого уговорил добро взять, а другие упираются.

Оседлал тогда он председательского, кабардинского своего скакуна, плетью стеганул и в район за милиционером поскакал.

На другой день вместе с начальником районной милиции примчался... Лошади в мыле...

Пошли они по дворам, и председатель при милиции заявлял каждому:

«Бери, это твое добро... Что хочешь, то и делай с ним... Обратно взыскивать не будем!»

Милиция при этом кивала головой и заверяла записку своей печатью. Потому что некоторые колхозники затребовали письменную справку. Иначе не верили...

Такое ведь привалило!

— Так, Марья, тебе председатель осетинский Хаджи-Мурат рассказывал?

— Так, так, только и у нас такое же будет... У нас пашни меньше и хуже, да ведь зато лесу сколько, рыбы сколько, озер-то. Они в этом нам позавидовать могут!

Мы вышли на крыльцо. Леша, увидав нас, перестал нажимать кнопку клаксона.

ДЕЛО ОБ АЛИМЕНТАХ

— Еще попрошу,— говорила Марья,— позвони в суд, пусть нам повестку заранее пришлют, чтобы мы успели человека послать.

— А какое у вас дело?

— Да об алиментах.

— У колхоза об алиментах? — изумился я.

— Да простое дело. Спора быть не может. Нам присудят, и все...

— Да как дело возникло, не понимаю?

— В прошлом году пришла к нам в деревню сирота, на последнем месяце. Хотела работницей поступать. Я тебе говорила, что у нас для зыбочных — ясли. Так ее даже в няньки не берут... Пришла ко мне, плачет... Я и говорю: вступай в колхоз наш... Жаль ее стало, да и людей у нас нет. Какой шум на правлении был! Мол, не надо нам бездворных и нищих! С дороги принимать будем? Не сиротский дом! И тому подобное. Но я доказала... Приняли ее в члены. Скоро и ребенок произошел... Повозилась она с ним, ну, а после — в ясли. Работает она, как все... Не хуже, пожалуй, даже лучше. Песни веселые запела... Тогда призываю ее к себе и спрашиваю:

«Нюра, отец ребенка жив?»

«Жив»,— говорит.

«Где он живет?»

«В Петрозаводске»,— отвечает.

«Работу имеет?»

«Имеет,— говорит.— А что?»

«Ну,— отвечаю,— будет он платить алименты колхозу за содержание малютки. Дай его адрес и фамилию».

И Нюра дает мне адрес и фамилию этого парня. Ну, посылаем мы письмо ему от правления колхоза... К чему суд, когда дело можно покончить миром... Три письма шлем... Нет ответа.

Думали, почта плохо работает.

Дали запрос через милицию. Приходит справка: такого нет, не было, не проживает. Одним словом, неизвестен.

Я снова к Нюре... Она плакать... Ведь обманула, негодница. Крепко любила своего молодчика, не хотела подводить. Думала, колхоз грех покроет, ребенка выкормит... Я и отвечаю:

«За колхозом ребенку и так и этак не пропасть... Но ежели кто дитя сделал, отвечать должен... И опять-таки до зажиточной жизни мы пока еще не дошли, денег у нас в самый обрез, незачем колхозному добру зря из-за легкомыслия пропадать».

Разобрало ее, снова адрес дает.

«Ну, говорю, если и на этот раз адрес неправильный, то за обман колхоза и растрату нашего общественного времени на сутяжничество выведем тебя из членов».

Но адрес-то правильный.

Дело мы возбудили... Я о том забочусь, чтобы вовремя повестка пришла. А дело-то об алиментах колхоз обязательно выиграет. Ну, прощайте!

Грохоча всеми своими болтами, в облаках пыли приближался наш автомобиль. Пока мы собирались, Леша решил покатать целую гурьбу восхищенных ребятишек.

ШТАБС-КАПИТАН ЦАРСКОЙ СЛУЖБЫ ДЗЕВАЛТОВСКИЙ

— У меня есть к вам одна просьба,— сказал Антон Ильич Рыков,— если не трудно, узнайте в центре, где находится сейчас польский революционер, штабс-капитан царской службы Дзевалтовский. Последние сведения я получил, что он приговорен был польским правительством к пожизненной каторге. Только думаю, что он бежал или убит при попытке к бегству. Не такой это человек, чтобы смирно отбывать срок. А может быть, его через МОПР обменяли. Если узнаете, черкните мне весточку. Обязательно время выберу, чтобы свидеться. Очень уж я его уважаю. От него я первый раз про большевиков правду узнал... Через него из класса в себе классом для себя стал... В революцию с ясной головой вошел. А было это на фронте, когда вшей в окопах кормили, для буржуазной сволочи своими руками жар загребали... В империалистическую войну позорились, одним словом. Другой бы залез в богатство, забыл и братство. А Дзевалтовский, даром что офицер, не из

таких был. Он еще подпольной большевистской выучки. Настоящий человек — о чем говорить! Особо скажу про один случай.

Было это в июне семнадцатого года. Я тогда на фронте секретарем полкового комитета был, а штабс-капитан Дзевалтовский председателем.

И вот подъезжает к штабу нашего полка на автомобиле Керенский совместно с генералом Гурко.

«Вызвать ко мне штабс-капитана Дзевалтовского!»

Звать пошел вестовой... Татарин из Баку... Керим. Хороший был парень... Преданный. Я ему жизнь спас... Ноги под мышки — и так четыре версты тащил. Одеждой, правда, за сучки цеплялся, головой о камешки стукался... Но об чем речь — вытянул.

Дзевалтовский узнал, что его зовут, и говорит нам:

«Ребята, распоясывайся».

Керим набок шапку заломил — это первый знак неповиновения был... Не по форме, значит, одеты.

Генерал Гурко грозно говорит:

«Где здесь штабс-капитан Дзевалтовский?»

«Я Дзевалтовский!»

«Я приказал явиться. Мне нужен штабс-капитан Дзевалтовский!»

Но тут вышел вперед Керим — могучий был парень — и говорит:

«Нэт штабс-капитан Дзэвалтовский, был штабс-капитан Дзэвалтовский, да весь вышел, остался товарищ Дзэвалтовский».

Гурко приказывает казакам — у него с собой человек пятьдесят приведено было:

«Арестовать!»

«Зачэм арестовать? Нэ надо беспокоиться, спокойны будэшь!»

И Керим положил в рот два пальца и засвистел на всю ивановскую. И тут наших молодцов высыпает изо всех щелей видимо-невидимо:

«Видэшь, друг, душа мой, нас сколько и вас сколько? Вас мэньше, нас больше, так что, уважаемые казаки, вы походить можэте и без седел».

Казаки молчат.

Передние наши расступились. А за ними пулеметы стоят — два — и бомбомет.

Прицел взят на автомобиль и на казаков.

Ну что ж, и раздели мы их — в одном нижнем отпустили. Правда, шофера мы не тронули: рабочий человек.

А потом на нас казачьи полки как пошли напирать! А немцы и австрияки тоже перешли в наступление. Так что мы в середине остались. Напирают на нас, огнем и штыком щупают, а мы в середине между двух огней. Мы подались в соседнюю армию. Нас там, как следует быть, хорошо приняли... Но предварительно много было у нас убитых. Ну, на этом прощайте...

С визгом и веселым гамом провожали дети наш «форд». Леша нарочно не газовал, чтобы угодить бегунам.

Мальчишки всерьез воображали, что они бегают быстрее машины. Вильби и Ильбаев громко смеялись.

Через некоторое время я получил письмо от Антона Ильича, где между прочим говорилось:

«Английское правительство должно мне большие суммы. Я эту валюту передаю в Осоавиахим на постройку аэроплана. В начале семнадцатого года был я в полковой команде конных разведчиков. За мою несознательную отчаянность, потому что война была капиталистическая, имел я уже две георгиевских медали и два Георгиевских креста. Английское правительство выслало 100 своих орденов — солдатских чугунных крестов для раздачи в русских войсках. А я как раз был представлен к новой награде. Русских солдатских отличий у меня хватало. Ну и решили мне дать английский крест. За этот орден причитается по статутам один фунт стерлингов в месяц. С 1 января 1917 года я перестал эти деньги получать по случаю гражданской войны и презрения к иностранному капиталу, так что теперь мне причитается от английского короля 204 фунта стерлингов, более чем 2000 золотых рублей. Эти деньги я передаю на нужды Осоавиахима и нашей авиации — пусть она растит таких героев, как товарищи Молоков, Ляпидевский, Леваневский, Каманин, Слепнев, Доронин, Водопьянов.

Разузнайте, пожалуйста, и подробно напишите мне, как можно востребовать долг от Макдональда».

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Я раскрыл свою записную книжку, чтобы вложить конверт, адресованный Марьей в редакцию «Красной Карелии». Мелькнули странички.

Первая:

«В тех районах Карелии, где сохранились руны о кантеле,— совсем нет самих кантеле. Там же, где еще встречаются кантеле,— совсем не сохранилось рун».

Вторая:

«Охотники говорят: план заготовки пушнины можно увеличить в три раза, если бы кто-нибудь занялся разведением и подготовкой охотничьих собак... Нет собак... Надо поставить вопрос».

Третья:

«Речь т. Валлина о необходимости завоза в Карелию на постоянную жизнь десятков тысяч семей лесорубов».

Я прочитал письма Марьи в редакцию газеты, прежде чем вложить их в свою записную книжку. В первой записке говорилось, что стоимость трудодня в этом году на сто процентов больше прошлогодней. Вторая была договором социалистического соревнования школы с колхозом. Работники школы обязались... Но это были обычные обязательства школьных работников... Колхоз же в этом соревновании обязывался:

1. Засеять весной 1 га овощами для горячих завтраков школьников.

2. Для этих же завтраков выделить 50 килограммов ржи, 50 килограммов овса, 100 килограммов картофеля и 100 килограммов капусты, 20 килограммов гороха, 20 килограммов рыбы. На каждого ученика для горячих завтраков 1 килограмм масла и 25 литров молока.

3. Колхоз обязывался привезти для школы 23 воза дров.

4. Колхоз обещал наладить регулярный и своевременный подвоз детей в школу — весною и осенью на лодках через озеро, а зимою на санях по льду. Следить за тем, чтобы ребята ходили в целой обуви, а также давать лошадь для подвоза учебных пособий и поездок школьных работников по надобностям школы...

«И мы вызываем все колхозы нашего района и других заботиться о своих школах и школьниках и помогать школьным работникам. Наши дети не должны даже понимать той нужды, в какой протекало детство родителей. Потому что она есть проклятое наследие невозможного прошлого, которое мы выкорчевали в Октябре, как прогнивший пень, раз и навсегда!»

Вильби и Ильбаев через мое плечо прочитали этот вызов на соревнование.

— Эх, не хватает нам людей, трудовых рук, а то мы бы

здесь в краткие сроки сделали и эту каменистую землю неузнаваемой!

— А ты попробуй сделать все с той наличностью, которая у тебя есть,— внушительно произнес Вильби.

— Ну и делаю.

Большие валуны, занесенные сюда доисторическими ледниками, лежали у самой дороги. Сквозь густую листву мелькала голубая вода озера... Небо было безоблачно.

Перед поворотом Леша нажал кнопку, и снова раздался резкий гудок клаксона.

Мы все подпрыгнули на сиденье.

Леша круто затормозил.

В нескольких шагах от нас шла группка людей. Седоватый мужчина с козлиной бородкой, молодежь вузовского обличия — геологические молотки, рюкзаки,— и среди них снова увидел я молодое девичье лицо, обрамленное светлыми локонами.

Это была та самая девушка, которую я видел в поезде, когда она, перегнувшись за окно, шептала бегущим мимо лесам какие-то горячие слова. Это была та самая девушка, с которой я не решился познакомиться и заговорить, встретившись лицом к лицу на площадке вагона... Вот здесь остановиться бы, расспросить ее, о чем тогда она пела, познакомиться с нею, проводить ее. Узнать, как зовут ее, где живет она...

— Леша, останови!

Но Леша не расслышал.

А встречные уже скрылись за поворотом, в облаке пыли, поднятом нашей машиной.

Нет, я не повторил просьбы об остановке автомобиля. Да и как бы я мог объяснить Леше, зачем мне она понадобилась? О чем бы я стал и разговаривать с этой девушкой, весело идущей по большой дороге, окруженной своими друзьями.

— Что, сердце на повороте екнуло? — спрашивает меня Леша.

— Да, екнуло.

— А это мы встретили геологоразведочную партию. Здесь их сейчас как собак нерезаных.

— Весьма возможно,— отвечаю я и смотрю вперед на дорогу, летящую нам навстречу, и краем уха прислушиваюсь к тому, что говорит Вильби Ильбаеву. А говорит он медленно, как будто складывая кубики, и между каждым словом большие зазоры.

— Вот и я так говорил, когда прибыл в Советский Союз. Дают мне путевку... Леспромхоз — заведующим... Дают мне план... Столько-то фестметров древесины, столько-то — сплав. Иду домой. Весь вечер и даже ночь вычисляю... Карту географическую до миллиметра измерил. Утром прихожу... Согласен. Дайте мне столько-то и столько-то лесорубов, столько и столько инструментов, лошадей или машин — и я берусь выполнить план... А товарищ, который посылал меня, глаза на меня выпучил, словно рак.

Моих слов, думаю, не понял. Совсем плохо я по-русски говорил. Тогда начальник и сказал:

«Спросите Вильби, может быть, к нему второй заведующий еще нужен? А может быть, чтобы уже лес в штабелях лежал, только обмерить стандарты оставалось бы?..»

А я не понимал, думал, он смеется надо мной. А он говорит:

«Тебе все выдать, а ты сам что станешь делать? Инструмента и лошадей дадим вполовину меньше, чем просишь... Остальное добывай сам... Организуй... Можешь больше, можешь меньше, чем в твоей записке изложено, а план выполни...»

Мне сейчас стыдно вспоминать об этом. Обиделся я... Думал, смеется надо мной... Я за границей работал и не понимал, как это топоров, пил, людей не хватает... Там всегда людей больше, чем надо...

Побежал я к товарищу Гюллингу жаловаться. Гюллинг руку на плечо положил:

«Ты, говорит, не знаешь обстановки, ты сам должен все сделать... У тебя потребительские, рваческие тенденции...»

Поехал я в лес. Стал работать...

— Ну, а теперь как, товарищ Вильби?

— Мой участок все планы перевыполняет... Мне даже стыдно вспомнить, каким я был дураком... Рваческая тенденция! Ждал я, пока все дадут, когда самому все сделать надо. Добиваться! Организовывать!

ПЯТАЯ ГЛАВА

НЕУДАВШИЕСЯ КРЕСТИНЫ

Опять подпрыгивая на каждом ухабе, мчал нас «форд» по большой дороге. Снова молчали пассажиры, снова жалел я о том, что не познакомился с девушкой, снова Леша рассказывал нам свои занятные истории... И так мы доехали бы до Петрозаводска в несколько часов, безо всяких остановок и приключений, если бы... если бы на росстани не догнали старушку, которая медленно шагала по дороге с двумя малыми ребятами. Завидев нас, она остановилась, сняла с головы пеструю косынку и, выйдя на середину дороги, принялась ею махать.

— Ехать просится,— отметил Леша.— Как, товарищи пассажиры, не возражаете?

Мы не возражали, тем более что «форд» машина пятиместная, а вещей ни при нас, ни при старухе не было. Леша затормозил.

— Садись с внучатами.

Старушка, кряхтя, взобралась на подножку и затем в машину, мальчонка сел между Лешей и мной, а девочка — с бабушкой. Мальчик был очень горд тем, что сидит рядом с водителем.

— Куда же, собственно, гнать тебе, бабушка?

— А не знаю.

Леша засмеялся.

— Не смейся, родимый,— сказала старушка,— ты вези меня до той деревни, где еще поп или дьякон действует... или церковь не закрыта. Потому что поручено мне крестить этих двоих деток, а то они нехристи. У нас теперь вся детская деревня нехристи. Ну, а про этих мать позаботилась. Просит меня: «Муж сейчас в доме отдыха, я при работе. Если бы крестить стала, муж рассерчал бы. А ты, Дарья Тимофеевна, более свободная, сходи на денек-другой, окрести. Я, говорит, тебе за это два своих трудодня пожертвую».

— Значит, это не твои внучата?

— Нет, родимый.

Мы проезжали большую деревню. Остановились около церкви.

— Церковь у вас, товарищи, действует? — любезно осведомился Леша.

— Нет, уж третий год как попа нет.

— А как с верой?

— А кто верит, пусть себе верит в своей избе. Красного угла для этого дела хватит.

Алексей снова нажал педали, мы опять двинулись в путь.

В следующей деревне церковь тоже превратили в клуб.

— Плохи твои дела, бабушка, несолоно хлебавши надо будет восвояси возвращаться... не крестивши... А почему вы своего попа с работы сняли, если он так нужен?

— Да я нашего попа и не жалею, туда ему, обманщику, и дорога!.. Я коров лечила. Слова хорошие знала... От стариков еще научена была. Ну и травы нужные собирала... Не черный ведь заговор, а светлый говорила... Добро делала, о зле не думала... Многие мне своих коров водили. Иным помогало... Так этот поп жаднющий с амвона объявил, что ко мне ходить грешно! А я только чистые слова знаю и травы хорошие... Только, мол, святая вода помогает, ветеринар и святой Влас!.. Ну, кое-кто послушался его. А мне-то и горя мало. Ведь и про девок сказано: девушки не травушки, не вырастут без славушки. А я-то уж и в гроб гляжу. Так подавно... Только вот заболела у попа корова, есть перестала... В точку уставилась, смотрит сумно. Он ее кропил... Ветеринара звал — не помогает. Одним вечером гляжу: долгополый на мое крылечко ногу ставит. Чего, думаю, ему надо? А он так сторожко, оглядываясь, пришептывает:

«Бабка Дарья, грех на прошлое серчать, мне эти слова надо было говорить по штату. А ты мне помоги, спаси мою коровушку, так я тебе воздам сторицей».

Ну нет, я на эту удочку не клюнула, не пала, как голубь на его зерно.

«Постой,— громко говорю,— ты, кажется, меня с амвона срамил?»

«Тише, тише разговаривай»,— опасается долгогривый.

Ну, а я нарочно голос подымаю, спуску не даю.

«Да как тебе не совестно?» — кричу.

Ну, тут народу набежало достаточно. Поп-то от сраму сбежал, подобрав рясу... Вскорости мы колхоз завели и его места решили...

— Ну, если он обманщик был, так другого, правильного, можно ведь было поставить. К чему же церковь-то закрыли?

— Ну, сразу видать, что не колхозник ты. Откуда, во-первых, правильного попа можно достать? А потом, для кино,

собраний, и канцелярий, и всяких колхозных дел где место взять? Пока не окрепли, не могли строить, а теперь там амбар колхозный. И председательша лозунг повесила: «Слову вера, хлебу мера, а деньгам счет»... Нет, это мы правильно сделали с церковью, а вот другие, надо сказать, поторопились.

— Э, бабка, все, наверно, так думают!

Тем временем мы, проехав деревушку, где никогда не было даже и часовни, въехали в районное село.

— Работает у вас церковь? — спросил Леша у одного из встречных.

Тот только недоуменно взглянул на Лешу и, махнув рукой, не стал даже отвечать.

У околицы старушка с полным кузовом грибов ответила Леше так:

— Давно попа не держим... Когда это дело ликвидировали, церковный староста очень испугался, что этим званьем он себя замарал. Он ключ от церкви в райзу носил, не приняли, сельсоветчику сдавал, тот не взял. Так напоследок он рассердился, ключи на паперть положил, и они с месяц там и провалялись, пока комиссия с городу не наехала... Нет, службы в церкви у нас нет. А вы что, любопытствуете следы пуль английских посмотреть? Сохранились следы... Бой был на нашем месте большой... Летом в церкви пионерский выездной лагерь с фабрики стоял. Пионеры только недавно уехали.

— Нет, лагерем не интересуемся. А где вы детей крестите-то?

— А и не крестим. Раз уж родился в советское время, так просто записываем. А кому приспичит — в город ездит.

— Придется в город податься,— сказала наша пассажирка.

И Леша снова погнал свою «кобылу».

— А что с поповской коровой-то стало? — спросил Вильби, и запах крепкого табаку заглушил бензинные запахи.

Вильби всегда докапывался до корня.

— Ничего не стало. Выздоровела... Теперь на колхозной ферме, к первому месту подбирается... Чуя неминуемую беду свою, поп решил напоследок извести скотину... Горе горюй, а руками воюй... Только хотел-то он воевать чужими руками. Сам скотину резать не то не умел, не то крови боялся, не то кары страшился — не скажу... Только проходил в тот день один лесоруб через нашу деревню. У попа заночевал. Поп его и подбил корову зарезать: «Дам я тебе за это восемь фунтов мяса».

Тот и согласился. Человек он прохожий... Только забыла я тебе, родимый, сказать, что лесоруб-то прохожий был косой. Один глаз на нас, другой в Арзамас... Так-то... Вот утром выходят они корову резать. Поп за рога держать взялся, а лесоруб топор поднял, метился, куда бы ему ударить. А он косой. В разные стороны глаза кидает, а попу потому и кажется, что лесоруб все в него метит...

«Ты так и рубить будешь, как целишь?» — спрашивает поп.

Тот и отвечает:

«А то как же!»

Поп как перепугался... Рога держать оставил... В другой конец двора убег...

А лесоруб и говорит:

«Чего ты испугался? Иди держи корову, я убивать ее буду».

Поп из угла выбрался. За рога взялся. Лесоруб опять целится. Он-то косоглаз, а попу снова кажется, что на него целит. Он опять:

«Ты туда и будешь бить, куда метишь?»

«Конечно...»

Ну, поп снова и отбежал в сторону... Так у них ничего и не вышло. Только лесоруб очень рассердился на попа. Он ушел и Рыкову нашему все обсказал... про корову и про попа... Тот быстро обернулся... Ну, а корова хорошая, Мотя за ней первый глаз имеет.

— Чего же ты, бабушка, в такое путешествие с ребятами пошла пехом?

— Да уж больно редко почтовая машина ходит... Раз в день... Всех не заберет...

— Нет, вы только полюбуйтесь, вы только посмотрите на эту девицу,— громко смеялся Леша.— Она жалуется на транспорт... убиться можно! А раньше ты о машине думала?

— Да чего о машине,— сказала старушка,— раньше и этой дороги здесь не было...

ДВАДЦАТЬ ДВА АЭРОПЛАНА

— Мне больше всего в Дарье Тимофеевне то нравится,— сказал, смеясь, Леша,— что она недовольна нашим автотранспортом. И то правда. Скоро мы на аэропланах по всей республике будем разлетывать в частном порядке. А в нашей Карелии в первую голову... Уже открыты линии Петроза-

водск — Заонежье. Из Петрозаводска через Онежское — в Пудож. Петрозаводск — Ухта и Петрозаводск — Ленинград. Скоро еще новые регулярные линии откроются. Да, была бы наша республика самая аэрофицированная в Союзе, если бы Вернер Лехтимяки привез самые простые и дешевые машины.

— Что ты знаешь про Вернера Лехтимяки? — оживился Вильби.

— Немного, да зато все хорошее. Мне летчики в нашем аэроклубе рассказывали...

Я тоже вспомнил встречу с Вернером Лехтимяки, высоким блондином с бритыми розовыми щеками, очень похожим на добродушного англичанина-спортсмена или молодого банкира. Вернер Лехтимяки! В то время, когда мы встретились с ним, он руководил постройкой авторемонтного завода в Петрозаводске, очень сетовал на бюрократизм наших стройорганизаций и просил меня помочь ему газетными корреспонденциями. Потом он уехал в Ленинград работать в авиации, а затем, кажется, в Москву... Я знал, что он недавно приехал из Америки.

Мы объяснялись с ним по-английски. Изредка приходила нам на помощь его жена со своей немецкой речью.

«Мой жена немец»,— представил мне ее Вернер.

Я внимательно прислушивался к рассказу Леши. Вильби тоже был заинтересован.

— Рассказывал тот, кто с ним из Америки приехал... Был он, говорит, когда-то финским красногвардейцем, в гражданской войне участвовал, в Советской России работал, потом не сговорился, повздорил, кажется, из-за мелочей. А паспорт у него был иностранный. Вот он и смылся за границу в тысяча девятьсот двадцать втором году. Прямо в Соединенные Штаты. Он объяснил, что поехал технику летного дела изучать, а в то время у нас одни летающие гробы были. Приехал он в Соединенные Штаты и кое-что в аэропланах уже кумекал, потому что он военную трехмесячную школу окончил и над Юденичем сбрасывал бомбы и листовки. Поступил он в Нью-Йорке в летную школу. Окончил первым по качеству учебы... А там это нелегко. Да еще иностранцу... Только он и до революции в Америке бывал. Кочегаром, ковбоем — все перепробовал, это ему и помогло. Он уже умел по-американски говорить. Ну, кончил первым, оставляют совершенствоваться. Потом уже в инструкторы произошел... А сам он занимался изо всех сил. Моторы всех марок изучает — сборку, разборку, производство. Сам полеты производит, других

учит... Школа-то частная была. Странное дело, частная летная школа! — перебил сам себя, изумляясь, Леша.

— Хозяин и сделал Вернера за отличную работу заведующим учебной частью. Но он знал технику так хорошо и преподавал так классно, что выше полез... На государственную службу... Сделали его главным инструктором, по кадрам, что ли,— не знаю, как это у них в Америке называется.

Ни один летчик во всем Нью-Йоркском штате по выходе из школы не мог считаться летчиком без подписи Вернера на дипломе. Всех испытывал. Экзаменовал. Главным образом практически. Почетным гражданином стал... Сам Рузвельт — он тогда был губернатором штата — с ним беседовал, и не только на банкетах. Вернер от него письма имеет.

И тут понял Вернер, что превзошел он всю техническую авиационную науку, под самый потолок забрался, дальше некуда, остается ему передать эту науку трудящемуся классу, рабочему государству, то есть нам... А с другой стороны, знал он, что товарищи здешние за то, что дисциплинку сорвал, по головке не погладят... И вполне правильно против шерстки щеточкой проведут.

Ну, он решил, если возвращаться, то все же не с пустыми руками...

И стал он вести коммунистическую работу. Вел эту работу по-настоящему. Иногда выступал и на митингах друзей Советской страны.

А стал он вести такую работу... В тех школах, где он летному делу обучал и инспектировал, училось немало финнов. Ну, чтобы другие американцы не знали, он по-фински с ними агитацию и пропаганду проводил... А человек он здорово убедительный... Ну и башка за троих варит...

Вот и организовал он среди летчиков в школах подпольные группы. А там хоть и кризис начинался, но положение мирное, а Вернера слишком уж к революции тянет... И холодовал, и голодовал, и нужду знавал в свое время, и все ж такой тоски никогда не было, как в те дни, когда все имел и с генералами обедал, а про свою трудовую душу ни на секунду не забывал.

Ежели бы он все время не орудовал, так с тоски бы помер...

Твердо решился он в Советский Союз прибыть... А орудовал он так...

Все аэропланные фирмы его отлично знали.

Некоторые даже хотели ему прислать в подарок аэропланы. Но он отказался: могли бы посчитать за взятку...

Но написал он каждой фирме, что хотел бы приобрести у одной там мотор, у другой фюзеляж, у третьей другие необходимые детали. Ну и так далее.

А фирмы по случаю кризиса цены снизили. Потом Вернер узнал, где какие самолеты или части по случаю продаются.

Он этим делом занимался, так уж в курсе всего и был... Смету составил — полный расчет... Да ежели вдобавок самому сборку произвести, так каждый самолет и стоил сущую безделицу. Но личных средств не хватало... Нужно было еще около двадцати тысяч долларов.

Созвал он тогда к себе своих выучеников, подпольщиков то есть, летчиков-коммунистов из финнов, и говорит им:

«Задумал я ехать во всемирное наше отечество — Советскую республику... Но Советская республика бедна еще техникой и техническими людьми, а в особенности братская нам по национальной крови Карельская республика. Она страдает от векового бездорожья, и по множеству озер гидропланы были бы для нее в самый раз... Насчет аппаратов позабочусь я сам. А кто из вас лично желает ехать со мной в Карелию?..»

Согласились все... Но взял он только семнадцать — тех, за летные качества которых мог дать голову на отсечение. Другие на разводку остались. Только не хватает им денег на аппараты и на перевоз... За морем телушка — полушка, да рубль перевоз... Ну, они этот рубль и наскребли...

По всей Америке, знаешь, разбросаны финские колонии... Трудящиеся финны от условий жизни переселялись пачками в Америку в свое время. Особенно лесные рабочие.

Теперь они из Америки обратно к нам в Карелию едут.

Ну вот, поехали летчики по американским городам. Финнов-трудящихся созывали... Объясняли им свой план. Смету показывали.

Ну, а из пролетариев нашей стране кто враг? По американскому пятаку подписывались, а там финнов столько, сколько во всех городах Финляндии, так что сборщики планы свои перевыполнили.

Одного я не понимаю: почему полиция на это дело сквозь пальцы смотрела? — снова изумился своему рассказу Алексей.— И вот приходит однажды зимою в Ленинградский порт пароход. Ледокол через льды проводит.

Груз выгружают по накладным. Наркомвнешторг все принимает... И вдруг какие-то накладные откладывает в сторону... Это не наше. Это вы завезли случайно... Мы этого не выписывали, за это платить не будем...

А это были машины — двадцать два самолета, закупленные Вернером Лехтимяки. Он сам тут как тут. Объясняет:

«Никакой валюты... Берите... Все бесплатно. Подарок американских финнов трудящимся Карелии...»

Ну, когда дело разъяснилось, взяли эти самолеты.

А тогда Вернер и говорит:

«В любое время к этим аппаратам пилотов выпишу».

«Валяй»,— говорят.

Так и вышло... Он за ними съездил и потом обратно сюда. Уж как его там деньгами, чинами ни блазнили, большевиками ни пугали, как оставаться ни просили — стоп. Точка... Не помогло. Остался у нас работать... Ну, а Вернер со здешним начальством не договорился. Не могли ему простить измены прежней, а я сказал бы — недисциплинированной выходки, потому что душа-то его в конце концов сказалась... Ну вот, он уехал не то в Ленинград, не то в Москву по летной учебе экспертом и консультантом работать.

— Все это правда, Леша? — пробормотал Вильби и обдал нас клубами дыма.

— Обеими руками подписываюсь. А что?

— Жаль, что я раньше не знал.

— А что?

Теперь от Леши уже было отделаться не легко. Это понял Вильби и поэтому, как всегда, медленно ответил:

— Мне сказали — Вернер возвратился, и спросили: стоит ли его принимать в партию? Я его раньше хорошо знал... А этой истории, второй его жизни в Америке, не знал... Я вспомнил подвиги его, вспомнил отъезд его и сказал: «Подождем год... Пусть в один год он себя покажет». Так...

— О каких подвигах Вернера Лехтимяки ты вспомнил, товарищ Вильби?

МУРМАНСКИЙ ЛЕГИОН

— Вы знаете, что Вернер Лехтимяки имеет чин полковника английской королевской армии? Да... Факт... Эх, если бы пересилил он политически меньшевика, предателя Токоя, быть бы ему известным на весь свет... Из-за Токоя, этого

самого, и в революции много лишней крови пролилось и еще прольется. После разгрома нашей финской Красной гвардии лахтарями во главе с генералом царской службы Маннергеймом и германскими войсками многие наши товарищи на севере перебежали границу и стали накапливаться в Княжей Губе, в Кандалакше, в Мурманске. Остались они почти без средств к существованию, без питания и без перспективы... Многим казалось, что пришел конец мира, разгром полный и после этого удара никак не подняться. Да оно и понятно: потеряли родину, дом, работу, родных и перешли на кислое тесто, гнилую воблу, в землянки. На линии и в Мурманске много было финнов, которые работали на стройке железной дороги. А в лесах и такие были, что еще с осени на лесозаготовки пришли и сплавлять собирались... Да уж где тут! Лесопильные заводы останавливались, лесопромышленников в Петрограде Октябрь по карману ударил. Ну, эти лесорубы тоже без дела остались... А тут как раз пришли в Мурманск военные суда королевского британского флота... Привезли для начала десант из английских солдат, которые добровольцами вызвались, с самыми заядлыми офицерами. Была и шотландская рота — в юбочках ходили, с голыми коленями.

Мы над этой формой вдоволь насмеялись, неподходяща она к северным параллелям.

И вот эти англичане объявили набор...

Объявили, что организуют они финский легион...

Они так и говорили:

«Наши враги — немцы, ваши враги — маннергеймы и лахтари. Наши враги, немцы, действуют сообща с вашими врагами — без кайзера белые не взяли бы верх. Давайте объединимся и мы в борьбе. Выгоним немцев и их союзников из Финляндии... а там уже видно будет...

Одним словом — хуже не будет...»

Эта агитация была для сознательных бойцов... И еще заполучили англичане к себе на службу бывшего председателя красного сейма, социал-демократа Оскара Токоя... Во время революции он был членом Совета народных уполномоченных... Как один из лидеров красного сейма он среди рабочих пользовался большой популярностью. Многие ему еще верили, хотя из-за таких, как он, и была проиграна наша революция, но в этом еще мало кто разбирался. Компартия у нас только-только организовалась, а своего товарища Ленина не было. И вот этот Оскар Токой, социал-предатель — да будет

имя его навсегда проклято! — ездил и агитировал вступать в легион...

Он говорил:

«Англичане — защитники демократии против империализма. Враг у нас общий... Трудящиеся, идите в легион, который будет частью британской армии».

И многие ему верили и записывались в легион.

Но такую агитацию проводили среди сознательных, бывших красногвардейцев. Среди строителей дороги и лесорубов действовали проще... Называли нормы пайка и показывали обмундирование, а паек не только по тем временам, но и по теперешним был и в самом деле классный... Белый хлеб, сгущенное молоко, отличные консервы, вплоть до шоколада. Честное слово! А это, конечно, не могло не действовать. Даже прямо скажу: здорово действовало.

Набилось, таким образом, в легион до тысячи человек. Там разбивали их по ротам...

Вначале финское начальство было выборное...

Токой и стал верховодить. Получил чин английского полковника... Разместили у Кандалакши, у Княжей Губы и поблизости... Еще совсем недавно стояли там бараки из гофрированного железа, сводчатые, мы их звали «чемоданами».

Но все слова о немцах, о Маннергейме были только пустыми словами.

Об этом, конечно, знал Оскар Токой, при котором все время находился финский революционный артист Орьятсало. Но и тот превратился в предателя.

Настоящий же план у англичан был такой: вымуштровать финский легион, создать из него внушительную воинскую часть и бросить против Советской республики, против Красной Армии.

Они думали в этом деле использовать злость некоторых бывших наших красногвардейцев, которые не понимали, почему Советская Россия нам не помогла, и по старой меньшевистской закваске подозрительно относились к русским рабочим. Они тянулись ко Второму Интернационалу... Ну, англичане все это и учитывали. Политики они неплохие, только тут вот и просчитались. А записался в легион, через несколько недель после организации, простым рядовым некий Вернер Лехтимяки. Но скоро узнали некоторые бывшие красногвардейцы в нем героя защиты Таммерфорса, одного из командиров фронта. Ну, раз фронтовик, избрали его ротным командиром. И тут началась у него борьба с Токоем. Вернер

был фронтовым командиром. Как бывший американский ковбой, во время революции в Турку он пришел на ипподром, захватил лучших лошадей и организовал первый красный кавалерийский отряд. Можно сказать, что у нас еще раньше, чем у русских товарищей, кавалерия появилась.

Это запомнили, и Вернер пользовался поэтому среди легионеров большим авторитетом. К тому же он сначала жил в бараках, в самой гуще, всего насмотрелся, все знал, друзей-товарищей приобрел, речи произносил толковые, с большим жаром. Отлично внутреннее и внешнее положение разъяснял. Кое-кому секретные листовки передавал. Одним словом, не был барином, как Токой.

Стал он легионерам нравиться... Да и сам Майнард, английский генерал, стал к нему благоволить. А это еще и потому, что Вернер отлично умел по-английски говорить, он ведь перед революцией несколько лет в Америке работал... Тут шпионы разные появились, и немецкие и белофинские, и стали всплывать листовки большевистские на финском языке.

Английские офицеры производят следствие, а Вернера Лехтимяки призывают к себе переводчиком. Он листовки дословно переводит... Показания большевистских агитаторов — тоже... Некоторых задержали, некоторых отпустили на волю. Финские белогвардейцы однажды попались в своей полной форме, расфуфыренные, как райские птицы... Тоже Вернер Лехтимяки переводчиком был... Тех всех в расход списали. В полное доверие у английского командования вошел.

Сам генерал Майнард в кое-каких вопросах с ним советовался...

Ну, так проходило время... Легион воинскому делу учился...

Муштровали нас не мало. Одним словом, стали регулярными бойцами. Ну, а когда многие бойцы захотели поставить командиром легиона Вернера, у английского командования никаких подозрений не было.

Сам генерал Майнард выхлопотал ему чин полковника. Произвели Вернера в полковники, ровно бы в пику Токою.

Ну, после этого среди них еще сильней вражда пошла...

Но многие еще верили Токою. А Вернера ночью можно было встретить, днем, утром, вечером — в любое время среди легионеров.

Всё разговоры вел, агитацию проводил, направлял мысли. А тут союзники немцев на Западном фронте расколотили. Насчет Финляндии с ними обо всем договорились.

И нашему легиону от английского командования выходит приказ:

«Немедленно занимать позиции на фронте и вести наступление против красных войск...»

Эшелоны уже подготовлены. Пар у паровозов поднят — только поезжай. И Токой по ротам ездит, речи произносит о том, что надо немедленно и решительно выполнить приказ, что этим мы себя зарекомендуем как верные союзники Антанты и защитники демократии... Многие уже строятся... Готовы выступить на фронт.

И тут Вернер Лехтимяки подымается и говорит:

«Против Красной Армии, республики мы, трудящиеся финны, не сделаем ни одного выстрела. Их враги — наши враги. Да здравствуют Советы... На позиции не идем... Открываем фронт».

Тут большинство легионеров, конечно, пошло за Вернером. Чутье не обманывает... А к тому же Вернер был хороший оратор...

Тогда нас окружили английские и белые войска... Навели орудия, пулеметы... Ну, да у нас, слава богу, были боевые командиры, и сами англичане неплохо выучили нас военному делу.

Эх, не будь тогда предателя Токоя, обязательно было бы большое вооруженное восстание в белом тылу... Не ушли бы так просто интервенты с севера... Красная бы Армия на готовое пришла.

Но тут Оскар Токой ввязался... Потом англичане сами поняли, что означает вооруженное восстание в тылу...

Трезво оценили свое положение. Ведь тут такая катавасия могла начаться, о какой и подумать в Лондоне не могли. А вдобавок еще и партизаны не унимаются.

Начали англичане переговоры... Пытались Вернера Лехтимяки от массы оторвать, многие почести и награды предлагали — не выходит... На переговоры вызывали... Думали, что он под влиянием легионеров находится, так вызывали для переговоров в поезд английского генералитета.

Не верили они, что Вернер большевик.

А во-вторых, они хотели разными проволочками обеспечить себе возможность свободно грузить и увозить восвояси, в Англию, лес... Шекльтон, известный арктический исследователь, концессию на леса взял у северного правительства, на миллионы вывез леса, а ни гроша не заплатил.

В вагоне Вернера сладостями угощают, а легионеры тем

временем окружили английский поезд. Навели пулеметы... Английский конвой стушевался. А на паровозе машинистом был наш коммунист, товарищ Викстрем.

Тут бы их всех и перебить... Но опять помешал нам этот Токой. Одна только небольшая группа наших в леса ушла, в тундры, к Умбе. Там у них с английскими войсками и происходили безрезультатные бои... А в переговорах Вернер уперся на одном:

«Финский легион с красными драться не будет... Не принуждайте, будет хуже».

«Тогда сдавайте оружие, которое вы получили от нас, и идите на все четыре стороны...»

«Нет, без гарантий неприкосновенности легион этого не сделает».

И вот учредили вроде мирной конференции в Ревеле... Там были представители мурманского легиона, представитель английского командования, финского и шведского правительств.

Договорились и договор подписали... Кто из легионеров желает, может отправиться в Финляндию. Кто хочет — в Швецию или в Канаду...

Так и провели дело.

А Вернер загримировался и как рядовой поехал вместе с другими в Швецию, а оттуда пробрался обратно в Петроград. Уезжал он тайком, затесавшись среди других, потому что английское командование разыскивало его. Особые счеты были. Не хотели выпускать.

Уж много времени спустя читал я мемуары генерала Майнарда об интервенции на севере. Там этот командующий удивляется тому, что большевистская агитация имела громадное влияние.

«Даже такой выдержанный, культурный человек, отличный, редкий организатор, один из лучших полковников английской армии, Вернер Лехтимяки, и то поддался этой красной заразе».

Вот удивился бы генерал Майнард, если бы узнал, что Вернер сам организовал эту пропаганду, что его специально и послал финский ЦК партии из Петрограда. Что он с тем и явился в легион...

— А ты это откуда знаешь? — перебил рассказчика Леша.

— Да ведь мы вместе были посланы: он с тем, чтобы, заняв командное положение, повернуть штыки в другую сторону, а я ему в помощь для низовой организации.

Не раз приходилось нам потом по секрету, ночью, встречаться, намечать планы, делиться соображениями.

Вот если бы Токоя не было или позже недели на две мы получили бы приказ об отправке на передовые позиции, тогда мы наше задание выполнили бы полностью. А так штыки-то повернули в другую сторону, но по врагу со всей силой не ударили.

Очень мы боялись, что получим выговор от партии за то, что задание во всей полноте не выполнили. Ну, уж потом у белых началась паническая эвакуация. Английские солдаты некоторых своих офицеров кокнули.

А перебиралось нас из Петрограда в легион пять человек. По лесам, по болотам... Не вместе шли. Выдавали себя за лесорубов. Один в лесах погиб... Другого на линии фронта опознали и расстреляли... Третий англичанам за галеты и сгущенное молоко продался... сказал им, что есть большевистские агенты... Но, кроме меня и Вернера, никто не знал списка и личностей посланных... Вернер показания предателя сам и переводил англичанам...

Да, мы по лесу километров с триста прошли... Осенью... Вот откуда я Вернера узнал...

А сам я пошел с теми легионерами, которых в Финляндию отправили. Там многих, вопреки договору, сразу и переарестовали.

— Ну, а ты?

— Три года каторжных работ и я отбыл...

И Вильби, снова обдав нас табачным дымом, откинулся на спинку сиденья...

ДОРОЖНЫЕ МЫСЛИ

Леша, задумавшись, гнал свой «форд» по лесной дороге. О чем думал этот боевой парнишка? О том ли, что он возит на своей машине тех людей, о которых ему рассказывали в школе... Тех людей, которые прежде всего отстаивали дело революции и не щадили себя, лишь бы это дело победило. Они погибали в болотистых лесах от голода и гнуса, их расстреливали у наскоро вырытых рвов, их бросали в каменные мешки казематов и каторжных тюрем... Но и в наручниках они были страшны для вооруженных до зубов врагов. Их хотели подкупить, их пытались запугать, но это они проникли во все неприятельские армии и, разоружая эти армии, ду-

мали, что партия будет недовольна их работой, потому что нужно было сделать еще больше; заставить ружья эти бить в другую сторону... И один из этих людей, прошедший и подполье, и фронт, и каторгу после фронта, сейчас мирно сидит в его «форде». И все это не только написано в интересных книгах, а действительно было так и посейчас есть, и вот сегодня один из них раскатывает по лесным дорогам Карелии...

Не знаю, такие ли точно мысли теснились в Лешиной голове. Может быть, он задумался о том, как будет сам служить в Красной Армии? Ведь этой осенью призывают его год рождения.

Как неудержимо идет вперед наше время, как каждый день наполняет оно нас новыми делами и заботами, и только по праздникам да в дни юбилеев мы на минутку останавливаемся, чтобы перевести дыхание, вспомнить битвы, где вместе рубились, вспомнить с тоской и сожалением тех товарищей, которые не дожили до славы наших великих дней и великих побед. (И о нас так вспомнят... через сколько лет?) Но мы будем жить и драться за торжество нашего дела всем разумом, всей силой, всей кровью, всем нетерпением нашим...

Мне говорил старый красный партизан:

«Одного я боюсь — что снова загремят по линии выстрелы, когда я стану уже совсем старым. И глаза у меня плохо будут разбирать мишени».

И мне сказал мой сын:

«Я боюсь, что фронты откроются очень скоро и мне скажут: тебе еще рано в красноармейцы — учись...»

Я принимаю ваши боязни на себя... И говорю старику партизану:

«Будь спокоен. Если ты уже не сможешь метко целиться, я буду в кадрах, а сын добровольцем...»

И я говорю сыну:

«Учись спокойно. Если тебя еще не возьмут в армию, я буду в кадрах, а красные партизаны-старики пойдут добровольцами... Потому что мы отвоевали себе прекрасную родину... И никому не отдадим...»

НЕУДАВШИЕСЯ КРЕСТИНЫ

Но вдруг сидевший между мной и Лешей карапуз забеспокоился, стал подпрыгивать на сиденье и закричал:

— Тятя! Тятя! А тятя!

Навстречу машине шел крепкий рослый человек со светлой бородой.

— Тятя!

Леша плавно остановил «форд» в нескольких шагах от прохожего. Тот посторонился, думая, что помешал шоферу в каких-то маневрах, но долго раздумывать ему не дал его сын. Он выскочил из машины и сейчас же повис на шее отца.

Отец был рад этой неожиданной встрече, но вместе с тем немало и ошарашен.

— Так на машинах ездить стали? С кем же это ты?

Старуха забилась в самый угол, натянув косынку чуть ли не на глаза.

— Да с Олей и с бабушкой Дарьей.

— А, с бабушкой Дарьей,— произнес отец тоном, по которому чувствовалось, что от подобного разъяснения дело для него яснее не стало.— Куда ж ты, Дарья, моих детей повезла?

— Да Анастасия отпустила со мной прокатиться.

— Откуда идешь? — спросил Ильбаев недоумевающего отца.

Видишь ли, мы все планы валки, вывозки, сплава выполнили, ну, меня как сильного ударника и послали в дом отдыха на две недели. Из дома отдыха иду. Сам-то я из Наволокского колхоза...

— А-а, Наволокского! А ты знаешь, что, по случаю подъема воды и затопления места вашего колхоза, мы его переносим в другое место? Рядом с Ялгубой...

— Как же не знать об этом! Нам от этого прямая польза... Новые дома строят. Скотные общие дворы... Ясли... Налоги на столько лет снимают... Но мы, лесорубы, все-таки обижаемся: три раза в месяц кино в нашем поселке — это мало, это никуда не годно, и в домах отдыха нам мало места дают...

— Погоди,— перебил его Ильбаев,— а ты до революции был на заготовках?

— А то нет? Ну, бывал... Ну, в землянках курных жили, ну, коек, постелей не имели, ну, вшей кормили, ну, газет не читали. Так против этого и революцию сделали. Теперь в тысячу раз лучше, спора нет... Только нам еще мало... по совести говоря... Мы за ударную жизнь... Вот, говорят, скоро выстроят у нас в Карелии дом отдыха лесоруба и дом отдыха колхозника... Ну, тогда другой разговор... Только я думаю —

и тогда мало будет... Чего-нибудь снова не будет нам хватать... Потому в гору лезем!

— Я как раз место вашему колхозу высмотрел у самой горы,— улыбнулся Ильбаев.

Лесоруб, идущий из дома отдыха, развязал кисет, стал сворачивать собачью ножку.

— А ты, тетка Дарья, с ребятами скоро обратно?

— Да скоро, скоро, родимый! — обрадовалась старуха и шепнула Леше: — Да поезжай же...

Но тот бросил руль.

— Нет, шалишь, бабка, я тебе не покрышка. Она, товарищ, ездит церковь отыскивает, чтобы твоих детей без твоего согласия окрестить!..

Тут мы увидели, что отец рассердился не на шутку. Он, не завязав кисета, сунул его в карман.

— А ну, вылезай с ребятами! — приказал он старухе.

— Не вылезу,— решительно сказала старуха.

— Товарищ шофер, помоги мне достать эту чертовку!

Но Леша тоже был парень не промах.

— Детей бери,— строго сказал он,— а старушка с нами поедет.

С тем мы и оставили расстроенному отцу его детей.

Ребята махали нам ручонками, пока совсем не скрылись с глаз.

— Да во всей Карелии только две интересных церкви: в Видлице и в деревне Кижи,— внушительно сказал Леша.

И в самом деле, двадцативосьмиглавую церковь в Кижах все знают как замечательный памятник старой деревянной архитектуры, но мало кто знает, что деревня Кижи была одним из центров восстания Олонецкой губернии в XVIII веке. Восстание питалось теми же корнями, что и пугачевское.

Отъехав с километр, Леша снова остановил машину и сказал старухе:

— А ну, слезай!

Она покорно сошла и сказала ему:

— Спасибо.

— А понимает, за что благодарит,— усмехнулся Леша.— За то, что тогда с детьми не ссадил. Мужик бы ее пришиб, честное слово.

И тут мы рассмеялись как будто по команде, все разом: Вильби, Леша, Ильбаев и я.

На этот раз общее молчание длилось недолго. Опять заговорил Вильби:

— Я смотрю на эту страну, которая была нищей, жила в землянках, ела кору и не имела даже проезжих дорог. И я вижу поселки лесорубов — с клубами, радио, кино и газетами. И я вижу деревни с детскими яслями и трудоднями, с хлебом на круглый год. И я еду по лесу на автомобиле. По настоящей дороге... И я слышу, как простой лесоруб жалуется, что мало кинотеатров и не хватает домов отдыха, черт дери, и мне говорят, что колхоз будет называться «Счастье»... И огромная радость подымается во мне. И я вспоминаю моих братьев по классу, которые после разгрома нашей революции еще томятся за этими рубежами... И тогда горе и тоска переполняют мое сердце. Я знаю, и не только по именам, тех, кого убивают при попытке к бегству, тех, кто якобы кончает жизнь, повесившись в промозглой каменной камере. Я знаю, как с каждым днем становится труднее жить и работать тем, кто томится в плену у фабрикантов. И я знаю, как, в поте лица обрабатывая землю и разводя скот, крестьяне там становятся все беднее и беднее. В Финляндии, которая до революции многим русским трудящимся казалась краем обетованным. Тяжко ныне стало трудящимся. Безработица. Кризис. Только мы — как остров во всем мире. И все больше пловцов, идущих на яркие маяки этого острова... Но столько штормов, столько подводных камней, столько изменников-рулевых, которые больше думают о получении страховой премии за разбитое судно, чем о спасении команды!.. И когда я думаю об этом, нельзя мне оставаться спокойным. Но я скоро беру себя в руки и начинаю работать лучше, ударнее. Да, я знаю, работа моя здесь и поддерживает и усиливает ослепительный свет маяков советского острова. И когда я думаю о моих порабощенных товарищах, я вспоминаю тогда одну историю. Историю лошади.

ОДНА ЛОШАДЬ

— Произошла эта история совсем недавно... Осенью тридцать второго года. В северной деревушке Нивола... Цены на сельскохозяйственные и особенно животноводческие продукты пали очень низко. А крестьянство там занимается главным образом животноводством.

Никто не хотел покупать ни молока, ни масла, ни сливок,

ни сметаны — ничего... Крупные экспортные компании разорвали свои контракты. За границей в финском масле не нуждались.

В самой Финляндии трудящиеся голодали и, конечно, покупали бы, но безработица шла по всей стране; у тех, кто работал, снижали зарплату. И северные крестьяне не могли продать свои товары даже за бесценок. А хлебопашеством там не занимаются... Камень, Климат... Значит, остались они с коровами, но без хлеба, без инструментов, без мануфактуры... мясо, молоко и шкуры, кора и дикие коренья — вот что им оставалось. Пошли нищими, побежали в города, и безработных стало еще больше. А другие через границу стали пробираться в Советскую страну. Да... А налоги не снизили.

Сборщики ходили и за все требовали полной меркой... Описывали дома, поля, движимое и недвижимое... Крестьяне сжимали кулаки, когда видели, что их кровное, всей трудовой жизнью нажитое скудное добро шло на торгах за бесценок или в заклад за налоги.

Стискивали зубы и не знали, что делать, как быть. А городские товарищи, коммунисты из Улеаборга, были заняты своими нелегкими делами и своевременно не приняли мер... Кто из вас душу крестьянскую знает, тот поймет, что с последней коровой крестьянин еще может расстаться... Но потерять, отдать единственную лошадь — это значит потерять свою судьбу.

И у вас говорили: «Корова пала — стойло опростала, а лошадь пала — все пропало».

И вот у бедняка Илки была такая последняя лошадь. Гнедой конь. Укко.

Чего он только не делал, чтобы сберечь его! Сам жил хуже последней собаки в деревне, но гнедого держал.

Конечно, при такой жизни от коня тоже вскоре остались одни кости да кожа.

Проезжал через деревню ленсман... Увидел он такую картину: зеленая слюна, скелет на копытах.

А по финскому закону животное, внушающее подозрение по болезни, должно быть немедленно зарезано.

Вот видит ленсман такую лошадь и требует:

— Позвать хозяина!

Является Илка.

— Твоя лошадь?

— Мой конь.

— Приказываю немедленно прикончить. Завтра вечером буду проезжать обратно, наведаюсь... Если сам не убьешь, тогда еще штраф заплатишь, в тюрьму сядешь, а ее убьем государственным образом.

Сказал и уехал.

А Илка остался стоять совсем без слов...

Это ему-то надо самому зарезать свою последнюю надежду, свою единственную возможность подняться, встать на ноги с весны...

Нет, никогда он этого не сделает... Пусть тюрьма, штраф. Он за своего гнедого, больного, тощего, с проступившими сквозь кожу ребрами, будет драться кулаками, зубами вгрызаться, ногтями царапаться...

И он пошел по всей деревне, горько печалясь и возмущаясь, сетуя и негодуя:

— Они не дают нам продавать наш товар. Они оставляют нас без хлеба. Они требуют с нас полностью все налоги, и они же хотят отнять последнее наше достояние — рабочий скот, лошадь.

И тут Илка припадал к равнодушной морде обреченного животного, целовал обвисшие замшевые губы, гладил по щекам, по линявшей шерсти, и вокруг него на деревенской улице росла толпа крестьян, возчиков и лесорубов, торпарей, бобылей, батраков... И они все кипели возмущением, сжимали кулаки, грозились.

Винили все власти, в первую очередь, конечно, ленсмана, и жалели несчастного Илку. И даже зажиточные мужики присоединяли к общему возмущению свой голос... И случилось так, что некоторые батраки в этот день ушли в другие близлежащие деревни и в город.

На другое утро приезжает ленсман.

— Где Илка?

Илка тут.

— Убил лошадь?

— Нет, не убил и не буду убивать.

— Где она?

— Не скажу...

Тут ленсман арестовал Илку. И послал полицейских разыскать и доставить больную скотину.

Когда Илку повели через деревню, то почти все выбежали на улицу, стали кричать и ругать ленсмана, угрожать ему, требовать освобождения Илки. И вот завели Илку в участок. А друзья — и у бедняка бывают товарищи — остались под

окнами. И слышат они — из здания доносятся громкие крики, и потом показалось им, что кто-то выстрелил. Вскочили они со своих мест и побежали по деревне, крича:

— Илку, Илку убили!

И побежал весь народ к дому ленсмана. А тут полицейские нашли лошадь Илки и ведут ее по деревне к ленсману.

Народ был в полном возбуждении. Окружили плотной толпой полицейских, дружно навалились, отняли гнедого и повели в другую сторону, а лошадиный этот конвой разоружили. Револьверы, финские ножи быстро в толпе исчезли.

И уж не знаю, какие тут средства связи действовали, но только к вечеру этого дня стал прибывать народ из ближайших деревень — с ножами, вилами, охотничьими ружьями, топорами... Масса народа... После восемнадцатого года в этих местах ни разу не собиралось вместе столько людей.

И тогда ленсман вывел Илку и поставил на крыльцо, говоря:

— Чего вы бунтуете, никто и не собирался убивать его.

А Илка увидал толпу и закричал:

— Где мой Укко? Что вы сделали с ним? Не выдавайте! Так они по очереди у всех перережут.

И где-то на деревенских задах лошадь услышала голос хозяина и жалобно заржала. Илка услышал, бросился с крыльца.

Тут все подались вперед.

Толпа подхватила с собой Илку и дала ему свободу... Подхватила толпа и ленсмана, избила его и обезоружила. А в это время, ничего не зная о том, что происходит, прибыли в деревню сборщики податей. Но как только народ узнал, кто это и зачем они приехали, все набросились на них. Обезоружили. Повели, как конокрадов, через всю деревню, заперли в одной комнате с ленсманом. А разоруженный полицейский в город бросился к властям за подмогой. И батрак один в город — за помощью к рабочим...

Но еще до прибытия полицейского губернатору по телефону стало известно, что вся волость отказывается платить государственные налоги. И чтобы другим не было повадно, отправили власти несколько боевых рот с артиллерией на место происшествия. А рабочих Улеаборга комитет Коммунистической партии призвал к забастовке солидарности. И также комитет послал своего человека в деревню.

Ведь это было первое в истории движение крестьян против фашизма, которое подавлялось вооруженной силой.

К тому времени, когда подошли к деревне воинские части, в движение пришла уже вся волость...

Несколько залпов темных солдат и городских фашистских отрядов; легкий артиллерийский огонь, даже без особых попаданий и ущерба, и... Нет, товарищи, мне неприятно рассказывать вам подробности поражения... Не было единого центра... Точных лозунгов и целей... Разношерстность... Оборонительные настроения... Нет, все это можно было бы преодолеть и в борьбе сорганизоваться. Городские еще не были готовы... Стихийно. Но самое главное, я говорю, что не потеряли мы живую силу восстания, что остались еще все причины... Ну и окружила полиция и захватила многих участников.

Некоторые скрылись в окрестных лесах. Может, надо было бы держаться еще недолго...

Заволновались другие деревни. Вся страна пришла в движение... Но кто об этом знал в Ниволе? Да и потом, это было уже позднее, во время суда над повстанцами.

Лахтари боялись волнений среди рабочих и вынесли мягкие приговоры. Тридцать человек приговорили к отсидке в разных тюрьмах по два года. Человек сорок к разным штрафам... Сумма в общем немалая — несколько десятков тысяч марок. А откуда нищие повстанцы могли их достать, эти марки-то? Но тут пришла на помощь лошадь...

С чего я начал рассказ? С истории одной бедняцкой лошади... Вот ее продолжение... Здесь на подмогу оштрафованным и делу революции пришел этот гнедой, из-за которого весь сыр-бор разгорелся.

Во время восстания его берег сам хозяин, Илка... А когда Илку заточили в темницу, друзья взяли под уздцы Укко и повели прятать. Подбирая остатки сена и горсти овса от военных лошадей, они понемногу подкормили гнедого, так что ребра перестали выпирать наружу и в глазах появился блеск. И когда присужденные к штрафам узнали, что в Улеаборге открывается ярмарка, они повели лошадь Илки на ярмарку.

Они воздвигли на ярмарке балаган и поставили туда лошадь. По совету городского товарища стали впускать туда публику. Каждый, кто желал посмотреть на лошадь, которая была поводом восстания в Ниволе, о которой так много говорилось на суде, мог увидеть ее в этом балагане. За вход опускали в кружку монету — кто сколько хотел и сколько мог.

Весь сбор шел на покрытие штрафов по приговору суда. Из этих денег покупался также фураж для Укко.

Лошадь к тому времени от хорошей жизни стала даже лосниться.

Толпами пошел народ в этот балаган.

Шутка ли! Побывать на ярмарке и потом прийти к себе в деревню, не увидав исторического гнедого! Нет, это было бы слишком глупо.

Около лошади оштрафованные и городские товарищи вели разные интересные беседы, рассказывали подробности восстания: почему на этот раз дело не вышло, как оно может выйти... И отзвуки этих разговоров вместе с рассказами о знаменитой лошади разошлись по всей губернии. И даже за ее пределы... И только после того, как один из вождей местных лапуасцев и редактор газеты, бродя по ярмарке, зашли в балаган и подняли тревогу, явилась полиция и предложила под угрозой новых штрафов и арестов убрать с ярмарки неожиданный аттракцион...

Ну что ж, убрали с ярмарки. И пошли оштрафованные по деревням. Где собиралась вечеринка, туда приходили и они со своим гнедым... Показывали и объясняли... Так под эту лошадь они собрали всю нужную им сумму. А лошадь и по сей день живет. Заслуженная... Осенью тридцать четвертого выйдет Илка с двадцатью восемью другими арестованными на свободу. Илка получит обратно свою лошадь, сытую и здоровую. Но все остальное — увидят они, когда оглядятся,— осталось таким же печальным, безвыходным, нищим.

Когда их судили, они сказали:

— Нельзя хуже жить, чем жили мы последние годы...

А когда выйдут из тюрьмы, увидят они, что теперь, кто остался на воле, стал жить еще хуже.

Но и на их улице, за границей, так же будет праздник, как и здесь... Так же будет! — убежденно сказал Вильби.

Мимо бежали пестрые, уже начинающие облетать леса. Зелень хвои проступала сквозь багрянец и золото листвы... И падали листья эти на дорогу и на озерную гладь.

— Хороша лошадь, Леша? — спросил, улыбнувшись своим мыслям, Ильбаев.

— Моя «кобылка» тоже хороша,— ответил, не задумываясь, Леша.— Знаете что: давайте заедем в Косалму, близко, в дом отдыха. Там есть механическая пианола и замечательный заграничный патефон. Я вам сыграю. Исключительные есть валики...

— Нет уж, гони прямо, и так задержались сверх норм,— решительно отрезал Ильбаев.

— Как-нибудь в другой раз, Леша,— сказал я.

Мы проехали росстань, от которой шла дорога на Косалму. Опять слева было Конч-озеро, а справа, ниже на несколько метров, Укш-озеро.

— А знаете, на дне Укш-озера сколько угодно болотной железной руды... Петр Великий работал, и мы скоро будем добывать. Инженеры говорили,— продолжал делиться своими сведениями Леша.— А там дальше есть Ур-озеро... Самая прозрачная вода в Карелии. На несколько сажен пятачок видать. И нигде никаких соединений с другими озерами... Да... Сургубские рыбаки стали проверять. Нескольким щукам на хвост ложки деревянные навязали... А через год в Ур-озере одну такую щуку с ложкой поймали... Значит, ход есть. А где — до сих пор неизвестно...

Товарищ Вильби, все время молчавший, не слушавший ни речи Леши, ни замечаний Ильбаева, снова обдал нас клубом крепкого табачного дыма.

РЕЧЬ КАНАДЦАМ

— Иногда я горячусь и не понимаю, почему все не так ясно видят, как мы, где черное, где белое, где правда, где ложь... Где жизнь, где смерть... Я так и выступил на собрании канадцев-лесорубов в прошлом году.

Срок договора с этими канадскими лесорубами кончился. Ну, раз кончился, сняли их с инснаба и перевели на обычное снабжение... Тут они заволновались, начали скандалить.

Выехал я на место происшествия. Вхожу в клуб. Битком набит канадцами. На сцену прошел... Увидели меня, заволновались, зашумели. А я и говорю им:

— Понимать надо! Когда русские рабочие умирали от голода, истекали кровью, завоевывая и для вас страну, где есть работа и нет безработных, что делали вы? Вы в Америке отсиживались, своим трудом помогали капиталистам... И вот русские рабочие построили Советскую трудовую страну и вас, которых душила базработица, пригласили сюда, дали вам самое лучшее, что имели. А вы и теперь хотите лучше хозяина жить. И какого хозяина! Не капиталиста, а русского рабочего, который вам открывает глаза на весь мир. Да и вы здесь такие же хозяева, если работаете...Чей лес? Назовите мне имя хозяина, которому принадлежал бы хоть один фестметр. Нет, не назвать вам, потому что хозяин — все трудящиеся;

вся страна. И вы! Вы, избирающие своих депутатов в Советы... Вам раньше давали все с лихвой, чтобы вы привыкли к обстановке, и еще потому, что считали несознательными. А если ваши головы за два года жизни здесь не прояснились, то, пожалуйста,— уезжайте обратно в Канаду и Финляндию. Но как ваш друг предупреждаю — напишите туда письмо, справьтесь обо всем. И вам все ответят, что там невозможная безработица. А тех, кто уедет или будет здесь волынить, мы запишем поименно и опубликуем имена в международной рабочей печати и финской и канадской. И рабочие всего мира покроют вас позором и презрением, потому что, волыня здесь, вы не забастовщики, а простые штрейкбрехеры и предатели...

И когда я сказал им в лицо всю эту правду, они молчали.

Потом вышел один и сказал, что он никогда не был и не будет штрейкбрехером, и заявил, что и в новых условиях он обещает перевыполнять норму.

А потом начали говорить другие: о том, что теперь они согласны со мной и не понимали раньше политического значения, о том, что они берут свои слова обратно.

И многие из них положили на дощатый стол свои иностранные паспорта и тут же при всех на бумажках писали заявления с просьбой принять их в советское гражданство.

И это потому, что до рабочего человека правда всегда дойдет... Только надо прямо в глаза ее рубить... И ударника называть ударником, а штрейкбрехера — в лицо — штрейкбрехером.

И какой был подъем!

Все забыли свои ссоры: и кто кому когда не дал прикурить, или стянул лыжи, или обругал в нетрезвом виде,— все забыли.

И как в этот вечер мы пели «Интернационал»!

Мы пели его как клятвенное обещание биться за победу рабочих во всем мире, до тех пор пока руки наши смогут держать топор.

1936

РАЗВЕДЧИКИ

I

— Хорошая девочка! — одобрительно сказал профессор.

Он лицом походил на Чехова; его очень ценили за невероятно большой запас знаний о богатствах и природе края, собранный за тридцать лет настойчивой работы, его очень любили молодые работники за ту радость, с которой он передавал свой опыт и знания совсем еще зеленой молодежи, только что сошедшей со школьной скамьи. Эта молодежь должна была сейчас пройти по всем большакам, проселкам, тропинкам, болотам, кручам и ручьям республики, постукивая геологическими молотками, отбивая куски образцов, записывая на обертке каждой пробы место и день. И потом уже, в городе, оглядывая эти каменные куски, припоминать ночные проливные дожди, высокое горячее солнце, комариное царство и пахучую лесную ягоду. И приходила эта молодежь на работу с некоторой наглостью всезнайства, когда казалось, что знания, добытые в аудиториях, лабораториях и библиотеках, вполне достаточны, чтобы разведать недра всего мира в один день, чохом, что все просто и ясно: если республика поставила задание найти железо — железо будет найдено в любом месте, найти глину огнеупорную — и глина будет где угодно. И эта молодежь с горящими глазами и страстным желанием найти бросалась отыскивать огромные железные залежи среди осадочных пород или уголь там, где по всей сопутствующей геологической свите ему быть невозможно.

Через год, когда такой искатель теряет свое всезнайство гимназиста, в глазах его загорается огонек настойчивости и энтузиазм оплодотворяется опытом и умением. И мы знаем, что если республика приказала найти железо — железо это будет найдено именно там, где оно есть, и огнеупорная глина тоже будет найдена, и не меньше, чем ее требуется для строительства.

— Ведь это, товарищи, непреложный факт, что восемьдесят процентов руководителей партий в этом году только кончили вуз. Да это и не мудрено. В тысяча девятьсот четырнадцатом году было двести геологов с высшим образованием, а сейчас больше четырех тысяч, а в Польше двенадцать. Да что! В тысяча девятьсот тридцать втором году геологоразведкой было занято сто двадцать пять тысяч человек...— И здесь профессор разошелся и хотел было продолжать, но потом неожиданно раздумал, махнул рукой и сказал: — Да вы все это сами на конференции слышали.— И прибавил по адресу только что вышедшей из купе девушки: — Хорошая девочка. Из нее выйдет настоящий геолог. Она не из тех, что могут сказать: «Запасы аномалии огромны», как, помните, на днях в «Вечерке». А впрочем, вот она сама, пусть и расскажет.

В купе, с мылом и полотенцем в руках, вошла Наталья Ивановна, о которой говорил профессор. Он сразу же обратился к ней:

— Наталья Ивановна, расскажите, как вы первый раз были начальником партии.

Я успел уже взобраться на верхнюю полку и подал оттуда свой робкий голос:

— Расскажите, пожалуйста, Наталья Ивановна! Поезд, к которому должны прицепить наш вагон, опаздывает на два часа, а спать никто не хочет, так что время у нас есть.

Мне везло. В Петрозаводске на геологоразведочной конференции я познакомился с девушкой, которую встретил в поезде,— с девушкой, которую повстречал когда-то в дороге. Теперь я уже не жалел, что не остановил Лешу.

— Да бросьте, товарищи,— смутилась Наталья Ивановна,— отцепитесь, пожалуйста.

— Ах, так! — угрожающе произнес профессор.— Тогда я сам расскажу историю о русалке на острове. Приехал я для консультации в тридцать втором году в ее партию. Ну, добраться до нее было нелегко. Уже по дороге пришлось неподобные вещи слышать: мол, начальница — умница и хороша собой и рабочих в руках держит, да только позавчера кто-то рыбу из вершей упер, не иначе как ее ребята.

Приехал. Ее нет, на работе где-то, а там две палатки было разбито: одна для мужчин, другая для женщин. Из женщин только она одна и была. Лег я в мужской палатке и с дороги крепко заснул. Дело было под вечер. Ночью разыгралась непогода. Лес по берегам озера шумит как бешеный. Ветер свистит и воет. Гром, ветер, и снова гром гремит и по озеру

барашки играют. И потом ливень обрушился. Тараторит над головой по брезенту палатки без умолку,— даже лучше как-то спать. И вдруг я просыпаюсь.

Показалось мне, что я проснулся от неожиданного сильного порыва ветра. С диким воплем какой-то рыжий мужчина сдернул с меня одеяло и выскочил из палатки. При блеске молнии я хорошо заметил его косматую бороду. Я вскочил и бросился за бородачом вслед. За мною выбежали два парня. Парень кричал:

«Что ты, дядя Василий, опупел совсем!»

По небу встревоженным табуном бежали тучи, закрывая луну. И при следующей вспышке молнии я увидел, что второй палатки — женской — нет; ветер сорвал ее, и она, словно преследуемая невидимой вражеской силой, бежала в лес.

Парни бросились за нею. А тот, кого называли дядя Василий, нес в своих руках покрытое моим одеялом какое-то барахтающееся существо и торжествующе, перекрывая шум бури, кричал:

«Русалку, дорогой товарищ, русалку пымал!»

К этому времени уже все проснулись — не до сна, а дядя Василий среди палатки кричит:

«Разводи огонь, ребята, смотреть будем! Держу, не упущу!»

Засветили «летучую мышь», и при ее мигающем свете бородач стал осторожно разворачивать одеяло, в которое была закутана русалка. И когда в моем одеяле оказалась девушка, промокшая насквозь, я и впрямь готов был поверить, что передо мной русалка, а ребята застеснялись и закричали на дядю Василия:

«Чего ты нашу Наталью Ивановну в сети захватил? Глаза, что ли, с перепугу на лоб повылазили?!»

Наталья Ивановна быстро прикрылась одеялом да потом потихоньку в мужскую робу переоделась. Ребята ржут, Василий стоит, крестится и говорит:

«Выхожу я на небо посмотреть, и глянь — по берегу русалка бегает. Я ее и захомутал. И прошу прощения, Наталья Ивановна, никак не рассчитывал такой срам на себя принять».

А парень ему и говорит:

«Ах ты, дядя Вася, мозги у тебя телячьи!»

— И все у вас, Петр Иванович, как-то романтично получается.

— А что, разве не верно, милая?

— Да как сказать... Действительно, буря была, и палатку сорвало, и я под дождем в сорочке очутилась, и дядя Вася меня в одеяло поймал. Что за расчудесный старикан был...

— А знаете, как его Наталья Ивановна приручила? — перебил девушку профессор.

— Ну вы, Петр Иванович, опять что-нибудь сильно романтическое понесете. Уж лучше я сама расскажу.

— Давно бы так, голубушка,— и профессор подмигнул мне: мол, добился того, к чему стремился.

II

— Рассказ пойдет главным образом о моей непроходимой глупости и о том, как я ничего не умела. Правда, я два сезона работала на практике, но один раз с иностранной туристской геологической партией, где все было оборудовано на «ять», а другой раз — в одном уральском городке, где были, правда, кое-какие неудобства, но жили мы все в городе и работы производились в полукилометре от базарной каланчи. А теперь я отправляюсь в карельскую глушь, правда с сознанием того, что я уже законченный, готовый геолог, но не без некоторого волнения. В коллективе нам устроили проводы, говорились теплые речи, давались торжественные обещания. Нас, двадцатитрехлетних девушек, было три. Вот приеду в Ленинград, узнаю, как они выполнили свои обещания. Я старалась выполнить свои и все время по дороге повторяла и листала два тома академика Обручева.

— Если вы говорите про «Полевую геологию», то это превосходная книга,— сказал профессор.

— Книга-то превосходная, но... Вот в этом «но» и вся закавыка. Приехала я на базу в тридцать втором году. Прихожу, в туфельках на высоких каблучках, в кабинет к директору базы, энергичнейшему человеку товарищу Хвостюку. Он так это неодобрительно посмотрел на мои открытые туфельки, взял из рук путевку, прочел и обрадовался:

— Отличное дело — еще один готовый геолог! — И спрашивает: — Вы какого года поступления?

Я отвечаю.

А он вдруг помрачнел и говорит:

— И я в том же году поступил, только вот вы уже геологом стали, а меня со второго курса схватили и директорствовать посадили, на голом месте базу организовывать. Ну, ничего, налажу дело — доучиваться поеду.

От этих слов я еще больше возгордилась, что диплом в кармане имею. Нешуточное, думаю, это дело.

А он мне говорит:

— Вот когда окончится рабочий день, вы в этом помещении, у меня в кабинете, и заночуете. Особое здание — база, извините, только еще строится. Завтра направление на работу получите.

Ну конечно, как водится, рабочий день у них закончился часам к двенадцати ночи, а здесь еще со всех сторон товарищи приезжают, разговоры, расспросы, новые знакомства... Только на пол тюфяки положили, как уже день наступил.

Дождалась я своей очереди и вхожу в кабинет к директору. Он опять неодобрительно на туфельки мои смотрит и говорит:

— Комсомолка, если документы не врут?

— Комсомолка. А что?

— Комсомолка нам как раз до зарезу нужна. Поедешь геологом в партию в районе Нот-Наволок по договору со стройтрестом, на глину,— и сует мне в руки папку с кондициями, картами и условиями треста и прочим, а потом добавляет: — Там партия уже приступила к работе, но начальник рассорился с геологом. Заварили они там такую кашу, что расхлебывают ее вместе с Рабоче-крестьянской инспекцией, а партия тем временем, я думаю, наверно, совершенно расхлябалась. Так вот, я думаю, чтобы впредь разногласий между начальником партии и геологом не было, назначить тебя одновременно и начальником. Задавай вопросы, до вечера ознакомься с материалами, а ночью, в двенадцать, идет поезд, и ты на нем уедешь, билет забронирован.

— А сколько человек в партии?

Вижу, директор замялся и говорит:

— Шесть... десять... двенадцать... Сколько для дела надо, скольких нанять сумеешь. С людьми у нас трудно будет.

— Ладно. Сколько времени работать?

— Сколько для дела понадобится. Сейчас июнь... ну, не позднее, чем до середины октября. Нужные тебе деньги, кредиты и формы отчетности и учета можешь получить по этим бумажкам в соответствующих отделах, которые все помещаются в двух комнатах.

И при этом он подписывает какие-то бумажки.

— Ладно, товарищ директор. А где я получу нужные продукты и обувь?

— А там есть в деревне кооператив, по нормам группы

«А» все будет вам выдавать. Но предупреждаю: кооперация нам навстречу не идет и рассчитывать на многое не приходится. Хлеб и сахар во всяком случае обеспечены.

Тут я начинаю горячиться, вытаскиваю из сумки «Полевую геологию» академика Обручева, раскрываю на странице сорок первой и даю ему прочитать. Потом перелистываю и подчеркиваю карандашом:

«Норма снабжения при наличии мяса будет такова (на человека в месяц): муки ржаной — 16 кг, масла — 3—4 кг, сахара — 1,2—1,6 кг, соли — 1,2 кг, крупы ржаной — 2—4 кг, овощей сушеных — 200 г, чая — 1/2 кирпича, мыла — 200 г, табаку — 1200 г, спичек — коробок.

В случае отсутствия мяса нужно увеличить выдачу муки, масла и крупы».

Он внимательно прочитывает все это и затем серьезно говорит:

— Если ты сумеешь всем этим обеспечить свою партию, мы тебя обязательно премируем, но я со своей стороны могу тебе добыть только спички, табак и соль. Остальное придется добывать на месте. Впрочем, кормовые деньги и зарплату рабочие могут тратить как захотят. Но помни, что разведочный план должен быть выполнен. Без глины нам не обойтись.

Я вышла от директора и стала читать условия, смотреть карту и получать деньги, формы учета и формы отчетности. Строгий бухгалтер наставлял меня в правилах использования подотчетных сумм. И я знакомилась с тем, какой инвентарь имелся уже в партии и какого еще не хватало. Так в хлопотах прошел вечер, и ночью я выехала.

III

Чудесным июньским лесным утром я приехала на заброшенную станцию, в километре от которой расположилась деревня, где жила моя партия. На станции никого не было, за исключением молоденькой девушки. Девушка ждала, когда откроется окошко кассы, чтобы взять билет на поезд, идущий к югу. Я подошла к ней и спросила, как ближе пройти в деревню. Она оглядела меня:

— Вы в геологическую партию?

— Да, я геолог, назначена начальником партии,— с гордостью сказала я.

Девушка обрадовалась:

— Если бы вы не приехали этим поездом, я бы уехала наверняка, потому что я не могу выносить всего, что здесь творится. Старый начальник уехал, наделав долгов, и совсем себя дискредитировал в глазах крестьян. Он рассорился с геологом. Представьте себе, он не хотел геологу оплачивать счетов на керосин. Ничего, мол, и при дневном свете может работать. А где здесь работать при свете, когда домой часов в девять с поля приходишь... И другие еще номера выкидывал. Геолог и перекочевал в другую партию, а через несколько дней сняли этого начальника. Я, коллектор, старшей осталась в партии. Есть еще два студента-практиканта, и двое рабочих еще остались, остальные разбежались. Как это отлично, что вы приехали. Теперь, может быть, как-нибудь выкрутимся.

Мы подошли к деревне. По дороге Варя вводила меня в курс дела, и когда я ее слушала, я не знала, с какого конца за все это дело ухватиться, как все это дело понять; минутами мне казалось, что ничего-то у меня не выйдет, и ведь, в сущности говоря, ни в одной лекции в институте про подобные случаи не сообщалось.

А дорога была грязная, недавно прошел теплый дождь, и мои серые замшевые лодочки тонули в глинистой грязи.

Я сняла туфельки, пошла, как Варя, босиком. Чувствовала ступнею прохладную глинистую грязь, и мне казалось, что здесь должно быть очень много глины и задание будет выполнено, но только: как найти эту глину, определить ее залегание и простирание? И снова приходили в голову разные формулы из хороших учебников.

Так мы пришли в избу, в которой жила партия. За занавеской стояла койка Вари. Рядом мы стали пристраивать мою. И Варя рассказала мне о своем житье-бытье, а бытье это было такое, что я прямо не знала, с чего начинать.

Вскоре пришли два практиканта и двое отставших от партии рабочих — уже два дня никаких работ не производилось. Стали готовить обед; он же был ужином.

Как только сели за стол, в комнату, вошел огромный бородатый мужчина с охотничьим ружьем за плечами и, перекрестившись на образа, громко сказал:

— Говорят, к вам начальство приехало, так вот я пришел с жалобой. Где начальник ваш?

Они показывают на меня. Он посмотрел, посмотрел и как плюнет через плечо:

— Прости, господи, тоже начальство! Бабу прислали, да еще и девчонку!

Меня такие слова до самого сердца оскорбили. Хорошо, что коптилка тусклая была: не заметил, как я вспыхнула. Однако стараюсь быть спокойной и выспрашиваю, в чем дело.

Оказывается, мой предшественник в начале лета купил у этого охотника убитого медведя для пропитания партии и обещал заплатить половину деньгами, а другую половину мукой по твердым ценам. И вот, не выполнив обещания, мой предшественник уехал, и мне предстояло расхлебывать заваренную им кашу.

Час от часу не легче.

И сегодня дядя Вася — так звался охотник — пришел не только с жалобой.

Он убил тридцать девятого медведя и был этим чрезвычайно горд и говорил, что продал бы мясо нашей партии, если бы среди нас не было таких подлых обманщиков. Медвежье мясо — несколько пудов. Да ведь это настоящее богатство в этой глухой стороне! И старик мне очень понравился своей обстоятельностью и еще тем, что всю свою речь он пересыпал прибаутками.

Я велела ему написать заявление и обещала, что предыдущий начальник будет отдан под суд за обман; я ему сказала, что мясо нам всем нужно, и стала объяснять, что мы работаем не для собственной наживы, а для блага всех трудящихся и его тоже. Вот найдем мы глину, и построят здесь завод огнеупорного кирпича — доход окрестному крестьянству; из огнеупора построят печи, где плавят металл, и опять же ружье и пули для охоты получит он дешевле и лучшего качества.

— Так-то это так,— соглашался дядя Вася,— но возможно, что это оружие уже не для меня будет, потому что на моем пути может встать сороковой «хозяин» и прикончить.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь?

— Вот видишь, девонька, тебе еще под материнской юбкой сидеть пристало, а не делами ворочать, ежели такого простого случая не понимаешь. Не всякому человеку дано медведей бить. А если охотник какой матерой, завзятый, вроде меня, на свет божий произошел, то примета есть, что сороковой медведь для него самый опасный и неизбежный. И на сто случаев один-два выпадают, чтобы сороковой медведь охотника не заломал. Ну, если после сорокового жив останешься, тогда никакому зверю тебя не достигнуть, изо всякой охоты невредим выйдешь.

Поговорили мы с ним еще некоторое время, и очень он

мне своей душевностью понравился и произвел впечатление совершенно честного человека.

— Дядя Вася,— говорю ему,— ты человек честный, поступай на службу в партию моим помощником по хозяйственной части.

— Да что ты, голубушка, ведь я к этому делу совсем не приучен.

— Дядя Вася, в этом деле первое условие — ум нужен да честность, а во все остальное вникнуть сумеешь.

А сама думаю: каждый человек нам сейчас нужен, а когда завхоз — охотник, так мясом, пожалуй, по обручевской норме снабжаться будем.

— Да я, родненькая, ни к какой умственности не приучен,— стал упираться дядя Вася.

— Жалованье будет двести рублей в месяц, а возможно, и премиальные,— вспомнила я обещание Хвостюка.

Бородач задумался и говорит:

— Жалованье, оно, конечно, барское, а вдруг я не вытяну? А под бабьим началом мне совсем неспособно быть.

Тут я решилась пойти на демагогию, взяла его за рукав, вывела на крыльцо и говорю:

— Я тебе, отец, полностью доверяю, поэтому такие вещи и рассказываю. Видишь ли, я совсем неопытна и молода (по-настоящему я только теперь и вижу, что я тогда резала правду-матку, а тогда думала, что привираю) и я женщина, а мне такое важное государственное дело поручено, так что около меня должен солидный и опытный человек находиться, помогать и наставлять.

Так говорю, а сама думаю, что если бы ребята институтские меня услышали, вот смеху было бы! Но чувствую, что напала я на верного человека. Он с минутку помолчал, потом перекрестился, и мы ударили по рукам.

В этот же вечер он принимал инвентарь и продукты от Вари. Их оказалось большая нехватка. Мой предшественник и здесь показал свой характер.

Мы составили акт обо всем этом. Я села писать письмо директору базы, Варя обучала дядю Васю названиям.

— Это,— говорила,— называется бур, это компас, это бумага для записи, это бинокль.

— Для чего?

— А вот завтра утром покажу.

Практиканты и рабочие укладывались спать, когда меня

на улицу вызвал один местный, разодетый в пух и прах — по деревенским понятиям — паренек. Рядом с ним стояли еще трое. Все немного подвыпили.

— Какой же это начальник партии? — крикнул один из них.— Это ведь баба!

— Не фарти, Петька, сказано — начальник, стало быть, начальник!

— В чем дело, ребята? Я очень занята.

Тут вызвавший меня скинул фуражку, обнажив щегольский чуб.

— Я сватать одну девицу хочу, мы с ней условились и просим вас, товарищ начальник, быть при этом для почета. Немного времени у вас это дело займет, а нам торжественнее, и родители бузить не будут.

Я помню наставления Хвостюка о том, что надо завоевать доверие местного населения, однако и комсомольский билет мне не напрасно выдан, и я отвечаю:

— Очень мне хотелось бы помочь вам, дорогие товарищи, но я комсомолка и ни в какие церковные обряды вмешиваться не могу.

— Так ведь здесь никакой церковности не будет, мы к попу совсем не пойдем, а сватовство — для родительской проформы. Мы никаких старых обрядов не признаем.

— Ну, если так, то я сейчас соберусь!

Мы вошли в избу, где жила невеста, вместе — впятером.

В горнице была девушка, совсем еще девочка, и мать-старуха.

Перед иконой светилась лампадка.

Я сказала старухе:

— Вот этот молодой человек просит меня сказать, что он любит твою дочь и хочет взять ее себе в жены.

Мать отвечает:

— Да ему тридцать, а ей шестнадцать. Пусть Мария сама решает.

Девушка подходит к лампаде и гасит ее.

Видя это, парни говорят мне:

— Идемте прочь, мы получили отказ.

Мы все выходим на воздух.

Парни благодарят меня за посильную помощь и просят завтра вечером тоже помочь им в этом деле. Они, мол, решили все по очереди сватать эту девушку. Они все возмущены тем,

что Мария раньше давала согласие на сватовство, а теперь отказала.

Я соглашаюсь им помочь.

Пришла я домой поздно. Не спал только новый мой помощник дядя Вася. Я рассказала ему все мое приключение. Он замахал руками, узнав, что завтра я собираюсь помогать парням в новом их сватовстве.

— Да ведь это, голубушка, одна насмешка. Парни свататься будут, а если Машенька эта теперь им согласие даст, то они перед всей деревней для формы откажутся. Это они за отказ мстят девушке. Это для девки на всю жизнь срамота. Да и девки здешние хороши птицы — приглашают сами парней своих сватать, а потом отказывают. Потому что кто из них больше женихов перебрал, тот в большем почете ходит. Да ты, Наталья Ивановна, иди спать. Вот тебе в рукомойник воды я налил — вымойся! У тебя, милая, ноги до горла грязные.

IV

На другой день с раннего утра собрала я свою партию, чтобы идти на место работ. Идти надо было далеко от дороги. Во все стороны от деревни тянулся болотистый непроходимый лес, вернее сказать, лесистое болото. Мы, семеро человек, идем по этому болоту, перескакиваем с кочки на кочку. Если не попадешь прямо на кочку, проваливаешься в топкую трясину до колена.

Туфельки пришлось снять и пойти босиком, рискуя на каждом шагу напороться на сучок, разрезать ногу о что-нибудь острое.

Мы медленно продвигаемся вперед еще и потому, что весь груз неприхотливого оборудования — лопатки, ручные буры, молотки — нагружен на наши спины. У дяди Васи к тому же за плечами двустволка, но он один имеет высокие русские сапоги, так необходимые нам всем.

У Вари на ногах мокрые спортивки, у практикантов хлюпающие штиблеты, рабочие, как и я, идут босиком.

— Нам по всем правилам полагаются сапоги как спецобувь,— хмуро произносит практикант.

— Это вы у Обручева вычитали,— начинаю я сердиться на самое себя.

И мы продложаем прыгать с кочки на кочку, а кругом на кочках цветут белая черника, розовый иван-чай, и разноголо-

сая птица заливается на ветвях совсем как в каком-нибудь плохом кинофильме.

Солнце начинает нас донимать, да, признаться, груз за плечами с непривычки давит.

Потом болото стало не таким топким, пошел бурелом и валежник. Надо было с грузом, бренчавшим на плечах, перепрыгивать и перелезать через гниющие поваленные деревья: сосну, березу, осину.

— Одна ягода — горькая рябина, одно дерево — горькая осина,— меланхолически пробасил дядя Вася.

Вели нас по этому нелегкому пути коллекторша Варя и один из практикантов, и когда уже стало казаться, что поход будет продолжаться бесконечно, Варя объявила, что остается пройти лишь один километр. Всего пути было десять километров.

Мне пришлось все-таки надеть свои лодочки на высоких каблуках, потому что на еловую или сосновую шишку с непривычки наступать босою ногой, уверяю вас, очень неприятно.

Так мы пришли на место работы и, немного отдышавшись, принялись за дело. А так как для такой работы нужно было рабочих человек восемь, а их, считая практикантов, было всего четыре, то в работу, в которую никогда не вступает ни геолог, ни коллектор, ни завхоз, пришлось впрячься и Варе, и дяде Васе, и мне. И это, доложу вам, была очень трудная работа, особенно с непривычки. А привычки ни у одного человека из партии не было.

За весь день съели мы только по ломтю хлеба с солью. Утром мы позавтракали чечевицей, но вечером нас ожидала дома медвежатина и каша. При мысли о медвежатине глотали слюни.

По существу, мне приходилось работать больше, чем рабочим, потому что я должна была осматривать еще каждую пробу и заносить отдельные наблюдения, как бы мелки они ни были, в записную книжку. Здесь я по глупости перебарщивала и вносила на листки своего блокнота столько ненужных подробностей, что и теперь не могу в них разобраться, что к чему и для чего заносилось.

В этот день ничего особенного не произошло, кроме того, что я немного защемила себе ладонь рукояткою бура и на два дня, таким образом, вышла из числа бурильщиков.

Ладонь ныла очень неприятно.

Отработав семь часов, мы еще совсем засветло пошли обратно той же самой дорогой, и она показалась мне еще длиннее и докучнее. Спину ломило от работы, ныла защемленная ладонь, за спиной колотились в мешке молотки, каблуки явно скашивались при каждом шаге.

Так, молча, прошли мы все обратные десять километров.

Дядя Вася занялся приготовлением обеда из медвежатины и крупы, а я, пока готовился обед, вытащила из чемоданчика переплетенную тетрадь и начала писать. Надо вам сказать, что вести по-настоящему дневник геолога — дело, требующее опыта и умения, а нас этому в институте не обучали, а сказали только, что вести его необходимо. И вот подсел ко мне один практикант и просит:

— Разрешите мне посмотреть, как ведете вы дневник... практиковаться.

А я сама ничего этого по-настоящему не умею, однако по глупой гордости — ведь я начальница — отвечаю ему:

— Что ж, учитесь, для этого вы сюда и посланы.

Часа полтора готовился тот наш обед. Часа полтора я старательно вписывала из своей записной книжки в дневник все подряд, без разбору. Часа полтора смотрел мне через плечо этот паренек — Колей его звали,— обучался. Потом чувствую я сладкий запах обеда, перо из рук валится, и думаю: а хорошо бы перед сном крынку парного молока опрокинуть. С этой мыслью я выхожу на деревянное, слегка покосившееся крыльцо и иду к избе Федоровых, тех, чью дочь я вчера сватала. Вхожу в избу, здороваюсь со старухой и Марией и говорю им:

— Если к вам кто из вчерашних парней свататься придет, то гоните прочь, это будет сватовство для смеха.

И объясняю им все как есть и журю Марию за ее предварительное согласие. Она жмется и пытается оправдываться:

— У нас все девки так делают.

Ну, я сгоряча ей целую лекцию против старорежимных обрядов отмахала, а потом про молоко спрашиваю.

— Никак нет, барышня, не можем мы тебе молока продать.

— Как не можете, у вас ведь две коровы?

— Это правда, что две коровы, а только продать не можем.

— Почему же это так?

— А потому,— отвечают,— что если мы тебе молоко после захода солнца продадим, корова у нас перестанет доиться.

Я уж совсем, вконец разошлась и начала о вреде суеверий доклад читать. Тут и отец семейства заявился и отвечает мне:

— Вполне возможно, что вы, товарищ, нам чистую правду говорите, по всей видимости, это так и есть. Однако вашу правду я буду слушать, а чем мне повредит, если я дедовскую правду также соблюдать стану.

Так, несолоно хлебавши, отправилась я восвояси. Поела вкусной медвежатины и завалилась спать. Спала как убитая до раннего утра.

И снова работали мы так весь день.

Десять километров туда по кочкам, болоту, бурелому и прелому валежнику. Там на буры налегаем, в землю вдавливаем — пробы берем, работаем.

Комары нас поедом едят.

И вечером обратно по той же дорожке шагаем.

Так прошло три дня. Ничего особенного не произошло, только медвежатина окончилась, и пришлось подтягивать туже пояса.

Тело ломит, руки ломит, поясницу тянет,— выспаться не успеешь, как на работу бежать надо.

Один раз я, не донеся ложки каши до рта, задремала. Дядя Вася меня на постель отнес. А утром и спрашивает:

— Ну, голубушка, каковы результаты наших действий и правильно ли мы орудуем? А то рабочие волнуются и уходить собираются. Да и другая барышня (это он про Варю) тоже печальная ходит.

На весь день дождь занялся. Сначала мелкий и реденький, а после разошелся, и некуда от него спрятаться. До последней косточки прохватывал он тело. Сорочка прилипала к спине. В туфлях булькала вода. Трясина сделалась требовательнее, и пузыри лопались под ногами, когда мы прыгали с кочки на кочку. Под таким дождичком мы работали. Немного, конечно, наработаешь так. И когда шли обратно, я уже шагала, нагруженная бренчащим мешком с инструментами, прямо без выбора, и думала еще одну думку о своей глупости и о силе инерции. Почему я продолжала работать там, где начали мои предшественники? Бурение давало результаты средние. Кое-какие запасы глины, по всей видимости хорошего качества, здесь были. Но стоило ли из-за них прокладывать дорогостоящую дорогу по этой трясине? Сомнительно. Я хотела поделиться этими соображениями с Варей, но она отстала, да и у меня отваливалась подметка — размокла от дождя. И дорога казалась бесконечной. И когда вспоминалось,

что завтра и послезавтра нужно проделывать этот невообразимый путь и потом до боли в плечах и груди нажимать на рукоять бура, вдавливая его в вязкий грунт, становилось тошно.

Даже неунывающий дядя Вася не сыпал своими присказками, не рассказывал своих баек.

Когда мы, разрезая сетку мелкого дождя, подходили к деревне, нам встретился пожилой крестьянин, отец Марии, которую я сватала. Он поклонился мне, сняв шапку.

— Спасибо, барышня, что дуру мою от бесчестья спасла. Дай бог скорее вам найти золото, только не слышно про него в наших местах.

— Да мы совсем золота и не ищем.

— А прошлый начальник говорил, что за золотом сюда приезжали.

Это была очередная проделка моего предшественника, который хотел в глазах крестьян казаться большой шишкой.

Совсем мокрая, с трудом преодолевая непроходимую грязь деревенской улицы, стала я рассказывать отцу Марии, зачем мы сюда приехали и что мы ищем и для чего нужны нам огнеупоры.

— А-а, глина! Что же, глина — дело очень известное, ни одного хозяйства без глины, конечно, не поставить. У нас действительно глины немало, и незачем так далеко вам за нею шагать.

— А где же она у вас имеется?

— Да это, почитай, всей деревне известно, еще деды наши там ямы себе на потребу копали. На острове, отсюда десяток верст всего через большой порог. Я сам, три года в это лето минет, там яму для своего хозяйства копал.

— Не покажешь ли мне это место?

— Конечно, показать можно, это не трудно. Только карбас для этого заиметь надо.

Сговорились мы с ним завтра на остров, на озеро поехать.

V

Утро выдалось прекрасное, солнечное. Напоенная влагой зелень бурно жила. На каждом листике, на каждой ветке дрожали тяжелые, как драгоценные камни, капли. Я пошла на поиски лодки. На сегодня людям был дан отдых.

Деревня стояла на берегу быстрой широкой реки, и в ней всего-навсего имелось две лодки. Это сущее безобразие. Одна

была сейчас на рыбной ловле, другая, полузатопленная, лежала у берега.

Неся на крепких плечах изогнутое коромысло, не расплескав ни одной капли воды из наполненных до краев ведер, от реки подымалась Мария. Она мне крикнула:

— Папаня сам сегодня не может, меня с вами посылает. Ну, да я место знаю.

— Место местом, а лодки у нас нет.

Оказалось, что затопленная дождем лодка принадлежит отцу Марии и что она совсем целая. Пока ребята вытаскивали ее на берег и приготовляли к походу, я быстро собрала с собой все, что было необходимо,— записную книжку, лопатку, компас, молоток, флакон конопляного масла, фунт крупы, каравай хлеба, а Мария принесла крынку молока.

И мы поехали вниз по течению.

Мария правила великолепно. Мимо шли на крутых берегах непроходимые пахучие леса; как бы состязаясь друг с другом в ловкости, бесстрашно лепились по обрывам сосенки. Я не уставала любоваться раскидистыми соснами, цветущей снежной черемухой. Мария распевала местного заунывного распева песни и объясняла мне названия ветров. Здесь по горизонту разбиты шестьдесят четыре ветра, и каждый имеет свое отдельное название: шалоник, моряна, полуденник, сиверко, летний и так далее,— наизусть все не запомнила, но в дневнике на всякий случай записала. Мы ехали уже несколько часов, когда послышался какой-то шум, походивший на угрюмое ворчание.

— Это порог,— сказала Мария.

— Скоро нам выходить? — спросила я, думая, что пороги обходят волоком.

— А зачем выходить? Ты ведь не боишься? Вот тебе весла, греби изо всех сил, а я на корму сяду, и, бог даст, через порог перескочим.

— Так зачем же мне грести? Течение ведь и так несет нас.

Действительно, течение уже тащило нас к пенившемуся порогу.

— Греби изо всей мочи! — крикнула мне Мария, и я навалилась на весла.

Нас чуть не перевернуло, брызги пены хлестнули в карбас через борта.

Лицо Марии было сосредоточенно, и глаза ее сердито сверкали.

Мне вспомнилось, как я ее сватала, и я чуть не захохотала во все горло. Взгляд сурового «кормщика» заставил меня удвоить силу, с которой я налегала на весла. Мне показалось, что наше суденышко делает мертвую петлю. Юбка Марии зареяла надо мной как синее знамя.

И снова лодчонка идет по тихой воде, и Мария поправляет сбившиеся в сторону пряди волос.

Мы проскочили через порог. Мария крестится.

— Зачем тебе грести во всю мочь надо? Чтобы я могла карбасом управлять. Если только по течению идем, то карбас не слушается руля.

Вскоре перед нами разлилось широкое озеро, окаймленное темно-зеленой лентой смешанного леса. И была такая тишина, что слышно было падение каждой капли с весла; я слышала свое дыхание, и когда мы приставали к острову, шум падающей шишки прозвучал резче гудка клаксона.

Здесь вышел бы отличный дом отдыха, думала я.

Мы пошли к ямам.

Ямы были наполнены водой проливных весенних дождей. Я отломала от сосны ветку и нащупала дно.

Яма была неглубока. Я разделась и прыгнула в эту холодную воду. Дно было глинистое.

Мария собрала валежник, вереск и можжевельник, разложила костер и набрала в чайник прозрачной озерной воды.

Я лопаткой, стоя в яме, отковыривала породу. Это была бесспорно высококачественная, наверняка огнеупорная глина. Я готова была танцевать от счастья в этой мутной молочноватой воде. Каждая ступня моя ощущала всей своей кожей глину.

Я перелезла в следующую яму.

Здесь их было накопано около десятка, и в каждой я побывала, и в каждой была глина, но эти ямы были копаны близко друг от друга, так что ни мощность залегания, ни площадь простирания по ним нельзя было определить.

Надо поставить здесь разведку.

Я вылезла из ямы.

Меня знобило от холодной, почти ледяной воды, и мне было радостно от находки.

Трещали сучья на костре, голосили какие-то незнакомые птицы, солнце клонилось за лес.

На острове было очень много земляники, и Мария поделилась со мною собранными в платок ягодами.

Мы поели каши, выпили чай, выволокли на берег карбас, перевернули и под этой просмоленной посудиной заснули.

Спали мы совсем недолго: проклятые комары залетали под карбас, пробирались под одежду и неутомимо жалили.

Пришлось вылезти из-под карбаса, развести костер из сырых еловых ветвей и лечь с подветренной стороны.

Утром я проснулась с солнцем. Лес на островке стоял живой, в розовом наряде, и воздух был розов, и вода на озере была розовая, и костоломная роса, казалось, готова была звенеть.

Из-под карбаса выползла Мария и, взглянув на меня, захохотала. Я посмотрела на нее и тоже засмеялась. И смех наш гулким эхом бежал по озеру. Трудно было без смеха глядеть на распухшие от комариных укусов физиономии.

На быстро разложенном костре кипела свежая уха. Мария выловила две кумжи, жирные и вкусные. Похлебав уху, мы перевернули лодку вниз дном и отъехали в обратный путь.

В полусотне метров от острова мы встретили большой карбас с тремя мужчинами. Сцепились баграми и начали разговор: кто? откуда? Из колхоза «Красный луч» — председатель, с черными усами, белой бородой и партизанским значком на борту пиджака, и два колхозника.

Колхоз на берегу, в пяти километрах отсюда; гнали на остров они карбас за глиной для своего колхозного строительства — строился новый скотный двор.

— А вы не из медной партии будете? — полюбопытствовал председатель колхоза.— А то горячий один паренек приходил из этой партии.

— Нет, мы как раз глину ищем. Здесь, на острове, будем работать.

— Ну, время не казенное, а общественное, так что тронули, что ли, ребята!

И мы разъехались, «как в море корабли».

На обратном пути пришлось на пороге из посудины выходить и бечевой против течения вверх тянуть.

С непривычки к бурлацкому труду я себе кожу на плече содрала, но не в этом дело. Дело в том, что когда наконец часам к шести вечера подобрались мы к нашей деревне, на мостках около бани стоял хмурый дядя Вася, в бороде его сверкали соломинки,— он спал всегда на сеновале,— и стоял насупившись.

— Придется, голубушка Наталья Ивановна, удочки сматывать,— сказал он мне и подал записку:

«Прости меня, дорогая Наташа, но я больше не могу выносить эту жизнь. Если я останусь здесь еще на неделю, то обязательно сойду с ума. Твоя Варя.

P. S. Все мои записи и тетради и всю проделанную мною работу я обработаю и через неделю пришлю на твое имя в базу. Не сердись, иначе я не могла».

Вот и все.

Нет, не все.

Дядя Вася по дороге в избу рассказал, что вместе с Варей уехал один практикант, а двое оставшихся рабочих законтрактовались вчера на Нивастрой и сегодня рано утром уехали, сказав, что на стройках спецобувь дают.

Таким образом, на поверку оставались мы втроем: дядя Вася, практикант Коля и я.

Вот тебе и вся партия,— и это в то время, когда я набрела на настоящее месторождение.

— Так что, прикажешь удочки сматывать? Расчет дашь? — спрашивал дядя Вася и удивленно добавлял: — Чудеса в решете: дырок много, а выскочить некуда.

— Нет, дядя Вася, мы еще повоюем,— сказала я и расплакалась.

И плакала я очень долго и много. И мне было совестно перед дядей Васей. Он меня утешал, как добрая нянька утешает больно ударившегося ребенка:

— Ну не плачь, голубушка Наталья Ивановна. Дело поправится, мы втроем работать можем.

Но, даже потеряв всякую волю, управление собой, я понимала, что слова дяди Васи — лишь слабая попытка утешить меня. Втроем мы порученную работу и в пять лет не сделаем, а глина должна быть уже в этой пятилетке.

Мне и сейчас неловко говорить о том, как горько я плакала, но уж если взялась рассказывать о всех своих глупостях по порядку, надо и здесь выполнить свое обещание.

Немного успокоившись, я сказала дяде Васе:

— Дай я тебе бороду почищу, соломинки повытаскиваю.

И когда я проделала эту сложную операцию, меня обуял второй приступ слез. Я повернулась и побежала к себе за занавеску. Я легла на ложе, где мы спали бок о бок с Варей, и плакала, пока не заснула.

С утра я снова принялась за работу.

Сходила к Марии и стала ее агитировать — поступить работать в партию чернорабочей и хозяйкой.

Она сначала отказывалась, но потом сказала, что посоветуется с родными.

Прошла я за двенадцать километров в районное село.

Прихожу к предрайисполкома. Он узнает, в чем дело, и отсылает к уполномоченному Наркомтруда. Тот просит, чтобы я написала заявление, сколько народа и на какую работу мне требуется.

Сажусь за стол и пишу.

Подаю ему.

Он, не читая, накладывает размашистую резолюцию.

— Спасибо,— говорю.— Куда мне с этой резолюцией идти?

— Да ты, голубушка, сначала прочти, что там написано.

Я стала разбирать его каракули и прочла:

«По причине полного отсутствия трудящихся, кои на лесозаготовках, на строительствах, рыбных ловлях и тому подобное и так далее,— в ходатайстве отказать».

— Ах, так! — даже вспотела от злости.— Кому на вас жаловаться?

— Бабам поди жалуйся, что мало народа народили, больше некому.

Так целый день у меня пропал.

Только записку от райлеспо получила в ларек в нашу деревню, чтобы рабочим хлеб выдавали.

Когда из села уходила, встретила этого уполномоченного, и он мне буркнул:

— Вот ежели бы предписание от Наркомтруда на этот счет имелось, тогда другое дело.

Пришла домой вся разбитая, прямо руки опускаются. Что делать? Ну, думаю, еще день-другой потеряю, а от Наркомтруда республиканского бумажку выхлопочу, и дело пойдет на лад. Тут приходит ко мне Мария и говорит, что до осенних полевых работ может поступить ко мне на службу.

Ночным поездом поехала я в местный центр бумажки доставать.

Хотела, вот как сейчас, устроиться спать, но повезло: в этом же купе молодой геолог ехал — на два выпуска старше меня. (И здесь Наталья Ивановна как то лукаво посмотрела на четвертого, молчаливого обитателя нашего купе. Я его

видел мельком на конференции.) Встретились, разговорились.

Он медь искал. Ехал сейчас в Петрозаводск поговорить насчет приборов для электроразведки. Ежели готовых нет, так пусть немного денег ассигнуют: он сам себе сделает из разного базарного утиля и отработавших свой век радиоприемников.

Стали говорить про бытовые условия и хаять их. Оказалось, что он и есть тот парень из медной партии, который в колхоз приходил.

Он рассказал, будто письма местных крестьян говорят, что здесь должна быть медь. И до революции здесь были полукустарные разработки, однако сейчас поиски, особенно без электроприборов, идут туговато.

— А вы пробовали к местному населению обращаться? — не удержалась я от того, чтобы не похвастаться своей удачей в этом отношении.

— Не то что пробовал, но взял двух самых старых и опытных, которые раньше на этом деле сидели, до революции сторожами у старого хозяина работали. Видные из себя мужики. Ходили, ходили мы с ними по разным тропам, вот-вот, казалось, жилу нащупаем — и ничего нет. Мимо.

Так, разговаривая, мы и выспаться как следует не успели.

В городе хлопот полон рот.

Директор базы с техноруком на шунгит экстренно выехали.

Пошла я с отсекром базы в местный Наркомтруд.

Довольно подробно с наркомом беседовала. Он разводил руками, пожимал плечами, обзывал уполномоченного бюрократом и говорил, что не стоит на него сердиться, что людей не хватает, люди нужнее хлеба; обещал нужную мне бумажку выдать. Машинистка лихо отбарабанила мне отношение с персональным адресом, управделами снабдила нужными номерами и печатями и, захватив отсекра базы, довольная сделанным и собою — до чего я была глупа! — отправилась на вокзал.

К моему счастью, на остановке, где я стояла в очереди, поджидая автобус, подходит ко мне уполномоченный, «районный наркомтруд», который меня ни с чем из района спровадил, и вежливо здоровается.

Оказывается, мы на одном поезде приехали в Петрозаводск.

Я сразу отзываю его в сторону, вытаскиваю пропечатанную всеми важными печатями бумажку и сую ему под нос.

Он читает ее внимательно, затем вытаскивает из кармана карандаш и снова накладывает размашистую резолюцию: «Отказать».

— То есть как отказать? Извините, почему отказать? Да вы понимаете, что вы делаете,— на бумажке наркома такую резолюцию ставите?

— Ну, я могу другую резолюцию наложить: «Удовлетворить».

И он перечеркнул первую надпись и так же размашисто написал: «Ходатайство удовлетворить».

— Вы довольны?

— Вполне. Как же мне теперь получить от вас рабочую силу?

— Не знаю. Вам не нравилась резолюция, я написал другую, которая вам, кажется, по душе, но рабочих достать не могу, потому что я сам не знаю, откуда их взять. Нет рабочих, не родились еще. Из тех, которые родились в нашем районе, сорок — на Нивастрое, шестьдесят — в Мурманске, пятьдесят — в Хибиногорске, двадцать четыре — на железнодорожных работах, тридцать девять сейчас работают в леспромхозе, двадцать шесть законтрактованы на Алюминьстрой в Званку... Ну, некоторые оставшиеся заняты сельским хозяйством. Не могу же я вам родить людей, в самом деле... Да, забыл сказать: три человека на той неделе, последние, тоже в геологическую медную партию пошли. А теперь посчитайте. Всего населения в районе, считая детей, и неработоспособных стариков, и мобилизованных в армию, и тех, кто откомандирован на разные курсы учиться,— трех тысяч не достигает. Откуда я вам возьму? Ну, если еще грознее бумажку от эрэсэфэсэровского Наркомтруда добудете, сам я к вам в партию пойду, но это будет меньше десяти процентов нужного вам количества рабочей силы.

Этот поток речи и цифр сбил меня с панталыку, и я совсем уже растерялась, когда он вдруг изменил свой голос и, как бы сочувствуя мне в моем безвыходном положении, сказал:

— Знаете, в городе много должно быть босоты и блатных. Так вот вывесьте на станции железной дороги объявление такого порядка: геологоразведочной партии нужны рабочие — квалификация, и стаж, и место предыдущей работы безразличны, жалованье от стольких-то до стольких-то целковых. Работа продолжительностью столько-то месяцев. После работы даются справки. Запись там-то. Начальник партии... Все.

— Все?

— Это вам мой искренний совет. Вы довольны?

Я пошла на базу.

Сочинила плакат.

Чертежница помогла мне реализовать мои замыслы на бумаге.

Предместкома стоял над моей головой и пророчил, что я «сыграю в ящик», что за такое объявление мне обязательно пришьют дело. Но, скажите по совести, что мне было делать?

И знаете, на другой день после объявления стали ко мне разные подозрительные субъекты являться. Со многими из них я побоялась бы встретиться с глазу на глаз на пустыре. Приходят ко мне самые «франты»: с татуировкой на груди, вылезающей в распахнутые вороты русских рубах, с чубами, вылезающими из-под кепок, и финскими ножами за поясом.

И каждый спрашивает: кто здесь начальник?

— Ах, это вы, извиняюсь, дамочка!

Или там:

— Пардон, товарищ, не заметил!

И каждый так фартовато норовит заявить:

— Вы не думайте, товарищ начальница, я не какой-нибудь ширмач или домушник — я честный трудящийся! — и сует мне в руки документ, удостоверение личности, причем почти все документы — откровенная липа.

Господи, думаю, что бы мама сказала, если бы меня в такой компании увидела!.. И душа у меня замирает и плакать снова хочется, когда только подумаю, что со всей этой шайкой одной на острове придется несколько месяцев прожить.

В числе прочих заявляется ко мне милиционер и спрашивает: кто разрешил мне заняться такой противозаконной вербовкой?

— Революционная целесообразность! — отвечаю я.

И, знаете, подсознательная такая вдруг мысль подкрадывается, что хорошо было бы, если бы этот представитель власти запретил мне все мое предприятие, тогда на законном основании можно было бы сидеть сложа руки. Но сразу же эту мысль другой вышибло, что ведь рядом со мною будут еще практикант, дядя Вася, Мария, так что не так страшно.

Я сунула милиционеру под нос бумажку насчет вербовки.

Он ее внимательно прочитал и внушительно сказал:

— Смотрите, вы не имеете права по этой бумажке больше десяти человек набирать, а то нагорит вам!

— Да мне больше и не надо, товарищ милиционер. Толь-

ко вы, пожалуйста, уйдите, а то никто больше сюда не зайдет, пока вы здесь находитесь.

Он пожал плечами и вышел.

Является ко мне один парень и с размаху кладет на стол огромную книгу с иллюстрациями.

— Это к чему вы так? — стараюсь я возможно вежливее спросить его.

— А к тому, что это мой документ.

И он раскрывает переплет, и я читаю:

«Пантелеев и Белых. «Республика Шкид».

— Читала?

— Нет, не читала.

— Ну так прочти. Там про Султана написано, так Султан — это я и есть, а книга — мой документ. Поняла?

— Поняла. А что же ты можешь делать?

— Все. Я и тебя замещать могу, и партией командовать, и золото искать, и носом землю рыть. Прочтешь книгу — узнаешь.

— Мы не золото искать будем, а глину, товарищ Султан.

— Н-ну, глину...— разочарованно протянул Султан.— Да ладно, обойдемся.

— Глина нам, как золото, для стройки нужна.

— Ты не вкручивай.

Так я собрала себе молодцов — шайка на подбор, а сама чувствую себя персидской княжной.

Взяла у них документы и сказала, чтоб собрали все свои манатки и явились на ночной поезд, билеты я достану на городской станции.

Иду это я в совсем растрепанных чувствах и вижу того милиционера, который приходил ко мне.

С горя решила с ним посоветоваться, как бы мне на всякий случай достать револьвер. А он мне в ответ:

— Вы, товарищ, совсем еще ребенок. Ежели у вас револьвер будет, обязательно какое-нибудь несчастье произойдет. Они у вас его отнимут. Их около десятка, вы одна, а гнезда в барабане или обойме не больше чем на семь патронов. Нет, вы им лучше конфет купите — это на всякий случай пригодится.

Иду я по гостиным рядам конфеты закупать по командировочному удостоверению и решаю: обязательно, чтобы авторитет себе завоевать и чтобы рабочие в свободное время не заскучали, культпросветработу среди них вести. И вот захожу в «Динамо» и покупаю несколько простых, дешевых компасов, пионерских, для премирования лучших, на всякий случай.

И все это время стараюсь только о деле думать, об инструкции, о четвертичных отложениях, о пермских и докембрийских периодах и о том, что мы откроем огромные залежи полезных ископаемых.

И приснились мне почему-то дядя Вася и мама, и перед дядей Васей у ног лежал убитый сороковой медведь, а мама качала головой и говорила: «В какую компанию, Наташа, ты попала! Для того ли я растила и так нежно тебя воспитывала?»

Я рассердилась, проснулась, увидела, что если не буду торопиться, то опоздаю на поезд, и помчалась на станцию.

Из восьми законтрактованных на месте было семеро. Поезд должен был подойти каждую минуту, а восьмой все не являлся.

Уже в молочном свете северной летней ночи красный глаз семафора, моргнув, стал зеленым, когда я увидела своего восьмого, идущего под конвоем по платформе. Он метнулся ко мне, я к нему.

— Товарищ милиционер, за что вы арестовали этого человека?

— На пристани он находился, спал... без всяких документов.

— Это рабочий геологоразведочной партии, моей партии,— и я стала махать моим документом перед носом слегка растерявшегося милиционера.

— Действительно, он мне сам об этом говорил, но разве подобным типам можно доверять? Я думал, что он банщик [1],— и он метнул недоверчивый взгляд на меня.

Очевидно, мой документ и моя внешность показались ему заслуживающими доверия, и он выпустил завербованного мною рабочего.

Я вручила тому билет, и мы всей ордой полезли в вагон собиравшегося уже отходить поезда.

У моих ребят барахла своего почти не было.

Утром я со своей бандой прибыла на место назначения.

Было такое же прекрасное утро, как и две декады назад, когда я вышла на эту платформу первый раз.

Только в этот раз вместо Вари встретил меня дядя Вася со своей неразлучной двустволкой.

---

[1] Банщик — вор, специализировавшийся на кражах ручной клади на вокзалах и пристанях.

— Ну что, голубушка Наталья Ивановна, какие новости с собой привезла? Это что — парни наши будут, что ли?

— Наши, дядя Вася,— бодро отвечаю я, и он смотрит на меня и на них несколько удивленно.

— Ты, барышня, права, люди нашенские, с тебя пол-литра,— развязно обращается ко мне один из завербованных.

Дядя Вася на секунду столбенеет, потом снимает двустволку с плеча, стучит ею об пол и громко спрашивает:

— Где ты здесь барышню увидал? Я что-то не вижу! Здесь всего одна женщина имеется — товарищ начальник, Наталья Ивановна!

— А нам это все равно.

— Нет, не все равно,— вступает в разговор вчерашний, спасенный мною из-под ареста.— И ты за нас не говори, а только за себя. А тебе, товарищ начальник, спасибо.

— За что?

— Да за вчерашнее. Вот увидишь, не пожалеешь.

Добрались мы до деревни без всяких приключений, и я отдала распоряжение готовиться к тому, чтобы завтра в путь.

Лодка была по-прежнему у нас одна. В нее предполагалось нагрузить спички, махорку, муку, крупу, сахар — все, что было у нас съедобного. Потом лопаты, буровое оборудование и брезент для двух палаток. Кроме этого, в лодку вмещалось еще трое: Мария, я и... Кого выбрать из людей?.. Я решила назначить того, кто так развязно начал со мной разговаривать. Он был еще совсем мальчик, его так и звали «Мальчик», и, наверное, ему совестно было быть под началом женщины.

Все остальные должны были идти до озера пешком через лес, и только на озере лодка их переправляла на островок.

Дядя Вася сказал мне, что он здесь выторговал приличную корову за восемьсот дубов — сумма, конечно, немаленькая, но сходная, а так как здесь всего двенадцать человек, то, пожалуй, накладно на каждого получится. Покупать или нет? Если покупать, то придется ее с собою вести, а там на мясо.

— Покупай. Мы частью из полевых сумм, частью зарплатой покроем,— сказала я и созвала собрание.

Они сели вокруг меня и смотрели прямо в рот, внимательно и удивленно.

— Товарищи,— сказала я.— Советская страна строит новую, лучшую жизнь, где не будет эксплуатации человека человеком, где каждый будет получать по потребностям и давать по способностям. А способностей у нас, ежели еще куль-

туру развернуть,— не обобраться, прямо удивительно. И вот этой стране нужны заводы, для того чтобы удовлетворить потребности возможно шире. Должны строиться новые дома, просторные и добротные, и потому что вы лучше, чем кто-нибудь другой, знаете, как тяжело жить без крова и как нужны хорошие дома. А для этой стройки нужны кирпичи, которых, вы знаете, тоже не хватает. Для кирпичей нужна глина. И вот наш отряд послан республикой отыскивать глину для этих кирпичей. Нам будет, предупреждаю, не легко жить на острове, вдали от людей, и работать, копая ямы, которые многие из вас копать не умеют. Кто разделяет мои взгляды, пусть идет со мною в лес работать, а кто испугался, тому даю деньги на обратный билет. Мы здесь, товарищи, не маленькие и не будем скрывать друг от друга неприятную истину. Многие из вас в небольшой ссоре с Советской властью...

— И меж святых много кривых,— пробурчал Шестидесятый.

— Так вот, вам представляется случай на деле, своей работой, помириться с Советской властью и доказать, что вы способны к честному труду.

Все согласились на мои условия.

Насчет отчислений из общего котла выступил дядя Вася и доводы насчет коровы привел, и это дело тоже провернулось в должной мере.

Мы уселись в лодку, остальные пошли по берегу вниз по реке.

Дядя Вася длинной хворостинкой гнал корову, которая вдобавок ко всем своим прочим качествам оказалась без хвоста...

Мальчик шел некоторое время по берегу с партией, выпрашивая махорки на закурку.

Иван Шестидесятый — тот самый парень, который явился с таким опозданием на станцию,— вытащил бережно кисет из кармана, осторожно развернул его и своими корявыми пальцами отсыпал щепотку зелья.

Он сел на весла, Мария была у руля.

Мы пошли по течению.

Только несколько дней тому назад проезжала я по той же речке, на той же самой лодке, и так же по берегам лепились храбрые сосенки и березки,— и все-таки я сама себе казалась старше теперь на несколько лет, и наивности прошлой Наташи заставляли улыбаться сегодняшнюю Наталью Ивановну — начальника геологоразведочной партии.

Весело было бы, думала я, если бы хоть на минуту могли перенестись сюда институтские ребята и посмотреть на компанию, в которой я очутилась, посмотреть на мой наморщенный, серьезный начальнический лоб, на мои авторитетные распоряжения.

«Никто тебе, Наташа, не поверит, пока ты из-за пазухи диплома не вытащишь: уж больно ты на девчонку смахиваешь»,— сказал мне один молодой геолог, что постарше меня на два курса был. Его-то я в поезде по дороге в Петрозаводск встретила, и сейчас он вместе с нами в этом купе сидит.

А потом вдруг я начинала бояться, что вся эта моя шайка разбежится, предварительно ограбив меня и имущество партии, или что никто из них всерьез работать не захочет, или что никаких залежей нет и даже ям нет.

Ямы эти мне, может быть, просто почудились.

На реке прелесть какая, благодать, а я все нервничаю и хочу обратиться к Марии за поддержкой: пусть подтвердит, что ямы действительно существуют. Наконец показалось озеро.

VII

Работали ребята не плохо.

Шли жаркие дни; ребята сняли с себя рубахи и полуголые, с татуировкою, порою не совсем пристойною, на бицепсах, на волосатой груди и на лоснящихся спинах походили на дьяволов в аду. Было любо смотреть, как вылетают комья земли, подброшенные лопатой из ямы. Было приятно слушать, как шмякаются они на землю.

Мы бурили с переменным успехом, но довольно много.

В течение недели мы заложили три ямы, из которых две закончены.

И это была благодатная работа: ямы были близко от палаток, так что не приходилось терять целые часы на переходы.

Корову, когда она немного оправилась от путешествия, дядя Вася прикончил.

Мы устроили первобытное пиршество.

Мясо было отличное; рыбу ловила хозяйка Мария. Она же готовила обеды и ужины, зашивала все дыры в белье, в одежде рабочих.

Все шло благополучно, только вот один бур сломали. Уж очень сильно надавливал на него Иван Шестидесятый; бур не отодвинулся в сторону от погребенного валуна и сломался.

Мы составили акт, как полагается в таком случае. Но дядя Вася никак не мог успокоиться, все ли составлено по правилам, и интересовался стоимостью бура.

Рабочие трудились не скажу чтобы очень хорошо, но от работы не отлынивали. Мне же хотелось, чтобы все было быстрее, чтобы все старались, как я, забывая, когда и как засыпала, обрабатывая записи, наблюдения, дневник при колеблющемся пламени лесного костра.

Это было самое лучшее лето в моей жизни.

Озеро стояло вокруг острова как заколдованное. Лес иногда таинственно умолкал, иногда шумел неумолчно круглые сутки и жил каждой веткой своей, каждым сучком. Правда, корни, цепляясь друг за друга, за камни, почву, мешали рыть ямы, и их приходилось обрубать. Правда, комары мучили нещадно, забираясь под платье, и тело горело от их укусов.

Но ведь можно было охлаждаться, купаясь в прозрачнейшей воде озера. Мне очень жалко вас, вы не знаете, что такое карельское озеро. А ведь вы могли бы полностью, безотказно наслаждаться этой лесной жизнью, потому что у вас нет с собой практиканта, исполняющего должность коллектора и не умеющего ее исполнять. Вам не приходилось бы показывать ему, что надо делать: как чертить разрезы ям и документировать образцы, а вечером у костра заново переделывать за него всю работу, перечеркивая крестом его пачкотню. Вам не приходилось бы думать, как следует поступить, когда он разбивает и портит — так, случайно, по бестолковости — единственный в партии дорогой, дефицитный горный компас. Вам не надо было бы думать о том, что следует предпринять, чтобы работа шла быстрее.

Но я все-таки надумала.

Я собрала своих ребят. На собраниях, как и на работе, хотя они и старались держаться скромно, мне приходилось пропускать мимо ушей больше ругательств, чем за всю предыдущую и, надеюсь, последующую жизнь. Значения многих ругательств я до сих пор не уяснила себе.

Я предложила работающим расчеты работ, графики, рассказала, что можно увеличить производительность копания ям,— впрочем, в этом пункте расхождения не было,— и предложила перейти на сдельщину.

Протестовали против этого предложения лишь Мальчик да еще один паренек с ленцой. Он был когда-то дьяконом, но расстригся, как он уверял, с антирелигиозной целью. Он показывал вырезку из уездной газеты «Серп и молот», где был опи-

сан обряд его расстрижения. После снятия с себя сана он пошел бродяжить и добрел наконец до моей партии. Утром и вечером он заводил своим густым басом какую-нибудь душещипательную песню, иногда церковного напева, иногда блатную, а шайка подтягивала ему. Потом он пел сольную, и пел с таким искренним, неподдельным чувством, что я говорила ему не раз:

— Ты, отец дьякон, в лучших операх мог бы премьером быть.

— А разве в лесу хуже? — отвечал он и ухмылялся себе в бороду.

Они пытались разыграть оппозицию, но так как босая команда хотела наскрести побольше монет на зимний период, то оппозиция сразу же была сломлена.

Я разбила команду на две партии, каждую на свою яму поставила. Обе бригады объявили соревнование по выработке открытым.

Работали они как одержимые.

Их горячие загорелые спины лоснились потом, выброшенная земля летела из ям, как на непрерывной ленте транспортера; выработка повышалась, все яснее открывая богатое месторождение. Только за обедом и вечером у костра атмосфера делалась все накаленней, и, забывая о моем присутствии, каждая бригада беззастенчиво бахвалилась и безудержно порочила своих соперников, не выбирая в разговоре салонных оборотов речи.

Чтобы во время работы они не подрались, пришлось задавать уроки в разных сторонах острова. Это была буйная шатия.

Перед сном дьякон заводил своим могучим голосом:

Не встречать с тобою нам рассвет
После этой ноченьки вчера,
После нашей ночки. На
Прощанье ты сказала мне,
Что расставаться нам пора.

И в эту грустную песню врывался разноголосый хор. На мелодию «Алеша-ша» вел припев:

Так что же, брось — жалеть не стану,
Таких, как ты, я тысячи достану,
Все равно ведь поздно или рано
Ты опять воротишься ко мне,

И дальше продолжал жаловаться голос над тихим озером:

Кто тебя, бывало, ночью ждал
В переулке темном, весь дрожа
И замирая? Кто
Тебя по кабакам спасал
От удара острого ножа?

И снова припев, полный отчаянной жалости и напускной гордости.

Я подошла к озеру. На коряге сидел дядя Вася, поставив между коленями свою неразлучную двустволку.

— Сорокового ждешь, что ли, дядя Вася? Что ты здесь делаешь?

— Понимаешь, голубушка Наталья Ивановна, на воде душа играет. Ежели, скажем, нефть бессловесную на воду выпустить, так и она всеми цветами заиграет, а душа подавно на воде играть обязана.

Потом мы помолчали немного, и, уходя уже спать, дядя Вася наставительно, со значением сказал:

— Парням по вечерам скучно, голубушка, шепчутся чего-то, как бы плохого не надумали. Надо им развлеченье дать.

Я, так сказать, политику дальнего прицела проводила. И потому внимательно наблюдала, когда с бесхвостой нашей коровы сдирали шкуру, чтобы ненароком не разрезали где не полагается, не разорвали.

Мария рассказала, что в деревне ее дядя кожи обрабатывать умеет и сапоги тачает. Я решила эту шкуру в отделку отдать, а затем две пары сапог сшить для будущей партии. Не в последней партии ведь я работала.

В будущем году рабочих хорошими сапогами соблазнять могу и базе нос утру.

На другой день засветло после работы я подождала, пока все соберутся у костра, рассказала сначала мой план про сапоги и сказала, что сапоги по себестоимости получит в будущей партии в будущем году тот, кто сейчас со мной работает и дальше геологоразведочную службу не оставит. Но для того чтобы не век чернорабочим быть, а по лестнице квалификации все выше взбираться, надо иметь много знаний.

Припоминаю «Занимательную минералогию» академика Ферсмана и разные случаи и интересные рассказы привожу.

Вижу, что банда моя этим делом, особенно рассказами про драгоценные камни, может увлечься.

Начинаю им про страны света рассказывать, как их находить, как определять и для чего это нужно. О земном магне-

тизме рассказываю, попутно насчет притяжения, о магнитных породах, и так добираюсь до магнитной стрелки компаса. А компания у костра сидит — рты разинули и совсем на малых ребят, грубых, правда, смахивают. Некоторые пытаются острить. Восторг начинается тогда, когда я объявляю, что, принимая во внимание их ударную работу, я утром премирую каждого самым настоящим компасом.

Утром меня разбудили раньше обычного.

— Вставай скорей! На работу не проспи!

Но на работу никто из них не пошел, все сгрудились около палатки, где жили Мария и я, и ждали моего выхода.

Я вышла к ним, как товарищ Калинин, раздающий ордена Красного Знамени.

Я раздала компасы и показала, как с ними обращаться.

Никогда и не думала, что таким грошовым, простым подарком, в сущности ненужной вещью, можно сделать человека таким счастливым.

Они были счастливы и радовались, как маленькие дети. Каждый хотел другому показать, что он лучше понимает, в чем дело, что означают буквы N, S, W, O. Пришлось объяснить, что означают цифры и черточки на циферблате. Шестьдесят четыре ветра в местном обозначении сыграли здесь свою службу.

Компасы были плохие, но при таком бережном отношении, какое проявили мои воспитанники, они могли продержаться долго.

Иван Шестидесятый вытащил из ножен финский нож, поднес его к компасу и стал водить ножом по ободку.

Другие обступили его и, затаив дыхание, волнуясь и восхищенно ругаясь, следили, как стрелка слепо следовала за лезвием ножа.

Я сказала, что так можно испортить компас, и объяснила, что благодаря такому отклонению стрелки компаса открыты новые залежи железной руды.

Они сразу выбросили из карманов все металлические предметы.

Мальчик поклялся всем самым для себя дорогим, что он во что бы то ни стало откроет компасом золотую руду.

Мне пришлось его разочаровать.

Потом все пошли на работу, и на лице Шестидесятого сияла неприкрытая гордость.

Это была его первая машина, механизм-машина, устройство которой он понимал и умел пользоваться по назначению.

Работа в этот день шла великолепно, и я торжествовала полную победу.

Да, компас оказался более реальной силой здесь, чем револьвер. Работа шла, и я постепенно убеждалась в том, что южная часть острова обладает тем, за чем я приехала сюда.

Надо было перенести работу на северную часть острова.

Впрочем, вся длина его с юга на север была немногим больше двух километров.

Мясо уже давно кончилось, рыба стала ловиться туже, хлеба уже не хватало,— стол наш заметно стал хуже, правда, с избытком было у нас лесной земляники.

Вкусная и ароматная земляника только возбуждала аппетит.

Поэтому перед переселением в северную часть острова в первый выходной день я решила съездить в близлежащий колхоз за маслом и творогом, а дядя Вася с Марией поехали в деревню за хлебом, мукой и сдать в отделку кожу.

Так и сделали.

Я ехала в лодке вместе с практикантом, который обещал домашним прислать небольшую посылку с продовольствием.

Карта и на этот раз оказалась неточной, и если бы нам не встретилась рыбачья лодка, колхоза мы не нашли бы.

Встретил нас бывший красноармеец, председатель колхоза.

— Ну, здравствуйте, товарищ. Что нового расскажете? Как дела с Маньчжурией? Никаких известий насчет войны?

Рассказали мы ему, что знали, и говорим:

— Маслица вам теперь придется продать нашей партии.

Председатель распорядился по рыночной цене отпустить нам сколько нужно масла.

Имея полномочия от старосты, распорядителя нашего артельного питания, захватила я с собой два ведра масла.

День был выходной, и председатель попросил перед моим отъездом провести с активом беседу о работе нашей партии и про то, какие перспективы откроются перед районом, если наши предположения о глине оправдаются, а также сказать несколько слов о меди, которую ищет другая партия, геолога Васильковского, избравшая своей базой деревню в сорока километрах на север от колхоза.

Иногда отдельные работники этой партии забредали в колхоз.

Актив собрался очень быстро, и я разъяснила положение

с глиной; оно для меня самой делалось с каждым моим словом яснее и яснее.

Значительно туманнее обстоял вопрос о меди. Я рассказала о значении и о дефицитности меди, рассказала про внешние признаки ее наличия. Рассказала, что геолог Васильковский, как он мне сам в поезде говорил, взял в проводники самых опытных старожилов и что данные не подтвердились.

После доклада встает один колхозник и начинает, глотая слова, путаясь и все больше и больше возбуждаясь, говорить:

— Старожилов спросил? С проводниками ходил? Ничего не нашел? Да потому, что медь ищет, а классовой борьбы не видит! А если так, то и меди ему как своих ушей не увидать! На кулацкую удочку его словили. Самых опытных взял? Да я знаю сторожевых псов Красильникова купца, которые спят и во сне старый режим видят,— вот с кем он советуется. И они на возвращение барина Красильникова рассчитывают и по болотам мимо знаемых мест проводят или идут вперед и камешки, которые образцовые и ценные, в бок, в лес с тропинки зашвыривают. Награду от Красильникова себе выхлопатывают. Знаем мы этих опытных кулацких подпевал. Нет, товарищ барышня, я тебе определенно говорю: если классовой борьбы не видишь, залежи-то где — тоже не увидать. А к старым партизанам он обращался?

На том собрание и закончилось. И мы поехали на лодке домой на свой остров.

Прибыли мы поздно ночью, но уже издали видно было, что в лагере не совсем спокойно.

Время спать, однако никто не спит.

Мы причалили к песчаному берегу. Ручаюсь вам, там вышел бы прекрасный курорт! Практикант понес ведра с маслом в нашу палатку, а я прямо направилась в палатку рабочих, откуда неслась противная ругань.

Там я увидела отвратительнейшую картину. Кто полулежал, кто сидел, по-турецки поджав под себя ноги, кто просто сидел на корточках вокруг опрокинутого ведра, освещенного колеблющимся пламенем костра. На дне ведра лежала пачка засаленных кредиток и горка серебра и меди.

Иван Шестидесятый держал банк.

— Мажу! — крикнул Мальчик.

— Не разрешаю! — отрезал сумрачно Шестидесятый.

— Почему нельзя? Сам мазал! Туза боишься?

— Считай мне любую карту за туза, тогда я банки твои рвать буду! — кипятился Дьякон и прикупил две карты.

Они меня не замечали.

Что мне делать? Вырвать карты? Устроить истерику? Разрешить игру?

Я стояла растерянная, растоптанная.

Слишком рано я праздновала победу.

Не надо было давать выходных дней, с горечью думала я.

— Поверь в долг до следующей получки! — взмолился Мальчик.

Уже Султан был банкометом.

— В картишки, нет, братишки! — залихватски, под всеобщее одобрение весело выкрикнул Султан.

И тогда я, стоя у входа в палатку, вся дрожа от злости, стараясь казаться совершенно спокойной, сказала Султану:

— Дай карты.

— Погоди, у меня последняя сдача. Пройду круг, тогда отдам,— и он продолжал методически сдавать карты.

Закончив круг, он сгреб лежавшие на ведре деньги себе в карман и подал мне растрепанную колоду карт с засаленными донельзя рубашками.

— Как вам не стыдно, товарищи,— сказала я, стараясь держаться совершенно невозмутимо,— так нарушать свое обещание! — и бросила всю колоду в костер.

Султан, не поморщившись, спокойно вытащил из заднего кармана брюк вторую колоду и с легкой усмешкой в голосе спросил:

— И эту в костер?

— И эту.

И вторая колода полетела в костер, разлетаясь во все стороны.

— Это играли мы от скуки, а не для того, чтобы слово нарушить. Нам сюда бы гармонику или, на худой конец, балалайку, совсем не та музыка была бы,— как бы оправдываясь, процедил Дьякон.

— Теперь спать! — скомандовал Султан, и я пошла к себе в палатку.

Мария и дядя Вася еще не приезжали.

Я засыпала, думая о том, как хорошо было, когда мы от деревни за десять километров по болоту на работу топали. Никому не хотелось после развлекаться, не хватало сил на то, чтобы скучать.

Дятел спокойно стучал по дуплам, и этот стук и унылое равнодушное кукование далеко разносились над тихим лесным озером.

Проснулась я оттого, что Мария взволнованно толкала меня в плечо:

— Просыпайся, голубушка, очухайся, Наталья Ивановна! Беда... Дядя Вася тебя кличет.

— Что, в чем дело, какая беда?

Было уже поздно, судя по солнцу и теням. Всем уже давно следовало быть на работе, однако громкие голоса раздавались в палатке.

Я вошла туда.

И та же картина, что и ночью, встала передо мной, только от костра осталась одна зола и лица у всех были зелеными от утомления и глаза красны от волнения и бессонницы. Опять Султан метал карту и обошел Мальчика.

Мальчик дрожал и волновался, угрожал и умолял, настаивал и просил, но смысла слов я не могла уловить.

— Твои брюки не котируются,— резал Султан.

— Тогда иду под большой палец! — исступленно крикнул Мальчик, и все замолчали и посмотрели на Мальчика.— Червяк против большого пальца! — и Мальчик положил на край ведра большой палец левой руки.

— Идет,— сказал Султан и дал карту Мальчику.

Рядом со мной стоял дядя Вася, и так как все были заняты игрой, никто не услышал, как он мне прошептал:

— Это всегда, когда до ручки босота доходит, играет под большой палец.

— А что, если Мальчик проиграет?

— Тогда отрубит палец.

— Кто? Султан ему отрубит?

— Нет, он паренек быстрый, но честный, сам себе и отрубит.

— Товарищи! — крикнула я, задыхаясь. Они повернули головы ко мне и остановились.— Вы меня сейчас второй раз обманули. Но об этом мы поговорим после, а сейчас уже давно пора работать. Ямы ждут. Мальчик, иди сюда!

— Мне отыграться надо,— сумрачно проворчал он,— у меня одни портки остались. Даже гришки [1] нет.

— Об этом мы будем говорить после. Собирай свою бригаду и иди на дальнюю яму, сегодня бригадиром второй бригады будешь ты.

— А я? — ошеломленно и недовольно выкрикнул Султан.

— Тебе я сейчас даю деньги, и ты отправляешься сию же

---

[1] Гришка — гривенник.

секунду в Петрозаводск покупать балалайку. Послезавтра мы ждем тебя.

И, говоря это, я подошла к нему и спокойно взяла из его огромных мускулистых лап колоду.

— Надеюсь, это последняя.

Известие о балалайке оживило всех и как-то разрядило напряженную атмосферу.

Все стали собираться на работу, а Султан в город.

Дядя Вася меня даже похвалил:

— Молодец, Наташа, а я все страшился, как бы зла не вышло.

Работа в этот день, разумеется, была никудышная.

Лопаты после такой ночи валились из рук.

Комары жалили сильнее, чем обычно, и городская жизнь с трамваями, театрами, собраниями представлялась такой далекой и невозможной.

Но мысль о том, что скажут ребята из коллектива, заставляла перечерчивать схемы выкопанных ям и по три раза проверять обмеры.

Образцы были удачные.

Чтобы банда моя не могла сговориться и организованно возмутиться моими диктаторскими поступками — бросание колод в огонь, например,— я весь день не отходила от одной ямы.

Дядя Вася с такой же целью работал, заменяя Султана в другой яме.

Работа в этот день, повторяю, была постыдная, и всем было неловко: они стеснялись, как я заметила, не только меня, но и друг друга.

Мне тоже было неловко смотреть им в глаза, точно это я совершила какое-нибудь преступление или постыдно изменила данному мною слову.

В тот день я впервые заметила, что на правой руке у Шестидесятого недостает безымянного пальца.

— Проиграл? — спросила я.

— Да,— ответил он, уставясь в землю, и с остервенением налег на свою лопату,— года три на́зад.

Вечером лес звонко шумел. Лил ливень.

После ливня каждая сосенка пела и гудела по-особому.

— Каждая сосна своему лесу шумит,— многозначительно сказал дядя Вася.

В эту ночь я тоже долго не могла заснуть.

В соседней же палатке сразу захрапели...

Работа продолжалась.

Через два дня явился вечером Султан.

Мы все были на площадке перед палатками, когда он, пригнав к берегу лодку, вылез из нее и, шатаясь, пошел к нам.

От него на несколько шагов разило спиртом.

Как у плакатного пьяницы, из карманов выглядывали красные сургучовые головки ликерных бутылок разнообразной формы и величины.

— Вот как! — сказал Шестидесятый.

— Где балалайка? — рявкнул бас Дьякона.

— А вот где! — и Султан похлопал ладонями по оттопыривающимся карманам.— Вот где,— повторил он и захохотал.

Но мне было не смешно. Остальные тоже молчали.

— Вор! — крикнул, сорвавшись на высокой ноте, Мальчик.— Вор! — повторил он тише.

— Что ты сказал, подлюга, повтори! — и Султан вытащил из кармана бутылку ликера в форме медведя, стоящего на задних лапах, и, помахивая ею как палицей, стал приближаться к Мальчику.

Вдруг раздался оглушительно близкий выстрел, и запах водки разлился вокруг.

Это выстрелил дядя Вася, спасая от удара бутылкой Мальчика.

— Сороковой!..— всплеснув руками, удивленно и радостно крикнула Мария.

— Что — сороковой?

— Да вот дядя Вася сорокового своего медведя убил!

Тут я, дядя Вася и практикант, поняв, в чем дело, не могли даже и в такую минуту не рассмеяться.

— Да, сороковой! — утверждая себя в этой уверенности, произнес дядя Вася и, проникаясь уважением к самому себе, погладил бороду.

А Султан сел на пенек и горько заплакал пьяными слезами:

— Так-то принимают здесь кровных своих товарищей!

— Эх ты, из-под себя кобылу украл! — презрительно сплюнул Шестидесятый.

Я подождала, когда уляжется сумятица, и сказала ребятам:

— Этот человек обманул вас. Вы ему доверили покупку балалайки для того, чтобы культурнее проводить свой досуг. Вы, не выключая его из доли, дали ему командировку в го-

род, и он обманул вас. Я ему доверила без расписки деньги, думая, что он привезет счет, который на базе местком оплатит, а он растратил эти деньги и таким образом взял из моего, и так небольшого жалованья, полсотни. Вы сами должны решить, как следует поступить в таком случае.

— Убить из двустволки! — безапелляционно сказал Мальчик.

— За такую расправу не похвалят! — сказал другой.

— За убийство пропишут тебе или статью с дыркой, или, самое легкое,— червонец,— отозвался третий.

— Я предлагаю,— сказал Шестидесятый,— чтобы Наталья Ивановна не пострадала.

— Нет, она ни за что доложить своих не должна,— почти хором отозвались все.

— Так вот,— продолжал Шестидесятый,— я предлагаю собрать нам в складчину деньги в счет жалованья и отдать ей, а потом из султанских получек вычитать.

— Правильно,— подтвердил Дьякон,— только не ей отдать, а балалайку купить и счет взять.

— Я согласна с товарищем Дьяконом,— сказала я,— но кто же снова за балалайкой сейчас поедет?

Все на секунду замолкли. Султан уже успел отрезветь, и сейчас он как равноправный член собрания обратился ко мне, всхлипывая и грязным кулаком утирая слезы:

— Наталья Ивановна, разреши съездить мне, я самый что ни на есть лучший знаток гармоний, балалаек и прочей музыки. Я клянусь своей честью, что ни одного «медведя» не раздавлю, ни одной стопки не опрокину. Верно Мальчик меня вором обозвал, если я у своих братишек балалайку свистнул и тебя, Наталья Ивановна, обидел.

— Ладно, завтра после работы поговорим, а сейчас спать пора.

В эту ночь я спала как бревно.

С утра началась обычная работа. Вкалывали ребята с подъемом. Надо сказать, что масло колхозное было превосходно и немало в работе помогло. Султан ярился изо всех сил, но бригадиром ямы он уже не был. Мальчик этого звания, которое принял сначала на временное пользование, уже обратно ему не сдал.

Так Султан потерял свое бригадирство, и, видимо, его самолюбие очень от этого страдало.

Через два дня Султан снова поехал в город за балалайкой и возвратился с ней, гордый покупкой и совершенно трезвый.

Теперь он каждый вечер бренчал на балалайке и аккомпанировал густому басу Дьякона.

Сколько я народных и блатных песен наслушалась. И, бывало, вместо нужных сведений в дневник записывала слова песен.

Певали хором. Но больше всего ублажал нас Дьякон, и притом пел он не ломаясь перед слушателями, легко и тонко забираясь на самые верхние ноты и опуская, словно в темную шахту, свой голос в густую темноту низов.

И тихое озеро, и настороженные нетронутые дремучие леса вокруг нашего костра.

И утром мы снова принимались за работу.

Дядя Вася был весел и словоохотлив, потому что он убил — он твердо в этом был уверен — своего сорокового медведя.

Мне очень хотелось ускорить обработку материалов, и для лабораторных анализов я отобрала несколько пудов образцов и на лодке с Марией отправила в деревню, поручив ей дальше переправить по почте.

В это время приехал в партию для консультации наш уважаемый профессор. Ну, он уже сам рассказал вам про то, как мы встретились, так что я повторять не стану. Он меня хотел сконфузить, и я ему отплачу той же монетой.

На другое утро после этого ночного происшествия пошли мы осматривать ямы, породу на ощупь, даже на язык пробовать. И вижу я — профессор мой сияет, как младенец, и говорит:

— Да ведь вы, Наталья Ивановна, молодец, такие чудесные глины обнаружили. На севере, на Кольском полуострове и в Заонежье, сейчас руду железную нашли, скоро и топливо найдется, а у нас огнеупоры уже готовы, и кирпич для социалистических городов будет. Такие вы залежи нашли!

— Постойте, профессор, разве вы не знакомы с литературой вопроса?

— А в чем дело?

— Разве вы забыли, что первые печатные указания на то, что в этом районе следует искать глину, были подписаны вами?

— В самом деле! А скажите, Наталья Ивановна, правда, что все ваши рабочие — бывшие уголовники? Когда я ехал сюда, меня предупреждали: ухо востро держи. Убьют, говорят, и ограбят. Это только Наталья Ивановна одна с ними справляется. А так на вид парни ничего себе, только матю-

гаются очень и татуировка непомерно обширная. Я им это высказал утром в шутку, и, представьте, все очень смеялись, хвалили вас. Однако я должен собираться, чтобы успеть к ночному поезду. Интересно, который час?

И здесь уважаемый наш товарищ профессор вдруг не на шутку испугался и стал похлопывать по карманам, отыскивая пропавшие часы. Но часов не было.

Я пошла к яме и громко сказала Мальчику и Султану:

— Профессор приехал к нам в гости и будет рапортовать о нашей партии и о работе. У него пропали часы. Обращаюсь к вам с товарищеской просьбой: землю всю переверните, но найдите,— этого требует честь нашей партии.

— В лепешку расшибемся, а часы будут!

— Не беспокойтесь, профессор, часы мы вам добудем! — сказала я.

Когда профессор уже усаживался в лодку, вдруг вышел один такой молчаливый, неприметный рабочий нашей партии, подал часы профессору и сказал:

— Вы говорили, что вы чуткий человек, никто никогда часов не снимал с вас. Ну, я решил подшутить, так что прошу на шутку не обижаться.

— Что вы тогда ответили на это, профессор?

— Да то, что и сейчас повторяю: я все время держался настороже и, однако, не почувствовал. Ловкая, говорю, работа. А часы — вот они, на месте,— и профессор вытащил тяжелые золотые часы и щелкнул крышкой.— Помилуйте, оказывается, сейчас около четырех ночи, пора спать, если хотим в Ленинград бодрыми приехать. Минут через двадцать поезд тронется.

Поезд, который должен был нас забрать, уже подходил к морозной заброшенной в непроходимые снега станции.

— Так мы работали до снега. Я болела гриппом две недели. Султан простудился перед окончанием работ, а в остальном, как говорит Шестидесятый, дела крутились как колесо.

Когда уезжали вверх по реке обратно, шел уже липкий мохнатый снег, а вниз навстречу плыло сало.

Я бы могла порассказать вам много забавных случаев, но сейчас время подводить итоги. Вот они.

Задание по разведкам глины было перевыполнено с соблюдением сроков.

Снег в том году, признаюсь, был ранний, и он нас здорово напугал.

Мы открыли большие промышленные запасы.

Второе: я себе создала на будущий год кое-какие кадры.

Мария поехала сейчас на рабфак и вступила в комсомол. Странно, как все в жизни происходит. Никогда не могла я в день сватанья этого подумать. Дядя Вася остался служить на базе.

— Послушайте, этот дворник бородатый со своей неразлучной двустволкой — он?

— Он... Шестидесятый выпросил себе командировку на курсы трехмесячные. Остальные переметнулись в стационарные шунгитовые партии. Нареканий на них до сих пор не поступало.

— Всех, значит, вы убедили и повели за собой?

— Нет,— и в голосе Натальи Ивановны зазвучали печальные ноты.— Султан не остался, в последний момент отказался. Поцеловал меня на прощанье и сказал, что если очень понадобится, чтобы я ему в Мурманск до востребования черкнула, он явится. Да, прощанье было трогательно. Засунул он себе в мешок «Республику Шкид» и сел на поезд, идущий в обратную сторону, на север. Вместе с ним отец дьякон подался. «Не видел я, говорит, еще Ледовитого океана, белым медведям песен не пел». Ну, а остальные ребята делом заинтересовались, угомонились. Все теперь, думаю, честно трудиться будут. Какие еще итоги? Да, при правильной организации дела норм академика Обручева по питанию, пожалуй, можно достигнуть. Мне в этом году не удалось, но в будущем, честное слово, дотяну, и вдобавок будут у меня две пары чудесных хромовых сапог для партии — сверх того, что удастся вырвать у базы. Да, как во всякой истории, есть здесь и любовь. Иван Шестидесятый полюбился Марии, и любовь эту одобрил даже наш дядя Вася, а он в этих делах понимает больше всех. Вот и все.

— Нет, не все! — оживился молчаливый молодой геолог, четвертый человек в нашем купе.— Получил я однажды среди прочих писем во время моих сложнейших поисков медных месторождений, о которых расскажу вам утром, если поезд опоздает в Ленинград, одно долгожданное письмо. От моего младшего институтского товарища, небезызвестного вам теперь,— Натальи Ивановны. Там было написано все насчет собрания в колхозе и о том, чтобы я послал к лешему своих проводников и обратился за помощью к бывшим красным партизанам. И это письмо на очень многое открыло мне глаза в моей работе. Вот сейчас я премирован за успешную работу, а по существу премию я должен разделить с Наташей. Отметьте, что она вырвала у себя часок, чтобы написать мне

насчет меди тогда, когда целиком занята была глиной. Вот мое прибавление к итогам.

— Конечно, легко было до кризиса работать геологу в Америке,— восхищенно начал профессор.— Он выезжал к месту работы по асфальтированной дороге на собственном автомобиле, за ним ехали на своих же автомобилях коллекторы и рабочие. Перед отъездом звонил в специальный магазин, и все доставляли на место работ: компас, сгущенное молоко, молочный шоколад, бисквиты, буры, и сколько скажешь, столько и привезут, и сколько рабочих надо, столько и наберешь. Но не кажется ли вам, голубушка Наталья Ивановна, что у нас работать интереснее?

— Это вы для себя вопрос решаете? Передо мною он не возникал, товарищ профессор. Я об одном только думаю: если бы оборудование нам полное и все обручевские нормы, так мы бы еще больше сделали. И потом, я никак не могу представить себя на службе у частного предпринимателя, зависящей от него.

— Ну, нет, я хорошо заграницу знаю и даю голову на отсечение, что ни один молодой американский геолог при самом лучшем снабжении в сезон больше вас не наработал бы, а года через два, ну, три вы фору и старому геологу дадите.

Профессор вытащил меня из купе в коридор и взволнованно прошептал:

— Нет, вы только подумайте, какая у нас замечательная молодежь! Вы слышали, как они сейчас в любви объяснились?

— Извините, прослушал. Наш сосед говорил, по-моему, только о разведке меди.

— Что вы после этого смыслите в сердечных делах! Ну да, он говорил о меди, о деле, но ведь это теперешняя манера молодежи объясняться в любви.

1933

ПЕРВАЯ ВИНТОВКА

I

В Херсон я приехал в конце февраля восемнадцатого года; родители послали меня и моего младшего брата Мишу к херсонским родственникам, так как в Петрограде было голодно, а им хотелось видеть нас сытыми. Но и буханки белого пшеничного хлеба, уже у вокзала поразившие наше воображение, вкусная обильная пища, встретившая нас у тетки, не могли заставить забыть о расставании на Николаевском вокзале, о родителях, оставленных в Петрограде, и, так как уже шло немецкое наступление, оставленных неизвестно на какие сроки, быть может навсегда. Однако с двоюродными братьями нам было весело и занятно. Проделанное нами большое и трудное путешествие придавало нам вес и авторитет в глазах двоюродных братьев, с которыми мы только что познакомились. Они испытывали к нам, приехавшим с голодного севера, живейший интерес, и их значение в глазах мальчишек окрестных дворов тоже заметно поднялось: еще бы, не у всех были петроградские братья!

На другой день после приезда я пошел в местную гимназию и, к удивлению всех гимназистов и педагогов, сам подал свои документы и устроил школьные дела — свои и брата.

Неподалеку от красного кирпичного здания гимназии находились земляные валы старинной турецкой крепости. Здесь в детстве играл мой отец. За крепостными земляными валами раскинулся так называемый военный форштадт — окраинный район города.

После скучных и нудных уроков, таких далеких от той жизни, которую мы краешком увидели из теплушек на бесконечных перегонах, на неожиданных остановках в степи, на станциях и в том городе, с которым я расставался с такой неохотой, мои одноклассники отправлялись на валы старинной крепости; там играли они тоже в старинную игру — каза-

ки-разбойники. У казаков фуражки надевались, как полагается, козырьками вперед; у разбойников же козырьки были на затылках.

Но в первый день после уроков я не отправился с моими одноклассниками на валы турецкой крепости, а пошел на реку Кошевую, к тому месту, где она впадает в Днепр.

Зима в этом году была теплая, весна подходила ранняя.

У берегов на крепких причалах стояли зимние караваны бесчисленных барж. Просмоленные их канаты пахли дальними путешествиями и уютно поскрипывали. Не было видно конца этим отдыхающим перед весенней работой баржам, шаландам, дубкам.

Вода была быстрая, густая, холодная. Зимой на льду, между барками, катались на коньках мальчишки. Об этом я много слышал от своих двоюродных братьев, но сам уже не застал. Лед прошел за несколько дней до моего приезда в Херсон.

И вообще в Херсоне все было очень похоже на рассказы отца о своем детстве, и все-таки все было по-иному. Так было и с Кошевой и с Днепром. Я пришел посмотреть на Кошевую в том месте, где на причалах стояли караваны барж, вблизи от места ее впадения в Днепр, потому что я помнил рассказ отца. Но не думалось тогда мне, что и я переживу минуты, напоминающие то, о чем рассказывал отец.

II

Еще с раннего детства отец мой полюбил коньки. Он научился хорошо бегать на них, и я помню, с какой гордостью я оглядывал мальчишек на катке Таврического сада, когда по воскресным дням мы вместе с отцом приходили на каток: уменье отца выписывать восьмерки на льду несколько возмещало мои личные неуспехи в этом спорте.

Бегал на коньках мой отец с мальчишеских лет. И тот случай, о котором я сейчас расскажу, произошел еще в прошлом веке.

Ребятишки, не имеющие денег, чтобы заплатить за вход на каток, катались на коньках на льду реки Кошевой, между баржами, там был лед ровней: борта барж оберегали лед от снегов, приносимых степными ветрами.

И хотя приближалась весна, день был холодный. Дул пронзительный ветер. Сестра ушла к подруге. Дед, раскачиваясь и монотонно бормоча, сидел над книгой.

Никто не обращал внимания на мальчика, и отец, спрятав под полой коньки, выбрался из дому и побежал вниз по улице к берегу Кошевой. Он бежал, подпрыгивая и насвистывая, словно бы ощущая радость легкого и быстрого бега.

Начинались сумерки, и на льду Кошевой и на пологом берегу ребят уже не было. Ветер, достигнув реки, становился еще пронзительней и холодней. И, несмотря на это, лед уже во многих местах был совсем гладкий и черный.

Пока мальчик прилаживал коньки ремешками и обрывками веревки к ботинкам, руки у него стали совсем красными и окоченели, пришлось не сразу выходить на лед: надо было сначала отогреть руки дыханием.

На набережной было совсем пустынно, и только с баржи, стоявшей совсем рядом, раздавались громкие мужские голоса. На этой барже был построен маленький бревенчатый домик, в котором круглый год жила команда баржи и иногда целыми артелями пьянствовали грузчики. Тогда к берегу лучше было не подходить. Но сейчас сверху слышалась речь степенная и трезвая. О чем говорили, отец не слышал, так как он ловко скатился на лед реки Кошевой. Надо было спешить, чтобы успеть вдоволь накататься и прийти домой до тех пор, пока его хватятся.

Сначала он пошел рядом с дощатыми просмоленными бортами баржи, затем плавно повернул и с разбегу занесся чуть ли не на середину речки. Тут в спину ударил сильный порыв ветра и понес дальше, к черному льду. У черного льда мальчик ловко свернул в сторону и быстро пошел перебежкой обратно, к бортам обжитой баржи. Добежав до кормы баржи, мальчик повернул обратно и снова пошел по этому же кругу. И снова ему в спину ударил порыв холодного ветра и понес обратно, к барже. Когда, выпрямившись и всем телом ощущая удовольствие от все возрастающей быстроты, для достижения которой не нужно было ничего делать, а только стоять спокойно, подставив свою спину сильному ветру, он снова шел к берегу, то увидел, что люди на барже наблюдают за ним.

У самого борта стоял почтенный старик в овчинном тулупе, с окладистой бородой, богатейший мукомол, известный всему городу своим церковным благочестием и набожностью, и рядом с ним — двое парней, молодых и плохо одетых.

Парни поеживались от пронзительных порывов ветра, и все же, не решаясь оставить на палубе одного старика хозяина, они стояли рядом с ним и теперь внимательно следили за мальчиком.

— Это он ловко! — одобрительно сказал старик.

И эти слова донеслись до отца.

Мальчишеской гордости и мальчишескому самолюбию немного надо, чтобы зазнаться. А похвала, особенно незнакомого человека, всегда приятна. Мальчик решил показать этим людям, как он по-настоящему хорошо бегает на коньках.

Старик в тулупе и картузе облокотился о борт баржи и продолжал смотреть. Двое парней равнодушно, поеживаясь, стояли рядом и тоже глядели на мальчика. А он уже скользил по глади ровного, подметенного ветром льда на середине речки и еще раз оглянулся: видят ли стоящие на палубе, как, подгоняемый ветром, он ловко делает вираж.

Они его хорошо видели, но сам-то он, обернувшись, не заметил, как сделал несколько лишних шагов и его понесло к тому месту на реке, где лед был чернее, чем всюду. Он захотел свернуть, но было уже слишком поздно.

Единственный способ не вкатиться на черный лед — немедленно же упасть всем телом на него. Но мальчику стыдно было, показав такой высокий класс катания, повалиться на лед перед зрителями, которые его только что хвалили.

«Теперь еще холодно, и ничего, что лед черный,— наверное, он еще крепкий!»

Все эти мысли пронеслись в голове мальчика в одно мгновенье, но не успел он даже осознать их, как лед захрустел под ним, и он очутился в воде. Он даже не сразу и понял, что произошло. Он цепко ухватился за скользкую и холодную кромку льда. Она с тонким треском обломилась и осталась у него в руках. Тогда он снова ухватился за кромку, и она снова обломилась.

Вода уже пробралась до самого тела и пронизала его нестерпимым, костоломным холодом. И холод этот был особенно ощутим у живота.

Ботинки стали необыкновенно тяжелыми, и коньки, как грузила на удочке, тянули его вниз.

И тогда, отфыркиваясь и захлебываясь, он с отчаяньем взглянул вверх, на баржу, ожидая помощи.

Как и несколько мгновений назад, старик в картузе и двое парней следили за мальчиком совершенно спокойно, словно то, что происходило внизу, входило в программу зрелища. Снова мальчик ухватился за кромку льда, и на этот раз кромка не поддалась и только, уйдя под воду, еще больше почернела.

Он подтянулся, приподнялся на руках и животом лег на

лед. Он не знал, что в таких случаях нужно лечь плашмя на лед и, не приподнимаясь, всем телом приникая ко льду, ползти. Поэтому, выбравшись на лед, он встал на колени.

Лед снова хрустнул и обломился, и мальчик снова очутился в мертвящей холодной воде.

Тогда снова с надеждой он взглянул на палубу высокой баржи. Один из парней быстрым шагом пошел к корме, на которой лежал свернутый просмоленный канат. Он захватил его в руку и побежал к сходням: хотел помочь тонущему мальчику.

— Куда это ты, Петр? — громким голосом крикнул вслед парню старик, забрав в руку клинышек своей бороды.

— Мальчонке надо помочь! — на ходу бросил парень.

И тогда-то отец услышал в ответ слова, которых никогда в жизни своей не дано ему было забыть.

— Что ты, Петька,— равнодушно и слегка насмешливо сказал старик,— чего тревожишься-то? Разве не видишь, что это жиденок?

— Ну и что?

Барахтаясь в воде, чувствуя, что захлебывается, мальчик услышал слова старика.

И эти слова обожгли сердце его обидой.

«Ах, так!» — закусив губу, подумал мальчик.

Он упрямо ухватился за скользкую, уходящую кромку. Снова удалось подтянуться, и, уже теряя силы, он животом лег на мокрый лед. И то, что он не мог приподняться, спасло его. Пролежав с полминуты плашмя на льду, он так же, ничком, пополз затем от края вновь образовавшейся полыньи. И за ним по льду тянулся даже и в сумерки заметный мокрый след.

Так он отполз шагов пять и затем осторожно приподнялся на руках, привстал на колени и, уже не красуясь ни перед кем, заковылял к берегу на коньках, которые почему-то не хотели стоять на льду и все время подвертывались.

— Смотри ж ты! — произнес удивленно парень.— Выкарабкался! Выкарабкался-таки! — и он даже присвистнул от удивления.

Не в силах развязать бечевки, с помощью которых были прилажены к ногам коньки, мальчик старался разорвать их коченеющей рукой.

Он не замечал холода: он торжествовал свою победу над этим злобным стариком в картузе и тулупе.

Он торжествовал победу и хотел скорее снять и вытереть сухой тряпкой коньки, чтобы они не заржавели.

— Выкарабкался все-таки! — в раздумье повторил парень.

Отец слышал голос, но говорящего не видел, так как притулился к самому борту баржи.

— А то как же! Они люди хитрые! — так же громко, резонно и самоуверенно ответил старик и, как будто ничего не произошло, продолжал прерванную беседу.

А мальчик уже бежал домой, дрожа от холода и обиды.

Озираясь, осторожно, чтобы не попасть никому из домашних на глаза, оставляя на полу за собой мокрый след, он пробрался на кухню, быстро разделся, положил одежду в закуток около плиты, чтобы к утру просохла, и, прибежав к кровати, сжимая в руках коньки, с которыми у него не хватало силы расстаться, юркнул под одеяло. Первой в комнату вошла сестра отца, Оля, вернувшаяся от подруги уже тогда, когда он запихал свои драгоценные коньки под тюфяк. И хоть неудобно было ему так лежать, зато коньки были в безопасности.

Сестра, как и полагается девчонке, всплеснула руками и сразу побежала в другую комнату, громко удивляясь тому, что братишка лег в постель, не поужинав. И когда прибежала встревоженная мать, пришлось сказать, что он себя очень плохо чувствует.

И сразу же его начали лечить домашними, испробованными поколениями средствами, начиная от настоя сушеной малины. И было приятно и уютно от этой теплой материнской заботы, и было немного стыдно оттого, что забота эта была вызвана его обманом.

А когда мать, выслав всех из комнаты, чтобы никто не тревожил больного сына, потушила свет и в темноте склонилась над ним, прощаясь на ночь, он вдруг вспомнил горькую свою, незаслуженную обиду, и по его щекам покатились горячие и колючие слезы.

— Что с тобой, мой милый, что с тобой, хороший? — ласково забеспокоилась мать.

А он не знал, что ответить; он не мог ответить. И в слезах его не было ничего утешительного, никакой сладости: это были горькие слезы обиды. И ничто в тот час не могло бы его утешить.

III

И вот теперь, стоя на берегу Кошевой, я узнавал то самое место, о котором рассказывал маме отец. И не та ли самая баржа поскрипывала сейчас своими просмоленными причальными канатами?

Жил я в те дни в семье тети Оли, сестры отца. Это было в начале весны восемнадцатого года.

Разрозненные и малочисленные отряды советских войск, выполняя условия мирного договора, а по сути дела желая сохранить самое главное — живую силу, людей,— оставили город. И через день в Херсон прибыли на грузовиках из города Николаева регулярные части кайзеровской армии. Они служили прикрытием для орд петлюровской Рады. Я видел, как обрадованные думцы встречали хлебом-солью на вышитых гладью рушниках немецких интервентов, как радовались в семье священника Идзиковского и как горевали в других. И только в форштадте, расположенном за валами старой турецкой крепости, было зловеще тихо. Здесь находилось много солдат, пришедших с оружием с фронта, жителей Херсона. Здесь их прозывали фронтовиками. Здесь было и много рабочих небольшого завода сельскохозяйственных орудий и паровой мельницы.

И вот, приняв хлеб-соль торгашей и думцев, командование немецкого отряда, прибывшего в город на двадцати грузовиках, с тремя трехдюймовками, предъявило ультиматум обитателям слободы — немедленно сдать все оружие в немецкую комендатуру.

Ультиматум гласил, что человек, при котором будет найдено завтра оружие, будет расстрелян, а дом, где обнаружат хоть один патрон,— сожжен дотла. И в том, что это не было только угрозой, херсонцы убедились очень скоро. В подвале дома, где мы жили, вскоре поселились обитатели дома на Забалки, в котором нашли берданку. Итак, слободе был предъявлен ультиматум.

Оттуда пришел ответ:

— Придите и возьмите!

А когда немцы пришли, чтобы взять, в них начали стрелять.

По дороге из гимназии я зашел к соученику своему, Коровякову. Он увлекался живописью и обещал мне, что под его руководством я еще до конца учебного года научусь хорошо рисовать и даже смогу выставлять свои этюды.

Мы выбрали для копировки большую акварель из альбома, принадлежавшего отцу Коровякова, и стали приготовлять краски. Акварель была прекрасна, и мне было интересно, как она получится у меня. Где-то в отдалении слышались редкие винтовочные выстрелы.

Я подошел к окну и увидел человека в немецкой военной форме, с плоским штыком на винтовке.

Он прошел быстрым шагом в подъезд дома на противоположном тротуаре и спокойно там остановился.

Я подозвал к окну Коровякова.

Немецкий солдат, заметив, что мы наблюдаем за ним из окна, сделал нам рукой угрожающий знак, и мы отскочили от стекла.

И тогда мы из любопытства вышли из дому.

Только мы юркнули из калитки на улицу, как я услышал у самого уха быстрый и острый, тонкий, словно звенящий звук: мимо пролетела случайная пуля. Это я понял еще через минуту, когда без всякого звука рядом со мной на штукатурке дома Коровяковых прочертилась тонкая полоска и на панели мягко звякнула пулька. Коровяков испугался и убежал домой.

А я поднял пулю, рассмотрел, положил в карман. Она была сплюснутая и совсем теплая.

И в эту минуту рядом со мною кто-то произнес немецкую команду.

Я поднял глаза и увидел немецкого солдата, притаившегося в парадном углового дома.

Из парадного вышло еще двое солдат. Они тянули за собой пулемет.

На них были каски. Это были не обычные каски с шишаками, в которых привыкли рисовать немецких солдат художники «Огонька», «Нивы» и «Солнца России»: это были плоские металлические каски. Но у меня не было времени пристально их рассматривать, потому что унтер грубо схватил меня за плечо и толкнул в подворотню, где стояло еще двое солдат.

Винтовочная стрельба приближалась, становилась все чаще и громче. Немецкие солдаты прилаживали пулемет у парадного углового дома.

Стоило только сделать шаг, как втолкнувший меня в подворотню унтер начинал зло шипеть и выразительно похлопывал рукой по кобуре. Надо было стоять на месте.

Но больше всего меня в тот день поразили не позвякива-

-ние пуль, не грубость немецкого унтера, а то, что обычно такая людная в это время дня улица была совершенно пустынна. Ни одного прохожего. И все ставни на окнах плотно закрыты, все парадные двери и ворота наглухо заперты. Словно город весь вымер, словно ни одного живого существа, за исключением нескольких немецких солдат, в мире не осталось. И только вдалеке где-то винтовочные выстрелы. И вот это ощущение полного и внезапного опустения мира и было страшнее всего... Но мир вовсе не был так пуст, как могло мне показаться в ту минуту.

Через четверть часа быстрой походкой из-за угла вышел немецкий офицер с двумя солдатами. Он на ходу скомандовал солдатам, стоявшим рядом со мной, и они, заторопившись, поволокли пулемет к дому Коровяковых. Там из ворот появился один солдат, из парадного входа — другой; из-за угла выехал грузовик с немецкими солдатами и остановился. Немцы втащили пулемет на грузовик, затем вскарабкались на него сами, и он помчался дальше.

Я стоял у ворот и видел, как по улице проехали по направлению к вокзалу и городскому кладбищу еще три грузовика, до отказа наполненные немцами.

Штыки у всех были примкнуты и блестели на солнце. В ту минуту многим эти блестящие на солнце штыки немецких солдат, восседавших на грузовиках, казались внушительным зрелищем боевой мощи. И только через восемь лет, служа во втором автомобильно-мотоциклетном полку, я понял, каким паническим было это бегство немецкого отряда. Как они торопились, если не выполнили необходимейшего и первого условия при перевозке войск на автомобилях — обязательно отмыкать штыки!

Остальные автомобили с удирающим немецким десантом проследовали по параллельным улицам, и их видели мои одноклассники.

Я пошел по направлению выстрелов, которые теперь, как назло, все удалялись от меня: они преследовали немцев.

Только на третьей улице я заметил высоченного усатого фронтовика, спокойно чистившего свою винтовку. Это был земляк нашей домработницы Нюши; он часто захаживал к нам в последние дни.

Мы, ребята, очень любили его немногословные рассказы о галицийском фронте и боях в Карпатах. Это были первые горы, которые он увидел в своей жизни. Мы же, мальчишки,

слушавшие его, про горы знали только по «Миру приключений» и из географии. Федор узнал меня и весело сказал:

— Сейчас по телефону звонили в больницу и в тюрьму, чтобы там больных, которые на ногах, и арестантов, которые трудящие, немедля выпустили и оружие дали. Они зараз за городом немцам шлях отрежут. Не дадут спокойно утекать! Вот здорово! —он рассмеялся громким, раскатистым смехом.— Здорово удумано! Весь город отбили обратно!

И, спрятав шомпол, вскинул винтовку за спину и побежал догонять своих товарищей.

Я пошел обратно к Коровякову и дорисовал вместе с ним акварель — она вышла совсем непохоже на оригинал — и затем отправился домой. На тротуарах уже было много прохожих, и по мостовым медленно и важно проходили кони биндюжников, запряженные в телеги, и мажары, в которые были впряжены сытые и сильные волы. Ставни всюду были распахнуты. И словно никогда не было того, что было только час назад.

По дороге я видел, как с флагштока городской думы медленно сползает жовтоблакитный прапор[1] и подымается яркое чудесное красное знамя.

Домой я пришел к ужину. Тетка встретила меня как восставшего из мертвых. Но она вообще славилась своей экспансивностью и чувствительностью, поэтому, не обратив внимания на ее радость, я вошел в столовую — комнату без окон.

За столом были все. И монументальный седой, стриженный бобриком, необыкновенно уважающий себя дядя Сендер, недавно вернувшийся из уезда, где он имел дело с огромной отарой овец; около него суетилась тетя Оля, моложавая и краснощекая женщина. На своих местах восседали мой младший братишка Миша и двоюродные братья, наши с ним ровесники. Был за столом и Сима, старше меня года на три, и самая маленькая в семье — Анка, любимица отца. И только самого старшего из них, Нюмы, не было за столом: он ушел куда-то со своими приятелями.

Ему было девятнадцать лет, перед революцией он работал больше года на одном из питерских заводов и был, как тогда говорили, на учете. То есть работал на оборонном заводе токарем и поэтому не призывался в действующую армию. Жил он в Петрограде у нас, и мы с братом знали его лучше и

[1] Жовтоблакитный прапор — желто-голубое знамя, цвета украинских националистов.

раньше, чем остальных херсонских родственников. С начала февральской революции он возвратился в Херсон и надоумил моих родителей отправить нас на сытный юг.

Это был уживчивый, общительный, бескорыстный и веселый парень, необычайно выносливый и такой сильный, что мы ему все завидовали. Перед ужином за ним зашли приятели, и он вместе с ними ушел. Дядя был этим очень недоволен и все время ворчал себе под нос:

— Нет того, чтобы вся семья ужинала вместе. Испортился мальчик в Петрограде...

Но Нюма не вернулся домой и ночью. Правда, это с ним случалось уже не впервые, поэтому никто особенно и не беспокоился. Время было все же тревожное, и я дважды просыпался от того, что тетя Оля вскакивала открывать дверь: ей казалось, что Нюма пришел домой. Но это ей только казалось.

Мы, мальчики, спали вповалку на матрацах, положенных на пол. Но никто, кроме меня, не просыпался, да и сам-то я просыпался, может быть, оттого, что мне все время снились грубый немецкий унтер-офицер и люди в металлических касках.

IV

Утром, чуть свет, дядя Сендер ушел в трактир, где он был завсегдатаем, чтобы поделиться новостями и делами со своими приятелями.

Нюша к чаю принесла теплый белый хлеб и последние новости.

Рабочие, оставшиеся в городе, решили защищать город от немцев. И еще решили звать обратно советские отряды, к черту эту самую Раду!..

— С трудом сволочи вчера утекли! — весело тараторила она.— Покропили их наши хлопцы! Скоро назад не вернутся! И всем, кто хочет, дают оружию! Ей-богу, чтобы мне света не увидеть! На форштадте и временный ревком и штаб помещаются!

И когда тетя Оля вышла, чтобы поделиться этими новостями с согнутым, как буква «Г», соседом, Нюша рассказала нам, что среди получивших оружие и наш Нюма и что он от оружия стал еще красивее, чем был раньше. Товарищи, которые заходили за ним вчера, тоже там и тоже теперь носят оружие...

Выслушав эти вести, мы с братом надумали отменить на сегодня занятия в школе, и каждый сделал свои выводы. Он вместе с младшим братом пошел играть в балку, а я, дважды переспросив Нюшу и выслушав от нее многократные клятвенные заверения в том, что на форштадте действительно дают оружие всем желающим, решил двинуться немедленно туда. От Забалки до форштадта надо было пройти через весь город.

По дороге я узнал много интересных и противоречивых вещей. На нашей улице все говорили, что теперь, получив по рукам, немцы ни за что не осмелятся вернуться. Рассказывали, что больные, выбежавшие в больничных халатах и нижнем белье, так напугали немцев своим внезапным появлением, что те бросили на месте все три орудия, с которыми прибыли в город. Говорили, что вооруженные арестанты оказались людьми весьма хитрыми и ловкими: они набросали на дороге битое стекло, и будто бы от этого испортились покрышки у машин, и немцы, бросив бесполезные теперь для них грузовики, отправились обратно, в Николаев, пешим строем. Трудно было разобрать, что в этих рассказах правда, а что идет от желания, чтобы это было правдой.

Проходя через городской сад, я слышал со всех сторон беспорядочную частую винтовочную стрельбу... Казалось, что город находится во вражеском кольце и отовсюду наступают враги. В аллеях сразу стало меньше людей, и трудно было понять, куда это они запропастились.

И вдруг сквозь тонкие, еще безлиственные, черные ветки акации я увидел кружащий над центральными улицами города немецкий аэроплан. Это был «таубе», действительно похожий на голубя, такой, каким его рисовали художники, собственные корреспонденты журнала «Огонек» в действующей армии. Совсем рядом со мной раздались выстрелы, оглушившие меня. Я увидел своего знакомого фронтовика Федора: он стоял рядом с другими и вкладывал в магазин новую обойму.

Стрельба шла по аэроплану...

— Зенитку бы! — мечтательно произнес Федор и, вскинув к плечу только что заряженную винтовку, почти не целясь, выстрелил в «таубе».

— Сволочь! Листовки еще вздумал разбрасывать! — ожесточенно произнес он и выстрелил второй раз, потом вытащил из глубокого кармана шинели смятую бумажку и про-

тянул ее мне: — Прочти, дружище, а то я не силен в немецкой грамоте!..

Я начал быстро читать листовку Федору и двум его приятелям. Один из них во время чтения еще раз выстрелил по аэроплану. В листовке немецкое командование грозными словами поносило вероломство херсонцев, которые якобы пригласили немецкий отряд, чтобы он восстановил порядок, а затем неожиданно ударили в спину. Немцы нарочно смешивали позвавших их петлюровцев со всем народом.

— Кто их звал, собачьих детей! — выругался фронтовик, приятель Федора.

И вот теперь на Херсон командование императорских войск посылает отряд, который будет действовать только против смутьянов. Всем, имеющим оружие, предлагается его немедленно сдать входящим сегодня в город частям кайзеровской армии. Тот, при ком будет найдено оружие, будет немедленно же, на месте, расстрелян! Дом, во дворе или в квартирах которого будет найдено оружие — огнестрельное или холодное,— будет сожжен непобедимой немецкой армией. В час появления германских солдат все ворота в городе должны быть, равно как и ставни, наглухо закрыты...

— Не дождутся! Холера им в живот! — снова выругался Федя.

Время вступления в город намечалось на три часа пополудни. Дальше следовал адрес немецкой комендатуры. Назван был большой дом с лепными украшениями, находящийся напротив бывшего губернаторского дома.

Дочитать листовку до подписи мне не удалось, потому что приятель моего знакомца снова приложил приклад к плечу, но на этот раз не выстрелил, а сразу же опустил винтовку и закричал:

— Глянь-ка, что с ним такое? Падает!..

Все мы посмотрели на небо и увидели: от «таубе» шел густой дымок, затем он повалился на нос и почти вертикально пошел вниз, к земле. Так впервые мне удалось видеть гибель вражеского самолета... Но, хотя мой знакомец-фронтовик Федя видел это, наверно, не впервые, он тоже взволновался и обрадованно сказал:

— Не иначе как на немецкую кирху сверзился! А ну-ка, хлопчик, бежи до кирхи. Вечером дома мне все и расскажешь. А мы пойдем в степь, навстречу несознательной немчуре!

И он увел с собой двух вооруженных приятелей, которым тоже очень хотелось посмотреть на подбитый немецкий самолет, тем более что стрелявший приятель был уверен, что именно от его пули и загорелся «таубе»...

— Идем, идем! На трофеи всегда наглядеться сможете,— торопил Федор товарищей,— а теперь встретить гостей надо. Да так, чтобы про эту встречу ни один из них дома не сумел рассказать!

Они ушли к вокзалу, построенному в трех километрах от города, а я побежал, выполнять задание фронтовика Феди, посмотреть на немецкий самолет, который, действительно по странному стечению обстоятельств, рухнул прямо в садик при красной кирпичной лютеранской кирхе. Там он и торчал сейчас, задрав к небу каркас хвоста, винтом прямо в дерн. Около садика уже собралась большая толпа. И уже стояла кем-то заботливо поставленная охрана.

Отсюда мы зашагали в штаб...

— Там, говорят, оружие раздают,— сказал мне мой нежданный спутник и хитро подмигнул.— Вот я туда и спешу!

— И я тоже,— ответил я не без гордости.

Он внимательно поглядел на меня.

— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать! — не задумываясь, прибавил я себе полтора года и почувствовал, как кровь прилила к лицу и даже загорелись уши.

И в эту минуту я увидел, как по противоположному тротуару шагает, вскинув на спину винтовку, Нюма с тремя товарищами. Увидев меня, он быстро перебежал мостовую и тихо сказал:

— Мы уходим сейчас немца сдерживать, только об этом, смотри, дома молчи. Завтра вернусь. Зачем беспокоить маму! Если спросит, скажи, что видел меня и что я всю ночь с парнями буду кутить,— пусть не волнуется!

Не слушая моих слов, он заторопился догонять своих приятелей. Один из них был кузнец, другой — первокурсник Одесского университета, третьего я не знал.

Не к чему было мне останавливаться, чтобы читать листовку, не к чему мне было бегать смотреть на сбитый «таубе»... Я опоздал к раздаче оружия!

Когда мы вместе с рыжебородым дядькой добрались до штаба, около которого шла раздача винтовок и патронов, оружия уже не было. Когда мы подошли к раздатчику, он вер-

тел в руках одну-единственную оставшуюся у него русскую облегченную драгунскую винтовку.

— Что тебе? — спросил он у меня.

У меня пересохло во рту, я громко сказал:

— Вот... Винтовку...— и протянул за ней руку.

Но тут меня спокойно отодвинул, взяв за плечо, рыжебородый дядя и, тоже потянувшись к драгунскому карабину, сказал:

— Зачем жиденку-то оружие? Молод он еще. Совсем мальчонка. Еще не туда с перепугу стрелять будет!

Раздатчик с любопытством взглянул на меня.

Обида густой, горячей краской прилила к моему лицу. Задыхаясь от негодования, я не мог найти слов, но по-прежнему тянулся к карабину, оглядываясь, нет ли кого рядом, кто мог бы по-настоящему поднять голос или на месте уложить этого рыжего. Но никому не было до нас никакого дела.

В этом помещении, прокуренном до невозможности дышать, каждый сейчас занят был своим делом: чистили винтовки, перематывали портянки, свертывали из плотной газетной бумаги, остерегаясь обронить на пол крошку махорки, цигарки. Кто-то, ругаясь, сзывал товарищей... Прискакавший верховой (я это видел в окно) ловко соскочил с седла и побежал во второй этаж, где находился штаб. И все это прошло в одно мгновенье, то самое, когда я, стоя рядом с ненавистным своим обидчиком, тянулся к кавалерийскому карабину.

— Да нет у меня ничего! Чи у вас повылазило, что не видите? Вот эту карабинку я сам себе возьму,— сказал раздатчик оружия и любовно взглянул на винтовку, которую мы оба схватили.

В комнате появился начальник штаба, он закричал:

— Товарищи! Почему вы здесь, когда я получил донесение, что немецкая шпана подбирается к вокзалу по открытому степу? Почему вы здесь, храбрецы? И для чего у вас в руках оружие? Если через минуту здесь останется кто-нибудь с оружием, пусть помрет мой батька, если я не отниму и не передам этой бездельной винтовки другому, сто́ящему парню.

Через минуту в помещении действительно не осталось ни одного вооруженного человека... Мне тоже дали боевое задание, первое в моей жизни. Я должен был немедленно на открытой небольшой грузовой машине ехать к портовым складам, там получить ящики с патронами и немедля везти их к фронту, намечавшемуся в степи, за вокзальной водокачкой. Пункт доставки был намечен у самой водокачки, стоявшей

как прекрасная мишень одиноко в голой степи. Но самым тяжелым для меня в этом легком задании было то, что вместе со мной, на ту же машину, с таким же заданием был посажен и мой оскорбитель, и получилось, что он как старший был моим начальством.

Пока мы мчались через весь город к реке, к складам, я старался не смотреть на рыжебородого, но когда кладовщик не захотел отпускать патронные ящики, нам поневоле пришлось объединиться в своем наскоке на него. Никаких мандатов и письменных распоряжений у нас не было, и кладовщик имел все основания не доверять незнакомым ему людям. Как бы то ни было, объединив с рыжим усилия, причем я весьма вежливо, но настойчиво просил, а рыжебородый обдавал кладовщика самой отборной, многоэтажной бранью, нам удалось заставить его «отчинить», как он говорил, склад и нагрузить несколько тысяч патронов на нашу допотопную машину.

— Помоги, чертяка! Нам быстро надо! Немцы тебя ждать не будут! — кричал кладовщику рыжебородый.

Старик кладовщик при упоминании о немцах несколько раз истово крестился, но как вкопанный стоял на месте, не делая ни одного движения, чтобы помочь нам.

Я же, забыв обо всем, думал только о том, как бы скорее нагрузить машину, и, неумело перетаскивая ящики, исцарапал себе в кровь руки. Шофер не мог помочь нам грузить, потому что он был уже с раннего утра пьян. Он мог только сидя управлять автомобилем, но стоило ему привстать с сиденья, как ноги и мысли у него начинали заплетаться... Сидя же у руля, он кое-что разумел...

Виляя от одного тротуара к другому, удивляя и пугая такой ездой прохожих, мы мчались на третьей скорости к вокзалу. И когда на повороте меня занесло чуть ли не в объятия рыжебородому, я вдруг заметил, что он как-то очень благосклонно посмотрел на меня... Я отвел свои словно невидящие глаза в другую сторону...

— Ишь ты, вытри кровь-то на руке! — сказал он, не обращая внимания на мое демонстративное молчание, и протянул платок.

Но я вытащил из кармана свой носовой платок и, не приняв протянутого платка, стал вытирать руку.

— Молодцы, хлопцы! В самый раз поспели! — закричали нам вооруженные люди у водокачки и, быстро вскарабкавшись на грузовик, ловко стали его разгружать.

Один ящик разбился, и оттуда посыпались россыпью патроны.

— Ну и молодцы!..

Это относилось к нам обоим...

У водокачки, сбоку, стояла трехдюймовка, та самая, что была отбита у немцев...

В полукилометре впереди лежала рассыпанная цепь наших товарищей.

Мне показалось, что я вижу новое демисезонное пальто Нюмы.

А еще дальше, впереди, глаз с трудом различал медленно передвигающиеся группки совсем маленьких, почти как точки, людей...

— Глянь-ка, немцы! — указав на них, участливо сказал мне человек в шинели без хлястика.

Передо мной расстилалась огромная степь, видимая до самого горизонта. Немного впереди лежала наша цепь, а там, дальше, и не так уж и далеко, были враги — немцы, был чужой, враждебный мир...

Я стоял рядом с пушкой и как завороженный смотрел то вдаль, на передвигавшихся по горизонту немецких солдат, то на пушку, около которой возились артиллеристы. Орудие было приготовлено: артиллеристы собирались бить прямой наводкой.

Один из них увидал, какими глазами гляжу я на трехдюймовку, и, хитро улыбнувшись, сказал:

— Хочешь выстрелить?

— Конечно, хочу,— ответил я, стараясь держаться непринужденно.

Мне и в самом деле отчаянно хотелось хоть разок самому выстрелить из пушки по врагам.

Артиллерист всунул мне в руку конец шнура и скомандовал:

— Огонь!

Я стоял без движения, не зная, что надо делать с этим шнуром, чтобы произошел выстрел.

— Дергай! Дергай шнур! — закричал с грузовика мне рыжебородый.

Я изо всех сил дернул шнур, и от грохота раздавшегося выстрела у меня чуть не полопались барабанные перепонки...

Второй артиллерист открыл замок орудия и, выбросив гильзу, вложил новый снаряд...

Разрыва моего снаряда я не видел.

— Ну едем, что ли! — закричал мне рыжебородый.

Я вскарабкался в кузов машины, и мы снова помчались далеко в город, к берегу, к складам, за новой порцией патронов и снарядов.

Я смотрел в степь, на неведомо куда запропавших немецких солдат, на пушку, давшую уже пятый выстрел, на вдруг поднявшуюся, побежавшую вперед, в сторону неприятеля, с каким-то протяжным криком нашу цепь и снова увидел в цепи коричневое новое пальто Нюмы... Но тут строения закрыли от меня эту картину, и рыжебородый наставительно сказал:

— Когда бьют орудия, надо раскрывать рот, чтобы не оглохнуть!..

Но хотя и в самом деле я был немного оглушен выстрелом, не отвечал я на его слова не потому, что не слыхал, а потому, что нанесенная обида не проходила...

Правда, так на него злиться, как злился я час назад, я почему-то не мог...

«Он просто не понял и совсем не такой плохой человек»,— думалось уже мне. Но и разговаривать с ним мне еще было неловко, как будто не он передо мной, а я перед ним в чем-то провинился...

Неожиданно нашу машину обстреляли из-за каменной ограды кладбища, лежавшего на самой окраине города.

Пуля разбила стекло фары... Но мы быстро проскочили через обстреливаемую зону и остались невредимыми, потому что шофер вел машину зигзагами. Но это не было его военной хитростью...

«Черт побери! Неужели немцы решили обойти нас со стороны кладбища?» — подумал я и взглянул на рыжебородого; мне показалось, он думает о том же.

И снова на углу я встретил фронтовика Федора. Стоя за углом голубой мазанки, он перезаряжал винтовку.

— Немцы на кладбище! — в один голос закричали мы с рыжебородым.

Федя махнул нам рукой и что-то крикнул в ответ. Всех слов мы не разобрали, но поняли, что он уже знает об этом и как раз его отряду и поручено выбить немцев с кладбища... Если бы немцы закрепились там, им легко было бы отрезать от города наших товарищей...

— Хватит ли сил у них выбить германа оттуда? — вслух усомнился рыжебородый и, помолчав, добавил: — Кто его знает: говорят, матросы на помощь обещались! Подоспеют ли?..

...Но они подоспели.

Мы сначала услышали их за углом улицы, ведущей на рынок... Он сегодня был закрыт с утра... Но со стороны рынка сейчас несся какой-то нечленораздельный нарастающий гул...

И как только мы выехали к рынку, так увидели бегущих по середине улицы и по тротуарам нестройной массой моряков-черноморцев с развевающимися георгиевскими ленточками на бескозырках...

Они бежали в гору, от берега, торопясь прийти на помощь херсонцам, прямо с транспорта, опоздавшего на два часа.

Сбежав по сходням на берег, они сразу же устремились в город и теперь спешили по направлению выстрелов, раздававшихся в отдалении. И предстояло еще пройти таким шагом не меньше чем полтора километра...

Бушлаты у большинства были распахнуты, и под ними виднелись полосатые тельняшки.

Бежавший впереди держал в руках гранату-лимонку, и почти у всех грудь была перекрещена пулеметными лентами.

Они бежали нестройной толпой к линии фронта, крича и волнуясь. Лица их были потны и деловиты.

Такими я увидел их в первый раз, и такими потом они вставали передо мной со всех плакатов и экранов. Рядом с передним, ничем не отличавшимся от других, бежала большущая собака, лохматая дворняга, и весело лаяла. Морду ее с высунутым на сторону большим розовым языком и то, как она бежала вприпрыжку рядом с матросом, державшим в руке гранату, запомнил я навсегда.

— Скорее! Скорее! — снова закричали мы с рыжебородым.— Немцы уже у кладбища!

Матросы остановили нас. Человек тридцать, обвешанных оружием и перекрещенных пулеметными лентами, вскарабкались на грузовик... И, чтобы очистить место тридцать первому, они высадили меня из машины... Рыжебородый пересел в кабину шофера: он должен был показать морякам дорогу, а я остался здесь, на тротуаре, у ларьков и дощатых будочек городского рынка.

— Эй, ты! Смотри никуда не уходи: на обратном пути заскочу за тобой! — крикнул мне рыжебородый, высунувшись из кабины шофера.

За эти слова я многое ему простил!

Машина уже скрылась, а матросы все еще нестройной гурьбой пробегали мимо меня, стремясь поскорее дорваться до боя...

Я стоял на углу, прислушивался к выстрелам, которые то казались очень далекими, то совсем близкими, ожидал грузовика с рыжебородым и нервничал. После того как прошли по улице матросы, снова стало пустынно, и снова, если бы не дальние выстрелы, мир казался бы вымершим. Я пересчитал окна всех окружающих домов, я сосчитал все запертые ларьки в ближнем ко мне ряду рынка, а машины все не было. Я уже проклинал пропавшего рыжебородого... Когда пришла машина, солнце уже было совсем низко, но оказалось, что грузовик пропадал всего-навсего меньше часа.

— Ну и погнали же немчуру матросы! — восхищенно крикнул мне рыжий, высунувшись из кабины.— Все кладбище отбили, теперь уже они до самого Берлина тикать будут...

И снова мы подкатили к складам. Кладовщик встретил теперь нас как самых лучших знакомых: охотно открыл двери и суетился, указывая, откуда лучше всего брать ящики.

— Там поскорее, получше! — приговаривал он и даже перекрестил нас и нашу машину, когда мы снова тронулись в обратный путь, к линии огня.

Пушка уже ушла на километр вперед от водокачки. И линия цепи передвинулась дальше от города, в степь, километра на четыре...

— Ехайте, ребята, туда, прямо по цепи! Некому отсюда патроны туда таскать!

И мы погнали наш грузовик в степь.

Близко строчили пулеметы...

Неподалеку разорвался неприятельский снаряд и, разворошив сухую степную землю, поднял целую тучу пыли... Несколько раз выстрелила и наша трехдюймовка, пока мы доехали прямо без дороги к цепи... И сразу же к нам подошло много по-разному одетых мужчин, и седобородых и совсем еще безусых, и мы им на руки стали сбрасывать патронные ящики.

Немецкие цепи снова были отодвинуты к горизонту, и все же я услыхал, как несколько раз тонко просвистели пули. Потом наш шофер грубо выругался и медленно стал выбираться из своей кабины.

— Обратно не повезу! Руку задели!..

Он был ранен немецкой пулей.

Когда патроны, привезенные нами, были разобраны, я ус-

лышал снова, и в последний раз, громкий голос двоюродного моего брата:

— Вперед! Товарищи! Вперед! Ура!

Он встал с земли и, держа в одной руке винтовку, побежал вперед. За ним поднялись и побежали его двое приятелей, а за теми и все остальные.

И тут, как будто нащупав расположение цепи, на том месте, где только что лежали Нюма и его товарищи, разорвался неприятельский снаряд. Около переднего колеса нашей машины вдруг упал большой осколок шрапнели. Я выпрыгнул из грузовика, подбежал к переднему колесу, схватил голой рукой этот осколок и сразу же выпустил: он был нестерпимо горяч.

И тут я увидел, как вслед за мной выскочивший из автомобиля рыжебородый, минуя меня, побежал по степи вслед за стремящейся вперед нашей цепью... Я сразу понял, зачем он это сделал, и устремился вслед за ним. Фронтовик Федор, земляк Нюши, рассказывал нам, как в боях на Карпатах у русских солдат не хватало ружей, но и безоружные шли в атаку вместе с вооруженными и подхватывали винтовку из рук убитого или раненого товарища... Наши, громко крича какие-то устрашающие слова, долетавшие до нас общим, неразборчивым гулом, бежали вперед по степи, и мы вдвоем с рыжебородым, спотыкаясь и тоже что-то крича, устремились за впереди бегущими.

Позади нас разорвался неприятельский снаряд. Я на бегу оглянулся и уже не увидел ни нашего грузовика, ни оставшегося около него шофера... Это был тяжелый снаряд.

Цепь наша все продолжала наступать, и мы бежали за ней...

— Знают свое дело! — тяжело дыша от бега, сказал рыжебородый.

— Что?..

— Метко бьют! Вот что! — огрызнулся рыжебородый, и как бы в подтверждение его слов неприятельский снаряд разорвался совсем близко от нас...

Но я не слышал ни разрыва ни свиста рвущихся пулек шрапнели.

Я внезапно снова увидел новое коричневое пальто брата моего Нюмы. Как-то странно взметнув руками, он выпустил винтовку, и она шлепнулась на землю. Затем, сделав еще два-три шага вперед, он повалился и упал лицом вниз и лежал без движения, плашмя, в своем новом коричневом демисезонном пальто.

Другие продолжали бежать вперед, и лишь один из друзей Нюмы наклонился над ним и затем тоже устремился дальше... Я подбежал к распростертому на земле телу двоюродного брата и стал его тормошить. Задыхаясь, я шептал:

— Нюма! Нюма, Нюма! Вставай...

Но он не дышал. Смерть пришла мгновенно. В ту минуту я даже не заметил отверстий, которые проделали в пальто эти маленькие тяжелые шрапнельные пульки... Я не увидел, откуда в его молодое, здоровое тело вошла смерть. Но сразу в памяти моей пронеслись картины приезда Нюмы в Петроград, его веселый смех и утренний наш разговор... А гул выкриков идущей в атаку цепи все еще раздавался в моих ушах.

Тут я увидел, как рыжебородый подбежал вслед за мной к телу Нюмы, пригнулся к земле и поднял уроненную винтовку. И тогда я выпрямился и тоже обеими руками потянулся к этой винтовке... Я схватил ее, но рыжебородый не захотел выпускать ее из своих рук. И тогда я громко закричал и сам не узнал своего голоса:

— Это мой брат! Винтовка моего брата!.. Отдай ее мне!..

Он, услышав эти мои слова, с удивлением взглянул мне прямо в глаза и затем, переведя взгляд на мертвое, но еще теплое тело, лежавшее у самых наших ног, вдруг отпустил винтовку.

Ствол ее был горяч...

— Брат?..— громко спросил он.

— Брат!.. Отдай! — продолжал я кричать.

Тогда он тихим голосом сказал:

— Бери ее, хлопчик, она твоя...

И я взял эту винтовку Ижевского завода под номером 1771, первую в моей жизни, и побежал вперед, догоняя товарищей в цепи...

V

В ту ночь домой я не пришел... И на следующий день не пришел. Я не знал, что сказать тете Оле, во-первых, и, во-вторых, нас в цепи никто не сменял.

Рядом со мной был все время рыжебородый. К вечеру следующего дня немцы внезапно перестали драться, сняли свои части с фронта и оттянули их назад, к Николаеву... Бойцы и весь трудовой город были полны ликования от нашей победы.

В тот день мы еще не знали, что немцы отступили так по-

спешно, оставив пулеметы и боеприпасы, потому что в Николаеве, в их тылу, тоже началось восстание рабочих французского судостроительного завода...

Робко и тихо пошел я домой. В кухне оставил винтовку. Но когда я вошел в комнату, и узнал лежавшее на столе знакомое коричневое демисезонное пальто Нюмы, и увидел пробитые осколками дырки на добротном материале, я понял, что дома уже все известно. Приятели Нюмины, должно быть, были уже здесь и, принеся вещи убитого, все, как было, рассказали.

И еще я услышал плач и причитания из соседней маленькой комнаты. Распахнув дверь, я увидел, что в комнате, из которой вынесли все вещи, на подушках на полу сидит все семейство моей тетки. Строгий дядя Сендер, Мося, Анка, Сима и Яша, все разуты и плачут, и больше всех убивается тетя Оля!..

«Что это они? С ума сошли от горя, что ли?» — подумалось мне, и, закрыв дверь, я выбежал на площадку лестницы.

— Что они там делают, на полу? — спросил я у соседа.

Он с сокрушением посмотрел на меня и презрительно бросил:

— Гой! Русский мальчик!..

И его слова были так же оскорбительны, как и те слова рыжебородого... Но сейчас рыжебородый был мне уже другом, товарищем. А этот, стоя на площадке, презрительно продолжал:

— Гой, настоящий гой! Русский мальчишка! Горе большое у них в семье, и теперь они целую неделю будут так сидеть на полу.

Мне показался странным этот обряд, но я не стал спорить с новым моим оскорбителем и, не прощаясь, пошел домой. Сосед на прощанье еще добавил:

— Хорош парень был Нюма, только глуп! Сам в петлю полез!..

— Это вы глупый, а не он! — прокричал я ему уже в спину.

Меня душили слезы. И, чтобы не показать их никому, я прошел на кухню.

Там, в углу, уже стояла вторая винтовка, и, припав на грудь усатому своему земляку Федору, всхлипывала Нюша, счастливая оттого, что он остался жив и невредим. И я плакал тоже.

А он, гладя ее спину, ласково говорил:

— Не плачь, Нюша! Скоро все уладится.

БЫЛИ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА

ДАЛЬНИЙ ПОИСК

1

Гвардии полковник Строев усадил гвардии старшего сержанта Столетова рядом с собой и, будто ничего срочного не было, стал рассказывать ему, командиру отделения разведчиков, какую-то историю. Столетов сначала не мог понять, к чему клонит командир дивизии.

— Иду я как-то здесь,— говорил полковник,— и слышу такой разговор разведчиков. Трое их было. Вернулись они из разведки и в точности рассмотрели вражеские позиции. И проволоку в семь рядов увидели. И надолбы. И минные поля. И блиндажи. И доты. И дзоты. И вот такой ведут между собой разговор. Первый разведчик говорит: «Такие укрепления нипочем не взять!» — «Конечно, не взять! — соглашается второй.— Ну как их возьмешь?» — «А если приказано будет взять, тогда что? — спрашивает третий.— Да, тогда что?» И все они трое задумались. «Ну, если приказано, тогда надо будет взять!» — опять говорит первый. «Тогда обязательно возьмем!» — отзывается второй. «Конечно, возьмем!» — подтверждает третий...— Полковник улыбнулся и спросил: — Не твои ли это люди были, товарищ Столетов?

— Судя по ответу, мои, товарищ гвардии полковник! — не сморгнув, ответил Столетов.— Только я сам что-то такого случая не припомню.

— Ну, это только присказка,— уже без всякой шутливости сказал полковник,— а приказ-то впереди будет. Я на тебя полагаюсь, Столетов. Верю. Дело важное и серьезное. Ты на своих людей положиться можешь? Дело смертельной важности! Понятно?

— Понятно! — отвечал Столетов.— Я на своих людей положиться могу. Пьяных Матвей — во-первых, Гулеватый

Трофим — во-вторых, Ибрагим — в-третьих, Иван Пчелиев — в-четвертых, Семин — пятый, шестой — Свеча...

— Постой, постой, какая такая Свеча у тебя? — удивился командир.

— Виноват, это мой заместитель, настоящая фамилия Дробитько, а только мы после одного случая между собой прозываем его «Свечой».

— После какого такого случая?

И Столетов рассказал полковнику то, о чем все во взводе разведчиков давно уже знали.

Зимой, во время одного из поисков, разведчики ворвались во вражеские траншеи. Противотанковыми гранатами подорвали два блиндажа. Бревна далеко за бруствер поразметало. В первом блиндаже разведчики захватили в плен немца. Дробитько метнул гранату во второй блиндаж и после взрыва сразу же вскочил туда. Все в блиндаже было перековеркано. Бревенчатые углы разошлись, и холодный воздух вместе со снегом врывался в блиндаж. Немцы, находившиеся внутри, были убиты наповал и валялись на земляном полу. И только на небольшом дощатом столе — словно ничего не произошло и не было взрыва — по-прежнему горела свеча, и язычок ее пламени стремился ввысь, даже не колыхаясь. В первую секунду этот теплящийся огонек среди всеобщего разрушения поразил Дробитько своей безмятежностью, но в следующее же мгновение он подумал о том, что неплохо было бы принести товарищам в землянку эту свечу. Пусть нам посветит! Он притушил огонек и опустил свечку в карман полушубка.

Так были доставлены: в землянку к командиру «язык», а в землянку разведчиков — свеча. И с тех пор Тарас Дробитько, этот неуклюжий и высокий силач, получил во взводе прозвище Свеча.

Пока Столетов рассказывал обо всем этом полковнику, тот, казалось, не слушал, а думал о чем-то своем.

— Надо будет отправиться вам в дальний поиск,— вдруг сказал комдив, перебивая Столетова.— Ты знаешь эту канатную подвесную дорогу у немцев?

Столетов припомнил высокие столбы и протянувшиеся между ними стальные канаты, которые он видел во время прошлой разведки. Сначала он принял их за высоковольтную передачу. Но затем пригляделся попристальней и увидал, что какие-то черные букашки ползут по канату над ущельями, обрывами, ложбинами, мимо побуревших склонов, над зеле-

ными вершинами сосен. «Это двигаются грузовые площадки»,— подумал Столетов.

— Так вот,— продолжал полковник,— по этой канатной подвесной дороге немцы доставляют к переднему краю своей обороны боеприпасы, снаряды, взрывчатку, пищу — шутка ли сказать! — за сорок километров, прямо от железной дороги до переднего края. Дешево и безопасно! Если повалить столб, другой,— мы пробовали это делать,— то их скоро восстанавливают. Надо взорвать электростанцию, питающую дорогу. Понятно. И надо сделать это в ближайшие два-три дня. Не раньше и не позже. Сегодня двадцатое. Двадцать третьего на рассвете станция у озера должна быть выведена из строя. От этого будет зависеть очень многое. Ваш успех будет равен вводу в действие целого артполка. Так вот...— И полковник Строев развернул перед Столетовым карту.

...Выход был назначен сразу же после полуночи.

2

К своей землянке Сергей Столетов подошел как раз в ту минуту, когда туда подоспел письмоносец. И, как всегда, когда приходило письмо из Сибири, письмоносец, войдя в полутемную землянку, громко спросил:

— Трезвых у нас нет? Вот письмецо для Пьяных!

Матвей Пьяных так привык, что над его фамилией подтрунивают, что не обиделся и только жадно схватил треугольничек письма.

Видимо, в письме были хорошие вести, потому что, по мере того как Пьяных читал косые строки, написанные чернильным карандашом, лицо его все светлело и светлело.

В письме находилась бумажка, в которую было что-то завернуто. Осторожно раскрыв ее своими заскорузлыми пальцами, Матвей Пьяных извлек оттуда добротную, домашней выделки, суровую нитку.

Он тотчас же открыл клапан гимнастерки, бережно вытащил оттуда одну за другой две другие такие же нитки и положил их перед собой, на дно опрокинутого фанерного ящика, служившего здесь, в землянке, столом.

— Да-а, Свеча,— ласково сказал он Дробитько,— растет, шельмец, растет!

Все три ниточки были разной длины.

Дома, в сибирской деревне, остался у Матвея Пьяных первенец. И каждый год в день его рождения мать измеряла рост сынишки и отсылала мерку отцу.

И Матвей берег эти нитки: так крепко они связывали его с родным домом, с далекой Сибирью.

Не один раз бойцы видели, как в свободное время Пьяных вытаскивал из кармана ниточки и с любовью смотрел на них. И, по правде сказать, они уважали Матвея за это, хотя нередко кто-нибудь из них в шутку предлагал ему или продать ниточки по сходной цене, или одолжить, чтобы пришить оторвавшуюся пуговицу.

— Три ниточки,— сказал, задумавшись, Столетов,— три ниточки,— повторил он,— значит, три года. Но ты не унывай, дружище,— обратился он к Пьяных.— Мы уж постараемся сделать, чтобы четвертой ниточки тебе не пришлось получать: к следующему дню рождения сынишки будешь самолично с полной победой дома.

— Ну, до свидания! — попрощался письмоносец.

Когда он вышел из землянки, Столетов поднял бойцов:

— Готовься! Через три часа в поход!

3

Когда над вершинами окрестных гор взошло солнце, отделение Столетова было уже далеко во вражеском тылу.

Но теперь бойцов было не семеро, а шестеро, потому что ночью, еще при переходе через линию фронта, случилась беда с Григорием Семиным.

Саперы расчищали для разведчиков проход через болотистое минное поле. Но в ночной темноте даже самый лучший сапер может пропустить и не заметить мину. А тут еще попалась мина «с сюрпризом». Казалось, лежит среди кочек болота простая ручная граната. Семин поднял ее, и она взорвалась у него в руках.

Саперы взялись доставить раненого разведчика обратно, а отделение Столетова продолжало свой путь.

Проволочные заграждения разведчики разрезать не стали, чтобы не оставить следа. Припасенной для такого случая осиновой рогаткой Пьяных приподнял нижний ряд проволоки, и товарищи один за другим пролезли под ней и продолжали ползти еще с километр, пока не оставили позади себя траншеи боевого охранения противника. Потом они поднялись и пошли по каменистому склону, поросшему редким высоким ельником, и, только перевалив через высокую гряду, остановились перевести дух.

Уже встало холодное солнце, и горы, и раскидистые вершины деревьев, и зеркально-ясные горные озера, и скалистые обрывы — все было залито удивительно ровным и прозрачным розовым светом.

Глядя на расстилавшиеся перед ним горы, с наслаждением вдыхая тот удивительно свежий, бодрящий воздух, какой бывает только ранним утром, Сергей подумал о том, что раньше в городе в это время он еще спал. И сейчас в родном городе на Волге еще спят его родные и друзья, и никто из них даже не представляет себе, как красив восход солнца в этих далеких диких горах.

— Я раньше думал, что так только на картинах бывает, — сказал Пчелиев, глядя на пылающий край неба.

Пчелиеву было только девятнадцать лет, и первой его профессией в жизни стала профессия пехотинца-разведчика, потому что в армию попал он прямо со школьной скамьи. Он был исполнительным бойцом, этот высокий, длиннорукий и еще по-мальчишески худощавый карел. Он делал то, что было ему положено, и был храбр, даже не подозревая о своей храбрости. И лишь потом, читая в армейской газете описание схваток и разведок, в которых он принимал участие, он начинал понимать отчаянную дерзость того дела, в котором участвовали его товарищи и сам он.

— Теперь к моему счету прибавляется еще один, — заметил на ходу Гулеватый, и все поняли, о чем он говорит.

Трофим Гулеватый недавно вернулся в часть после ранения, побывав в отпуске в родных местах, в белорусской деревне, только что освобожденной от немцев. До этой поры во взводе бойцы знали Трофима как веселого, компанейского человека. Вернулся же он совсем другим, молчаливым и сумрачным.

Первое время он ничего не рассказывал о поездке на родину, а только еще более ревностно стал относиться к своим обязанностям и всегда просился в самое опасное дело, такое, где можно побольше уничтожить фрицев.

И только постепенно узнали товарищи, что не нашел Трофим у себя на родине ни родни, ни той яблони, которую еще в детстве посадил перед хатой, ни самой хаты, и от всей деревни остались одни только закопченные дымоходы. Все спалили немцы, а односельчан поголовно расстреляли за помощь партизанам.

Вернулся обратно в часть Трофим с одной только мыслью, с одной страстью — отомстить сполна за родную Любинку.

Он по памяти восстановил имена всех жителей деревни — а память у него была точная и придирчивая — и записал их в тетрадку.

И когда ему доводилось уничтожить немецкого солдата, против какой-нибудь одной фамилии в списке односельчан он ставил птичку — отомщен!

Много таких пометок поставил Трофим.

Теперь в его тетради оставалось еще одиннадцать фамилий, не отмеченных птичкой.

Словно отвечая на мысли товарища, Столетов сказал:

— Ни одного выстрела! Чем бесшумнее мы будем идти, тем вернее. Нельзя из-за одного или двух лишних убитых фрицев рисковать успехом всего дела. Имей это в виду, Трофим!

Отделение спускалось по каменистому склону. Шли гуськом один за другим. У каждого в вещевом мешке за спиной, кроме сухого пайка на неделю, лежало по триста патронов для автомата и по два килограмма тола — груз немалый.

Тяжелые мешки за спиной подгоняли, заставляли убыстрять шаг. При этом гранаты у пояса покачивались в такт шагу и ударяли по бедрам.

Когда же, спустившись с горы, друзья вступили на болото, эти заплечные мешки пригибали книзу, отяжеляли шаг. Нога погружалась в мягкий мох, и ржавая вода, чавкая под подошвой, быстро заполняла след.

— Я кочколаз — у нас в Карелии много болот,— сказал Иван Пчелиев.

И Столетов определил его идти первым, прокладывать след. Сам он шел посредине.

Было так вязко, что Ибрагимов, шедший за Пчелиевым, вдруг обнаружил, что он остался без сапога. Сапог вместе с портянкой застрял в трясине.

Столетов, шедший позади Ибрагимова, с трудом высвободил сапог из вязкой трясины и вручил его хозяину.

— Впредь остерегайся, не выскакивай из сапог,— наставительно сказал он смутившемуся бойцу.

Около трех километров шли они болотом по колено в жидком, холодном месиве, согнувшись под тяжестью мешков.

Солнце уже стояло высоко, когда, пройдя болото, они снова начали подниматься на каменистую гору.

Теперь Столетов назначил Ибрагимова идти первым.

— У нас в Дагестане,— говорил Ибрагимов,— горы выше, чем здесь, но они приятнее и для глаза и для ноги. А тут

как будто и похоже, а на самом деле не приведи бог... У нас на Кавказе болот нет!..

— А мы по географии учили, что есть! — сказал Пчелиев.— Около Поти и Батуми...

— Я тебе про Дагестан говорю! А ты мне о Поти и Батуми! Ты бы лучше...

— Тише, товарищи! — остановил их Столетов.

Разведчики одолевали кручу. Заплечные мешки тянули теперь назад, и приходилось сгибаться всем туловищем, чтобы одолевать эту тяжесть.

— Мокрыми подошвами да по острым кремешкам — тут сапог не напасешься,— с трудом переводя дыхание, заметил Матвей Пьяных.

Так они поднимались от валуна к валуну, от сосны к сосне, пока не достигли перевала.

— Смотрите! — сказал Сергей Столетов, указывая рукой вдаль.

И тут они увидели протянутые между устоями, водруженными на склонах, канаты подвесной дороги. Над очертаниями круглых, отполированных временем валунов и над острыми изломами гор бросались в глаза прямые линии натянутых тросов, терявшихся за невысокими холмами и пригорками у горизонта.

— Отсюда по прямой до этой канатной дороги будет не больше трех километров, а ежели идти по этаким горам, то разве только что к утру придешь,— сказал Пчелиев.

— А нам и не надо идти по ним, мы должны взять левее, к электростанции,— отозвался Столетов.

Приглядевшись, он заметил, что по канату подвесной дороги в эту минуту скользила площадка с грузом. Она быстро шла в сторону фронта.

— В таких тюках посылают они снаряды,— сказал Столетов, обращаясь к товарищам.— А мы пресечем это!

— Понятно, товарищ старший сержант. А то я думал, что муха ползет по канату,— усмехнулся Пчелиев.

— У нас на Кавказе тоже такие дороги есть,— сказал Ибрагимов.— Вроде нашего фуникулера. Понимаешь? — обратился он к Пчелиеву.— Какая же это муха? Это тоже тебя так учили?

Теперь надо было сойти вниз и снова болотом пробираться до следующей каменистой гряды. У подножья ее виднелись пестрые крыши поселка.

Поселок был пуст — немцы угнали все население. Столе-

тов знал об этом от других разведчиков. И еще вот что было ему известно: на вершине горы, у подошвы которой алели крыши деревни, расположено несколько немецких зенитных батарей.

Не успели еще разведчики спуститься со склона, как вдали послышался заливистый, захлебывающийся лай, каким охотничьи собаки дают знать хозяевам о том, что они напали на след и идут по нему. Разведчики услышали этот лай, и сразу всем стало как-то не по себе. Они переглянулись и продолжали идти вперед молча, немного убыстрив шаг.

— Товарищи, немецкие ищейки, кажется, напали на наш след,— очень тихо сказал Столетов, но эти слова услышали все.

Разведчики продолжали идти молча. Что можно было ответить на такие слова? И, наконец, Ибрагимов, еще раз прислушавшись к заливистому лаю, мрачно сказал:

— Как бы там ни было, а я даром не дамся. Я на себя не меньше троих беру!

— Вот чудак! — досадливо сказал Столетов.— Разве дело в этом? Это всякий сделать может. Нам приказано взорвать станцию. А ты только о стрельбе думаешь! Пусть ни одного выстрела, пусть все погибнем, а станцию остановим — наш верх! Но если даже сотню немцев перебьем, а станция попрежнему будет работать, тогда грош нам цена — не оправдали доверия! Вот в чем дело.

Разведчики продолжали спускаться вниз.

Мысли о том, что же сейчас следует предпринять, одна за другой проносились в голове Столетова, но ни на одной он не мог остановиться. От этого проклятого лая, ему казалось, что у него прерывается дыхание. И он, замыкая отделение, шагал, не зная еще, что предпринять, когда с горы скатилась собака. Не прекращая лаять, она остановилась в нескольких шагах от него.

Ибрагимов снял с плеча свой автомат.

Столетов резко махнул ему рукой — не стреляй. И Ибрагимов неохотно опустил автомат.

Было совершенно ясно, что вслед за собакой, спущенной со своры, идут люди. Только она намного обогнала их.

Теперь во что бы то ни стало надо было уничтожить эту немецкую овчарку, пока не подоспеют ее хозяева.

Пчелиев сделал несколько шагов к собаке, чтобы схватить и задушить ее. Но, увидев, что к ней идет человек, собака

отбежала немного, снова остановилась и опять громко-громко, но уже не заливисто залаяла.

— Нет, так, голыми руками, ее не возьмешь! А ну, вперед! — скомандовал Столетов.

И бойцы быстро пошли вперед. Позади всех шел Сергей Столетов.

Собака не отстала. Она бежала теперь так близко за Сергеем, что казалось, вот-вот вцепится в него сзади.

Он рассчитывал на это и готовился схватиться с нею.

Но натренированная собака не кусала человека. Только раз она осторожно схватила зубами край ватника и сразу же, не успел Сергей обернуться, отскочила в сторону и остановилась, не спуская с него глаз.

Так повторилось несколько раз.

Надо было отделаться возможно скорее от этого преследования.

— Вот собака! Настоящая собака! — злясь, пробормотал Дробитько и навел на бешено лающий комок меха автомат; но, как только он это сделал, собака начала быстро бегать между деревьями и кочками, делая зигзаги и оставаясь почти все время на одном и том же расстоянии от людей.

— Вишь ты, как вышколили! — проворчал Пчелиев.

— Только один патрон: наверняка! — приказал Столетов.

Но разве можно было ручаться, что пуля не пойдет «за молоком». И Дробитько в досаде опустил автомат.

— Ах, ты так? — глядя на собаку, проворчал сквозь зубы Ибрагимов.

Подняв с земли камень, он размахнулся и бросил его в овчарку.

Она увильнула от камня. И, отбежав немного, снова остановилась и залаяла.

— Да это сам сатана, а не собака! — обозлился Гулеватый.

Пролаяв с полминуты, собака осторожно подошла к упавшему в мягкий мох камню и, не отрывая глаз от людей, стала его обнюхивать.

— Ах, вот ты какая! — Столетов быстро нагнулся, тоже поднял камень и бросил его в сторону от собаки.

Та отскочила от камня, который только что обнюхивала, и поглядела, куда упал камень, брошенный Столетовым; затем перебежала к нему и стала обнюхивать его...

— Так!

Все было решено: Столетов снял с пояса ручную гранату, встряхнул ее, как полагается, и швырнул в сторону.

Собака снова оставила камень и побежала к гранате. Только она, принюхиваясь, остановилась, как раздался взрыв. Овчарку метнуло в воздух и разнесло в клочья.

— Теперь я знаю, как с такими зверюгами разделываться,— деловито сказал Пьяных.

С собакой было покончено, но вслед за ней вскоре должны были появиться каратели. Поэтому разведчики немало удивились, когда их командир вдруг приказал остановиться, раскрыть мешки и вытащить из них банки с консервами.

Все с недоумением поглядели друг на друга.

Один только Дробитько был спокоен. Он во всем полагался на своего командира. И то, как Столетов сейчас справился с ищейкой, могло только еще больше утвердить его в этой вере.

— Да чего вы стоите?! Живее, живее! — покрикивал Столетов на товарищей, не так уж охотно принявшихся за свои рюкзаки.

Каждому было выдано в дорогу по шесть банок консервов. По одной было уже съедено. Оставалось по пять на человека. Значит, всего тридцать штук.

— А ну, откупоривайте все банки! — приказал Столетов.— А вы, Пчелиев, Пьяных и Гулеватый, тем временем раскладывайте костры. Неподалеку один от другого. Шесть костров. Да побыстрей!

И пока Столетов, Ибрагимов и Дробитько вскрывали банки, Гулеватый, Пьяных и Пчелиев принялись таскать валежник, ломать ветки сосен, елок, можжевельника. Как ни непонятен был сейчас для них приказ командира, они должны были его выполнить, тем более что по тону, каким были отданы эти распоряжения, они поняли, что Столетов принял какое-то определенное решение.

Затем Столетов распорядился банки опростать, а их содержимое положить обратно в мешки.

— Погода прохладная, за день-другой мясо не испортится, а жестянки эти мы употребим по назначению. Вот увидишь, Свеча, все будет в порядке! — говорил он, ни на секунду не переставая работать.— Готовы ли костры?

— Готовы,— ответил за товарища Матвей Пьяных,— готовы! Все шесть, как приказали!

Работа теперь пошла удивительно быстро.

— Разжигай! — скомандовал Столетов. И в ту минуту, когда по сухим сучьям побежали быстрые голубенькие огоньки и сухая хвоя вспыхнула так, словно в костер были положены

палочки пороха, товарищи снова услышали отдаленный заливчатый лай.

Прислушавшись, можно было понять, что на этот раз лают несколько собак.

Около каждого костра Столетов небрежно бросил по пять пустых консервных банок и подозвал товарищей к себе поближе.

— Мы сейчас идем дальше,— сказал он.— Эсэсовцы дойдут до этих костров и непременно остановятся. Они подсчитают, что нас здесь было не меньше, чем шестьдесят человек. По полбанке на брата на завтрак. Ну, а их, наверное, не больше. Они вызовут подкрепление, подождут его. Значит, у нас будет выигрыш во времени. Но ненадолго. И вот, товарищ ефрейтор,— обратился он по-уставному к Дробитько,— я вам приказываю вместе с Пчелиевым и Гулеватым принять на себя все вражеское преследование. Задержать немцев, насколько это возможно. Вы идите через болото, оставляя приметные следы, прямо к деревне и там, около нее, примите бой и держите немцев до последнего патрона, до последнего вздоха. Мы же пойдем своим маршрутом и без следов...

— Так что, и шуметь теперь можно? — спросил Гулеватый.

— И даже побольше, только с толком!

— До последнего патрона...— произнес Дробитько.— Это, товарищ командир, значит: до предпоследнего. Так понимать можно?

— Точно!

— Понятно,— сказал Дробитько и обратился к Гулеватому: — Сегодня ты полностью весь список свой можешь отметить. Я так полагаю! — И он крепко обнял своего друга.

Через минуту у костров никого уже не было.

Столетов с Ибрагимовым и Пьяных шли вверх по самому руслу быстро текущего холодного ручья. Они не оставляли следов. Дробитько же с товарищами шли через болото к деревне не гуськом, а вразброд, и следы от их сапог наполнялись ржавой болотной водой, образуя три тропы.

4

— Вот что, товарищи,— сказал Тарас Дробитько, когда, одолев болото, разведчики подошли к околице опустошенной немцами деревни.— Как говорил Суворов: «Каждый воин должен понимать свой маневр». Так вот наш маневр: во что бы

то ни стало задержать эсэсовцев и принять на себя их удар, отвести им глаза, чтобы Столетов с товарищами выполнили задание, пусть хотя бы для этого нам придется помереть.

— Все ясно! — ответил Трофим Гулеватый.— Ежели на мою долю одиннадцать фрицев выпадет, то счет можно считать закрытым...

Дробитько поглядел на Пчелиева. Паренек молчал. Он знал, на что идет, и был уверен, что в трудную минуту будет биться не хуже других. Но как только он начинал думать о том, что завтра, может быть, его уже не будет на свете, ему становилось тоскливо. Он погибнет, и никто: ни товарищи, ни родные — брат, отец,— никогда не узнают о том, как он погиб. Мать... Ну, это, пожалуй, хорошо, что она не узнает. И он представлял себе заплаканное, бесконечно дорогое лицо, и тогда к глазам его тоже подступали слезы.

Мысли его прервал строгий и немного насмешливый басок великана Дробитько.

— Дзот грудью прикрыть — это геройство. И всем видать его,— сказал он.— У нас дело посложнее, нам не до геройства. Нам схитрить надо. А если уж погибать нам, так с громом, с музыкой, чтобы чертям тошно стало!

Разведчики вошли в пустую деревню, живописно раскинувшуюся у подножья высокой горы. Отсюда уже можно было разглядеть и позиции немецких зенитчиков, расположенные на склоне в полутора-двух километрах от деревни.

В это время взвод эсэсовцев подошел к догоревшим кострам.

Шедший впереди гитлеровец держал на поводке трех ищеек.

Немцы сосчитали костры. Им, как это и предвидел Столетов, бросились в глаза банки из-под консервов. Сам старший лейтенант Мюллер подсчитал блестевшие на солнце жестянки. Выходило много. Число костров тоже показывало, что русских здесь было не меньше, чем два взвода.

Мюллер произвел все подсчеты и, очень довольный собой, послал радиодепешу.

Он донес начальству, что русских партизан два взвода и для того, чтобы ударить по ним, необходимо подкрепление.

«Проверьте данные вашей разведки и еще раз подтвердите численность противника»,— ответили Мюллеру.

Старший лейтенант привык выполнять приказы беспрекословно, и все же он досадовал на начальство за это промед-

ление. Он знал, что только после вторичной проверки и нового донесения он сможет рассчитывать на подкрепление.

Однако русские очень скоро сами помогли Мюллеру в этом. Меньше чем через час он смог снова рапортовать начальству, что число врагов никак не меньше, чем было подсчитано раньше.

Тогда Мюллеру ответили, что в помощь ему на самолетах высылается рота. Переброска и сосредоточение ее должны окончиться к сумеркам, а к ночи партизанскую группу, засевшую в деревне, надлежало уничтожить.

Когда Дробитько с товарищами вошел в деревню, его поразила мертвая тишина, царившая на улице. Двери домов были распахнуты. Почти все вещи стояли в комнатах на своих местах нетронутыми. Видно было, что немцы собрали и вывезли население в полчаса.

Гулеватый нагнулся и поднял из дорожной грязи розовый шерстяной детский чулочек. Рядом валялась игрушечная корова. Друзья молча посмотрели и на чулок, и на игрушку, второпях оброненные ребенком.

Дробитько шел, озираясь по сторонам. Около каждого домика — у сарая или у изгороди — высились заготовленные на зиму поленницы сухих березовых дров.

Каждый раз, когда перед Тарасом возникало затруднение, он думал: «А что бы на моем месте делал Столетов?» И почти всегда он находил какой-нибудь выход. Так и сейчас он решил сразу, что сделал бы на его месте Сергей.

— Ребята,— сказал он,— вот каждому из вас я отведу по два дома. Пусть каждый в своих домах не медля растопит печи... И лучше сухими дровами. Пусть погуще повалит дым! Подальше будет видно. Понятно?

Товарищи его не напрасно назывались гвардейцами, не зря служили в дивизионной разведке, в первом отделении. Едва только Дробитько начал говорить, как они уже все поняли. А дрова, как нарочно, были сухие, с берестой. Хотя печи были сложены на незнакомый лад и надо было разгадывать назначение каждой вьюшки, растопить их все же не представляло особого труда. Однако Гулеватый, прежде чем растопить печь, напустил полную горницу дыма. Пчелиев, который лучше разбирался во вьюшках, пришел к нему на помощь, и вскоре из шести дымоходов прямо в безветренное небо повалили столбы сизого дыма.

И вот эти-то столбы дыма еще раз убедили Мюллера в его

правоте: занимать шесть изб могли, по меньшей мере, два взвода.

Когда все печи были растоплены и топки второй раз полностью загружены дровами, разведчики собрались около избы, в которой орудовал Дробитько. Он вышел на крыльцо, и они все присели на ступеньки закусить.

— Последний наш обед, друзья! — тихо сказал Пчелиев, но никто ему не ответил.

А в это время над болотом загудели самолеты, и сверху посыпались к стоянке отряда Мюллера черные точки, которые быстро увеличивались. Потом над этими точками вспыхивали купола парашютов.

С крыльца разведчикам видны были и самолеты, и повисшие в воздухе парашютисты.

Дробитько не отрываясь следил за самолетами.

«А вдруг это против Столетова?» — с тревогой подумал он.

И только тогда, когда два неприятельских самолета спикировали над самой деревней и прошли над улицей, простреливая ее своими пулеметами и сбросив две небольшие бомбы около домиков с топящимися печками, Дробитько вдруг повеселел.

— Против нас это, хлопцы, против нас все! — радостно прокричал он.— А Столетов знай себе идет да идет... Я говорил вам: погибать, так с музыкой! — И он от души рассмеялся.

Пока летали штурмовики, разведчики укрывались в сырой канаве. Теперь они вернулись к крыльцу, где оставалась их еда.

— Вот ты, Пчелиев, недавно школу кончил. Историю, стало быть, учил. А ну-ка, расскажи нам, какие военные хитрости наши предки применяли? Авось и нам на потребу это дело станет,— говорил Дробитько.

— У славян было много военных хитростей,— словно на уроке истории отвечал Пчелиев.— Например, когда их преследовал неприятель...

— Это, кажется, подходит нам,— насторожился Дробитько.

— ...когда их преследовал неприятель, они достигали какой-нибудь реки, ложились на дно и дышали через камышинки. Поджидали, пока враг перейдет реку, и тогда вставали со дна реки и с устрашающими криками ударяли по врагу с тыла.

— Ну, крик-то, конечно, мы можем, а остальное к нам сейчас не подходит,— серьезно сказал Дробитько.— Во-первых, вода у здешних речек очень прозрачная, не укроешься. Во-вторых, такая холодная, что и пяти минут не усидишь. Стало быть, нам надо придумать что-нибудь поновее.

И тут он хитро улыбнулся, снова посмотрел на костры, пылавшие на другой стороне болота, и вверх по склону, к огневым позициям зенитчиков.

«Ну, Сергей, на этот раз ты будешь доволен»,— подумал он, и тотчас же товарищи услышали, как он заговорил шепотом:

— Вот что, друзья,— говорил Дробитько.— Не обороняться мы будем, а нападать! Да, нападать. Как только немцы пойдут на нас со стороны болота, мы завяжем перестрелку, потом отскочим наверх и... откроем огонь по этим,— он указал на склон, на позиции зенитчиков.— Ну, а там уж, поверьте мне на слово, заварится каша, что сам черт ногу сломает. Пока фрицы эту кашу расхлебают, мы и выскочим из кольца. Понятно?

Это был чудесный план. Он давал возможность не только выполнить задание, но и спастись.

Наступали быстрые в горах сумерки, и надо было готовиться к близкому уже бою...

— Товарищи, давайте вот еще что сделаем,— сказал Пчелиев.

Он предложил разжечь в нескольких местах у деревенской околицы костры, как раскладывают карельские лесорубы: одно бревно укладывается на другое, и в промежутках засыпаются горящие угли. Такой костер горит без большого огня несколько часов и не требует за собой ухода.

— А в бревнах проделаем щели,— продолжал Пчелиев,— и заклиним в них патроны. Когда к ним подберется огонь, они начнут рваться. И получится вроде стрельбы со всех сторон. Вот тогда немцы начнут разворачиваться...

Так и сделали: соорудили по краю болота пять таких костров-ракотулетов.

Работа спорилась; тут же притащили и уголь из жарко натопленных печей.

Всё приготовили и залегли между мшистыми камнями у самой дороги, которая, огибая подножье горы, уходила влево.

Почти тотчас немцы пошли в наступление. Они пробирались через болото тремя колоннами.

Когда одна колонна была уже совсем близко, первый ра-

котулет встретил их пальбой, как бы очередями из нескольких автоматов. Немцы развернулись и залегли.

Огонь десяти ручных пулеметов сосредоточился на этом ракотулете. Но уже со всех сторон зазвучала стрельба. Это рвались патроны на других кострах.

Немцы прижались к земле и повели ответный огонь.

— Хороша музыка! — с удовлетворением отметил Дробитько.

— Да, здесь они израсходуют уйму свинца,— отвечал ему Пчелиев.

И тут Гулеватый вскочил вдруг на ноги и, размахнувшись, бросил в темноту одну за другой три гранаты.

У него было кошачье зрение.

Сразу же после взрывов в темноте послышались стоны и жалобные крики.

«Немцы, сущие немцы! — подумал Дробитько.— Орут, как подстреленные зайцы». Он посылал в темноту очередь за очередью. Оттуда неслись прерывистые разноцветные нити трассирующих пуль. Рядом, осыпая разведчиков поднятой землей, разорвалась мина.

— Теперь надо уходить, и поскорее,— подумал Дробитько вслух и окликнул Пчелиева и Гулеватого: — Айда!

Гулеватый еле слышно отозвался:

— Мне не уйти... Ноги перебиты! Уходите быстрее, я задержу вас!

И по тону его Дробитько понял, что споров быть не может. Вдвоем же выполнить задуманный план и еще унести товарища они с Пчелиевым не могли. Все же Дробитько нагнулся над раненым, пытаясь приподнять его.

— Идите скорее! — настойчиво сказал Гулеватый, сдерживая стон.— Идите. На, возьми, тебе завещаю,— вынул он из-за пазухи сверток и протянул Пчелиеву.

Товарищи простились с ним и быстро пошли вверх по дороге.

Гулеватый остался один, всматриваясь в темноту, прислушиваясь к неумолчному оглушающему стуку станковых и ручных пулеметов.

Немцы были уже совсем близко. Через минуту они ворвутся в деревню.

«Не мое дело теперь хитрить с ними,— подумал Гулеватый,— мое дело — бить! Как там Дробитько?» — подумал он о товарищах и прислушался.

Нет, выстрелов на горе не было.

Тут Гулеватый заметил немца так близко от себя, что казалось, можно было достать его рукой. Гулеватый выстрелил, и немец замер.

Рычажок автомата Трофима был переведен теперь на одиночные выстрелы. Через несколько секунд Гулеватый уложил второго немца. Теперь он снова начинал считать:

— Третий! Четвертый!

Цветистые нити трассирующих пуль сплетали над ним то и дело вспыхивающую и гаснущую сеть.

Совсем рядом звякнула о камень и с жалобным визгом отлетела пуля.

С каждой минутой немцы приближались, и их становилось все больше и больше. А вверху, на горе, было по-прежнему тихо.

Вот немецкие солдаты, перекликаясь, рванулись вперед. Они были уже в десяти шагах от камня, за которым лежал Гулеватый. Тогда он торопливо отложил автомат, превозмогая боль, приподнялся на одной руке и другой, что было силы, размахнулся и метнул гранату.

Взрыва он уже не услышал. Не услышал он и того, как в ту же минуту ударили наверху, вдалеке, очереди автоматов и затем раздались крики, застучали зенитки и сверху вниз застрочили пулеметы...

Немцы сверху били по своим.

5

Ночью в горах звук разносится очень далеко. И Столетов, дежуривший около товарищей, прилегших на часок отдохнуть, услышал отдаленные шумы ночного боя, который уже происходил в нескольких километрах от деревни.

Еле слышные, точно дальнее похрустывание сухого сучка, долетали сюда выстрелы автомата; звуки пулеметов были хорошо различимы.

А когда в дело ввязались орудия, проснулся Матвей Пьяных, а за ним и Ибрагимов.

Они молча прислушивались к далекому бою.

Это было просто удивительно, как сражались товарищи! Неужто против них пустили в дело даже артиллерию?

Столетов насчитал, что действуют четыре орудия.

А бой все длился и длился...

Столетов, Пьяных и Ибрагимов живо представили себе

оставленных товарищей, их лица, давно ставшие такими знакомыми и родными.

Через горы, болота и леса товарищи подавали весть о себе. Не прощальную ли?

— Твоя очередь отдыхать,— сказал Пьяных Столетову.— Ложись, я подежурю.

Но Столетов не стал отдыхать.

— Пошли! — скомандовал он.

И товарищи поднялись.

До цели им оставалось еще семнадцать километров. Через двадцать шесть часов, к рассвету, станция должна была перестать работать. Таков был приказ полковника.

Спускаясь по склону, разведчики шли гуськом. Камешки вырывались из-под ног и стремительно сбегали вниз, обгоняя бойцов.

Отзвуки отдаленного боя становились все глуше и глуше. Постепенно гул орудийных выстрелов смолк, пулеметная строчка незаметно сошла на нет, растворилась, заглохла в шумном дыхании идущих.

И когда все затихло, Столетов, не останавливаясь, сказал товарищам:

— Ежели после того, что они сделали для нас, мы задания не выполним, грош нам цена!

И Пьяных отозвался из темноты:

— Выполним, товарищ гвардии старший сержант!

Пошел дождь. Через час он перешел в ливень, но и под косыми, секущими лицо струями разведчики продолжали идти.

Они шли всю ночь и продолжали идти тогда, когда, разгоняя тучи утренним ветром, над горами узкой полоской снова заалел рассвет. Полоска эта становилась все шире и шире, а дождь шел все медленней и реже и постепенно растворился в горных туманах.

Мокрые, в отяжелевшей и топорщившейся от влаги одежде, они молча продолжали свой путь. Время от времени Столетов на ходу сверял направление со стрелкой компаса на руке.

Так наступил день.

Разведчики вышли к дороге, раскисшей от ночного ливня. Почти вдоль нее тянулась подвесная канатная дорога.

Устои ее — огромные козлы, связанные из многих телеграфных столбов,— высились в нескольких метрах от обочи-

ны; тяжелые толстые канаты, как огромные натянутые струны, бежали от устоя к устою почти над самой головой разведчиков.

Теперь на пути к станции осталось только одно препятствие — горная река. Через нее был переброшен легкий висячий мост, по которому, однако, спокойно мог проехать грузовик. Маленький, подобный игрушечному, домик лепился у самого берегового обрыва.

Минут двадцать издали разглядывали разведчики и мост и домик, из трубы которого вился полупрозрачный дымок, пока не убедились, что около моста нет часовых.

Тогда Столетов решил перейти на другой берег реки прямо по мосту: этим выигрывалось несколько часов, да и размытая дождем дорога окончательно сбила бы со следов ищеек, если они еще продолжали преследование.

— Я иду вместе с Ибрагимовым. Если все будет тихо, ты следуй за нами,— сказал Столетов Пьяных.— Если будет стрельба и мы не вернемся, значит, нам каюк. Тогда иди вверх по течению, перебирайся вброд и один выполняй приказ!..

Разведчики разделили взрывчатку на две равные части. Половину Столетов с Ибрагимовым взяли с собой. Вторая половина осталась у Пьяных.

Матвей Пьяных лежал на вершине склона. Оттуда ему было далеко видно и то, что делается впереди, у моста, и то, что делается позади, на извилистой горной дороге. Глядя вперед и волнуясь за каждый шаг товарищей, Матвей видел, как они беспрепятственно достигли моста, огляделись и пошли дальше. Вот они перешли мост и очутились у домика.

Дальше дорога шла по узкому ущелью. Почти отвесные стены вставали справа и слева, и в сторону с дороги нельзя было никуда сойти. Матвей Пьяных увидел, как отворилась дверь домика и на крылечке появилась крохотная фигурка.

«Девочка»,— подумал Пьяных, и на душе у него стало както уютнее.

Он обернулся и посмотрел вдаль по извилистой дороге. То, что он увидел, заставило его побледнеть. Он вскочил на ноги, быстро приладил за спину свой мешок и побежал вниз, к мосту, вслед за товарищами.

Он, спотыкаясь и падая, бежал, стремясь как можно скорее догнать друзей и рассказать им о том, что он увидел с горы.

А увидел он вот что: по дороге, одолевая крутой подъем, медленно ползли три грузовика. Они были километрах в че-

тырех от моста... Об этом надо было скорее предупредить товарищей, хотя сам Пьяных и не представлял, что же теперь можно сделать. Но прежде всего надо было предупредить.

Разговаривая со сторожем, вышедшим вслед за девочкой, Столетов заметил бегущего к мосту Пьяных. Он и сам уже был встревожен.

Старик сначала принял его и Ибрагимова за немецких солдат. Час назад, кое-как объяснил он, ему сообщили по телефону, что на пост направлена усиленная охрана. Видимо, опасались партизан.

Старик был явно смущен, придя к выводу, что именно партизаны находятся перед ним.

Встревоженный словами старика, Столетов, однако, не представлял себе, с какой быстротой надвигается гроза. И когда запыхавшийся Пьяных рассказал, что грузовики уже подымаются на последний перевал перед мостом, Сергей понял, что не пройдет и пяти минут, как они появятся здесь.

Столетов посмотрел вперед на дорогу. Она уходила больше чем на километр длинным коридором между высокими, обрывистыми скалами.

— Нет, мы не успеем пройти ее за несколько минут,— решил он.— Что же делать? Что делать? — спрашивал он себя, оглядываясь по сторонам.

Легкий, ажурный мост, переброшенный через неустанно ревущий поток, казался совсем хрупким. И вот сейчас по нему промчится на трех грузовиках в зеленых мундирах — смерть.

Надо ее остановить.

Пересохшими от волнения губами Сергей сказал:

— Мы его взорвем!

«Правильно! Мы ведь уже на этом берегу, и теперь до электростанции всего пять километров. Мы успеем сделать свое дело, а там уж будь что будет!» — подумал, еще тяжело дыша от бега, Пьяных.

Разведчики быстро скинули свои мешки.

Взрывчатку для взрыва моста решили взять из мешка Столетова. Свой мешок Пьяных пристроил на высоком камне, чтобы потом удобнее было вскинуть его на спину.

Не прошло и минуты, как Столетов принялся укреплять на мосту, почти на самой его середине, кубики тола.

Ибрагимов прикладывал к взрывчатке бикфордов шнур.

Старик с девочкой, ошеломленные быстротой, с какой неведомые люди взялись за дело, издали наблюдали за их работой.

Через минуту-другую — не успел еще Пьяных отдышаться — Столетов, подложив под поперечную балку взрывчатку, был уже на берегу.

Внимательно прислушавшись, можно было уловить, как фырчат, одолевая подъем, моторы грузовиков.

— Поджигай! — скомандовал Столетов.

— Есть! — отозвался Ибрагимов и поднес спичку к шнуру.

Голубенький огонек пополз по шнуру к взрывчатке.

Не сводя с него глаз, и Столетов, и Пьяных, и старик с внучкой следили за тем, как он ползет по шнуру.

И вот в ту минуту, когда явственно послышалось ворчанье моторов за ближайшим склоном, огонек этот остановился на одном месте, словно потоптался на нем, и погас.

Столетов взглянул на Ибрагимова и поймал его смущенный, растерянный взгляд. Оба сразу взглянули на то место, где только что светился огонек. Там его не было. И дальше тоже не бежал он. Погас...

Шнур, по-видимому, был сломан; на сгибе его и потух этот огонек.

Что же теперь делать?

Этот безмолвный и страшный вопрос прочитал в глазах Ибрагимова Столетов.

Ибрагимов снова потянулся к спичкам. Но уже показался радиатор выползающей машины.

— Действуй! — крикнул Столетов и сам схватился за гранату, висевшую у него на поясе.

И тогда Ибрагимов понял, что надо ему делать.

Зажигать шнур в том месте, где он погас, теперь уже было поздно. Вскочив на ноги, быстрой и ловкой походкой горца, то полушагом, то полубегом, Ибрагимов устремился к взрывчатке на мосту...

На ходу он рванул с пояса гранату, отшвырнул в сторону чугунную рубашку ее, сорвал предохранитель и, встряхнув гранату, вставил ее среди кубиков тола. Потом с быстротой, какая раньше ему показалась бы невозможной, он побежал по мосту обратно, туда, где ждали товарищи.

Все это произошло в считанные секунды.

Немецкий грузовик пошел вниз по склону и уже въезжал на мост. Наверху появился радиатор второй машины.

Ибрагимову осталось еще два-три шага до берега, и в это мгновение раздался взрыв.

Кверху полетели доски настила моста. Со свистом взвился вверх и затем повис, достигая пенящейся внизу воды, конец оборванного стального троса, державшего мост. И сразу же мост перекосился, словно стал на ребро. Второй трос остался невредимым, но повис. Доски шлепались в реку, поднимая фонтаны брызг.

Взрывная волна толкнула в спину Ибрагимова, он растянулся плашмя; ноги его были еще на досках моста, а туловище — в жидкой грязи дороги. Он был оглушен взрывом.

Пьяных бросился к товарищу и быстро оттащил его к прибрежным валунам. И поэтому только один Столетов видел, как немецкий грузовик, уже въехавший на мост, завилял, а затем по перекосившемуся настилу соскользнул в реку, на отшлифованные водою камни...

Но зато Столетов не видел того, что увидела девочка: взрывной волной сдвинуло с камня мешок Матвея Пьяных; потеряв равновесие, мешок покачнулся и упал вниз, в поток — туда же, куда рухнул немецкий грузовик.

Вторая машина затормозила на гребне, и мотор ее заглох. Внизу же, за холмом, еще рокотал мотор третьего автомобиля.

Все это произошло меньше чем в какую-нибудь минуту.

Не успели покинуть свои места немецкие солдаты на втором грузовике, не успели с третьей машины осведомиться у передних, что произошло, в чем задержка, как все отгрохотало и затихло.

А когда по гребню рассыпались немецкие солдаты, двигаясь к мосту, второй трос не выдержал чрезмерной нагрузки и тоже оборвался, со свистом взлетел вверх.

Мост рухнул, и теперь уже разведчиков отделяла от врага ущелистая ложбина реки.

Немцы сначала залегли, затем поднялись и столпились у обрыва.

«Уложу-ка нескольких одной очередью»,— подумал Столетов, но тут же решил, что не стоит выдавать себя и связываться боем.

Он пополз к соседнему камню, за которым теперь находились Пьяных и Ибрагимов.

Ибрагимов постепенно приходил в себя.

— Молодец! — сказал Столетов и пожал Ибрагимову руку.— Молодец! Теперь тебе до ста лет жить! Везучий ты!

Ибрагимов улыбался. Он хотел что-то сказать в ответ, но слова как-то не складывались и язык у него был словно из ваты.

— Ну, а теперь вперед! — сказал Сергей товарищам.

И только сейчас хватился Матвей Пьяных своего мешка. На камне его не было. Куда же он делся? Не остался ли около крыльца? Матвей ринулся к домику. Но и там мешка не было.

Девочка сразу поняла, что ищет этот человек, и показала на камень, а затем вниз, в стремнину потока.

В первую минуту Пьяных даже не осознал полностью, что значит эта потеря. Они отошли от моста метров на пятьсот, когда он стал докладывать Столетову о случившемся. И только в эту минуту, взглянув в лицо товарища, Матвей вдруг понял весь ужас их положения.

Они находятся здесь, в глубоком вражеском тылу, вблизи от электростанции — и без взрывчатки! Они достигли цели, но им нечем выполнить задание. Значит, весь свой страшный путь они проделали впустую; значит, и Дробитько, и Пчелиев, и Гулеватый рисковали собой напрасно.

Они стояли посреди прорубленной в ущелье дороги, в каком-нибудь полукилометре от немецких солдат, растерянные, не зная, что предпринять.

Потом пошли вперед, так и не придя ни к какому решению. Через два часа, когда солнце уже начинало склоняться, они подошли к электростанции.

Это было небольшое красивое строение на берегу озера.

Станция стояла на том месте, где из озера выбегала быстрая речка, прегражденная плотиной.

Тут же неподалеку, вверху, тянулись тросы канатной дороги, по ним катились груженые площадки, мерно и спокойно работала станция, гладко было стальное зеркало озера.

А разведчики сидели, укрывшись в кустах на берегу озера, теряясь в догадках, что же им предпринять, чтобы выполнить приказ полковника.

6

Перед рассветом должна была начаться артподготовка. И выполнит задание Столетов или нет, а дивизия должна была идти на прорыв.

Полковник вызвал начальника артиллерии, чтобы проверить еще раз график поддержки пехоты и все сигналы управления огнем.

Весь день он был очень занят, но при всей озабоченности его не покидала мысль о Столетове. И теперь, отпустив начальника артиллерии и оставшись один, он снова подумал о том, где сейчас Столетов со своей группой. Сделают ли они свое дело? Уцелеют ли?

Уже вечерело. Это был тот самый час, когда Столетов с Ибрагимовым и Пьяных достигли электростанции и расположились на берегу озера.

Полковник стал выколачивать пепел из трубки, потом поискал спички.

— Ежели они не выполнят, то сомневаюсь, чтобы кто-нибудь в дивизии смог выполнить,— сказал Строев и встал, прислушиваясь.

Двери землянки растворились, и вместе с командиром разведвзвода в помещение вошел Пчелиев. Он был без пилотки, волосы его были растрепаны, одежда изодрана. И то, что из всего отделения он был один, и именно он, а не Столетов, заставило вздрогнуть комдива.

— Что со Столетовым? — быстро спросил Строев.

— Не знаю, товарищ гвардии полковник. Мы с ним расстались вчера утром, по его приказу, — отрывисто отвечал Пчелиев.— Он с Ибрагимовым и Пьяных пошел вперед, а мы с Дробитько и Гулеватым приняли удар, чтобы задержать врага. Дрались в деревне.

— Так что, тебе неизвестно, добрался Столетов до цели или нет?

— Да, товарищ гвардии полковник, неизвестно...

— А ваши товарищи?

— Я полагаю, Гулеватый погиб. А вот где Дробитько, не знаю. Я думал, что он будет здесь раньше, чем я.

И Пчелиев взволнованно, торопясь, пропуская слова и повторяясь, рассказал, как, действуя по плану Дробитько, они выбежали из селения в ночной темноте и устремились прямо к огневым позициям немецких зенитчиков, обстреляли эти позиции из автоматов и бросили в немцев по две гранаты каждый.

— Немцы всполошились,— рассказывал Пчелиев,— прозвучала боевая тревога. Они открыли вниз по склону огонь из пулеметов, винтовок и даже орудий. А оттуда, преследуя нас, продвигались немецкие каратели; на них-то и обрушился огонь

зенитчиков. Началась перепалка. Они друг друга колотили. В суматохе мы и ушли, да только в темноте растерялись.

Прежде чем в деревне все утихло, Пчелиев успел пройти немалую часть пути.

— Хорошо, хорошо,— одобрительно заметил полковник, слушая молодого разведчика.

К ночи явился и Дробитько. Он был ранен и сильно ослабел от потери крови. Пчелиев повидался с ним перед его отправкой в госпиталь.

— Дядя Тарас, я и за тебя здесь отметинку сделаю,— сказал он при расставании, достав тетрадь, полученную от Гулеватого.— Мне завещал Гулеватый довести его счет до конца. Может быть, нынче ночью он и сам все исполнил...

Пчелиев проводил санитарную повозку по редкому леску до того места, где дорога уходила в открытое поле.

7

— Если бы у нас и была взрывчатка,— сказал, вздыхая, Пьяных,— то я бы не стал взрывать станцию. Пригодится нам. Вот плотина — это дело другое. Плотину около подъемного щита взорвать — это в самый раз. Станция сразу же с катушек долой! А хлопот с ремонтом, когда придут наши, только на неделю.

— Весь вопрос в том, где эту самую взрывчатку теперь достать,— в раздумье сказал Ибрагимов и поглядел на Столетова.

Столетов не ответил. Ему было стыдно сознаться в своей беспомощности, но время шло, а выхода он все же не находил.

Вот уже час, как они сидели в кустах на берегу озера и наблюдали за плотиной, по которой взад и вперед, словно маятник, ходит немецкий часовой.

Наступали сумерки, а разведчики все еще не знали, на что решиться. О том, чтобы вернуться, ничего не сделав, не могло быть и речи, но что надо предпринять, тоже не знали.

Погрузившись в думу, Столетов машинально следил, как по канату подвесной дороги катилась площадка с грузом. Он проводил ее взглядом, пока она не скрылась за скалистыми холмами. И вдруг улыбнулся.

«Есть! — облегченно вздохнул Ибрагимов, не сводивший с командира глаз.— Теперь все в порядке!»

Но он не решился спросить сразу, что же надумал Столетов.

— Другого выхода нет,— вслух произнес Сергей,— иначе в глаза товарищам нельзя будет смотреть!

Тут к нему обернулся и Матвей Пьяных.

— Говори! — нетерпеливо попросил он.

— Посмотрите! — кивнул Столетов на пробегающую по канату груженую площадку.

Разведчики поглядели туда, куда указал Столетов.

— Ну, ну? — с недоумением спрашивали они.

— Разве вы ни о чем не догадываетесь сами?

Бойцы молчали.

— Говори! — еще раз попросил Пьяных.

— Дело может выгореть! — уже увлекаясь своим планом, заговорил Столетов.— Только надо подождать, пока совсем стемнеет. А то дорогу эту за десять верст разглядеть можно.

И, видя, что товарищи по-прежнему ни о чем не догадываются, он спросил:

— Что там, по-вашему, на этих площадках перевозят?

— Ну, боеприпасы...

— Значит, и взрывчатку?

— Значит, и взрывчатку.

— А не попытаться ли нам достать немецкую взрывчатку, если своей лишились?

— Можно!

— Нужно! Но это можно будет сделать только в темноте...

— А если там не будет взрывчатки?

— Ну, тогда...

Впрочем, Столетов и сам не знал, что тогда можно будет сделать, но он верил в удачу.

Он уже распоряжался.

— Ты, Пьяных,— говорил он сибиряку,— остаешься здесь и точно выясняешь, через сколько времени сменяется караульный на плотине. Сам понимаешь, для чего это. Ну, заодно приглядишься, где поудобнее разрушить плотину. А я с Ибрагимовым попытаю счастья на подвесной дороге.

И Пьяных остался на берегу озера, а Столетов с Ибрагимовым отправились к подвесной дороге.

Наступившая вечерняя темнота позволила им незамеченными подобраться к деревянным устоям подвесной дороги, а Матвею Пьяных — подползти поближе к плотине.

Теперь часовой только пяти шагов не доходил до того места, где лежал среди кочек и кустов Матвей; тот с напряженным вниманием следил за часовым, проклиная свою утреннюю неудачу с мешком.

Плотина, за которой он наблюдал, чем-то действительно напоминала плотину в родном колхозе.

Куда бы приладиться и положить взрывчатку?

Как раз в то время, когда Пьяных подползал к плотине, Столетов с Ибрагимовым подошли к огромным бревенчатым козлам-устоям, на поперечной перекладине которых на высоте двенадцати метров были подвешены канаты.

«Здесь я влезу, а сбрасывать буду у следующих устоев»,— решил Столетов.

Соседние устои-козлы находились метрах в двухстах от первых.

— Там ты меня и будешь ждать... Иди! — сказал он Ибрагимову.

Для того чтобы достигнуть следующего устоя, Ибрагимову надо было пройти каменистый пригорок, спуститься вниз в ущелье, на дне которого журчал холодный ручеек, и снова подняться на склон.

Когда Ибрагимов исчез, растворился в ночном сумраке, Столетов попытался влезть наверх, к канатам. Это оказалось не так легко, как он сначала предполагал.

Очищенные от коры бревна, многократно омытые дождями, были скользкими, и выше, чем на три метра, Сергей никак не мог взобраться.

Он скользил вниз, царапая руки до крови, раздирая свой ватник. К тому же сказывалась и усталость.

После двух неудачных попыток подняться по этим покато поставленным бревнам Сергей понял, что плетью обуха не перешибешь, и, вытащив из ножен финский нож, стал вырезать в бревнах зарубки. Ставя на них сапог, он получал точку опоры и мог карабкаться вверх.

Щепки откалывались острым ножом без особого труда, но все же для того, чтобы взобраться на высоту двенадцати метров, Сергею понадобилось больше полутора часов.

Стирая со лба пот, он сидел верхом на перекладине этих гигантских козел. Отсюда сквозь ночной мрак он не видел каменистой земли, распростертой внизу. Но зато канаты, по которым с минуты на минуту могла пройти маленькая грузовая площадка, он мог различить. Сидя верхом на бревне, он подумал о том, что Ибрагимов дошел, наверно, уже до соседних устоев и теперь беспокоится о нем. Он подумал и о Пьяных, который теперь лежит один у плотины и наблюдает. И он почувствовал такую любовь и такое уважение к этим людям, что не мог тут же не сказать сам себе об этом.

— Эх, братки, родные мои братки! — прошептал он и ловко прыгнул вниз, на проходившую в то время под перекладиной площадку с грузом.

И сразу же перекладина, на которой он только что стоял, оторвалась и поплыла назад во тьму и исчезла. Столетову же показалось, что он сам плывет куда-то по воздуху на этой площадке. Перил на площадке не было. Один неверный шаг, и Столетов мог бы рухнуть вниз, на камни. Впрочем, о грозившей ему опасности он подумал много позднее. В ту же минуту он знал, что должен действовать возможно быстрее, а чтобы дойти до следующей фермы, у которой ждет его Ибрагимов, в его распоряжении не больше пяти минут.

И Столетов стал обшаривать руками груз площадки. Это были аккуратно уложенные деревянные ящики. К счастью, они были с кожаными застежками. Быстро вспарывая одну застежку за другой, Столетов находил в каждом ящике только патроны. Ружейные и автоматные патроны — больше ничего.

Он продолжал судорожно работать, но и в других ящиках были только патроны и патроны. Какая жалость!

Площадка приближалась к следующим козлам. Вот уже перекладина над головой. Столетов обеими руками ухватился за нее и повис в воздухе.

Площадка, качнувшись, ушла из-под ног.

Столетов спустился по бревнам вниз. Там его встретил встревоженный Ибрагимов.

— Почему так долго? Я пять площадок пропустил — думал, ты едешь. Нет тебя! Я очень боялся, что ты упал на камни.

— Потом расскажу все,— отвечал Столетов.

Надо было немедля идти обратно и повторить рискованную попытку.

Минут двадцать потребовалось ему, чтобы пройти двести метров, отделяющих первые устои от вторых. Зато теперь по готовым зарубкам на бревнах он добрался до перекладины всего в несколько минут.

И так же, как в первый раз, он прыгнул на идущую мимо площадку. И так же плыл он над скалами на канатном пути, и так же ему не повезло.

Только на этот раз в ящиках были не патроны, а снаряды и мины...

— Ничего не поделаешь, придется идти в третий раз,— сказал он поджидавшему его внизу Ибрагимову.

— Скоро три часа ночи, товарищ старший сержант,— напомнил Ибрагимов.

И вдруг оба они вздрогнули. От озера донесся гулкий винтовочный выстрел. Один.

Они подождали.

Второго выстрела не было. Что это могло означать? Не обнаружен ли Пьяных? Не погиб ли он?

Но все вокруг было по-прежнему тихо.

Столетов снова исчез в ночной темноте.

Когда он третий раз спрыгнул на площадку, он был уже близок к отчаянию. На этот раз в ящиках были не патроны и не снаряды, а какие-то продолговатые пакеты, завернутые в шелковую ткань.

Что это было, Столетов в темноте не мог разобрать. В этих шелковистых мешках лежали узкие, длинные пластинки и круглые палочки, напоминающие огромные макароны.

— Что за чертовщина! — выругался Столетов и продолжал лихорадочно обшаривать ящики один за другим, пока наконец пальцы его не нащупали в одном из них маленькие целлулоидные пакетики. В то же мгновение Сергей понял, что находилось в шелковых мешках. Порох дополнительных зарядов для артиллерийских снарядов! На худой конец, это могло пригодиться.

Столетов перерезал ножом одну за другой веревки, прикреплявшие ящики к площадке. Приближались устои следующей фермы.

Столетов подтолкнул ящики к краю площадки, и она, накренившись, пошла немного медленнее. Тихонько свистнул, и Ибрагимов отозвался внизу на условный сигнал.

И тогда Столетов спихнул вниз ящик с порохом. За первым ящиком полетел второй... Столетов сдвинул с места и столкнул в темноту третий и сам, потеряв на мгновение равновесие, чуть было не упал вместе с ним, но успел ухватиться рукой за канат и удержался. Однако перекладина, за которую он должен был ухватиться, чтобы сойти с площадки, в это мгновение проплыла над ним, и теперь Столетову ничего не оставалось делать, как впустую прокатиться следующие двести метров.

Он плыл в ночной темноте высоко в воздухе и, как ни старался, не мог припомнить, над чем проходит этот перегон. Над ущельем ли, над склоном, или над поросшим редкой елью болотом?

Теперь Сергей уже не пропустил приблизившуюся перекладину. Он обнял ее обеими руками и, подтянувшись, сел на нее верхом. Затем стал осторожно спускаться на землю. Заноза глубоко вонзилась ему в ладонь.

Очутившись на земле, он попытался вытащить занозу, но второпях обломал ее конец. И, больше уже не теряя времени, побежал обратно к тому месту, где его ждал Ибрагимов и где находились сброшенные ящики.

К счастью, этот пролет дороги проходил над ровным склоном, и никаких препятствий, кроме небольших камней, Сергей не встретил.

Ибрагимов за это время успел подтащить ящики один к другому. Они были сделаны добротно. Ни один не разбился при падении. Но, раскрыв их, Ибрагимов был удивлен.

При свете звезд блестели белые длинные и узкие шелковые мешочки. Что это в них за пластинки и круглые палочки, Ибрагимов не понимал. Во всяком случае, это не был нужный для дела тол.

«Столетов знает, что делает»,—решил Ибрагимов и продолжал ворочать тяжелые ящики, стаскивая их в одно место.

Когда Столетов очутился возле него, Ибрагимов спросил, что это за пластинки и палочки.

— Вот что это такое! — ответил Сергей.

Он отломил маленький кусочек пластинки и, зайдя за скалу, спичкой зажег его. Кусочек пластинки вспыхнул со свистом и в одно мгновение сгорел ярким пламенем.

— Порох это! Хуже, чем тол, да ничего!

Распарывая шелковые мешочки, они набили свои вещевые мешки порохом. Потом, взвалив мешки за спину, осторожно направились к озеру, к тому месту, где их должен был ждать Матвей Пьяных.

Однако не все случается, как намечаешь, не всегда жизнь и дела идут по расписанию. Короче говоря, Пьяных на условленном месте не оказалось.

Они легли на землю и, оглядываясь, стали ждать. Может быть, он где-нибудь здесь поблизости и сейчас даст о себе знать. Но нет, его не было. Может быть, он попался и сейчас пойманный стоит перед фашистским офицером. Нет, он не мог так бесследно пропасть. В этом Столетов был убежден. Не такой Пьяных человек, чтобы, погибая, не выстрелить, не закричать — не подать какой-нибудь сигнал товарищам.

Нет, Матвей просто так не сгинул бы. И выстрел, который Столетов слышал, был винтовочный. Но Пьяных все-таки нет

на месте! Где же он мог быть? А часовой? На плотине не было и часового...

Не веря своим глазам, Столетов стал всматриваться в предрассветную темноту. В самом деле, часового на плотине не было. На другом берегу, около здания электростанции, вероятно, были другие часовые, но здесь, на плотине, никого не было.

«Не подвох ли это?» — подумал Сергей.

Но вокруг было совсем тихо, если не считать какого-то странного шороха.

Столетов и Ибрагимов прислушались.

Ибрагимов вопросительно взглянул на старшего сержанта, но Сергей еще ничего не мог объяснить своему подчиненному. Дольше ждать было нельзя. До назначенного полковником срока оставалось всего минут сорок, не больше.

— Я поползу вперед, разведаю плотину,— прошептал Столетов,— а ты оставайся здесь с мешками...

Прижимаясь всем телом к земле, он пополз по самому верху узкой и невысокой плотины.

Облака бежали по небу, и звезды выплывали из-за них и снова ныряли в полупрозрачные облачные пряди. Месяц висел где-то у самой вершины кряжа: казалось, что одним рогом он зацепился за скалу. Предрассветный ветер рябил гладкую поверхность озера.

Столетов чуть не натолкнулся на тело, лежавшеее поперек плотины, и осмотрел его. Это был немецкий солдат. Часовой.

Отблеск месяца сверкнул на плоском штыке валявшейся рядом винтовки.

А где же Пьяных? А вот он и сам: мокрый, дрожащий от холода, он лежит на животе и, свешиваясь вниз по откосу плотины, орудует своей шанцевой лопаткой, отбрасывая наверх землю, около него уже выросла небольшая кучка земли, и он снова свешивается и действует лопаткой.

Столетов подполз к нему.

— Где ты намок? — спросил он Матвея.

— Вместе со вторым часовым упал в воду,— не отрываясь от работы, ответил Пьяных.— И там, в воде, доконал его... Даже крикнуть ему не дал. А первого я финкой полоснул... Второй — на меня. Обнялись, и — вместе в воду.

— Как второй? Откуда?

— Двух поставили!.. Скорее давай тол, времени осталось до смены полчаса...

— Тола нет! — мрачно ответил Столетов.

Матвей перестал скрести землю.

— А я уже и место для заряда подготовил! Я думал, ты достанешь! — сказал он и безнадежно махнул рукой.

— Я и достал, только порох. Тола у нас два кусочка по двести граммов в моем мешке оставалось, пороха пудов пять да восемь ручных гранат. Вот я и думаю: забьем сюда, в твою ямку, и запалим!

Пьяных задумался. «Может быть, и можно так сделать. Может быть, и выйдет!..»

— А детонаторы где? — спросил он.

— Помнишь утренний детонатор Ибрагимова?

«Конечно, можно попробовать гранату как детонатор. Только на месте Ибрагимова будет теперь он сам, Матвей Пьяных, потому что по его оплошности потеряна взрывчатка, и нельзя же испытывать счастье дважды, нельзя рассчитывать, что и в этот раз человек, который поставит гранату, останется жив»,— думал Матвей.

И он еще яростнее принялся копать землю.

Так думал Матвей, но не так предполагал провести дело Столетов. Он пополз за Ибрагимовым; не прошло и десяти минут, как они оба были уже на месте, около Пьяных, с тяжелыми мешками, груженными порохом.

Они принялись копать. Земля была сырая и легко поддавалась их усилиям. Они вырыли нору в виде буквы «Т», в тупик норы заложили весь порох и две шашки тола.

— Как же мне гранату класть? Не достать ведь? — сказал Пьяных.

— Эх ты, непонятливый! — с укоризной сказал ему в ответ Столетов.— Вот гранаты на взводе. Мы положим их туда, внутрь, среди пороха. Надо будет только выдернуть чеку, проволоку — и бах! У нас в распоряжении штук семь мешочков из-под пороха, да лямки от заплечных мешков, да поясные ремни... Свяжем их, и метров за пятнадцать можно будет дернуть, да там еще за три-четыре секунды метров за двадцать отбежать. Почти что безопасно!

И они начали плести этот шнур, связывая вместе ремни да матерчатые полоски от рюкзаков и мешочков из-под пороха.

Сердце у Пьяных билось учащенно. Он испытывал восторг, будто к нему после тяжелой болезни возвращалась жизнь.

— Брось стучать зубами! — приказал Столетов.

А Пьяных, продрогший в мокрой одежде, даже и не замечал, что у него стучат зубы. Но и после приказания Столетова он не смог удержать дрожь.

Теперь все было готово. Только вот тоненькие предохранительные проволочки гранат, которые надо было выдернуть, чтобы получился взрыв, нельзя было подцепить ни матерчатым, ни ременным концом шнура.

— Тут дело тонкое, тут нитки нужны, а где их достанешь? — сказал Ибрагимов.

«Неужели из-за такого пустяка все сорвется?» — подумал Столетов, больше придумывать у него не хватало энергии. Да и времени уже не было...

— Через восемь минут... — сказал, взглянув на часы, Пьяных и вздохнул. И вдруг он широко улыбнулся.— Товарищи,— сказал он,— мой Митька нас выручит! — И тотчас полез в карман гимнастерки и достал оттуда свои бережно хранимые ниточки: три мерки с сына.

В последнюю дырочку пояса вдели эти нитки. Другие концы их были привязаны к проволочкам на гранатах. На всех трех гранатах — для большей надежности!

Заряд был готов, и шнур метров в двенадцать длиной протянулся от него.

— Я сам буду дергать! — сказал Столетов.— Ты, Пьяных, и ты, Ибрагимов, бегите подальше. Ну!

— Это мое дело дергать,— отвечал Пьяных.

— Я бы с удовольствием уступил тебе, да посмотри: у тебя руки дрожат, сорвешь нитки...

— Сейчас будет выстрел! — Это у немцев сигнал к смене караулов,— сказал Пьяных Ибрагимову, когда они, отбежав метров пятьдесят, прильнули к земле за высокими валунами.

— Хорошие у тебя часы, воды не боятся,— молвил, взглянув на руку товарища, Ибрагимов и высунулся, чтобы посмотреть, что делает Столетов.

Но в это мгновение около электростанции раздался гулкий выстрел, раскатился над озером, отозвался в горах. И сразу же, не успело замереть эхо, огромной силы взрыв потряс окрестность.

Даже Ибрагимов и Пьяных были оглушены. Но сразу же после взрыва они, пригибаясь, побежали к плотине, к озеру, где остался Столетов. Он быстро шел им навстречу. Лицо его было в ссадинах, из носу текла кровь, словно он только что с кем-то подрался,— так его исколотило камнями.

— Плотина разрушена! Станция не будет работать! — сказал он, пошатываясь.— Мы свое взяли!

— Теперь и помереть можно,— отозвался Ибрагимов.

— Ну нет, теперь нам жить и жить! — ответил Столетов.

И хотя ему казалось, что говорит он очень громко, на самом деле его слова были еле слышны.— Ну, Матвей,— продолжал Столетов,— молодец твой Митька, пошли от меня ему привет!

Больше у Сергея не было сил идти.

— Приляжем, отдохнем часок! — сказал он и растянулся на земле.

Нет, никогда он не думал, что человек может так устать... Он лежал на земле, глядел на бегущие по небу быстрые облака, на занимающуюся над горами розовую полоску зари и всем своим существом ощущал счастье: они выполнили задание.

И в эту минуту ветер донес дальний гул начавшейся артиллерийской подготовки. Сначала неуверенный и отдаленный, он все усиливался, ширился, нарастал.

— Началось,— сказал Ибрагимов.

— Началось,— подтвердил, выжимая рубаху, Пьяных.— Наши двинулись.

О том, чтобы возвращаться по главной дороге, не могло быть и речи. Вся она была забита немецкими повозками, машинами, вереницами раненых, нестройными толпами солдат. Видно было, что враг поспешно отступает. Над дорогой действовала наша авиация — штурмовики и легкие бомбардировщики. Немецкие солдаты то и дело разбегались по сторонам, бросая свои повозки и машины.

Можно было бы остаться здесь, вблизи станции, и подождать подхода своих. Но неизвестно было, завтра или через несколько дней они сюда подойдут.

И разведчики направились по той дороге, по которой пришли к станции: мост был взорван, и поэтому большого движения здесь не могло быть.

Перед вечером они поднялись на вершину горы, у подножья которой, на краю болота, раскинулась деревня. Неведомо чем кончился бой, который приняли здесь Дробитько и его товарищи.

Сейчас вся деревня была объята пожаром. Огромными кострами пылали дома, и над языками огня вставали тяжелые и удушливые клубы дыма. Горели штабеля сена.

— Жгут, изверги! — выругался Пьяных.

Разведчики стали спускаться вниз, к пылающей деревне. И вдруг в стороне от тропы услышали приглушенный разговор. Они замерли. Надо было разобрать, на каком языке говорят.

— Не может быть! — прошептал Столетов и сошел с тропы. Вслед за ним сошли Ибрагимов и Пьяных.

— Я слышу голос Пчелиева,— шепнул Пьяных Ибрагимову.

Да, это был он и с ним незнакомый боец и девушка-медсестра.

Столетов выступил из-за прикрытия.

— Товарищ старший сержант! — изумленно и обрадованно воскликнул Пчелиев.— Вы живы?!

— Живы и с победой, дружище. Как у вас-то?

— Что же, дрались как смогли. Я... сами видите. Дробитько в госпитале. А Гулеватый... Пришли вот, на случай проверить, полковник послал. Да только не отыскали уже Трофима — все вокруг разметало. Вот пилотку свою нашел.— Пчелиев смущенно показал изрешеченную пулями пилотку, оставленную во время ночного боя на валуне.— Наши идут левее,— заметил он.

И все вместе они направились навстречу своим, узнавая друг от друга обо всем, что произошло за эти трое суток.

1944

ПО ДОРОГЕ В СЕГЕЖУ

1

И вот Люба ушла из его жизни. А он? Он по-прежнему живет, ходит, говорит. Хотя нет, не по-прежнему. Иван Петрович сам чувствовал, что теперь он стал совсем другим. Если ее нет на свете, то и ему незачем жить. Ведь когда он возвращался с товарищами на базу после удачной операции, он всю дорогу мечтал о том, как Люба встретит его, как улыбнется, как будет счастлива, что он остался в живых. Иван Петрович хорошо представлял себе и как командир Васильковский улыбнется, пожмет ему руку и скажет тихо:

— Благодарю тебя, Иван Петрович, и поздравляю...

Но не об этом думал он, когда, возвращаясь с задания, пробирался по болотному ельнику к базе. Нет, он закрывал глаза и видел, как Люба подходит к нему, берет за руку, как рыжеватые ее волосы отливают светом солнца. И от приветливого взгляда ее глубоких голубых, немного косо поставленных глаз сердце летит куда-то вниз, как при быстром спуске на само-

лете. Он знал, что многим его чувство к Любе кажется таким, какое пристало разве что юноше, но уж никак не зрелому мужчине. Но и еще он знал, что никого никогда так не любил, как ее, эту веселую, смешливую девятнадцатилетнюю женщину.

Весной, в год, когда началась война, он приехал с Мурмана домой, навестить больную мать, и увидел Любу. Напевая песенку, она шла по деревенской улице и прутиком сбивала растущую у канавы высокую крапиву. Иван Петрович не мог бы точно рассказать о своем впечатлении от этой встречи, но, глядя на ее улыбающееся лицо, на голубые глаза, любуясь легкой плывущей походкой и слушая песенку, в которой не было ничего особенного, он почувствовал вдруг, что вся его жизнь должна как-то перемениться, что на Мурман он без нее не уедет.

— Послушай, что ты делаешь,— говорила ему мать,— ведь Любе-то девятнадцать, а она уже с мужем разошлась. Какая это будет тебе жена? Послушай,— говорила она еще,— ведь я давно хочу, чтобы ты женился,— у меня здесь на примете одна хорошая девушка... Тебе ведь уже тридцать лет.

Но мало ли что говорит мать!

А Люба! Она была рядом, наполняла молодостью своей, радовала веселой улыбкой, бойким разговором и взглядом, то дерзким, то ласковым. Непривычное внимание к нему, интерес к его работе на рыболовецкой шхуне — как все это его трогало!

Люба лишь на днях приехала из Ленинграда, где окончила педагогический техникум, в родную деревню. Изба ее родителей была неподалеку от избы его отца. Смутно припоминал он, как мальчишкой играл с другими ребятами в рюхи, в городки и какая-то соседская девочка выползала на самую середину улицы и мешала им. Когда ее на руках уносили прочь, она капризничала и ревмя ревела. Как странно представить себе, что это и была Люба.

И вот теперь она неотступно вошла в его жизнь.

«Если ее не будет у меня,— думал он,— мне ничего не надо, ничего не мило, а как только я подумаю, что она со мной, что она моя, вся жизнь становится интересной, и работа, и лов рыбы, и даже, может быть, счетоводство».

Дело в том, что, окончив в свое время курсы счетоводов, Иван Петрович все же счетоводом не стал. Ему казалось, что это служба для хилых, тщедушных людей, что сидеть в комнатушке ему — широкоплечему, рослому парню — стыдно. И к

тому же — море. Он стал рыбаком на Мурмане и теперь был уже помощником капитана большого рыболовецкого бота.

За месяц до начала войны он женился на Любе. И только Иван Петрович после медового месяца собрался к себе на Мурман, как началась война. Он остался воевать в родных местах, куда скоро дохлестнула волна внезапного, как при размыве плотины, вражеского наступления. Люба не захотела эвакуироваться в тыл. Они вместе пошли в партизаны, вместе исходили сотни километров по болоту. Вместе на плотах переправлялись через озера, погибали от голода, а потом спасались, вместе лежали, прижавшись ко мху, и слышали, как трассирующие пули шелушат кору на стволах сосен. Вместе мерзли на снегу, когда у Любы сломалась лыжа, вместе спали на теплых угольях еще не остывшего пожарища. Легкий снежок припорашивал этот теплый уголь, с шипением таял и испарялся,— а они спали, радуясь теплу после двухнедельного скитания по лесу без костров, без огня, без спичек. Вместе они подрывали мосты, полотно железной дороги. И с каждым днем становилась ему она дороже и роднее. Ее боль была ему больнее, чем своя, и горше. И вот теперь ему довелось стоять над ее уже почти безжизненным телом, смотреть на совершенно белое лицо, на рыжеватые волосы такого же цвета, как и песок, который струйками стекал по стенам землянки. Рядом и немного поодаль стояли товарищи, они не хотели даже разговаривать с ним, сторонились его и молчали. И только одна Мария громко всхлипывала. Она не плакала так, даже когда мина оторвала ступню Илье Кузнецову.

В соснах шумел ветер, срывался вниз с пригорка, и холодно было на душе Ивана Петровича, оставлявшего в песчаной землянке, вырытой за этим холмом под корнями высоких сосен на берегу лесного озера, самое дорогое, что было когда-нибудь у него. Люба! Любашенька! Как она поглядела на него! Как повернулась! Как застонала! Боже ты мой! И вот он один теперь, и нет ее. И товарищи смотрят на него безжалостными глазами. Командир отряда дает Марии пакет и говорит:

— Здесь все точно описано. Сдай на руки. Ты будешь старшая в группе. Смотри только донеси до Сегежи в целости. Кстати, передай Наташе записочку мою. Расскажи ей про нашу жизнь. Ну не все, конечно. Да ты сама знаешь. И, между прочим, скажи, что здесь мы обнаружили признаки ценных железорудных месторождений. А насчет того, что решат с Иваном, пусть нам сюда дадут знать! Желаю тебе удачи.

И вот они в это ясное предосеннее утро выстраиваются

около носилок, на которых лежит Илья Ильич, все четверо: Леша Коровин, заросший бородатый Лангуев, Федор Кутасов — разноглазый, и он, Иван Петрович.

Нет, не подошел к нему командир, не пожал на прощанье руки, ничего не сказал. И только Мария скомандовала:

— Ну, счастливо!

И тогда они вчетвером подняли легкие носилки и пошли вниз по склону холма, затем по песчаному берегу озера.

Шли молча, каждый думал о своем. Потом берег стал вязким. И только когда озеро, закругляясь, начало уходить от них, Иван Петрович обернулся и поглядел на холм, на котором высилось несколько сосен: между их корнями, в сухой песчаной землянке, осталась та, которую он любил больше всего на свете,— Люба.

Солнечный луч пробивался между облаками и дробился в легкой зыби сизого озера.

— А харчей нам на сто километров определенно не хватит! — сказал Трофим Лангуев.

— Ну, по дороге в лавочке прикупим! — отозвался с носилок Илья Ильич.— Что ж, придется прикупить,— повторил он.

Иван Петрович поймал взгляд, который бросила на раненого Мария. Он прочитал в нем и заботу, и тревогу, и то же чувство, какое еще недавно видел во взгляде Любы, обращенном к нему. А теперь... Нет, есть мера человеческих сил! И никто в отряде не мог понять того, что он сейчас чувствовал, никто не хотел понять. Все сразу стали чужими, холодными, враждебными. Даже в глазах Федора Кутасова — свояка — он читал жестокое осуждение.

2

Легкие носилки уже давно стали очень тяжелыми. Люди шли по валежнику, хрустящему под ногами, с каждым шагом идти было все тяжелее и тяжелее. Две палки, плащ-палатка, и на ней сухощавый, легкий Илья Ильич... А вот поди ж ты — плечи начали ныть от ноши.

Впереди, раздвигая кусты можжевельника, отстраняя хвойные ветки, чтобы не били по лицу идущих сзади, шла Мария, двадцатипятилетняя женщина в мужских шароварах, линялом свитере и красноармейской пилотке. На широкой ее спине висел небольшой рюкзак. Что там было? По две-три сушеных трески на человека и два десятка сухарей. Вот и все. Она шла спокойно, почти не оборачиваясь, лесным чутьем ощущая, как идут за ней четыре человека с носилками. Иногда она оста-

навливалась, поджидая, пока подойдут поближе. И тогда, поравнявшись с нею, Илья Ильич, свешиваясь с носилок, говорил что-нибудь веселое, утешительное, чтобы поднять дух всей команды.

Илья Ильич родился в селе Карачарове, в том самом, где родился и прожил первые тридцать три года своей жизни Илья Муромец. Товарищи так и прозвали его — Илья Муромец, хотя, остролицый, худощавый, с глубоко запавшими глазами, он совсем не походил на богатыря. Кличка эта иногда упоминалась даже в радиошифровках, которые Васильковский посылал в партизанский штаб в Беломорск.

— Что ж,— сказал Илья Ильич,— тридцать три года сиднем сидел Илья на печи, а потом пошел... Ну, а со мной наоборот — я тридцать три года бегал, шатался по белу свету, ни минуты не сидел на месте, вот теперь и посижу. Впрочем, для чего на печи? Мне по моей специальности, в крайнем случае, и без ног можно обойтись!

Действительно, побродил он по свету немало и уже в отряде «Братья» командиром взвода прошел в боях больше трех тысяч километров.

Но Марию эти слова совсем не утешали, и хотя, слушая его, она улыбалась, на душе у нее не становилось спокойнее. Она шла впереди группы, смотрела под ноги, смотрела на компас, чтобы не сбиться с непроложенного пути. Ей было жаль Любу, и щемило сердце при мысли, что Илья так горько переживает потерю ноги. А он смотрел с носилок на ее широкую спину, на то, как она уверенно находит дорогу, хотя ветровал и бурелом не раз заставляли менять направление. И жалел о том, что не видел ее девочкой, молоденькой девушкой, такой, какой однажды она нанялась работать в лесу с геологами-разведчиками.

Об этом как-то в свободную минуту рассказал ему Васильковский, который тоже был геологом-разведчиком и потом сам женился на начальнице группы — Наташе. Это было девять лет назад, в этих же лесах, когда можно было здесь ходить спокойно, сердце не екало от треска ломающейся под ногами ветки и можно было разводить по ночам костры. «Какой была тогда Мария?» — пытался представить себе Илья Ильич. Он лежал, запрокинув голову, и видел, как плывут над ним в небесной голубизне зеленые вершины сосен.

Нет, пожалуй, лучше, что она такая, как сейчас, не девушка, не девчонка, а настоящая женщина, знающая почем фунт лиха, понимающая, в чем действительная радость жизни, и

потому принимающая его даже и увечного. И все-таки ему было жалко, что он не повстречал ее девчонкой-занозой или девушкой на выданье. О муже ее, погибшем на финской войне, Илья никогда с Марией не говорил.

— Тяжело нести? — тихо спросил он у Ивана Петровича.

Тот промолчал. Илья Ильич повернул голову направо.

— Тяжело? — спросил он у Федора Кутасова.

— Было легко, стало чего-то потяжельше! — так же тихо ответил Федор.

День уже склонялся к концу. По вершинам сосен струился ровный красный свет заходящего солнца. У комля деревья стали бурыми, и сизые тени, затемняя черничные и брусничные кустики и вереск, уже бежали вверх по стволам частого леса.

Мария остановилась.

— Отдыхать будем! — сказала она.

Носильщики бережно поставили носилки под сосной и стали растирать натруженные плечи. Мария сбросила рюкзак, вытащила из него выстиранную портянку, заменявшую бинт, наклонилась над Ильей Ильичом, сняла старую повязку и стала перебинтовывать рану.

Они остановились около лесного ключа. Пока Иван Петрович набирал прозрачную воду в котелок, Федор наломал сухих веток, а Лангуев выкопал ямку, чтобы в ней скрыть пламя небольшого костра. Грибы — несколько боровичков, сыроежек и груздей, притаившиеся рядом и обнаруженные Лешей Коровиным,— да несколько пригоршней брусники и черники были опущены в котелок вместе с сушеной треской и двумя большими сухарями. Это будет их ужин.

В котелке варилась похлебка. Мария стирала в холодной ключевой воде портянку, готовя бинты на завтра, Илья Ильич ей что-то рассказывал. Иван Петрович прислушался.

— Когда-то, когда я еще совсем маленьким был, бабка моя кляла нашу крестьянскую долю, собачья, мол, доля, да и только. Я ее спросил: бабушка, почему собачья? Она мне и рассказала: в старину колос, мол, не такой был, как теперь. Теперь колос — только на самой верхушке соломины, а был с первого колена соломины доверху. А потом бог прогневался и сказал: «Не будет совсем колоса, пусть люди живут как знают!» Тогда собака взмолилась: «Господи, господи! Чем же я-то теперь буду жить?» Смилостивился господь и оставил на ржи маленький колос. Значит, мы и живем теперь на собачью долю...

Мария кончила стирать и растягивала сырую портянку на камне около костра. Федор помешивал в котелке. Лангуев, не дождавшись ужина, дремал сидя, прислонившись к стволу.

— Ну вот, Машенька,— говорил Илья Ильич,— потом, когда подрос, я и решил: буду делать все, чтобы не на собачью долю жили мы. А на свою! Решил, как говорится, вплотную колосьями заняться. В агрономы пошел. Стал мелиоратором. Осушал лет пять белорусские болота, а потом сюда, на север, кинулся. Знаешь — Олонецкая равнина? Вот и довелось нам с тобой повстречаться. А теперь прощай. Опять поеду к себе в Муром — в Карачарово, тридцать три года на печи лежать...— усмехнулся Илья.

«Что, у него времени раньше не было про себя Марии рассказывать?» — недовольно подумал Иван Петрович, вороша палкой уголья костра.

«А и впрямь не было, не приходилось! — вспомнил он.— Тут тебе и леса и походы — задания разные. И то ладно, что друг дружку отметили. Ишь ты, Илья Муромец!»

Илья неловко повернулся и застонал. Мария бросилась к нему:

— Илюша, Илюша, что с тобой?..

— Да нет, так, ничего...— ответил раненый.

Зависть подступила к сердцу Ивана Петровича.

«Бывает же людям счастье!» — подумал он, глядя, как склонилась над Ильей Ильичом Мария.

С какой бы радостью лежал он сейчас на этом лесном мху, под деревом, без ноги, если бы над ним могла склониться с такой же заботой и тревогой Люба.

Иван Петрович снова стал думать о том, о чем почти не переставал думать.

И снова жизнь будто пошла мимо, не касаясь его, не задевая. Правда, он с удовлетворением отметил, что ему дали хлебать горячую похлебку из одного котелка со всеми. В очередь с другими опускал Иван Петрович в котелок ложку. Хорошо еще, что его окончательно не вышвырнули из круга. Но как же получилось, что из почтенного, уважаемого человека он стал таким, что впору радоваться, если сидит рядом с товарищами и хлебает из одного котелка? Как же вычеркнул он себя из отряда? Не ошибся ли Васильковский? Ведь раньше Ивана Петровича всегда одобряли, хвалили за выдумку, за смелость и справедливость. Нет, он поступил правильно. Пусть не по закону, но правильно. Он уничтожил изменника, измену, ложь. Сам. Решил и никому не передоверил привести приговор в ис-

полнение. Не умыл рук. А если так — решение товарищей уж слишком жестоко.

Но в глубине души он знал, что и сам осудил бы того, кто совершил бы то, что совершил он, и, может быть, еще строже осудил. Даже сейчас, пытаясь оправдать себя, он чувствовал, что виноват, и с каждым часом все сильнее мучило его это ощущение своей вины, непоправимости того, что сделано. Снова с мучительной отчетливостью вставали перед ним последние дни. И, вспоминая о них, он видел даже капли смолы на сосне, которых не видел тогда и которые непонятно как вошли в его память.

Как далек, как невозвратим этот день, когда Васильковский отправлял его с партизанской лесной базы на операцию. Словно это происходило давным-давно, когда он был еще совсем молодым, а не таким безнадежно старым и утомленным, как сейчас. И странно подумать, что минула с тех пор только одна неделя.

На задание было послано шесть человек.

Двое суток шли они по ельнику, затем по болоту, потом по краснолесью, пока не вышли к полотну железной дороги.

На этом участке партизаны за лето взорвали два моста, и поэтому весь путь патрулировался дрезинами. Иван Петрович знал, что дрезина проходит здесь через каждые сорок минут.

Лежа в кустах у дороги весь день, они проверили донесение разведчика. Да, так и было. Путевые обходчики вдвоем проходили по полотну, проверяя его каждые два часа. Автоматы тускло поблескивали в их руках. А дрезины с пулеметчиками проходили регулярно каждые сорок минут.

Все у партизан заранее было продумано, проверено и прорепетировано еще на базе. Три человека — на рельсы справа, три человека — на рельсы слева.

Конвейер! Заводская постановка дела! Даже сейчас, вспоминая об этом, Иван Петрович испытывал чувство удовлетворения.

Люба провожала их в пути километров пять, потом он поцеловал ее голубые, сияющие чистотой смеющиеся глаза, она повернулась и пошла обратно на базу.

Он долго провожал ее взглядом, следил, как она уходила, перепрыгивая через кочки, через гниющие стволы ветровала. Увидев какое-нибудь препятствие, она не могла отказать себе в удовольствии преодолеть его, перескочив с разбегу или одним прыжком, потому что была полна переливающейся через

край молодостью, расточать которую хочется так неудержимо, что даже когда на душе грустно или нездоровится — не пропускаешь случая ловко перепрыгнуть через лужу или пробежать по скользкому бревну.

Когда деревья, соединившись плотной стеной, закрыли от него Любу, Иван Петрович заторопился и быстро догнал свою группу. Потом, лежа у дороги, наблюдая за путевыми обходчиками, он все еще видел перед собой Любу, ловко перепрыгивающую с кочки на кочку.

Наступила ночная темнота, и все пошло так, как было задумано.

Подождав пять минут после того, как прошла дрезина с охраной и пулеметами, Иван Петрович поднялся с земли и, раздвигая кусты, вышел на полотно дороги. Он быстро, полубегом, шел вдоль рельса и у шпалы, на которой крепился стык, ловко выкапывал маленькой лопаткой небольшую лунку. Потом пробегал к следующему стыку и делал то же самое. Так он торопливо шел вдоль всего пути, и справа от него, вдоль второго рельса, бежал и делал то же, что и он, Леша Коровин. В двадцати — тридцати шагах за каждым из них, тоже полубегом, следовали партизаны. Они закладывали в лунки сделанные Иваном Петровичем и Лешей заряды взрывчатки. Тол ложился в лунки, словно пакетики сливочного масла, расфасованные по полкило. А за теми двумя партизанами, на таком же расстоянии, бежали другие два, которые зажигали фитили у заложенных зарядов взрывчатки. И уже когда Иван Петрович склонился над рельсом, быстро выбрасывая землю из пятой лунки, раздался грохот первого взрыва и сразу же ему отозвался другой.

Иван Петрович оглянулся и увидел, что партизан, на долю которого выпало зажигать фитиль, сейчас хлопочет уже около третьей лунки. Значит, все идет так, как было рассчитано.

И Иван Петрович побежал дальше расчищать шестую лунку. А позади, вслед за ним, не догоняя его, соблюдая намеченную дистанцию, бежали другие партизаны, и в прохладном и тихом ночном воздухе гремели взрывы.

Грохот одного сливался с грохотом следующего, затем все они слились в общий гул.

Это был, если так можно сказать, стремительный «поточный» подрыв большого участка дороги. Тяжело дыша от быстрого бега, от волнения, от сильных коротких и частых движений, которыми он вскапывал землю под рельсами, Иван Петрович испытывал упоение боем, вдохновение успеха! И ко-

гда после двенадцатой лунки он остановился, вдруг ему стало жалко, что захватили с собой так мало тола. Но расчет был точен. Каждую минуту на дрезине могли появиться немцы. Они могли вернуться назад, привлеченные грохотом взрывов. Могли повернуть назад и путевые обходчики.

Надо было уходить. Васильковский приказал принимать бой только в самой крайности. И Иван Петрович сбежал с полотна дороги вниз, в холодную и сырую от росы траву.

— Идем, идем! — торопил он Лешу Коровина. При вспышках взрывающегося тола он увидел, как разметало по сторонам рельсы и вывернуло шпалы из насыпи.

Полтораста метров железнодорожного полотна пошло к чертям. Это здорово! Немцы и так уже привозили сюда, на север, рельсы из разобранных путей во Франции.

Полтораста метров пути! Иван Петрович, Леша Коровин и остальные ликовали. Такая удача!

Но теперь надо было уходить, да так, чтобы след не привел к базе.

И они шли босиком по руслу холодного ручья. Потом повернули на запад. Потом на север. Потом снова шли по ручью. И когда взошло красное над лесом солнце, продолжали идти, не останавливаясь. Только за полдень, после краткого отдыха, они свернули на юг и пошли к базе.

В прошлую операцию Коровин достал маленький дамский браунинг. Он уступил его Ивану Петровичу. Теперь Иван Петрович то и дело опускал руку в карман, ощупывая похожее на игрушку оружие и предчувствуя, как обрадуется Люба подарку.

Всю дорогу Иван Петрович мечтал о том, как он встретит Любу, что он скажет и как она ответит ему. От одних этих дум у него становилось на душе светло, он улыбался своим мыслям и напевал под нос.

Все вышло не так, как он мечтал.

Не дойдя с километр до базы, партизаны остановились, чтобы почистить одежду и вымыться.

Иван Петрович пошел дальше один, торопясь поскорее доложить Васильковскому об успехе операции. Он шел, углубленный в себя, не выбирая дороги, спотыкаясь о корни сосен, когда вдруг совсем близко услышал знакомый голос, голос, который мог отличить среди тысячи других. Он звучал так же ласково, вкрадчиво, как и больше года назад, когда Иван Петрович впервые услыхал его.

Иван Петрович поднял голову и увидел: на лесной поляне стоял в полном снаряжении, с партизанским мешком за плечами, с автоматом, висящим на шее, Круглов, молодой парень, младший лейтенант пограничной службы, который воевал в партизанском отряде уже второй месяц. Солнечный луч поблескивал на красной звездочке пилотки пограничника. Круглов с группой партизан уходил на задание, и сейчас он отстал от товарищей, чтобы попрощаться с Любой, так же, как это сделал несколько дней назад Иван Петрович. И таким же голосом разговаривала с ним Люба.

— Касатик ты мой! — сказала она. Это было то слово, которое в минуты нежности говорила она Ивану Петровичу. И сейчас ему показалось, что сердце его останавливается.

Круглов протянул Любе обе руки, и она взяла их в свои. Пожала. Потом опустила и, отстранив автомат, обняла Круглова и крепко прижала свои губы к его губам...

Иван Петрович отвернулся и, медленно обходя полянку, пошел дальше, к базе. Он не мог ни о чем думать, в груди его словно образовалась пустота, сосущая, расползающаяся по всему телу пустота. Мир сразу изменил свою окраску. Ивану Петровичу казалось, что он оглох, стал немым. Ни один звук не долетал до него, и горло сжималось, как при рыдании.

Он шел, спотыкаясь, наталкиваясь на деревья, вспоминая о том, что, провожая его в этот последний поход, Люба на прощанье только пожала ему руку.

«Все кончено,— думал он,— все кончено. Теперь я один!» И с удивлением почувствовал, что у него нет никакой злобы к Круглову. Нет! Никакой злобы в ту секунду он не испытывал и к Любе. Горе, большое горе, от которого руки опускаются, внезапно настигло его...

Так добрел он до лагеря. Перед шалашом Васильковского, сделанным из еловых ветвей, дымился небольшой костер, защищая от комаров вход.

Иван Петрович вошел в шалаш и точно, подробно рассказал командиру, сколько метров пути выведено из строя, как охраняется железная дорога.

— Ну, молодцы! — сказал Васильковский. Он сидел на сосновом чурбане в неподпоясанной гимнастерке и точил на ремне бритву.— Отлично сработали,— повторил он.— Да ты что, не заболел ли случаем? — вдруг забеспокоился командир, пристально взглянув в мрачное, словно окаменевшее лицо Ивана Петровича.

Иван Петрович молчал.

— Скажи Марии, что я разрешил выдать тебе сто граммов, и ступай отдыхать! — приказал командир и вызвал к себе в шалаш радиста.

Иван Петрович прошел к своему шалашу и уселся около него на пне. Подошел муж двоюродной сестры, Федор Кутасов, и, как-то смущаясь, отводя глаза в сторону, сказал:

— Проучи свою Любку, Иван, она гуляет здесь с кем попало!

Иван Петрович знал, что Федор, как и большинство его родственников, был против женитьбы на Любе. Но он также знал, что Федор никогда не соврет...

— Не суйся не в свое дело, Разноглазый! — грубо ответил он.

Федор, пожав плечами, отошел в сторону.

«Вот сейчас придет Люба, и все разъяснится, она сама расскажет всю правду»,— с мучительной надеждой думал Иван Петрович. Ему казалось, если она скажет правду — а разве иначе она может сказать, ведь он так верил ей,— ему станет легче.

Люба подошла, как всегда, с веселой улыбкой. Солнце стояло позади нее. Сидя на пне, он глядел на нее снизу, и от солнечных лучей, проходивших сквозь ее рыжеватые волосы, голова ее была окружена сиянием. И глаза, голубые, глубокие глаза ее, немного широко поставленные, казались еще синее, правдивее, чем всегда. Он увидел ее еще более прекрасной, еще более любимой, чем всегда, и окончательно, бесповоротно потерянной.

Люба подошла к нему и, видимо, удивилась, что, заметив ее приближение, он не встал, не сделал ни шагу навстречу.

— Касатик ты мой! — сказала она, подбегая к нему.— Уж не ранен ли ты? — И снова она повторила то ласковое слово, которое с такой же интонацией четверть часа назад было обращено к другому...— Уж не ранен ли ты? — В голосе ее почудилась прежняя забота.

— Где ты сейчас была? — тихо, с болью выжимая из себя каждое слово, спросил Иван Петрович. И увидел, как обычно веселое и лукавое лицо ее приобрело выражение дерзости, легкомыслия и жестокости.

— Так, ходила по делу. Выдавала медикаменты группе Круглова. Они пошли на задание! — ни секунды не раздумывая, не колеблясь, солгала Люба.

Иван Петрович почувствовал в сердце своем страшную, обжигающую боль.

Это было выше сил человеческих! Он мог примириться в конце концов с утратой жены. Он мог представить себе, что она когда-нибудь может уйти от него, полюбив другого, но тут была простая, глупая, ненужная, непонятная и до невозможности оскорбительная ложь, которая и его и ее превращала в каких-то ломающихся комедиантов. И вот это было выше его сил, больше, чем он мог вынести. А в голубых ее глазах снова засветилась такая невинность, такая правдивость, что, если бы Иван Петрович не знал, своими глазами не видел бы, как она его обманывает, он не мог бы не верить ей!

— Что же люди про тебя говорят? — еще тише, еле шевеля губами, спросил он и встал.

— Вот глупости какие! — задорно пожав плечами, засмеялась Люба.— Мало ли что говорят, на всякий чих не наздравствуешься!

Тогда он ощутил всем своим существом, что она чужая, враждебная ему и всему тому, что было дорого его сердцу. «А я-то всю жизнь хотел прожить с ней,— думал он.— А она... А она так...»

— Люба,— сказал он, пытаясь спасти себя, спасти ее в своем сердце,— Люба, скажи мне всю правду... Для чего ты с Кругловым целуешься?..

Нет, слова эти не могли выразить, не выражали всей его боли. Слова были пустые, обыкновенные, но пусть, пусть она скажет правду, и он все простит, все поймет...

— Какой дурак сказал тебе, что я целуюсь с Кругловым? Наплюй ему в глаза! — резко ответила Люба.

И тут такая боль, такая обида резанули по сердцу Ивана Петровича, что в глазах у него помутнело и непроглядная тьма волной захлестнула душу.

— Я тебя так любил... а ты...— почти со стоном выдохнул он, опустил руку в карман и, ни о чем не думая, еще ничего не собираясь делать, вытащил скользкий и теплый браунинг, нажал собачку — и, задерживая дыхание, как при прыжке в воду, выпустил всю обойму.

До конца дней своих не забудет он этот тихий стон, слетевший с ее уст, и этот удивленный, непонимающий взгляд ее внезапно расширившихся голубых глаз.

— Ох,— громко сказала она, и, метнувшись к ней, выро-

нив на мох пистолет, он почувствовал на своих руках тяжесть оседающего к земле тела. Она закрыла глаза.

Капли крови ее, как крупные блестящие ягоды спелой брусники, усеяли мох и папоротник на том месте, где сейчас встретились они в последний раз.

Уложив Любу на мох, раньше чем кто-нибудь увидел бездыханное тело, Иван Петрович пошел к командиру. Перешагнув через дымок костра у входа, он вошел в шалаш.

Васильковский стоял с намыленной щекой перед маленьким круглым зеркальцем, укрепленным на стволе ели, и брился.

— Кто там стрелял? — спокойно спросил он.

— Я стрелял, товарищ командир. Я сейчас убил Любу! — словно докладывая об обыденном деле, сказал Иван Петрович.

— Что?! — Васильковский повернулся к Ивану Петровичу.— Что?

На щеке его сквозь мыльную пену проступили капельки крови. Иван Петрович увидел, что командир порезался, и таким же равнодушным голосом сказал:

— Жену мою, Любу!

— Идем! — почти крикнул Васильковский, стирая рукою мыло со щеки, и быстро стал надевать пояс с портупеей и кобурой.— Идем! — волнуясь, приказал он, и Иван Петрович вышел за ним из шалаша...

Они увидели склонившуюся над Любой Марию...

— Что? Ну что, Маруся? — с надеждой спросил Васильковский.

Мария подняла голову. В добрых ее глазах стояли слезы.

— Еле дышит! Кто это ее?..

— А ну, сдавай оружие! — приказал Васильковский Ивану Петровичу.

— Так это ты? Ты! — воскликнула Мария. В возгласе ее звучали удивление и ужас.

— А ну, сдавай оружие! — повторил командир.

— Она нарушила слово...— торопливо стал объяснять случившееся Иван Петрович, нехотя снимая автомат и передавая его Васильковскому.— Она смотрела всем в глаза как честная, а была...— И он опустил руки.— У нее была лживая, фашистская душонка...

— Нет, постой! — прервал его командир.— Это ты, ты поступил как фашист! Убил партизанку! Обманула? Тебя? Так

не ты судья! Ты не имеешь права приговор выносить! Тебя под суд надо! — Васильковский дрожал от гнева.

— Я убил уже немало немцев, и меня никто не спросил, как я смел!

— Так то были враги! Тебя народ послал биться с ними! А сейчас ты... как зверь... Преступник!

У Васильковского перехватило дыхание. «Наше дело чистое,— думал он.— А то, что сделал этот человек, унизительно, грязно, недопустимо! Он опозорил весь отряд».

— Тебе дали оружие для великого дела,— почти крикнул Васильковский,—а ты использовал его в личных, мелких, корыстных интересах! А еще делаешь вид, что прав!

— Какой же мой личный интерес в том, что Любы не стало? — печально произнес Иван Петрович.— Какая мне в этом корысть?

Он взглянул на тело, лежавшее у его ног, увидел простое серебряное колечко на безымянном пальце Любы и вдруг — словно спала какая-то пелена, застилавшая его глаза,— всей душой, всем сердцем, всем своим существом ощутил, что Любы нет и не будет, что виноват в этом он, и, ужасаясь, содрогнулся. Он почувствовал, как горячие крупные слезы скатываются по щекам. Заметив эти слезы, умолк и Васильковский.

Мария не слушала их. Она хлопотала над Любой, перевязывая ее грудь бинтом, ловила ухом почти неслышное, прерывистое дыхание подруги.

— Если так, то застрелите меня,— угрюмо сказал Иван Петрович,—если надо, то застрелите меня,— повторил он,— только я думаю, что, убив ее, не нарушил свою партизанскую присягу.

— Ты еще говоришь о присяге! — с горечью сказал Васильковский.— Расстрелять тебя просишь? И расстреляю!

Иван Петрович молчал. Молчала Мария.

«Что мне делать с ним? — думал Васильковский.— Расстреливать? Перед строем? Заслужил. Если бы Люба была только бойцом в отряде, пожалуй, он не стал бы ни минуты колебаться, как тут поступить. Но она была и женой Ивана Петровича. А тогда... Нет, надо сделать так, чтобы и другим неповадно было. И здесь, и там, на Большой земле... Пусть его судят там... советский суд в Сегеже!»

Васильковский взглянул на Марию и спросил ее:

— Как Илья Муромец? Можно на носилках нести?

— Можно!

— Тогда приготовить его! — приказал Васильковский.

Во время разведки вражеская мина оторвала ступню командиру первого взвода Илье Ильичу Кузнецову. Товарищи принесли его на базу, и уже несколько дней он лежал в «медицинском шалаше».

Он навсегда выбывал из отряда. Большая забота была — как отправить его через линию фронта в советский тыл. Для того, чтобы его отправить туда, отряд должен был на какое-то время лишиться, по крайней мере, четырех человек, отряжаемых для переноски. Теперь же, когда Васильковский решил отправить Ивана Петровича на Большую землю, чтобы его там судили, вопрос об одном носильщике решался сам собой. Вторым Васильковский назначил Лангуева, которого пратизаны очень уважали за участие в знаменитом рейде Антикайнена. Но рейд был двадцать лет назад, а теперь у Лангуева отекали ноги, и его тоже надо было отправить в тыл. Там он, опытный лесоруб, мог принести гораздо больше пользы, чем здесь, в отряде. Третьим носильщиком был назначен двадцатилетний Леша Коровин. Шофер и отличный моторист, он тосковал по «технике», здесь же, в отряде, действовавшем среди непроходимых лесов и в болотах, машин не было, и сейчас Коровин из глубокого вражеского тыла шел призываться в Красную Армию, в танковые войска. Четвертым был послан свояк Ивана Петровича — Федор Кутасов. Он отлично знал здешние леса, уже дважды пробирался через линию фронта и мог быть проводником этой небольшой группы. Отдохнув на Большой земле, Федор снова вернется в отряд вместе с Марией. Готовя новую рискованную операцию, Васильковский хотел на это время вывести молодую женщину из-под удара.

И вот небольшая группа отдыхала у лесного ключа в самой гуще непроходимых лесных чащоб Карелии.

Незаметно для самого себя Иван Петрович провалился в глубокий сон, но тяжесть, лежавшая на его сердце, нисколько не уменьшилась даже во сне.

Он не слышал резких и протяжных гуканий, хохота неясыти, от которых каждый раз вздрагивала Мария. Трудно было к ним привыкнуть.

Решили дежурить ночью по очереди, в три смены.

Очередь Ивана Петровича выпала на следующую ночь.

3

На второй день пути Федор Кутасов с утра шел в первой паре с Иваном Петровичем. Необструганные палки носилок, поддерживаемые обеими руками, все же давили на плечи. Теперь Мария шла рядом с носилками, а путь указывал Федор. Как кошка, падая, сразу становится на четыре лапы, так и он в самой гуще леса, с точностью до пяти градусов, без всякого прибора мог определить, где север, где юг и где Большая земля — восток.

— Тебе, наверное, помогает, что один глаз зеленый, другой голубой,— говорили ему друзья. Его так и звали — Разноглазый.

В отряде за Федором утвердилась слава «лесного человека». Васильковский часто советовался с ним, в каком направлении лучше идти через лес, чтобы меньше утомить людей и нанести внезапный удар. И вот сейчас Федор кивком головы указывал нужное направление.

Иван Петрович, идя в паре с ним, приловчился даже по покачиванию носилок понимать, куда он собирается повернуть, где надо ускорить шаг, чтобы не завязнуть в трясине.

Идти по лесу с ношей нелегко, но особенно удручало то, что обе руки были заняты и нельзя отмахиваться от мелкой и противной мошкары, которая тучей висела, движущимся столбом поднималась над партизанами. Раненый и Мария могли обороняться от лесного гнуса, несущим же носилки оставалось только страдать от бесчисленных, безжалостных укусов, от которых лица становились все краснее и краснее.

Через некоторое время облака на небе разошлись, выглянуло солнце. Жаркие лучи его разогнали комаров, заставили их немного угомониться. Зато теперь на лицах проступали тяжелые капли пота. Они становились все крупнее и крупнее, стали стекать струйками. Гимнастерки на спинах потемнели.

Земля была скользкой от устилавшей ее сухой прошлогодней хвои и мха. Иван Петрович поскользнулся. Носилки перекосились. Илья Ильич застонал.

Было самое время устроить полуденный привал. Солнце стояло над головой. Опять выкопали ямку около ключа, опять наломали веток. Они были сухие, как порох, и одной спички, которую поднес к ним Лангуев, оказалось достаточно, чтобы быстрый и легкий огонь побежал по ветвям и, потрескивая, заполыхал в ямке.

— Ишь ты! — вдруг вскрикнул Илья Ильич и показал кивком наверх.

Иван Петрович поднял глаза. По верхним ветвям высоких сосен быстро перескакивала с ветки на ветку белка. Она очень торопилась, точно уходила от погони. Неужели она так стремительно удирала от двух других белок, которые мчались вслед за нею? Проводив их взглядом, Лангуев встал и начал прислушиваться. Послышался треск и, ломая телом кусты, как огромный валун, поросший рыжеватым мхом, вывалилась из лесу огромная лосиха. Не разбирая дороги, она шла очень быстро, и трехмесячный лосенок с трудом поспевал за ней. Не обращая внимания на людей и на костер, лосиха шла прямо, не сворачивая с дороги.

— Вот и обед сам идет! — весело сказал Леша Коровин.— Лося бьют в осень!

— А дурака завсегда! — перебил Лешу Федор и, положив руку на ствол его автомата, отвел дуло в сторону.

— Если она так без ума прется, значит, кто-то за ней охотится! Может быть, немцы близко, а ты хочешь шуму наделать! Нет уж, погоди!

Впрочем, если бы теперь Леша и захотел стрелять, это было бы бесполезно — мишень исчезла. Лосиха со своим лосенком успела скрыться за мелким сосняком.

«И в самом деле, может, она бежит от немца!» — подумал Иван Петрович и перевел рычажок автомата на стрельбу очередями.

В своем предположении Федор не совсем ошибался.

Немецкий полковник из горноегерской дивизии приехал к своему соседу справа на финский командный пункт. И пока дела задерживали полковника здесь, он отрядил находившихся при нем четырех егерей на охоту. Полковник собирался послать сыну ко дню рождения подарок из Карелии — рога лося. Егеря скоро напали на след. Потом сбились с него. Потом сели закусить, развели на привале небольшой костер. После привала пошли дальше и, не затушив по-настоящему, только притоптали огонь, плеснули на него воды и ногами раскидали по сторонам тлеющие и обуглившиеся ветви. Больше лосей они не видали, но в тот час, когда партизаны встретили лосиху с лосенком, немцы действительно были неподалеку и так же, как лоси, бежали по лесу, стремясь уйти от бушующих следов своего утреннего привала.

Не успели партизаны прийти в себя после исчезновения лосихи с детенышем, как стремительно, также не обращая на

них никакого внимания, словно мохнатый шар, быстро прокатился по лесу бурый медведь. Шерсть у него торчала клочьями, как подпаленная.

— Эх, огонь да вода — нужда да беда! — сказал Лангуев и, опрокинув в костер котелок с недоварившейся похлебкой, быстро поднялся.— Вставай, вставай! Быстрее! Бежим! — сказал он с необычной для него живостью.

— Да,— поддержал его, вскакивая с места, Федор.— Только вот куда бы укрыться!..

Иван Петрович недоумевающе посмотрел на них. За годы морской жизни он успел позабыть о лесных делах и приметах. Он подумал, что Лангуев и Федор испугались приближения немцев, и был удивлен нежданной их трусостью. Если надо драться, так будем драться, если надо помирать, так помрем. Волнение же, которое он сейчас читал на их лицах и слышал в их словах, казалось ему недостойным. Он тоже встал.

— Только вот куда? Куда бежать? — сказала Мария и, сдернув с камня выстиранную, не просохшую еще портянку, быстро запихала ее в рюкзак.

— Туда,— махнул рукою Федор.— Туда,— уже уверенно повторил он и, указывая на носилки, крикнул Ивану Петровичу: — Подымай!

— В чем дело? — спокойно спросил Иван Петрович, хотя и был зол на товарищей за их трусость.

— В чем дело? — тоже недоумевая, спросил Илья Ильич.

— Горим! Илюша, горим! — отозвалась Мария.

«Лесной пожар, ах, вот оно в чем дело!» — понял Иван Петрович и вместе с другими легко поднял носилки, на которых лежал Илья Ильич.

Они быстро пошли по лесу в том же направлении, куда бежали белки, куда стремились лосиха и медведь.

Иван Петрович не мог понять, к чему такая спешка. Пожар-то еще далеко, не виден, не слышен.

При такой ходьбе ветви хлестали по лицу Илью Ильича, словно стремились сбросить его с носилок. Но раненый лежал молча, крепко вцепившись руками в палки, на которых была укреплена плащ-палатка, плотно сжав зубы, и только одна Мария своим чутким ухом слышала время от времени сдерживаемый до последней возможности стон. Когда стон долетал до ее слуха, кровь отливала от ее потного, горящего лица.

Через несколько минут Иван Петрович почувствовал, что за спиной действительно стало очень жарко и накаляющийся воздух идет упругой волной, подталкивая в спину, подгоняя и

иссушая все на своем пути. При таком быстром ходе Иван Петрович не мог повернуть голову назад. Тогда сразу нарушился бы ритм и, не соразмерив движения, носильщики могли уронить Илью Ильича. Но, взглянув наверх, на вершины замерших в страшном ожидании сосен, он увидел, как по воздуху, будто черные галки, летают, кружатся обгорелые легкие ветви, занесенные сюда теплой воздушной волной из самого пекла лесного пожара, может быть за несколько километров.

— Эх, был бы у нас белый голубь! — услышал Иван Петрович, как позади бормочет Лангуев, и вспомнил это старинное, еще в детстве услышанное от матери поверье: если в огонь лесного пожара бросить белого голубя — пожар сразу погаснет...

Еще нигде не было видно язычков пламени, а уже впереди начинал темнеть мох, корчилась трава. И воздух становился все горячее и горячее, и слышался плотный, нарастающий, ровный гул. Он становился все ощутимее и грознее. Иван Петрович чуть не споткнулся, наступив ногой на какого-то бегущего рядом маленького зверька.

— Огонь-то беглый! — сказал Федор Кутасов. — Пожар беглый, не повальный! — повторил он, и в голосе его Иван Петрович почувствовал словно какое-то удовлетворение.

— Хорошо бы не повальный, вершинный и то лучше! — отозвался Лангуев.

Беглый пожар здесь еще называется иногда наземным. Он проходит понизу и истребляет весь сухой покров в лесу. Это быстрый пожар, и он не приносит особого вреда деревьям. Гораздо опаснее повальный пожар, захватывающий деревья до самой вершины. Однако эти слова Кутасова были похожи на самоутешение, потому что на пути, которым они уходили от пожара, стоял хвойный молодняк, засохшие на корню деревья, и беглый пожар легко мог превратиться в повальный или при сильном ветре стать вершинным — верховым. Но уверенный тон Федора подбодрил остальных партизан.

«Только куда мы бежим? Куда он ведет нас? — думал Иван Петрович, когда Федор вдруг поворачивал то направо, то налево.— Куда он ведет нас?»

В такт шагу ударял в грудь автомат, висевший на шее. На дорогу ему вернули оружие. Иван Петрович не мог оглядываться, но ему казалось — если он оглянется, то увидит пламя, бушующее, идущее за ними неотступной стеной в полусотне метров. И расстояние это с каждой минутой сокращается.

Вдруг он увидел, как уже впереди, в траве, во мху, заиграли, забегали маленькие огоньки.

«Как это через воздух передается? Словно зараза»,— подумал он. Ногам стало жарко.

С колыхающимися на плечах носилками партизаны бежали, и впереди над ними тучей летели лесные птицы, метались неуклюжие, не видящие ничего в дневном свете неясыти-совы, сычи и филины. Тяжело летели глухари, дупеля, тетерева, рябчики рядом с ястребами-тетеревятниками, кобчики рядом с лесными жаворонками и дроздами-рябинниками. Крича, горюя по своим горящим гнездам, они шли плотным облаком над головами партизан.

Лежа на носилках, Илья Ильич видел это птичье бегство. Взглянув на землю, увидел впереди горящую траву.

— Машенька! Машенька! — вскрикнул он. — Машенька, оставьте вы меня, бросьте, спасайтесь сами! Со мной все пропадете.

— Ты помалкивай, и без того тошно! — разозлился вдруг Лангуев.

И в эту секунду Иван Петрович увидал: впереди блеснула голубоватая полоска воды.

— Озеро, озеро! — воскликнул он, вдруг поняв, куда вел их Федор. Вот куда они шли!

Так хорошо было выбежать на ровный, желтый и горячий песок узкого озерного берега, к которому со всех сторон подступал лес. Помешкав несколько лишних минут, они никогда бы не успели добежать до этого озера. Земля уже горела под ногами, когда они добрались до берега.

Партизаны вошли в воду и, только когда вода достигла колен, остановились, чтобы отдышаться и оглядеться.

— Медведь!

Они увидели медведя, пугливо поглядывавшего на них. Он стоял в воде метрах в десяти от лосихи с лосенком. Лосиха уставилась большими, похожими на сливы глазами в порозовевшую от отблесков пламени, потеплевшую воду озера. Она стояла как вкопанная, как чучело лосихи, а у лосенка от взволнованного дыхания широко раздувались и опадали лоснящиеся не то от пота, не то от воды бока.

Как только партизаны ступили в воду и облегченно вздохнули, почувствовав освобождение от ужаса неминуемой смерти, Иван Петрович сразу всем своим существом ощутил какую-то новую большую опасность. Но пот заливал и слепил глаза, а сзади спину обжигал жар, и в первую секунду он не

мог точно определить, откуда идет это ощущение новой тревоги. Нельзя вытереть глаза, надо обеими руками поддерживать носилки, которые сейчас тяжелее, чем всегда.

Он осторожно снял с рукоятки носилок левую руку и тыльной стороной стер пот со лба, с век и тогда увидел то, что еще не заметили его товарищи, поглощенные зрелищем медведя и лося, стоящих в воде слева от них. Справа, метрах в тридцати от партизан, по пояс в воде стояли четверо егерей с автоматами, с жестяными цветками эдельвейса на рукаве. Это были злополучные охотники за лосями. Теперь лосиха с лосенком стояла почти рядом. Неподвижная, прекрасная мишень. Но сами они чувствовали себя, как лось, как медведь,— пойманными и загнанными. Увидев выбежавших из чащи партизан, егеря в растерянности стояли, по-прежнему опустив руки, и даже не пошевелились. В самом деле, четыре человека, несшие носилки, на которых лежал раненый или убитый, и шагающая рядом растрепанная женщина с первого взгляда не показались им опасными, более опасными, чем бушевавший лесной пожар. Да, эти люди, запыхавшиеся от быстрой ходьбы, в разодранной сучьями одежде, вряд ли могли внушить солдатам чувство страха. И они по-прежнему неподвижно продолжали стоять в воде.

Иван Петрович качнул немного плечом, чтобы обратить внимание партизан на то, что справа от них. Но те, словно завороженные, не отрываясь, глядели на медведя, который спокойно стоял рядом с лосем.

Только Илья Ильич застонал и, повернувшись на носилках, увидел немцев.

— Товарищи, немцы здесь! — тихо прошептал он. И шепоток этот уловило ухо Марии.

Она взглянула направо и обмерла. Дула четырех автоматов показались ей наведенными прямо на нее, на Илью. Федор же глядел на вершину сосны, в ветвях которой перебегало несколько белок. Огонь подходил все ближе к дереву. Он играл уже на кустиках брусники, у подножья. Язычки пламени лизали корчащуюся от жара кору и бежали выше, стремясь подобраться к раскидистым ветвям, и вдруг, словно обезумев, белки одна за другой стали прыгать вниз, прямо в огонь.

— Вот безобразие, дуры! — прошептал Федор и отвернулся, чтобы не видеть, как горят белки. Он был убежден, что пожар беглый и огонь пробежит дальше, так и не достигнув

вершин. Отвернувшись, он вдруг увидел немцев — и тоже замер: что же теперь делать?

«Немцев четверо, и у каждого автомат. Нас пятеро да один раненый. Но руки заняты. Если мы пошевелимся, чтобы взяться за автоматы, немцы увидят, спохватятся. Раньше, чем успеем что-нибудь сделать, перестреляют нас, как куропаток. Что же предпринять?»

Он стоял без движения, в оцепенении, как человек, замерший перед змеей, знающий, что, едва он сделает неосторожное движение, змея развернется и бросится на него. И ни он, ни кто другой, пожалуй, не смогли бы сказать, сколько времени продолжалось это состояние оцепенения, в котором равно пребывали и партизаны и егеря.

Федор оказался прав. Пожар был не повальный, не вершинный, а беглый, и, так и не добравшись до вершины сосны, пламя лишь сделало черным ее ствол, позолотило хвою и побежало дальше понизу, обходя озеро, а затем стало удаляться,— и только гладь озера рябили падающие в воду черные обгорелые ветки и носимые горячим воздухом, сгоревшие, свернувшиеся листья — сажа и пепел.

Медведь повернулся мордой к берегу; медленно стал поворачиваться, отфыркиваясь, и лось. И в это мгновение носилки пошатнулись, перекосились и скользнули вниз, в озеро, вместе с Ильей. Мария громко вскрикнула и бросилась к нему. Федор хотел перехватить правой рукой ту палку, которую отпустил Иван Петрович, но не удержал ее... Носилки с всплеском упали в воду. И в это мгновение раздалась длинная, оглушительная очередь автомата.

Иван Петрович бил по немцам. Они тоже вскинули свои автоматы. Судьба всех решалась одним неуловимым мгновением: кто спохватится раньше, кто прежде, сбросив оцепенение, придет в себя. Вся жизнь была заключена в том, кто первый! Кто раньше, кто внезапнее, пока еще противник не успеет понять. Тут — как в море, когда надо круто повернуть мотобот, чтобы его не опрокинула волна, как в стремительном сближении истребителя с истребителем противника, вся жизнь кончается и снова начинается в одну секунду, когда решение почти неотделимо во времени от исполнения. Так и сейчас, видя, как рушатся в воду один за другим егеря, Иван Петрович понял, что товарищи спасены.

Это сознание дошло до других через несколько секунд, бывших, однако, такими вместительными.

Тела немцев скрылись под водой, и только рюкзак одного

выдавался небольшим валуном над уровнем озера. Но это было еще не все!

Четвертый немец стоял поодаль. У него заело автомат. Но он, впрочем, только один раз и нажал на собачку, даже не целясь. Когда же стоявшие рядом с ним повалились в воду, он сразу опустил автомат и поднял руки.

Впрочем, ему ничего другого и не оставалось.

Теперь, видя немца, стоящего перед ним с поднятыми руками, Иван Петрович взглянул на Илью, которого вытаскивали из воды и несли к берегу на руках Мария и Леша. Глаза у Ильи были закрыты. На лице блестели капли воды или пота.

Иван Петрович шагнул вперед к немцу, который продолжал стоять с поднятыми руками.

...Земля была горячая. Она еще обжигала. На мокрой плащ-палатке лежал Илья Ильич. Федор связывал немцу руки за спиной. Леша обыскивал рюкзаки убитых.

— После разберемся! — сказал Федор. — Фриц пойдет с нами, заодно,— он взглянул на Ивана Петровича,— приведем и «языка». Перевыполним программу.

При этом напоминании о том, что ведут в тыл не только пленного немца, но и его, Ивана Петровича снова обожгла мука, которая отпускала его на мгновения, заполненные действием. Но разве какое-нибудь действие могло возвратить Любу к жизни? Разве мог он хоть чем-нибудь загладить свое преступление? Он сейчас спас всю группу. Товарищи обязаны ему жизнью. Может быть, можно будет вернуться в отряд... С этой еще не вполне осознанной надеждой в сердце он оглядел всех. Вот и Мария, пожалуй, приветливо, как и раньше, взглянула сейчас на него... Вот и Федор о чем-то советуется с ним... Но тут же с болью подумал он: «Ведь если даже меня когда-нибудь и простят товарищи, разве прозвенит для меня смех Любы, разве сам я прощу себя? Да, о чем это Федор?» Иван Петрович сделал усилие, чтобы понять смысл слов.

— Вот что,— говорил Федор,— нам теперь придется немного изменить маршрут, потому что на черной земле, среди черных стволов мы больно будем приметны. Кустарника-то совсем не осталось. Надо обойти пожарище слева. А там болото... Как ты думаешь?

— Ты лесной хозяин, тебе и думать об этом положено,— сказал Иван Петрович, все же радуясь, что у него, как у равного, товарищи спрашивают совета.

Черная, обгорелая земля лежала перед ним. Горький сизый дымок стелился впереди — и гарь, тошнотворная, навязчивая, застревала в горле, стояла у самого сердца, как та неотвязчивая боль. И над головами висели позолоченные жаром вершины сосен, с хвоей, словно из меди.

Илья Ильич открыл глаза. Он увидел высокого рыжего немца, стоявшего вблизи от него, и снова закрыл глаза.

— Да нет же, открой! — радуясь за него, сказала Мария.— Это тебе не чудится. Это мы взяли в плен немца.

И слово «мы» опять достигло самой глубины души Ивана Петровича.

4

Из-за лесного пожара, из-за того, что надо было обходить горелое место, путь удлинился на добрый десяток километров. А это не так мало для тех, кто уже с месяц недоедал и кому надо на плечах нести раненого товарища!

Немца нельзя было заставить поднимать носилки — для этого ему нужно было бы развязать руки. И может быть, путь и ноша казались еще тяжелее потому, что рядом шел высокий, здоровый, голубоглазый и длинноносый немец. Только на привалах, когда у всех руки были свободны, развязывали руки и немцу. Не кормить же в самом деле его с ложечки!

— Эх, нос, для двоих рос, одному достался! — сказал Леша, взглянув на немца.

Егерь сначала был очень перепуган и ошеломлен всем случившимся — тем, что, находясь так далеко от линии фронта, он стал пленником русских, и как раз там, где считали, что их нет и не может быть. Он проклинал себя за то, что вызвался на эту чертову охоту. Но его тянуло к лесным пейзажам, к красоте одиноких сосен на скалах, к прелести лесных нетронутых озер. Ведь до войны он был художником. Но только успел окончить художественную школу в Вене, как на Австрию нахлынули и захватили ее пруссаки. Через год они и его забрали в армию. Его отец был видным деятелем католической партии, и если бы не умер за год до «аншлюса», то обязательно попал бы в концентрационный лагерь. Сын же не был допущен в офицерское училище, и его призвали в армию рядовым. Он тяготился военной службой, оторванной от любимого дела. На охоте представлялся редкий случай побродить по лесу, и никто не мог бы учесть, сколько часов он посвя-

тит охоте, а сколько эскизам. А тут вдруг так нелепо, так глупо погибнуть в лапах этих обросших щетиной дикарей!

Но потом, когда немец понял, что его не собираются убивать, он немного успокоился и стал внимательно разглядывать лица своих конвоиров. Да, это была странная процессия. Впереди шла Мария, за нею он сам со связанными за спиной руками, а позади четыре вооруженных партизана несли раненого. Встреча с ними напоминала немцу какую-то странную сказку. Ему казалось, что вот сейчас из-за камня должен появиться гном или фея и на том берегу озера внезапно возникнет высокий и прекрасный замок. Но ни гномов, ни фей не появлялось, а усталость во всем теле с каждым шагом все настойчивее говорила о том, что происходящее — угнетающая реальность.

Он с нетерпением ожидал привала и удивлялся, как долго не устают, как выносливы эти люди, изменившие его судьбу. Он уже начинал интересоваться, куда его ведут. Но из всех партизан только Илья Ильич, вспомнив институтские времена, кое-как мог объясниться по-немецки. Разумеется, он не стал рассказывать егерю, куда его ведут.

— Да он говорит, что он не немец, а австриец из Линца,— перевел Илья Ильич слова пленного.

— Не умер Данила, а болячка задавила,— сказал Леша.

— Ну нет, между немцами и австрияками есть разница,— стал объяснять Илья Ильич.— Их тоже Гитлер оккупировал. У них даже религия разная. Они, кажется, католики, а Гитлер — лютеранин!..— И, обращаясь к пленному, он сказал: — Жив останешься!

Австриец очень скоро поверил этому, успокоился и даже стал напевать что-то. Мария шикнула на него. А на очередном привале Лангуев сказал:

— По-моему, надо ему вбить кляп в рот. А то вдруг выдаст!

Илья Ильич объяснил егерю, что если тот издаст хоть один демаскирующий их звук, то будет расстрелян на месте. И пленный поклялся, что будет нем как рыба.

— Не больно-то я верю его клятвам! — сказал Леша и решил про себя при первом же громком возгласе стрелять в упор.

На привале немец снова внимательно разглядывал русских. Теперь он уже видел не только то, что сразу бросилось ему в глаза: лица, одинаково почерневшие и обросшие бородами, их изодранную одежду,— но и то, что отличало их друг

от друга. Он начинал угадывать их разность, начинал угадывать в каждом из них какую-то внутреннюю, недоступную ему жизнь; вглядываясь в напряженные и усталые лица, он понимал, что эти люди совершают какой-то подвиг.

«Вот, наверное, такими,— подумал он,— перед римлянами вставали первые христианские мученики!»

И на третьем привале, когда уже заходило солнце, он попросил, чтобы вытащили из рюкзака альбом и карандаш и разрешили ему рисовать.

Илья Ильич не сразу понял, о чем он просит. А Лангуев решительно был против того, чтобы разрешить пленному рисовать.

— Все это, может, для шпионской надобности! Рассчитывает нарисовать планы, а потом с ними и сбежит! — ворчал он.

Но Мария решила:

— Пусть его рисует! Мы посмотрим, что он сделает. Запретить и потом не поздно, а в случае чего можно и совсем уничтожить этот альбом.

Леша развязал рюкзак пленного, вытащил из него две банки консервов, сухари, две пачки табаку, две жестянки сухого спирта, пару носков, полотенце, мыло и большой, в сером полотняном переплете альбом для рисования — финский, с маркой, изображавшей медведя, поднявшегося на задние лапы. Леша подал альбом егерю. Тот с радостью схватил его.

У австрийца болели и немного дрожали руки оттого, что долго были связаны за спиной. Он растер их, сначала одну, затем другую, потом вытащил из кармана брюк большой толстый карандаш и раскрыл альбом. Он знал, как на фронте ценят солдаты фотографические карточки, а что же сказать тогда о рисунках!

Начиная рисовать, пленный, конечно, хотел угодить своей работой, своим искусством этим грубым и непонятным людям, от которых сейчас зависела его жизнь и для которых, как говорили, нет на свете ничего святого. И он принялся рисовать Марию. Казалось, сжатые, потрескавшиеся ее губы вот-вот зашевелятся на рисунке, и она заговорит своим грудным, немного насмешливым голосом. Потому что какая-то смешинка, какая-то улыбка над собой, над всем окружающим виднелась в уголках ее губ, поблескивала в самой глубине серых глаз на усталом лице. Глубоко поставленные под тонкими бровями глаза светились добротой, но в доброте этой не было никакой слабости, а, напротив, видны были воля и сила. Или нет, мо-

жет быть, не от глаз создавалось впечатление воли и силы, а от этого немного выдвинутого вперед подбородка?

«На кого она похожа? Кого напоминает? — силился припомнить художник.— Ну да, в одной часовне в Вене...» На мгновение он закрыл глаза, ища какую-то пойманную им черту, которая и придавала одухотворенность лицу этой странно-красивой и страдающей женщины.

— Что, у нее ребенок умер? — тихо спросил он у Ильи Ильича.

— Ребенок умер... И муж тоже убит! Белофиннами! — так же тихо, едва шевеля губами, сказал Илья Ильич.

— Ну, конечно, Матер Долороза! Да, в штанах, в гимнастерке, с подстриженными волосами, в партизанском отряде. Русская Матер Долороза.

Со спокойной, холодной жестокостью он подумал: «А если бы не было войны,— не было бы этой одухотворенной красоты, не было бы этого изнеможения на ее лице, которое от этого и становится еще более прекрасным... Впрочем, что за чушь! — прервал он свои размышления.— И вовсе-то она не красива. И лицо скуластое, и нос коротковат».

Но, уверяя себя в этом, он понимал, что это неправда, что ему нравится эта чужая женщина, утверждающая силу и веру, непонятную, враждебную ему. Он понимал, что карандашом своим коснулся настоящей силы, настоящей чистоты.

Глядя из-за спины пленного на рисунок, Иван Петрович подумал: до чего же похоже изобразил художник Марию. Он увидел, что она гораздо женственнее, чем он думал раньше, что она гораздо милее, чем ему казалось до сих пор, и он снова позавидовал Илье Ильичу. Да, в Марии, которая была старше Любы лет на пять, есть что-то неуловимо напоминающее Любу. И он тихо сказал:

— Жаль, что нет у меня от Любы ни одной карточки,— и сразу же замолчал, остановленный укоризненным, отчуждающим его взглядом Марии. И вдруг не выдержал, спросил: — Скажи, как ты думаешь, выживет?

— Все может быть... А впрочем, тебе-то что? Для тебя она все равно умерла... Отрезанный ломоть... Думаешь, если ты уничтожил еще трех егерей и выручил нас, так за тобой и вины нет, так мы тебя и простили? — помолчав с минуту, строго спросила она его.

Иван Петрович ничего не ответил.

«Да, Мария права,— думал он,— после всего, что было, и живая Люба для меня все равно что мертвая».

Солнце уже садилось.

Художник нехотя закрыл свой альбом и сразу же вспомнил, что он в плену, в непроходимых и бескрайних лесах русского севера...

— Зачем ты сюда пришел? — спросила Мария в то самое мгновение, когда он сам задал себе такой вопрос.

— Его еще рисуй! — сказал Иван Петрович, показав на Илью Ильича. И раскрыл альбом. Пленный взглянул на запад. Среди стволов деревьев садилось красное-красное солнце, и, облитые красным сиянием, стояли, словно светясь изнутри багряным светом, деревья. А напротив, на востоке, уже шли сизые сумерки, и у комлей, у корней, деревья были совсем темные. Нельзя рисовать — темно.

Австриец закрыл альбом и сунул его обратно в рюкзак.

Леша ворошил консервы в котелке, закипающем на костре. Илья Ильич спал. Лангуев и Федор собирали сухие ветки для костра. На этот раз первую половину ночи предстояло дежурить Ивану Петровичу. И ему захотелось сказать и услышать от других хоть несколько слов о Любе. Слишком много и неотступно думал он о ней молча. Может быть, словами хоть немного можно облегчить страшную тяжесть, лежащую на сердце. А тут Мария сама заговорила.

— Возможно, что суд снизит тебе наказание,— продолжала молодая женщина,— но вина-то твоя не уменьшается от этого. Почему ты так сделал?

Она словно думала вслух, и Иван Петрович жадно слушал ее.

— Почему ты стрелял в Любу? Да только потому, что у тебя в руках оружие было. Если бы в ту минуту оружия не было, так, подумав бы, поразмыслив часок-другой, рукою бы ее не коснулся!

— Не знаю! Не знаю, как тогда было бы. Может, и так, как нынче! — выдавил из себя Иван Петрович, боясь, что Мария перестанет говорить.

— Ржа ест железо, а лжа — душу! — тихо продолжал он.— Я думал, что уничтожаю ложь, измену в нашем отряде. Вот смотрю я на тебя и знаю, что ты так, как Люба, никогда не сделала бы! Нет ведь?

— Ну как ты в толк не возьмешь, что не об этом у нас разговор. Никто и не думает Любу защищать! Плохо поступила... Но ведь твоей вины это не снимает. Ты-то ведь не имел права сам решать ей приговор выносить... Кто тебе это право

давал? Тоже, подумаешь, верховный судья и судебный исполнитель выискался!

— Но на войне, в бою, я сам выбираю мишень, цель? А? Сам выбираю. Значит, право есть? Дано было! — неуверенно, словно ища доказательств в том, в чем уже сам сомневался, сказал Иван Петрович.

— Что ты путаешь, Иван Петрович! Умный ведь человек, да сердце твое ослепло. В бой тебя народ послал. А тут простая пошлость получилась. Убийство из ревности! Мы-то, народ, войну ведем, чтобы душу свою в целости сохранить, за свободу свою, общую свободу, понимаешь? А ты туда же равняешь! Самовольство свое рядом с волей народной ставишь!

— Ты что, заместо прокурора действуешь? — усмехнулся Леша, подойдя к ним поближе.

— Да мы тут все прокуроры в этом деле! — тихо сказал Федор. Оказывается, он тоже слышал их разговор.— Все прокуроры и свидетели... И потерпевшие...

— А теперь, ребята, и спать пора,— сказала Мария.— Берите пример с фрица.

Пленный спал полусидя, прислонясь спиной к широкому стволу сосны... Вскоре и остальные заснули. Спали тихо, беззвучно, и лишь время от времени стонал Илья Ильич да изредка всхрапывал Лангуев и снова замолкал.

Потом он внезапно встал, отошел в сторону и, вернувшись, спросил Ивана Петровича:

— Видел ты, как немецкий след от нашего отличается? Не заметил? У немца каблук узкий. Русский каблук широкий. Вот и следы разные.

Он стал укладываться рядом с Коровиным, но задел его. Коровин встрепенулся и сел.

— Послушай, Леша,— обрадовавшись, сказал Лангуев.

— Ну-у,— протянул сонный Коровин.

Леша молчал. Но Лангуеву словно все равно было, слушают его или нет. Он был непохож на себя, разговорчивый, оживленный.

— Ну, подумай, Коровин, сколько времени с утра тратит бригада, дожидаясь, пока лесоруб повалит дерево? А я так надумал с вечера оставлять несколько деревьев неразделанными, и с утра, не дожидаясь, пока повалят новые, сразу же приниматься разделывать оставленные вечером. Полчаса экономии — не меньше!

Он замолчал, потом снова лег, и не успел еще положить голову на рюкзак, как захрапел. Коровин тоже уже спал.

«Для чего все это он Леше рассказывал?» — подумал Иван Петрович.

Потом Лангуев перестал храпеть, и тогда наступила полная лесная ночная тишина, в которой громкой кажется ниточка ночной комариной пряжи. Время от времени эта пряжа прерывалась истошными, неприятными покрикиваниями козодоя. А Иван Петрович, прислушиваясь к стуку упавшей на землю шишки, внимательно следя за тем, как наступает глухая ночь, как она идет по лесу, все думал об одном и том же. Теперь уже события представали перед ним в ином свете, и он оказывался кругом виноват.

«А ведь Мария-то права,— думал он,— ежели бы оружия в руках не было, может быть, жила и по сей день Люба. А если так,— и ему становилось совсем муторно,— значит, я действительно простой уголовник!»

Когда-то он смотрел оперу, и там возлюбленная изменила, и любовник убил ее. Но ведь она правду ему говорила — Кармен-то! А Хозе из-за этой правды и убил. Может быть, он, Иван Петрович, тоже убил бы Любу, скажи она всю правду. Может быть... Ведь тогда, в ту минуту, он словно ослеп, оглох, онемел, захлестнутый какой-то темной волной. Как мог он допустить себя до такого дела? Иван Петрович сжал зубы, чтобы не заплакать от горя, от злости на самого себя. Он помнит, что тогда в опере многим нравилась Кармен, а Хозе никому не нравился. Только штурман с тральщика сказал, что он оправдывает Хозе: ведь парень из-за девки этой всего лишился: и семьи и звания!

И тогда Иван Петрович сказал, что Хозе вел себя как последний мальчишка. А сейчас! Как трудно во всем этом разобраться!

«Нет, сложностью теперь не оправдаться!» — строго сказал он себе. И снова вспомнил прозрачные, правдивые голубые глаза Любы и ее ложь и застонал от душевной боли.

...Во второй смене дежурил Федор.

...Большая зеленая волна перехлестывала через палубу, обдавая Ивана Петровича тысячами брызг, вырывая из рук штурвал. Коченеющими руками он сжимал обледеневший штурвал и изо всех сил стремился повернуть его. Но где-то заела рулевая цепь, и невозможно было повернуть колесо. А внизу под ногами трюм был доверху набит скользким, блестящим живым серебром улова. И снова набегала на палубу зеленая холодная волна...

Когда Иван Петрович проснулся, на костре уже кипел ко-

телок и Леша раскупоривал вторую банку немецких консервов (огонь разводили только днем, при солнце; ночью, в темноте, не полагалось). Мария разговаривала с Ильей, она была гораздо красивее, чем всегда. Или такой теперь ее видел Иван Петрович после портрета, нарисованного немцем.

А егерь опять что-то чертил в своем альбоме. Иван Петрович заглянул через его плечо. На бумаге возникало лицо Лангуева с жесткой щетиной усов и клочьями курчавящейся, неравномерно отраставшей бороды, с взлохмаченной шапкой волос, в которых целыми прядями пробивалась седина. И все лицо, немного несимметричное, грубовато исполненное, дышало упорством и волей.

«Упрям парень! — подумал Иван Петрович.— И в самом деле упрям». Но все ж таки это был не настоящий Лангуев; художник увидел в нем только грубость и упрямство. И никак нельзя было, глядя на этот портрет, подумать о том вдохновении, какое владело Лангуевым, когда он работал, нельзя было представить себе, глядя на это лицо, какой он верный и преданный товарищ. Никогда он не кривит душою. И, вглядываясь в рисунок, Иван Петрович пробормотал:

— Федот, да не тот!

На завтрак ушли последние продукты. Потом товарищи опять подняли на плечи Илью Ильича и пошли дальше на восток.

Вскоре они вступили в обычное для здешних мест моховое болото. Вязкое, хлюпающее под ногой, поросшее ряской, белыми хлопьями багульника и страшноватое, как все болота мира. Порою они погружались выше колен. И надо было с усилием вытаскивать ногу, и снова погружаться в трясину, и снова вытаскивать, чтобы, сделав следующий шаг, сразу же по пояс осесть в вязкую, противную жижу,— и так все время. Такой путь тяжел и тогда, когда нет на плечах груза, который нужно бережно нести, не раскачивая, стремясь попасть в такт шагу соседа, шлепающего рядом по болоту.

Деревья попадались все реже и реже, да и те были тонкими и чахлыми. Голова у Ивана Петровича кружилась, сердце тяжело билось в груди и глаза заливал пот. Он почувствовал, что еще немного — и он сдаст.

— Почему ты не пошел в обход? — спросил Федора Леша.

— Болото на тридцать километров в длину. Так и обойдешь его! — спокойно ответил Федор.

Пленному развязали руки, заставили и его взяться за носилки. Теперь один из носильщиков по очереди отдыхал. Так

шли они по болоту в обгорелой одежде, вымокшие, потные от напряжения. И не было видно конца этому пути.

— Отдохнуть, что ли? — спросил опять Алексей.

— Вот посуше место найдем, тогда и отдохнем.

Но такое место, где жижа покрывала лишь лодыжки, нашлось только через полтора километра. И тогда партизаны улеглись отдыхать прямо в эту жижу, вплотную, рядом друг с другом, подложив под голову кто мешок, а кто и просто сапоги. Плащ-палатку с Ильей Ильичом, чтобы раненый не промок, товарищи положили сверху, на себя.

Так придумал Лангуев, и все сразу согласились с ним.

Илья Ильич лежал тихо, стараясь не шевелиться, чтобы удобнее было товарищам. Он своими костями, своими боками ощущал их ремни, пуговицы на гимнастерках. Автоматы были положены тоже наверху, рядом с ним, на плащ-палатке, чтобы не отсырели.

Жижа почти наполовину покрывала распростертых под плащ-палаткой людей, сверху на них давил вес товарища, но партизаны были довольны и таким отдыхом, и это ложе казалось им даже удобным.

Ведь могло ж и такого не быть!..

После получасового привала встали, подняли носилки и пошли дальше. Пленный шел и думал о том, что несут они, наверное, очень важного начальника, наверное, какого-нибудь большевистского министра, если так бережно охраняют его, так заботятся о нем и терпят ради него такие мучения.

После второго такого привала, подымаясь из грязи, Лангуев, чтобы подбодрить вконец измученного Лешу, сказал:

— Знаешь, Коровин, что однажды сказал нам Антикайнен? Он сказал: «Настоящий мужчина идет до тех пор, пока у него хватает сил, идет до тех пор, пока упадет, обессилеет, а после этого он встает, снова идет и проходит еще вдвое большее расстояние».

«Но мы и так уже прошли вдвое большее расстояние»,— подумал Леша, устраивая рукоятку носилок на ноющем, словно от множества ударов, плече.

Так они шли по болоту и так отдыхали,— еще час, и потом три, и так целый день, до ночи. Ночевать остановились в болоте.

Плащ-палатку с Ильей Ильичом снова положили поверх себя.

Какие-то болотные птицы все время пописквали, ведя

между собой разговор. А партизаны молчали, и пленный молчал.

Иван Петрович лежал на спине. Вязкая жижа проникла через одежду, было холодно. Еще немного, и зубы начнут выстукивать дробь. Но все же приятно лежать без всякого движения. Хотя и в животе пусто и тяжесть в голове.

Дежурила Мария. Она подобралась вся и сидела на болотной кочке, поросшей уже спелой, осыпающейся морошкой.

«Могла бы и поспать,— подумал Иван Петрович,— сюда в болото ни один бес не дойдет!»

Он лежал на спине и, когда открывал глаза, видел высокое небо, по которому бежали, то закрывая, то открывая луну, сизые облака. Бежали они быстро, как будто их гнал сильный ветер. Здесь же внизу, в болоте, ветра не было — только тишина и холодная неглубокая трясина.

Иван Петрович смотрел на небо, и даже тогда, когда облака закрывали луну, все же четко было видно то место, где луна стояла: оттуда и сквозь облака шло какое-то неопределенное, но ясно видимое сияние...

«Вот так и Люба в моей жизни,— подумал он,— закрыта облаками, и нет тебя, но сияние доходит и сюда ко мне, в болото. Люба! Если бы ты только осталась живой... Повинился бы... И может быть... Нет, ничего не может быть,— с горечью оборвал он свои мысли.— Мария права... нет, ничего не простится!»

Он услышал тихий голос Ильи Ильича, который лежал на своей плащ-палатке, разостланной поверх партизан.

— Машенька, милая Машенька,— говорил Илья,— ты не печалься. Подумай, сколько нам будет дела, когда все уляжется, когда мы победим! Столько жизни, столько работы и так будут люди нужны, что и одноногого с руками рвать будут! Давай лучше подумаем, как назовем мы дочку. Этак годика через два-три.

— А вдруг не дочка!

— Я и на сына согласен,— тихо отвечал Илья Ильич.—Мы его перед совершеннолетием по этому маршруту проведем и это болото покажем. Впрочем, болото-то он и не увидит. К тому времени осушат... Так что ни о чем печалиться не надо! Лучше поспи немного, а я за тебя послушаю часок. Все равно не спится почему-то!

— Да нет, Илюша...— сказала Мария,— я не о том сейчас печалюсь. Я про Любу и про Ивана Петровича... Мне их обоих жалко.

— Ну что ж,— тихо ответил Илья Ильич, так тихо, что Иван Петрович с трудом разбирал, что он говорит,— конечно, Иван запачкал наш отряд. Наше дело святое — нам не только фашистов уничтожать, надо и в себе зверя убить! А он что сделал! И сам теперь так измучился и перестрадал — и наше отношение увидал... Да и мы все в отряде так с этим делом перемучились и многому научились! Но если бы мы и простили Ивану его вину... то мне думается, что он сам теперь не простит себе, сам казнит себя. Даже если Люба и выживет! Ему теперь самому, наверное, судебный приговор нужен. А если он до этого еще по своей гордости не дошел, так через день, через неделю, через месяц дойдет... Да ты, никак, спишь, Машенька?

— А? Что? — встрепенулась Мария.

— Да нет, спи, а я подежурю,— успокоил ее Илья Ильич.

Но дежурил в эту смену не он один. Иван Петрович тоже решил не спать и дежурить, а то вдруг — не ровен час — и Илья по слабости своей, вполне простительной, уснет.

Мария спала, сидя на кочке, уронив голову на колени.

И бежали над ними быстрые, мелкие облака, то закрывая, то открывая сияющую в высоком небе луну.

5

После ночевки в болоте товарищи еще четыре часа шли по трясине, пока наконец не выбрались на сухое место. Там у ручья вымылись, отдохнули немного, закусили брусникой, рябиной, сварили десятка два белых грибов и тронулись дальше в путь. Теперь шли по сосняку.

Белобрысый, с ямочкой на подбородке, Леша, после того как он вымылся у ручья, снова напоминал калач, вываляннный в муке, как о нем кто-то сказал в отряде.

— Эх, рябчика бы нам в котелок! — мечтательно сказал он.

— Зря и мечтаешь, Коровин,— отозвался Федор,— рябчика в сосняке и в болоте нет. Он или в ельнике, или у рек...— И, помолчав с минуту, добавил: — Вот от баночки консервов или медвежатины я бы сейчас не отказался.

— Ну, у нас такой вид, что медведь испугается, за версту обежит! — сказала Мария и стала развязывать руки пленному: он должен был сменить у носилок Лангуева.

— А вот, кажется, и консервы, по щучьему велению, по Федорову приказу,— сказал Леша и кивнул в сторону, где у

кочки под кустиком голубики и в самом деле поблескивала заржавелая банка консервов.

— Сейчас мы и пообедаем!

Но егерь тоже заметил банку, и, прежде чем Леша успел закончить фразу, он нагнулся и схватил ее. И в это мгновение раздался грохот и блеснуло желтое пламя взрыва. Австриец неестественно подпрыгнул, сделал еще другой прыжок, взметнув кверху обе руки, и затем рухнул на черничные кустики, на землю.

— Мина! — сказал Иван Петрович.

— Мина с приманкой! — подтвердил Федор.— Здесь их видимо-невидимо наставлено немцами. Чтобы мы не ходили!..

Они поставили носилки на землю. Мария бросилась к егерю. У него взрывом оторвало кисть правой руки. Кровь так и хлестала из раны.

Мария туго-натуго стянула веревкой руку выше локтя, чтобы уменьшить кровотечение. Затем, сорвав несколько клочков моха-сфагнума, приложила его к ране как вату и сверху перебинтовала свежей, только что в ручье выстиранной портянкой.

Егерь лежал, запрокинув назад голову, и что-то шептал побледневшими губами.

Пока он очнулся, прошло около часу.

— А ну, вставай! — сказала Мария.— Идем! Мы из-за тебя не будем здесь оставаться.

Австриец не понимал ее слов. Илья Ильич перевел. И тогда пленный встал и побрел вперед вместе со всеми. Он шел и придерживал здоровой рукой раненую. Жестяной цветок — эдельвейс болтался теперь на одной ниточке.

На следующем привале Мария соорудила из ремня от автомата нечто вроде перевязи для егеря. Теперь его нельзя было использовать для переноски носилок. И партизаны вскоре поняли, что лишились немалого подспорья.

— Федор, сколько еще осталось? — спросил Леша.

— До переднего края верная четверть сотни! — ответил Федор, и всем стало как-то легче идти, потому что до линии фронта оставалось уже не более суток.

Правда, линию фронта партизаны намеревались перейти в том месте, откуда до Сегежи пришлось бы добираться еще не меньше суток. Но все-таки близка была цель. Прошли они больше, чем осталось идти... Пленный этой цели не видел. Несмотря на то что он потерял не так много крови, егерь, видимо, очень ослабел, все время отставал, из-за него прихо-

дилось то замедлять движение, то просто останавливаться и поджидать, пока не догонит.

Мария теперь шла рядом с ним и тоже вынуждена была отставать от своих.

— Так долго продолжаться не может! — мрачно сказал Лангуев.

— Из-за этого немца мы все останемся здесь навсегда! — подтвердил Леша Коровин.

— Он не может поспевать? — спросил Марию на привале Федор Кутасов.

— Нет, думается мне, не может! — отвечала Мария.— И, наверное, чем дальше, тем медленней будет идти.

— Ну что ж, документы мы у него взяли. Мешок с тетрадью тоже оставим у себя. Сдадим все в разведотдел, а с немцем придется развязаться! — сказал Илья Ильич.

— Да, я тоже так думаю, надо рассчитаться,— подтвердил Лангуев,— все дело в том, чтобы нам дойти, доставить раненого...— Он не договорил и искоса поглядел на егеря. Тот сидел совершенно безучастно и, по всей видимости, даже не подозревал, что сейчас решается его судьба.

— Так что ж,— сказал Коровин,— ты, Мария, сейчас наш начальник, кому прикажешь, тот и пристрелит фрица!..

— Нельзя стрелять! — угрюмо вставил Лангуев.— И так уж нехорошо, что взрыв был. Надо тихо, без лишнего шума.

— Правильно,— подтвердил Иван Петрович.

— Кому ж поручить? — спросила Мария.

— Постой, постой, не приказывай еще! — вдруг прервал ее Илья Ильич.— Я думаю, мы можем его просто так отпустить!

— Что?

Все с удивлением уставились на Илью Ильича. Он приподнялся на локте, глаза его оживились.

— Да, я так думаю! Так будет лучше. В том, чтобы его убить, нет боевой, военной целесообразности! У него руки нет. Правой. Если он и до своих добредет, то помощи никакой оказать им не сможет. Скорее обузой будет... А пока левой рукой работать научится, война окончится. Так!.. Скоро ночь, и ему придется заночевать где-нибудь неподалеку. Поблизости никого нет, а пока он до своих дойдет, мы уже обязательно дома будем! Так ведь?

— Ну, возможно! — сказала Мария.

— А какая нам польза от того, что мы его в живых оставим? — спросил Лангуев Илью Ильича, который очень устал от этой маленькой речи и сейчас опять лежал, откинувшись

спиной на лесной мох. И лишь глаза его, глубоко запавшие, поблескивали от волнения.

— Какая польза? — переспросил он.— А такая. Этот немец и другим расскажет, что мы не убиваем пленных, как им внушают. Поэтому они и боятся сдаваться. Он расскажет, что мы не убийцы, как их эсэсовцы.

— Это еще бабушка надвое сказала, что он там им расскажет,— перебил Илью Ильича Леша.— Ну, да я не вижу пользы для нас в том, чтобы его убить, и не вижу вреда, чтобы он в таком виде жить оставался.

— Ну, конечно, Илья, насчет того, чтобы немца нашим пропагандистом сделать,— это ты уж слишком! — тихо сказала Мария.— Но, по правде сказать, и мне не улыбается его уничтожать. Может быть, из него настоящий художник получится. Видел, как рисует!

— Ну, то правой рукой,— сказал Леша.

— Если захочет, и левой научится. Художник ведь! — вставил Лангуев.

И судьба пленного была решена. Его оставили одного в лесу. Пусть идет к своим. Только у одного Ивана Петровича не спросили мнения. И, несмотря на то, что он понимал, что он уже не полноправный член общества, ему было очень обидно такое пренебрежение. Впрочем, он знал, что теперь так будет и впредь во всем. Если бы его спросили, он, вероятно, согласился бы с другими, что надо оставить в живых пленного немца. Он даже передал раненому свой компас — трофейный, немецкий, и показал рукой на запад:

— Иди туда!..

Пленный сначала даже не понял, что его отпускают на волю. Он боялся, что, когда пойдет от них, партизаны будут стрелять ему в спину.

— Иди, иди, мы люди честные, не бойся,— сказал Илья Ильич.— И передай солдатам, что война эта выгодна только немецким капиталистам и что все, кто сюда пришел, если не сдадутся нам, будут уничтожены. Это им не Австрия. Пусть сдаются!

— Но у нас дисциплина,— ответил егерь,— как же сдаваться?

— А уж это решайте сами. Сдавайтесь, а как — я вам не подсказчик.

И все же пленный не уходил. Он боялся подвоха.

Когда партизаны снялись с привала и пошли дальше на восток, он некоторое время шел за ними. Потом отстал, оста-

новился. И долго стоял и глядел вслед этой странной и непонятной для него процессии — носилки, раненый, четыре бойца и женщина — по-видимому, их начальник.

Потом он сел на мох, устланный опавшей хвоей, и прислонился спиной к клейкой коре высокой сосны... Он уже не видел партизан. Скоро перестал слышать и хруст сухих сучьев под их ногами. Его охватила лесная, всепокоряющая тишина.

А они все шли вперед, на восток, и Иван Петрович, поддерживая обеими руками носилки, думал о том, что только что произошло.

«Как же понять это,— с горечью думал он,— немца, врага, пришедшего на нашу землю, отпускают на свободу. А меня, человека, который в последние годы каждый день рисковал жизнью как боец за дело народа,— меня ведут на суд, для того, чтобы осудить на заключение или смерть, чтобы заклеймить! Да, я слишком легко стал судьей и исполнителем. Да, они правы, в дурной час у меня оказалось в руках оружие. Да, я не должен был, не смел так делать. А немец? Разве он лучше? И где же тогда справедливость — его они отпускают, а меня ведут!..»

Но тут же обгоняла другая мысль: «Да ты подумай, ведут ли тебя? Ты, дружище, сам идешь!.. Да еще как сам! И стрелял ты в немцев на озере, чтобы тебя могли вести, и если бы немцы предложили тебе свободу и вволю денег, разве не отказался бы ты от такого предложения и не пошел бы дальше, таща на плечах эти тяжелые носилки, ночуя в болоте,— лишь бы идти вместе с товарищами и хоть краем уха услышать снова вчерашний ночной разговор Ильи с Марией? Ты ведь сам себя теперь осудил, почему же ты ждешь помилования от других?» Он приходил опять к началу своих размышлений. И снова все они шли спиралью, свивающейся вокруг одного стержня.

— Остановка на отдых! — скомандовала Мария.

6

На другой день, уже далеко за полдень, Мария, а затем и остальные услышали отдаленный лай.

Сначала Марии показалось, что это скрипит под ногами валежник или сухая хвоя.

— Тише! Стойте! — приказала она.

Они остановились. Носилки на плечах. Прислушались. И всем стало ясно, что это отдаленный собачий лай в лесной

тишине, доносившийся, может быть, за многие километры, лай, а не скрип хвои под истертыми, прохудившимися подошвами.

— Может быть, кто-нибудь из фрицев просто поохотиться вышел? — с надеждой в голосе сказал Леша Коровин.

— Дай бог! — отозвался Лангуев.— Но только, думаю, это их патруль с собаками... Из тех, что тылы дивизии охраняют... Будь они трижды прокляты! Зря пленного отпустили.

Они пошли быстрее, и сначала носилки стали как будто легче, а через четверть часа они оказались тяжелее, чем даже в болоте. Собачий лай был слышен по-прежнему. Он не исчез, не заглох, но и не стал ближе. Очевидно, если собака и шла по следу, ее придерживали охотники. И хотя уже пора было устроить привал, партизаны продолжали идти. Но все же через десять минут им пришлось остановиться, чтобы отдышаться.

Иван Петрович вытер пот рукавом и прислушался. Казалось, собачий лай приблизился.

— А я-то думал еще хорошо поработать в лесу! И вот не будет теперь всего этого,— тихо, как бы разговаривая с собой, произнес Лангуев. И он снова стал рассказывать, что надумал, чтобы лучше было работать на делянке.

— Для чего ты все это говоришь? — спросил Федор. В голосе его звучало неодобрение. И в самом деле, для чего Лангуев говорил сейчас об этом?

— А для того,— отозвался Лангуев,— что если кто-нибудь доберется до наших, то пусть расскажет! Пусть они там все на делянках так работают. Вот что!

Ивану Петровичу стало немного неловко, что он так же, как и Федор, подумал, будто Лангуев не ко времени заскулил.

Он оглянулся, потом посмотрел на небо, закрытое тучами.

— Вот что, товарищи,— серьезно сказал Илья Ильич,— я прошу, поймите меня по-настоящему. По-деловому. Сейчас вопрос ясен. Прост. Не надо никакой волынки. Со мной на плечах вам не уйти. И я, и все вы со мной вместе наверняка погибнем. А если вы меня оставите здесь, то сами уйдете — спасетесь, и все задания командира будут выполнены. Это ясно. Решено! — настойчиво сказал Илья Ильич.

— Кроме одного! — мрачно сказал Леша.

— Ну, если только одно, то это простят. Если ни одного, тогда вот непростительно,— уверенно проговорил Илья Ильич и оглядел всех по очереди, стремясь заглянуть каждому в глаза, словно стараясь перелить в него свою убежденность, что

именно так, а не иначе надо выходить из создавшегося положения.

— Пойми, Машенька, никак нельзя иначе,— уже умоляющим голосом проговорил он, обращаясь к Марии,— пойми, Машенька!

Мария не прислушивалась к отдаленному лаю. Она тихо смотрела на Илью Ильича, и во взгляде ее было такое страдание, что Илья Ильич не выдержал и отвернулся.

— Простите меня, товарищи,— сказал он,— но иначе никак не получится. И теперь времени нельзя терять ни минуты. Идите скорее... скорее! — махнул он рукой.

— Пожалуй, что ты прав,— тихо сказал Федор,— пожалуй, что ты прав... Вот тебе лимонка.— И он положил на плащ-палатку рядом с Ильей Ильичом ручную гранату...

Иван Петрович глубоко вобрал в себя воздух. Его дело маленькое. Его должны доставить на суд — вот и все... Он поглядел на Марию. Она молчала по-прежнему. «Хорошо, что не плачет»,— подумал Иван Петрович, нагнулся и поднял с плащ-палатки ручную гранату Федора.

— Я возьму ее себе. Она мне нужнее,— сказал он, стараясь говорить возможно спокойнее,— и пусть каждый из вас оставит мне свой запасной диск...

Мария повернула к нему лицо,— она еще не понимала, в чем дело, она только начинала догадываться... Нет, он не ждал от нее благодарности, не для того решался на это. Просто он был убежден, что так лучше, так целесообразнее.

— Нам нет времени рассусоливать! — грубо сказал он.— Вопрос ясен. Идите быстрее. И тебе, Мария, придется в носильщики записаться! А я здесь останусь! Во-первых, Илья Ильич здесь без пользы подорвется, а я их часок-другой попридержу — раз, и постараюсь вместе с собой с десяток на тот свет захватить — два. К тому же у Ильи ты есть, а я один. Потом, не такая уж утрата, если одним судебным процессом в Советском Союзе меньше будет. Приговор будет исполнен.

— Подожди,— строго сказал Илья Ильич,— он еще и не был вынесен...

— А может быть, я уже его и вынес! — строптиво возразил Иван Петрович и обратился ко всем: — А ну, ребятки, по одной гранате оставьте в мою пользу и по запасному диску...

— Да, конечно, он прав! — сказал Федор, вытаскивая из мешка диск.

Мария подошла к Ивану Петровичу и обняла его за шею.

«Какая она худая,— подумал он,— только кожа и кости остались».

— Прости и ты! — сказал он и поцеловал ее на прощание.— Иди скорее, идите скорее! Васильковскому скажите, что все в порядке. Все задания выполнили. Все до одного... Даже меня до суда доставили...— И он махнул рукой.

— Эх, Иван Петрович,— с ласковой укоризной сказал Илья.

Плащ-палатку, на которой он лежал, уже подымали на плечи.

— Эх, Иван Петрович, рано мы расстаемся... А сына-то мы твоим именем назовем!

— Ладно! Моим не моим, был бы сын. А Ива́нов у нас и без меня много! — попытался отшутиться Иван Петрович, точно ему стыдно было, что он один остается и так возвысился над товарищами этим своим решением.

Иван Петрович провожал жадным взглядом уходящих на восток партизан и следил за ними, пока молодая поросль, смешавшись со стволами высокого бора, совсем не закрыла их от него.

Вот, может, уже завтра к вечеру они придут в Сегежу, их накормят, поведут в баню, дадут чистое белье, положат отдыхать на койки, и все будут так рады. Он представил себе, как они станут париться и хлестать себя вениками, и, тяжело вздохнув, повернулся на запад.

Лай собак стал заметно громче...

Иван Петрович прислушался.

— Ну, бог в помощь,— сказал он и принялся между корнями высокой сосны копать небольшой окопчик.

Под дерном лежал желтый, сухой песок, и копать было легко. Однако выброшенный из ямы песок демаскировал окоп.

— Пусть они бьют сюда,— решил Иван Петрович, а сам устроил себе ложе позади кочки, шагах в десяти справа от окопа, и даже соорудил из дерна невысокий бруствер.

«Здесь уж будет моя последняя лунка»,— подумал Иван Петрович. Потом он подошел к валуну, который лежал шагах в тридцати справа от следов, и приладил на нем сверху свою пилотку, но так, чтобы казалось, будто она высунулась невзначай, по небрежности того, кто прячется за валуном.

— Кажется, все в порядке! — шептал он себе под нос.— Все в порядке.

Если бы он сдался в плен, он мог бы сохранить жизнь. Но у товарищей при расставании даже мысли не мелькнуло, что

он может захотеть купить себе жизнь такой ценой. «Значит, все-таки они верят в меня!» — подумал Иван Петрович. Эта мысль теплой волной омыла его сердце и успокоила. И в самом деле, разве могли они подумать иначе... Доверие товарищей словно возвращало его к жизни.

Собачий лай приближался.

— Теперь сделаем так,— проговорил он и, отойдя метров на двадцать влево, наломал сучьев и навалил их костром. Поодаль от первого разложил второй костер.— Только бы успеть вовремя разжечь! А все-таки Мария по-настоящему любит Илью, и пусть они будут счастливы! И Васильковский со своей Наташей тоже. И Федор Кутасов с Машей, и все, все пусть будут счастливы. Самое главное — это успеть по-настоящему приготовиться к встрече с немцами! Два часа я их здесь продержу. Я заставлю их развернуться. Пусть попляшут тут у меня... Ах, если бы только Люба могла увидеть, как я сейчас работаю. Тогда все было бы хорошо! Боже мой, какую ерунду я сейчас порю! Какую чепуху горожу! — вдруг оборвал он сам себя.— Иван Петрович, прислушайся только сам, что ты говоришь. Ну и прислушаюсь! Ну и что? Говорю то, что хочу, и нет никого, чтобы подслушивать. И никто никогда не узнает об этой ерунде. И меня не будет... Значит, все в порядке... А главное, конечно, Люба не узнает и этот лейтенантик. Будь он неладен! А впрочем, при чем он тут? Пусть и он будет счастлив!.. Опять ерунду запорол,— снова оборвал он сам себя.

Но пока он все это шептал себе под нос, руки у него работали безостановочно. Он вытащил из пилотки заколотую в ней иголку, обмотанную толстой ниткой защитного цвета. Положил пилотку обратно, как была, на валун, размотал нитку. В кармане были еще запасные нитки. Для крепости он скрутил нитку вдвое и привязал один конец ее к тоненькой проволочке — чеке ручной гранаты. Если дернуть за нитку, проволочка обязательно выскочит и граната взорвется. Иван Петрович отнес гранату вперед, навстречу приближающемуся лаю.

Лай теперь слышался совсем отчетливо, можно было разобрать, что заливается не одна, а две собаки.

Граната лежала впереди подготовленного для обороны окопчика, метрах в сорока. Иван Петрович протянул к дерновому брустверу нитку.

Солнце уже заходило. Иван Петрович взглянул на небо. Оно было обложено серыми, сизыми облаками.

«Хорошо бы немцы еще на часок попридержались,— совсем темно будет. А тогда...» И тут он в первый раз подумал о том, что, может быть, останется в живых и уйдет отсюда. Но тут же усмехнулся так, как усмехается многоопытный человек, услышав беспочвенные и бессмысленные мечтания мальчишки.

«Нет, милый. Остался, так уж останешься!»

Собаки были уже совсем близко. Иван Петрович улавливал, как ему казалось, даже хруст ломающегося под ногами валежника.

— Теперь самый раз разжигать! Не так ли, Люба? Не так ли, товарищи народные заседатели?..— зашептал он себе под нос, разжигая костер.

Огонек быстро побежал по сучьям. Иван Петрович перешел к другому костру и стал разжигать его.

Он сидел на корточках и, следя, как начинает играть огонек, как переходит он в пламя, уговаривал: «Побыстрее загорайся, дружок. Только вот гори помедленнее. Вот тебе, вот добавка, кушай! — И, говоря это, он вырывал кустики вереска, черники и бросал их в костер. Костер начал дымить.— Немцы подумают, что здесь никак не меньше десятка партизан, если они разжигают два костра!»

Когда Иван Петрович убедился, что костры его скоро не погаснут, он перебежал, уже пригибаясь, к первому песчаному окопчику, улегся животом на землю. Это было сделано вовремя. Собаки лаяли уже как будто над самым ухом.

И вот там, куда теперь с таким напряжением смотрел Иван Петрович, наконец показался солдат, державший на поводке собаку. Сразу же, вслед за ним, вышел второй. Его тоже тянула за собой на натянутом поводке ищейка. Позади них слышались голоса и слова чужой речи.

Иван Петрович прицелился с наслаждением — оттого, что наконец-то кончается это изматывающее ожидание,— и дал длинную очередь. Автомат бился в его руках, как живой, словно сам рвался вперед, вдогонку за посланными пулями. Это была слишком длинная очередь, очередь, демаскирующая стрелка.

Собаки завизжали, одна завертелась волчком, словно щенок, стремящийся поймать свой хвост,— оба солдата рухнули лицом в мох и так и остались лежать. Иван Петрович, пригибаясь к земле, быстро побежал к валуну и по пути кричал:

— Петька, сюда! Иван Петрович, сиди на месте, Илья Ильич, ты видишь, ты видишь!

— Тише...— сам же себе ответил он грубым басом.— Коля, молчи, не выдавай себя!

Голос получился совсем чужой, и у Ивана Петровича что-то лопнуло в горле, будто надорвалось от криков чужими голосами.

Он лежал за валуном и выглядывал сбоку из-за камня, наблюдая. И теперь видел только одну визжавшую собаку, которая никак не могла поймать свой хвост. И больше никого.

Раздался выстрел. Собака упала. Потом опять наступила тишина, обычная тишина в лесу в сумерки ранней осени.

Какой-то паук на своей почти невидимой паутинке спустился с ветки и чуть не задел по носу Ивана Петровича.

«Должно быть, к счастью»,— подумал он и продолжал вглядываться в кусты.

«Пусть так сидят, пусть ждут. Пусть еще десять минут, час, три часа. Мария уйдет подальше, а там плевать»,— думал Иван Петрович, сжимая обеими руками автомат. И вдруг как затараторили, как зазвенели, загрохотали автоматные очереди. Безостановочно, до конца обоймы стреляли враги, стремясь создать плотную завесу огня, прочесывая пулями лес, чтобы никого не упустить живым.

Иван Петрович лежал, припав всем телом к земле, и видел, как дрожат кустики черники около первого окопчика, из которого он стрелял, как вспыхивает всплесками песок, словно озерная вода, когда пускают по ней голышики. Но пули ложились поодаль от него, около двух костров и первого окопа...

После двадцатиминутной стрельбы опять наступила тишина.

Затем Иван Петрович увидел, как к убитым, распростертым на лесном мху солдатам ползут два человека.

Он подождал, пока они приблизятся к телам. Ему казалось, что они ползут слишком медленно. Слишком медленно тянулась для него каждая секунда. И когда немцы приблизились к убитым, он прикончил их двумя выстрелами, одного за другим, и быстро в высокой траве пополз из-за валуна наконец в тот окоп, который еще раньше окрестил своей могилой. Пока он полз, проклятые пули бились о валун и, сплющиваясь, с протяжным жалобным стоном шмякались в траву рядом с осколками камня.

Изрешеченная пилотка упала наземь.

Уже все тени слились, в лесу было почти совсем темно. Иван Петрович не различал среди убитых отдельных тел —

все сливалось в темноте. Словно выросли среди других валунов этого леса новые.

И опять была стрельба, и опять наступила тишина.

«Пожалуй, я задержал их уже больше, чем на час»,— подумал Иван Петрович и увидел, как еще два солдата прошли вперед, остановились возле убитых, нагнулись над ними.

Один что-то скомандовал, тогда вышли еще двое и тоже подошли к убитым, а первые два медленно, осторожно ставя ноги, шаг за шагом, словно боясь наступить на мину, двинулись вперед, направляясь к Ивану Петровичу. И когда они были в двух шагах от того места, где лежала граната, Иван Петрович дернул за нитку. Шаг. Другой...

«Так и есть! Нитку пулей перешибло!» — подумал Иван Петрович и снова взялся за автомат. Но тут раздался взрыв, и при вспышке рвущейся гранаты Иван Петрович увидел, как оба солдата, как-то неестественно взмахивая руками, валятся один влево, другой вправо.

Двое других, находившиеся около убитых, залегли за телами.

«Ладно,— подумал Иван Петрович,— хотите играть в молчанку, будем играть в молчанку».

И опять молчание, на этот раз никем не нарушаемое, продолжалось минут десять, длилось полчаса, тянулось час, тянулось — растягивалось на два.

«Может быть, обходят, с тыла ударят? — подумал Иван Петрович.— Ну и пусть, еще часок выиграю!»

Прошел, наверное, еще час.

Кричала сова.

Выпала тяжелая и холодная роса.

Иван Петрович начинал коченеть.

«Скорее бы! Скорее бы! — думал он.— И в самом деле, слишком уж затягивается этот боевой эпизод! А впрочем...— И тут у него появилась надежда.— Если я убил их офицера, они до утра ничего не станут делать! Они ждут! Они боятся! Послали с донесением в штаб... Так чего же я здесь лежу? Чего дожидаюсь? Уходить, идти!»

И он стал отползать от своей лунки, от могилы своей, на животе, ощущая каждый сучок, каждый камешек, каждый бугорок и веточку черники... Раздавил морошку. «Ерунда! Буду жить!»

Вслед ему раздалось несколько выстрелов. И снова замолкло.

Ночь... Темнота... Ничего не видно за шаг. Лес. Рука оцарапалась больно. Ладно, завтра посмотрю! Значит, будет завтра?.. А тогда и послезавтра — и дальше... месяц... год... жизнь! Он, кажется, мог бы сейчас запеть. Пятьдесят метров. В ту ли сторону продвигаюсь? Все равно. Собаки убиты. Не найдут... Как быстро идет время! Подальше бы отползти.

Он встал на ноги и, нагнувшись, пошел. Двести метров, триста. Подальше бы отойти до рассвета. Кажется, никто не преследует. Ну да! Они лежат, ждут рассвета и офицера.

Теперь он шел быстро. Во весь рост. Ветви хлестали его по лицу. Хвоя царапала щеки. За ноги цеплялся багульник и папоротник. Носок сапога продрался, и он зашиб об узловатый корень большой палец ноги... Подпрыгнул и пошел дальше... в Сегежу...

Кажется, небо зарозовело на востоке... Зарозовело. Пошел дождь... Сначала редкий и крупный. Может быть, просто это деревья задерживают влагу? Но нет. Дождь стал чаще и мельче. Капли скатывались по щекам, по подбородку, щекотали, стекали по плечам. Ну да, на востоке зарозовело! Как это раньше он не заметил, что ранен в бок... Хорошо, что мимо кости. Навылет.

«А на востоке-то розовеет»,— хотел сказать он, но почувствовал, как у него перехватило горло.

— Охрип ты, Иван Петрович, и кругом виноват! — прошептал он, грудью раздвигая колкие мокрые можжевеловые кусты.— И нет тебе прощения!

Уже не только небо, но стволы деревьев в лесу начинали светиться, словно изнутри, каким-то ровным и приятным для глаза светом. И только у самой земли рваными клочьями приникал ко мхам холодный предутренний туман...

Москва, 1960

ПИСЬМО НАДЕЖДЕ

Земля в воронке была черная, влажная и липкая. На кромке лежал еще тонкий, как тающий сахар, ледок. Он хрустнул и переломился под тяжестью тела Харламова. Вбирая голову в плечи, боец вполз в воронку и привстал. Стоя на дне ее можно было выпрямиться во весь рост. Такая она была глубокая. Но Харламов, стирая грязной рукой налип-

шую на колени землю, стоял полусогнувшись, не решаясь выпрямиться.

На дне воронки, поблескивая, чернела лужа — и в этой ржавой луже отражалось голубое, по-весеннему просторное небо, по которому быстро бежали легкие облака. Харламов взглянул вверх и увидел, как почти у самой воронки стоит высокая стройная березка. Ветви ее набухли пряно пахнувшими почками, и на одной сохранилось еще несколько резных золотых листьев.

«Вот ловко! — подумал Харламов.— Здесь земля дыбом поднята, а она стоит как ни в чем не бывало, даже с листьями...» На склоне воронки, на подостланной твердой, топырящейся плащ-палатке, лежала женщина. Она тяжело и часто дышала. И хотя день был ветреный и прохладный, на лбу у нее проступали, усеяв его, мелкие прозрачные капельки пота.

Женщина стонала, не разжимая рта, и, широко раскрыв глаза, глядела на небо.

— Надя, ну как? — спросил Харламов девушку в ватнике, склонившуюся над женщиной.— Ну как?

— Ради бога прошу — уйди! Еще ничего нет,— торопливо сказала девушка и отвела рукой прядь волос, опустившихся на ее круглое, почти детское веснушчатое лицо.— Иди, как тебе не стыдно! — повторила она и, подняв на бойца глаза, вся зарделась от смущения.

— Чего ж тут стыдного,— у меня у самого дома двое пацанов осталось,— ответил Харламов.— Я к тебе за другим пришел. Отдай гранаты и патроны. Здесь они тебе ни к чему.

— Ладно, только уходи скорее.— И Надя, быстро раскрыв мешок, вытащила и передала Харламову одну за другой девять полных обойм. Затем сняла с пояса три гранаты.— Эту не отдам,— кивком показала она на четвертую, оставшуюся висеть на поясе.— Может быть, понадобится.

— Понимаю!

И Харламов, перед тем как отправиться назад к товарищам, еще раз взглянул на лежащую на плащ-палатке женщину. Ей было лет двадцать пять. Рыжеватые волосы, раньше связанные узлом на затылке, теперь расплескались по плечам. Она то хмурилась от боли, то снова широко раскрывала глаза.

Сейчас женщине стало лучше. Схватка окончилась.

— Скоро ли? — шепотом спросил Харламов, выползая из воронки.

— Скоро,— так же шепотом ответила девушка,— уже скоро, продержитесь еще немного...

И словно в ответ ее словам раздалось гудение летящей мины. Она разорвалась где-то неподалеку. Но ни Харламов, ни девушка, снова склонившаяся над женщиной, не обратили на мину внимания. Женщина, ни на кого не глядя, спросила:

— Опять стреляют? Опять?

— Опять, но ничего, не бойся, Аннушка, уже скоро все будет в порядке,— отозвалась девушка.

Отвинтив пробку трофейной алюминиевой фляжки, она вылила на ладони спирт и затем деловито растерла руки прозрачной, холодящей влагой.

Харламов подполз к товарищам, притаившимся между огромными толстыми корнями вековых сосен. Сосны стояли около дороги, и на их бронзовой коре прозрачными и пахучими клейкими каплями поблескивала смола...

— Вот и вооружились за счет санчасти,— весело сказал Харламов.— В такие дни у нас в затонах пароходы готовятся к выходу на открытую воду. На реку... Чудесная река Волхов. Березки по берегам. Кручи!

— А у меня, понимаешь, яровые!..— отозвался длинноусый старший сержант Коновалов.— У меня в колхозе скоро сев начнется. Там вместо меня сейчас прдседателем баба. Весна ранняя, а земля у нас рассыпчатая — успеют ли снег задержать? — И он вытащил зеленый сатиновый кисет, на дне которого сохранилась щепотка махорки. Коновалов взвесил на ладони облегченный кисет и, не развязывая, положил обратно в карман ватных брюк.

— Ну, как там Аннушка, что с ней? — спросил коренастый, круглолицый, похожий на мальчика разведчик Грунь.— Как с ней?

— Надя говорит, все в порядке... Тише. Смотрите! Шевелится.

На той стороне дороги зашевелился можжевеловый куст и медленно стал передвигаться вдоль по обочине...

— Погоди стрелять,— сказал Коновалов и положил руку на плечо Груня,— успеешь.

Они стали вглядываться в двигающийся куст. Рядом с ним начал двигаться второй.

«А ну-ка еще!» — подумал Харламов и увидел, как покачнулся третий куст.

И в эту минуту раздался истошный, пронзительный крик. Ничего, кроме отчаяния, боли, крик этот не выражал, но он

был таким громким и хватающим за душу, что товарищи невольно оглянулись, а кусты перестали двигаться...

— Вот она, материнская мука! — мрачно сказал Коновалов, смущенно подергивая левый ус.— А это только начало... Потом сына растишь, и новая мука — в солдаты возьмут, на войну... Только тогда хуже, криком не поможешь!..

— Вот тебе и Надя! А говорила — все в порядке! — с укором сказал Грунь Харламову, словно тот был во всем виноват.— Вот тебе и все в порядке!

Харламов развел руками, будто он и в самом деле был виноват.

Грунь даже среди разведчиков славился редкой смелостью. Но он предпочел бы один с рогатиной выйти против разъяренной медведицы, защищающей детенышей, чем еще раз услышать этот пронзительный вопль.

И все же ему пришлось услышать его еще не один раз. Чтобы заглушить крики, от которых у него сжималось сердце, Грунь выстрелил в притихший куст, пониже, в то самое место, где приходился корень. Куст качнулся и упал, открывая металлическую каску на голове солдата.

— Так,— сказал Грунь и снова приложился к винтовке, целясь во второй куст.— Не уйдешь!

И снова выстрел заглушил донесшийся из воронки крик.

— Ох, как страдает! — поморщился Харламов.— У нас на «Орле» одна рожала...

Рядом хрустнул сучок.

— Да замолчи ты со своими пароходами! — сказал Коновалов и стал снова прислушиваться...

Разведчики Коновалов, Грунь, Харламов, Алиев и сандружинница Надя Малая — фамилия которой так соответствовала ее внешности, что казалась не фамилией, а кличкой — возвращались из дальней разведки по тылам неприятеля. За неделю их блужданий робкая, точно приготовишка, весна превратилась в уверенную в своей красоте и молодости задорную восьмиклассницу.

Разведчики сбили вконец задники сапог, от недосыпания и недоедания тела их казались им то необычайно легкими, то чрезмерно грузными, но они узнали столько интересных и важных для командования вещей, что последний день шли безостановочно, торопясь скорее выйти к своим. Идти было трудно. Молодая весенняя земля налипала на сапоги, хотя шли, обходя раскисшие дороги, по прошлогодней прелой листве, густо устилавшей землю перелесков и прозрачных рощ.

Сегодня утром разведчики обходили стороной маленькую деревушку, старые избы которой толпились на пригорке. На узкой тропе, между не вскопанных с прошлого года гряд колхозного огорода, они догнали женщину в сером вязаном шерстяном платке, медленно бредущую на восток... Казалось, она просто вышла прогуляться в это ясное и погожее весеннее утро, и вот это-то и было самым странным, потому что, как знали разведчики, без специального разрешения старосты, поставленного немцами, ни один житель не имел права выйти из деревни.

— Товарищи,— обрадовалась женщина,— товарищи, а я как раз к вам иду... Немцы сегодня вечером всех в Германию угоняют... А я не хочу. Не могу я с ними. У меня Костя, муж мой, в Красной Армии. Я здесь все места знаю, я бежать решила к нашим. И вот вы тут...

— Ну и пойдем с нами,— сказал старший сержант Коновалов и ладонью пригладил усы.— Ты нам в тропах поможешь разобраться.

И они пошли дальше вместе с Анной Степановной, Аннушкой.

Анна Степановна рассказала им все, что знала о немцах, о себе. Она была учительницей средней школы, понимала по-немецки и знала про немцев больше, чем им того бы хотелось. Но сейчас, зябко кутаясь в большой шерстяной платок, она не хотела вспоминать о них, словно боясь разбередить рану.

— Идемте тише,— к великой радости притомившейся Нади сказал Грунь.

— Ты чего это? Устал, что ли, или так, для смеха? — спросил Коновалов.

— Гляди! — кивком указал на учительницу Грунь.

Коновалов увидел большой выпуклый живот Аннушки, понял, что она на сносях, и рассердился на себя: «Мальчишка Грунь сразу увидел, а я дедом скоро буду и не заметил». Но едва только он это подумал, как увидал на дороге немецких солдат.

Те шли спокойно, не оглядываясь, держа в руках автоматы.

«Надо уходить, нельзя завязывать бой, слишком много мы знаем, чтобы рисковать»,— сразу же решил Коновалов и скомандовал:

— Ходу!

Но немецкие автоматчики тоже заметили разведчиков,

Харламов длинной очередью из своего автомата уничтожил пятерых гитлеровцев. Они сразу и одинаково, словно по команде, повалились в грязь дороги, чтобы больше не вставать. Но, к несчастью, немцев оказалось много,— Харламов уничтожил только передовой дозор. Из-за поворота показались еще солдаты в зеленых шинелях. Но так как среди них не было офицера, они рассыпались по роще и, прячась за стволами деревьев, открыли беспорядочную стрельбу. Не видя разведчиков, которые успели залечь, они стреляли в ту сторону, откуда раздалась смертельная очередь русского автомата.

— Ой! Ой! — застонала Анна.

— Что, ранена? — деловито спросила, подползая к ней, Надя.

— Нет! Началось! — ответила Анна Степановна, кусая уголок шерстяного платка...

— Товарищ Коновалов, я дальше идти не могу. У меня началось. Оставьте меня здесь. И уходите...

— Ну нет! — резко, почти грубо, ответил Коновалов.— Не на таких напала!.. Что мы, не понимаем,— сейчас новый человек будет. Не можем мы его на немецкий произвол оставить. Ясно! Да как же после этого я своей жене в глаза посмотрю!

И Харламов, и Алиев, и Грунь, и Надя тоже всем существом своим понимали, что Анну Степановну и того, кто должен сейчас появиться на свет, нельзя оставить здесь в лесу, у немцев.

Харламов представил, что вот он возвращается с рейса и детишки — мальчик и девочка — бегут ему навстречу, добегают и обхватывают его ноги, а льняные головки их достают ему только до колен.

Надя вспомнила, как мать сердилась на нее за то, что она записалась добровольцем. А Грунь ничего не вспоминал, он с изумлением глядел на мучающуюся рядом с ним женщину. Он знал и по рассказам друзей, и по книгам о родах, но никогда не думал, что это так мучительно. Вглядываясь в измученное лицо женщины, он ни на мгновение не забывал о врагах, рассеянных в роще через дорогу. И как только наметанный глаз замечал подозрительное движение в роще, он с наслаждением нажимал на курок. Один Алиев, казалось, оставался безучастным. Но это только так казалось. На самом же деле, соблюдая приметы своего народа, он считал, что чем

больше людей знают о родах и сочувствуют женщине, тем мучительнее они проходят. И поэтому он притворялся, что ничего не видит и не понимает, что его занимает только то, что творится там, через дорогу.

— Алиев! — подозвал его Коновалов.— Вот возьми.— И он вытащил из-за пазухи пакет...— Передай это майору и расскажи обо всем, что мы видели. Немедленно иди к нашим. А мы здесь за нового человека будем биться. Задание должно быть выполнено! Повтори приказание.

— Вы здесь за будущего человека биться станете, а мне приказано обо всем, что видели, доложить майору.

— Иди! Делай!

И Алиев исчез.

Затем Коновалов подозвал Надю:

— Отведи отсюда Аннушку в спокойное место. А мы здесь сдержим их.

И Надя не могла найти для Анны Степановны места более спокойного, чем воронка от полуторатонной авиабомбы, метрах в двухстах от того места, где сражались товарищи.

* * *

И вот он появился на свет, красный такой и нелепый, как будто ненастоящий... В свете багрового садящегося солнца в руках санитарки блеснули ножницы. Девочка.

И, схватив ребенка на руки, Надя громко закричала:

— Урра! Девочка! Урра!

Тонкий ее голос разнесся далеко по пустому, прозрачному, еще неодетому весеннему лесу... Анна Степановна утомленно улыбнулась.

— Урра! — еще раз крикнула Надя во всю силу своих легких. Это «ура» было подхвачено у дороги, и Надя различала низкий голос Груня, звонкий — Харламова и хрипловато-грудной голос Коновалова. Затем раздались выстрелы, взрывы гранат — и снова стало тихо...

Минут через пять у воронки появились Грунь и Харламов.

— Идем! — сказал Харламов.

— Быстрее!— добавил Грунь...

Они подхватили на руки Анну Степановну и понесли ее.

Надя несла на руках младенца, завернутого в марлю вме-

сто пеленки и прикрытого сверху плащ-палаткой. Они шли быстро, торопясь, хотя Наде казалось, что можно было бы идти и потише — ведь за ними никто не гонится...

К ночи они находились уже на командном пункте нашего полка...

* * *

Было темно, и мигалка на столе почти не разгоняла тьмы. На жарко натопленной печи, на мягких овчинах дремала Анна Степановна, а в углу, в люльке, которую бойцы столько дней привыкли видеть пустой, лежал завернутый в свежевыстиранную мужскую нательную рубаху младенец. То и дело в избу входили бойцы, подходили к люльке — трогали ее, раскачивая, вглядывались в сморщенное личико Надюшки (так все назвали девочку в честь повивальной бабки) и с какой-то особенной улыбкой снова выходили на скрипучее крыльцо. А за столом около мигающей коптилки сидела Надя и крупными буквами писала письмо. Слева, заглядывая через ее плечо, сидел белобрысый Харламов, справа, поставив локоть на стол,— маленький, коренастый Грунь. Тонкий и стройный Алиев, не находя себе места, все время шагал по горнице. Майор приказал им отдыхать, но они решили сначала написать письмо Надежде. Это письмо Анна Степановна должна была распечатать и прочитать Наде в день ее восемнадцатилетия, в апрельский день тысяча девятьсот шестьдесят первого года.

— Пиши,— командовал Грунь.— «Дорогая Надежда. Сегодня весенний день, и ты, наверное, веселилась и радовалась вместе с друзьями и подругами. Тебе сегодня исполнилось восемнадцать лет, столько, сколько было нашей санитарке Наде, когда она в роще, в воронке, принимала тебя. Надя уже успела вынести из боя сто одиннадцать раненых с оружием. Мы говорим тебе, что это нелегкая работа, когда пули свистят кругом. Для того, чтобы ты могла ходить во весь рост, не пригибаясь, мы ползали по липкой грязи. Для того, чтобы тебе всегда было светло, мы проводили непроглядные ночи в лесу на морозе и затемняли окна своих домов. Для того, чтобы нам и тебе жить свободными, наши бойцы бросались под гусеницы танков. И мы отстояли тебе и твоим ровесникам жизнь и счастье. Так не забывай — ты родилась на земле, политой кровью, и должна быть достойна трудов наших. Расскажи об

этом твоим подругам, которые радуются жизни рядом с тобой».

— Не обо мне писать надо, а о Коновалове— тихо сказала Надя, отрываясь от письма. Тень ее качнулась по стене и остановилась.

— Вот, вот! — подхватил Алиев.— Я тоже так думаю. Пиши, как все было. Такого командира, такого командира — искать надо и не найдешь!

И тут Харламов начал диктовать тихим, как будто чужим голосом, медленно, с трудом подбирая слова:

— «Если рассказать про весь этот бой, то получится очень сухо. Сухо получится потому, что у нас не было никакой техники, даже патронов уже не хватало, а только одни гранаты... И когда мы издали услышали, что твоя мама уже не жалуется громко, а сестра наша Надя закричала: «Ура!» — мы все поняли, что новый человек народился и надо его защищать от лютого врага, от хищного волка. Немцы приближались, а патронов у нас не было... Тогда Коновалов поднялся во весь рост, закричал «ура» и бросился вперед на немцев, размахивая гранатой. И мы все поднялись за ним, у каждого граната в руке, и бросились на немцев. Разорвались наши гранаты на немецких спинах. Не выдержали немцы, испугались, что нас много, и побежали. А Михаила Антоновича Коновалова пуля ударила в самое сердце».

— Товарищи, я не могу больше писать,— сказала Надя и заплакала, всхлипывая горько, как маленькая девочка.

Но Харламов, недвижными глазами глядя на тусклое пламя мигалки, не обращая внимания на слезы Нади, продолжал диктовать:

— «Михаил Антонович упал на сырую землю. Изо рта у него выступила кровь и залила усы. И сказал он нам: «Прощайте, товарищи, я за все в ответе! Спасайте Анну Степановну и ее младенца». И пишут тебе об этом, уважаемая Надежда, бойцы третьего взвода, второй роты, отдельного разведывательного батальона, чтобы сегодня, в день своего совершеннолетия, ты вспомнила, Надя, старшего сержанта Михаила Коновалова, как он жил и как боролся за тебя».

За спиной Харламова раздавались шаги Алиева, рядом всхлипывала, вытирая рукой глаза, Надя, на печи ровно дышала, засыпая, Анна Степановна, и жалобно поскрипывала пружина, на которой была подвешена колыбель.

1943

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ШУЮ

Семен Петин раздвинул колючие кусты можжевельника, обдавшие его брызгами, и выглянул вперед. По грязной дороге шли фашистские солдаты в шинелях мышиного цвета. Они с опасением смотрели на придорожные кусты и деревья и держали оружие наготове. Но все же они шли не рассредоточиваясь, как полагается, а кучей. Петин пожалел, что у него под рукой нет автомата — всех бы снял.

Он тяжело вздохнул, оборвал провод и, взяв ящик телефонного аппарата под мышку, быстро пошел по едва заметной стежке к реке. Так он должен был намного опередить солдат и первым перейти по дощатому мосту. И хотя он скользил по мокрой траве, спускаясь по склону, хотя шинель, набухшая от мелкого дождя, который непрерывно шел двое суток, тяжело ложилась на его плечи, он не мог не залюбоваться картиной, открывшейся сейчас перед его глазами.

На скалистых высоких берегах в какой-то отчаянной отваге, на самом обрыве, лепились отдельные сосенки. Прогалины лесные, казалось, были покрыты пестрым влажным ковром, с преобладанием желтого цвета курослепа и чистотела. Вокруг были тишина и безлюдье, а на другом берегу розовыми отблесками отражаясь на коре высоких деревьев, пылал закат. И внизу, под скалами, по руслу, словно по просеке, прорубленной в густом лесу, протекала река, плавно пронося свои потемневшие к вечеру, уже холодные воды к Онежскому озеру.

Стежка вывела Петина на большую дорогу, покрытую вязкой грязью от прошедших дождей. И здесь по бестолочи следов, по обрывкам бумаги, по лошадиному навозу, по обломанным ветвям сразу стало ясным, что ни о каком безлюдье говорить не приходится. Здесь, на дороге, слышен был даже какой-то отчаянный неразличимый гул, в котором отзвуки выстрелов смешивались с гудением моторов, ржанием лошадей и человеческими голосами. Спуск к переправе был крут.

Петин снова вздохнул и уже почти бегом пустился к самой переправе. Это было временное сооружение — плавучая переправа. Сплетенные друг с другом бревна составляли как бы ее каркас, на который сверху были набиты сплошным настилом доски, по краям закрепленные каемкой из поперечных бревен. Никаких устоев, боков не было, настил достигал уровня воды, и когда по этому мосту продвигалось несколько телег, он оседал и будто полоскался в воде, которая сначала

выступала изо всех щелей, а потом и вовсе покрывала собою доски на несколько сантиметров. Настил этот словно пружинил под ногами, и вода в нем проступала на протяжении всех девяноста метров в зависимости от того, где сейчас находились продвигающиеся люди и грузы. Гладкие, скользкие от воды доски казались черными. Петину стоило больших усилий перейти по этой переправе со своим грузом и не поскользнуться. Но, балансируя, он все же перешел на другой, более пологий, берег и стал подниматься по дороге. Надо было пройти по совершенно открытому месту до первых камней, до леса — метров пятнадцать. И когда, пройдя уже это пространство, Петин вступил в лесок, он услышал позади себя скрип и ровный плеск воды от колебания настила. Он повернулся и увидел идущего по мосту немецкого автоматчика. В первое мгновение Петин даже растерялся. Руки у него были заняты телефонным аппаратом, и он не знал, что делать с ним. Затем пришла ясность. Он поставил ящик на камень, снял из-за плеча винтовку, встал за ствол сосны и, прицелившись, стоя выстрелил. Приклад ударил в плечо. Петин зажмурился, потом сразу открыл глаза и увидел круги на воде. Немец, раскинув руки, лежал на дощатом настиле переправы, и пальцы левой руки его, сжимаясь, загребали воду, которая струилась между коченеющими пальцами. Круги на воде были от оброненного пистолета.

«Жаль пистолета,— подумал Петин,— пригодился бы». И снова, взвалив на себя ящик, пошел дальше, думая, что каждую минуту через эту переправу могут проскочить немецкие мотоциклисты, самокатчики и даже пехота на легких машинах. И эти мысли заставили его ускорить шаг. Но не успел он отойти и двадцати шагов, как из-за дерева выступил человек. Сердце у Петина екнуло. Он остановился.

— Товарищ,— обратился к нему боец,— ты идешь в тыл, скажи там, чтобы меня сменили, а то уж вторые сутки здесь дежурю. Убили, наверное, того, кто меня поставил, а меня и позабыли. Сутки не жравши стою.

— Да уходи ты! Впереди никого нет. Фашисты подходят,— сказал Петин.

— Говорят тебе, не могу от вещей уйти. Я человек на часах! — разозлился боец и затем таким же раздраженным тоном спросил: — Сухарь есть?

Петин повернулся к нему боком, чтобы не снимать с плеча ящик-телефон.

— Тащи из кармана. Один есть. Только, чур, пополам.

— Ладно,— ответил боец и запустил свою руку в карман шинели Петина.

— Я ведь сапер,— сказал он неизвестно к чему, разламывая большой сухарь надвое.

Петин хотел спросить, какие вещи охраняет здесь сапер, но в это время они увидели быстро шагающего к ним командира в черной летной шинели, с которым шло несколько бойцов. Высокий, худощавый и смуглый, он шел быстро, широко расставляя ноги. Он подошел к саперу. Тот, увидев прямоугольник на петлицах шинели и красную звезду на рукаве, сказал:

— Товарищ старший политрук, позвольте к вам обратиться!

И он повторил то же, о чем только что говорил Петину.

— А вы откуда? — спросил Казанцев Петина.

Петин спокойно и подробно рассказал все, что он видел.

— Так что немцы каждую секунду могут пройти через эту переправу,— закончил он.— Я бы немедленно занял дзот на том берегу.

— Что вы охраняете, товарищ сапер?

— Сено, бочку горючего, колючую проволоку.

Метрах в двадцати от дороги виднелся его груз, прикрытый брезентом, в глубоких складках которого скопилась дождевая вода.

— Товарищ Иванов, товарищ сапер, товарищ Сухарев, товарищ Фадейкин, тащите сено на мост, налейте горючего,— приказал Казанцев.

Те сразу принялись за дело. Поволокли тюки прессованного сена вниз к переправе, покатили туда ребристый металлический бочонок керосина. И вскоре сквозь строй стволов сосен можно было увидеть, как в наступавших сумерках вспыхнули на реке языки пламени.

А сам Казанцев в это время смахнул с придорожного камня влагу, сел на него и принялся писать записку комиссару опергруппы о том, где кончались наши и начинался враг, о том, что немцы продолжают двигаться по дороге, и о том, что переправа будет уничтожена, фашисты не смогут перебраться на этот берег. Казанцев сжимал химический карандаш и писал несвойственным ему размашистым почерком на листке блокнота, затем свернул его и передал Петину.

— Немедленно доставьте эту бумагу комиссару опергруппы от старшего политрука Казанцева.

Петин расстегнул шинель, спрятал исписанный Казанцевым листок в карман гимнастерки, козырнул, поправил за плечом винтовку и пошел по дороге.

Казанцев встал с камня и зашагал к переправе. Навстречу ему шел сапер. Сухарь похрустывал у него на зубах.

— Еще тюк сена возьму,— сказал он Казанцеву,— а то просто беда, мост не горит.

Казанцев ускорил шаг. Уже издали он увидел, как ярко в сумерках быстро наступающего вечера горит сено, политое керосином. Из клубов дыма взметались кверху и разбрызгивались в стороны острые, длинные языки пламени.

«Похоже на протуберанцы»,— подумал он. Но как только пламя доходило до досок настила, оно становилось все меньше и меньше, и дым темнел и стелился все ниже к реке. Настил не загорался. Холодная вода, накатывавшаяся на доски, никак не давала настилу воспламениться. Непрерывно моросящий мелкий дождь тоже делал свое дело. Все это сразу теперь понял Казанцев, и в это же мгновение он увидел показавшихся на дороге неприятельских солдат.

— Назад, назад! — закричал он своим бойцам, которые стояли открыто у самого берега и с интересом наблюдали за тем, как горело на мосту сено. Немцы тоже заметили красноармейцев и остановились. Один из них выстрелил, но не попал и быстро залег у дороги.

Казанцев вздрогнул: совсем рядом с ним раздались оглушительные звуки пулеметной очереди.

Притаившись за камнем у своего ручного пулемета, полуоткрыв рот и блестя металлическим зубом, лежал небритый Белоцерковский. Один из немцев рухнул на порыжелый снег дороги, остальные разбежались по сторонам. Когда они открыли ответную стрельбу, все люди Казанцева были уже наверху за камнями в относительной безопасности.

«Неужели мы сдадим эту переправу? — подумал Казанцев. И его охватило мучительное чувство.— В этом никого нельзя будет винить. Только я один и буду виноват. Особенно после моей записки».

Немцы вели беспорядочную стрельбу.

Казанцев оглянулся. Сзади из-за леса к нему приближался сапер, волоча ящики со взрывчаткой, по виду похожей на мороженое масло. При нем был и бикфордов шнур.

— Товарищ старший политрук,— сказал он, радостно улыбаясь,— может быть, этот ящик подойдет? Чудесная взрывчатка там под брезентом была.

— Подойдет...

Сено дотлевало на настиле переправы. Темные обгорелые клочья сухой травы кое-где носились по воздуху. И все так же, раскинув руки, лежал на мосту немецкий автоматчик.

Казанцев отошел назад на несколько шагов и подозвал к себе своих людей.

— Товарищи! — сказал Казанцев и оглянулся.

Перед ним стоял ящик с желтоватым толом. Сапер примостился на нем, распрямляя бикфордов шнур. Рядом, за большим валуном, полусогнувшись, сидя на корточках, расположились остальные.

Иванов начал перематывать портянки поудобнее. Фадейкин стоял во весь рост, скрываемый стволом многолетней сосны. Сухарев внимательно слушал Казанцева, то и дело поглядывая на помост, не появятся ли там снова немцы. Белоцерковский набивал патронами диск.

— Товарищи,— повторил Казанцев и кончиком языка облизнул внезапно пересохшие губы.— Как ваше самочувствие? — вдруг спросил он.

— Как у всего народа! — отозвался Сухарев.— Я лично чувствую, как у себя в пекарне перед тем, как в печь хлебы ставить,— добавил он, уже немного балагуря по свойственной ему привычке.

— Имейте в виду, что перед нами ответственное задание. Очень опасное задание,— сказал Казанцев.

— А мы сюда пришли не пировать, а Ленинград наш защищать. Ленинград, понятно? — сказал сапер и выпустил из рук бикфордов шнур.

— Так, все ясно? — Казанцев показал на ящики со взрывчаткой.— Это надо будет доставить на мост, и мы взорвем его. Один поползет со взрывчаткой, остальные будут прикрывать его огнем.

Белоцерковский поймал его взгляд на себе.

— Для этого-то и существует ручной пулемет. Для прикрытия продвижения стрелков вперед! Мы устав знаем.

И он стал прилаживать свой пулемет в расщелине между двумя камнями.

— Дай-кось, я пойду первый,— сказал Иванов.— Портянки хорошо намотаны, теперь-то уже никаких потертостей не будет.— И, примериваясь, он поднял ящик со взрывчаткой и удовлетворенно крикнул: — Ничего! Подходяще!

— Сними шинель, удобнее будет,— сказал Казанцев.

Иванов спокойно расстегнулся, снял шинель и положил на мокрый мох.

— В случае чего, там, в кармане, четверка махорки есть,— сказал он.

— Кем ты до войны работал? — спросил Казанцев.

— Лесоруб, наследственный лесоруб я буду. И сына по той же линии пущу.

Затем Иванов ловко подобрал ящик, пронес его, полусогнувшись, несколько вперед, лег на землю и пополз вниз по склону, толкая ящик перед собой.

Товарищи, затаив дыхание, следили за ним, и хотя в наступающих сумерках было трудно его разглядеть, они видели каждое, даже самое маленькое движение ловкого парня, лесоруба в красноармейской одежде.

С противоположного берега раздался выстрел, другой.

Иванов продолжал ползти.

Белоцерковский дал очередь по тем кустам, из-за которых стреляли немцы. Другие поддержали его.

Иванов продолжал медленно ползти, плашмя прижимаясь к сырой земле всем своим телом, толкая перед собой драгоценный ящик. На лбу у Казанцева выступили крупные капли пота, когда он глядел на Иванова, ползущего по мокрым кочкам немного в стороне от дороги. Он сам приложился и выстрелил в сторону вражеского берега. Оттуда били все чаще и чаще. Казанцев оглянулся. Справа от него лежал сапер. Он протягивал вперед руки и собирал длинные зеленые, обрызганные дождем листья и стебли кислого щавеля, подносил их ко рту и жевал. Слева от Казанцева Фадейкин, которого он называл про себя «Вологда», скинув шинель, теперь уже снимал гимнастерку.

«Для чего он это делает?» — подумал Казанцев и снова взглянул вперед. Иванов дополз уже почти до камешка, стоявшего как раз посередине между рубежом, от которого он начал движение, и началом переправы. Выстрелы с немецкой стороны зачастили. И вдруг Иванов дернулся и замер.

«Ранен или затаился?» — с тоской подумал Казанцев.

— Кончился,— произнес рядом с ним Вологда и тихо повторил: — Кончился.

И вдруг все увидели, как Иванов пошевелил руками и, выбросив их перед собой, оттолкнул взрывчатку вперед на полметра. Потом он еще раз дернулся и затем остался лежать уже без движения с протянутыми вперед руками.

Казанцев оглянулся. Вологда-Фадейкин был в одном белье.

— Незачем одежду мочить,— сказал он, заворачивая все в плащ-палатку.

— Товарищ Фадейкин, кем вы были до армии?

— Я? В огородной бригаде, колхозник.

Фадейкин взглянул в глаза Казанцеву.

— Прощай, товарищ командир,— сказал он и перекрестился.

Он выполз на след Иванова, лег на мокрую траву и, быстро работая локтями и коленями, пополз вниз по склону.

Огонь с немецкой стороны не прекращался ни на минуту. Теперь же, когда они увидели ползущего Фадейкина, огонь этот стал еще чаще. Наступившая темнота прикрывала Фадейкина, помогая ему пробираться вперед. Он дополз до рокового камня, около которого лежал Иванов. Прополз мимо, взял обеими руками ящик со взрывчаткой и толкнул его вперед. В это мгновение резкий свет, словно вспышка магния, заставил зажмуриться Казанцева. Но когда он открыл глаза, по-прежнему над рекою, над переправой стоял этот ослепляющий, ровный и ясный, слегка зеленоватый свет. Все деревья на другом берегу резко выступали из мрака. Длинные тени бежали от них по травам, по темной воде. И на этом берегу, поблизости, стало тоже светло как днем, как при вспышке молнии, внезапно остановившейся. Это немцы зажгли осветительную ракету.

Фадейкин продолжал ползти вперед и двигать ящик взрывчатки. И не так уж трудно было при свете ракеты разглядеть его. Дробно заработал немецкий пулемет, и хлесткие звуки выстрелов, отражаемые прибрежными камнями, далеко разносились вокруг. Белоцерковскому удалось поймать место вспышек. Он ответил длинной очередью ручного пулемета. Немецкий пулемет замолк. И до самого конца этого боя он больше не работал. Но Фадейкин уже лежал не шевелясь, изрешеченный последней долгой очередью немецкого пулемета. Ему удалось продвинуть взрывчатку вперед на два метра от тела Иванова. Рука Фадейкина недвижно лежала на ящике. В этот момент погасла немецкая ракета, и Казанцеву на мгновение показалось, что он слеп: такая вдруг подступила к глазам непроглядная чернильная темнота.

— Товарищ Сухарев,— спокойно сказал он и почувствовал не то по какому-то неуловимому звуку, не то по так же неуловимо мелькнувшей между стволами тени, что и пекарь отпра-

вился в свой последний путь. И снова зажглась немецкая осветительная ракета. И снова с ожесточением возникла уже прицельная стрельба с немецкого берега. Казанцев видел, как Сухарев подползает к телу Иванова. Далеко на той стороне реки послышалось стрекотание мотоциклетных моторов.

«Чего он задерживается? — с досадой подумал Казанцев, видя, что Сухарев замедлил движение около Иванова.— Ведь мотоциклисты с лету могут проскочить по мосту сюда».

Сухарев между тем приподнялся на локте около Иванова, приблизил свое лицо к лицу убитого и поцеловал его в губы, затем припал к земле и, извиваясь, приподнимая кверху зад, не по-пластунски, неумело пополз вперед, по следу, проложенному Фадейкиным. Около тела Фадейкина он тоже остановился, чтобы немного отдышаться, и, набрав в себя воздух, припал к губам Фадейкина и поцеловал его, не обращая внимания на пули, которые, продергивая около него траву и мох, обивали с листьев капли.

— Да не медли! Вперед! Не медли,— шептал Казанцев. Он и не думал, что произносит вслух эти слова. На лбу его сидели, остро жаля, два комара, но он не чувствовал их укусов.

Сухарев из-под руки Фадейкина взял ящик со взрывчаткой и пополз вперед, волоча за собой свой груз.

Стрельба не прекращалась. Так Сухарев прополз еще два шага и замер без движения. Казанцев даже не уловил того мгновения, когда пуля попала в Сухарева.

Высунувшись из-за камня, он громко крикнул:

— Товарищ Сухарев, Сухарев!

И словно гальванический ток прошел по телу Сухарева,— он приподнялся на локте и громко крикнул в ответ:

— Хлопцы! Умираю! — и снова поник на холодной и мокрой траве.

Теперь было уже все время светло: немцы, не давая догореть одной ракете, зажигали другую.

— Товарищ старший политрук,— сказал сапер тихо, снимая шинель,— там во внутреннем кармане мое заявление, письмо к матери и адрес. А если случится вам встретить ребят с Путиловца, так вы им скажите, что и как.

Он снял шинель, из кармана выпала книжка. Сапер нагнулся, подобрал ее и бережно положил обратно в карман. Казанцев всем своим существом понял, что саперу неохота выходить вперед под огонь, и еще он понимал, что сейчас он может положиться на этого парня как на самого себя.

И действительно, сапер вдруг побежал вперед, не сгибаясь, не наклоняясь. Он сделал несколько больших прыжков, обманув этим пристрелявшихся немцев, и рухнул на землю только за злополучным камнем уже около Фадейкина. Он быстро пополз вперед. Достиг Сухарева, схватил ящик взрывчатки, с силой рванул его вперед. Прополз еще два шага вперед, приподнялся на локтях, и затем голова его ударилась о бревно настила. Он достиг начала моста. Взрывчатка лежала рядом, на аршин не достигая настила.

«Так»,— сказал самому себе Казанцев и огляделся. Поблизости, за камнем, у своего пулемета лежал Белоцерковский.

— Прикройте меня огнем и в случае чего подожгите шнур,— приказал Казанцев и стал стягивать с себя шинель.

«Жалко, диссертацию не пришлось окончить»,— подумал он и вспомнил свой кабинет, и еще почему-то в памяти его встало, как он накричал зря на семилетнюю дочку Надюшку за то, что она на столе переложила его бумаги, и только после он спохватился, что переложил эти бумаги сам. Казанцев быстро снял шинель и посмотрел из-за камня вперед, соразмеряя лежащее перед ним пространство и усилие, которое он должен употребить, чтобы преодолеть его.

— Товарищ комиссар,— вдруг сказал Белоцерковский, отрываясь от своего пулемета,— я не могу вас прикрыть: у меня кончились патроны. А потом, комиссар дороже для армии, чем сапожник,— это моя профессия,— так что разрешите мне толкнуть вперед ящичек,— осталась пара пустяков, а вы здесь подождите.

Казанцев на мгновение задумался.

— Идите! — сказал он.

И Белоцерковский пополз быстро, но умело. Около камня пуля пробила ему ногу. Казанцев слышал, как он вскрикнул, и сердце его сжалось. Он отвел глаза от Белоцерковского, но через мгновение снова взгляд его приковался к пулеметчику. Раненый Белоцерковский продолжал ползти вперед. Он уже миновал Сухарева, был рядом с сапером, взял ящик, когда новая пуля пробила ему правую руку. Казанцев снова сквозь гул непрерывной стрельбы услышал, как Белоцерковский тонким голосом вскрикнул. И потом он увидел, как Белоцерковский левой рукой стал толкать ящик уже на мосту, по дощатому скользкому настилу, к распростертому поперек переправы немецкому автоматчику. За несколько секунд он продвинулся на два метра и успокоился. Он лежал теперь так естественно и просто, положив руку на голову, словно прилег от-

дохнуть на минутку, но теперь эта естественность показалась Казанцеву страшнее всего. Он услышал приближающееся стрекотание немецких мотоциклистов и дрожащими руками, рассыпая спички из коробки, стал поджигать шнур.

«Только бы не отсырели»,— трепетал он.

От третьей спички шнур зажегся, и голубоватый огонек побежал по нему вниз. Казанцев, волоча за собой пулемет Белоцерковского, отполз подальше назад, прилег за камень и стал считать. Он знал, что шнур горит сантиметра два в секунду, однако прошло уже необходимых пятнадцать минут, и по-прежнему слышна только стрельба, а взрыва нет. «Неужели погас огонь?» — с тоской подумал Казанцев.

«А вдруг перебили шнур?»,— с замиранием сердца подумал он еще через минуту, и холодок пробежал у него по спине. И он снова начинает считать. Проходит еще невыносимая минута.

«Неужели же все пятеро погибли ни за что?»,— думает Казанцев, и тошнота подкатилась к горлу. Еще минута, и еще минута.

Казанцев встал во весь рост. Он хотел посмотреть, что же там делается, на мосту, и вот тут-то произошло то, чего он жаждал всеми силами души. С грохотом взлетели вверх разбрасываемые взрывом доски настила. Со всех сторон доносились всплески от падения обломков дерева в воду. Сразу вспышка выстрелов с немецкого берега — и темнота. Погасла осветительная ракета, но в последней ее вспышке Казанцев отчетливо увидел раздвоенный ствол ветвистой огромной березы на том берегу, на ветвях которой блестели от влаги крупные листья, и группу немецких мотоциклистов там, наверху, на крае дороги, где она начинает свой спуск к реке.

«Так»,— сказал он себе и, протягивая вперед руки, чтобы во внезапно наступившей темноте не наколоть глаза сучком или не стукнуться лбом о ствол, пошел туда, где лежали шинели его товарищей. Наклонившись над ними, он нашел шинель сапера, вытащил из нее связку бумаг, положил их в свою полевую сумку. Из кармана снова выпала книжка.

Снова зажглась ракета на другом берегу. Немцы проверяли, действительно ли взорван мост. Казанцев нагнулся, поднял книжку сапера. Это были стихи. Он раскрыл их и прочитал:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой... Уныныя моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

Жена любила это стихотворение. И все же сейчас, всем сердцем помня о ней, он, читая эти строки, вспоминал простое лицо голубоглазого, русого Иванова, и как тот спокойно перематывает портянки, и как Фадейкин говорит: «Прощай, товарищ командир»,— крестится и снимает гимнастерку.

Казанцев повторил строки стихотворения, захлопнул книжку, сунул ее в карман своей шинели и вышел на дорогу.

Навстречу ему подходили бойцы, девушка-военфельдшер.

Он увидел младшего лейтенанта Глебова и знакомого политрука Зайцева.

— Займите оборону у взорванной переправы,— приказал Казанцев Глебову.

— Осмотрите берег,— повернулся Казанцев к девушке-военфельдшеру,— там пятеро наших лежат, может, среди убитых есть и раненые.

— Иди, Маруся!— напутствует девушку Глебов.— Возьми с собой двух бойцов.

И Казанцев шагает по дороге. Он идет обратно, чтобы доложить комиссару опергруппы обстановку и сказать, что переправа взорвана. Фашисты остановлены. Фашисты не пройдут. Он с трудом передвигает ногами. Он чувствует страшную усталость и вместе с тем гордость за то, что совершили его люди. Путь к городу, который внезапным ударом с незащищенного фланга хотели захватить фашисты, был закрыт. Время было выиграно. К месту подходили наши части.

СТАРАЯ ШИНЕЛЬ

Вот уже год, как мы воюем. Вот уже год, как тот, кто полез на нашу землю, узнал, почем фунт лиха. Но и у нас шинельки поистрепались, особенно у тех, кто в войну прямо со срочной службы вступил. Два года срочной да год войны по лесам, по болотам да сопкам — вот и вышел срок боевой шинели. Сколько с нею было прожито, сколько пережито, сколько пройдено. И под дождем она свою службу служила, и в метель, и в болото с нею мы лазали. Каждая шерстинка на ней, каждое пятнышко наизусть известно. Кажется, у всех ребят в отделении одинаковые шинели, а вот поди ж ты —

даже в полутемной землянке каждый без ошибки сразу найдет свою.

В день, когда нам новые шинели должны были выдать, приехала с подарками делегация трудящихся. Тысячи километров ехали, чтобы к нам на Карельский фронт добраться. В делегации среди других была заслуженная свинарка Анна Петровна Коростелева — старая такая старушка, морщинистая вся, но еще боевая. Она за год войны несколько сот поросят воспитала — без отхода... Посчитайте, сколько тонн мяса народу сдала! Вот ее и выбрали в делегацию — навестить бойцов Красной Армии на боевых позициях. Голос ее мне почему-то сразу показался знакомым, и то, как она голову на бок склоняла, когда слушала разговоры бойцов, тоже было очень знакомо. Она на митинге перед бойцами речь держала.

— Мы,— говорит,— на полях работаем — и старики, и женщины, и подростки. Честь своей Родины высоко держим. И вы здесь, в лесах карельских, с оружием в руках высоко держите боевую честь нашей славной Родины.

Тут я вижу — Ваня Коростелев как-то покраснел, заволновался.

— Что с тобой, Ваня? — спрашиваю я его.

— Да ведь это тетя Нюша! — говорит он.— И когда она оратором стала?

— Передовая женщина — вот и оратор,— отвечаю я ему.

— Да она мне тетка родная,— объясняет он.— И никогда до войны у нас передовой в колхозе не числилась... Ой, охота мне узнать, что дома творится!..

Говорит это он, и голос у него такой же, как у оратора. Взглянул я на него, когда он слушал ее слова, тот же наклон головы. Вот в чем дело.

С трудом мы конца речи дождались. Ваня после подошел к тетке. Она как увидела его — на шею бросилась.

— Вот где увидеться привелось! — говорит, а сама от радости плачет.— Если бы сестра знала, она бы особое письмецо для тебя дала бы и личную посылочку. Вот радоваться будет, когда я про нашу встречу нежданную в деревне рассказывать стану.

И тут она у политрука спрашивает:

— Ну как Ваня-то наш — родню не осрамил в бою? Может им родная деревня гордиться?

— На его текущем счету девятнадцать уничтоженных фрицев и «фиников»,— отвечает политрук.— Это вам не шутка.

Да ты что, разве не писал домой об этом? — спрашивает он Ваню.

— Я решил, когда до тридцати счет доведу, тогда уж чохом все отпишу,— говорит Коростелев.

Делегаты в землянках наших переночевали, с утра на передний край ходили, в окопах побывали, под минометный огонь угодили, но, к счастью, все обошлось благополучно. Анна Петровна, даром что ей шестьдесят лет, ни на шаг от других не отстала. Когда делегация собралась уже уезжать, к грузовику подбегает со своей старой шинелью Ваня Коростелев, сует шинель в руки Анне Петровне и говорит:

— Возьмите, тетя Нюша, с собой в деревню эту шинель и отдайте ее маме. Пусть сохранит до моего приезда. На память об Отечественной войне хочу я сохранить эту сверхсрочную шинельку.

Делегаты смотрят на эту шинель и, видимо, удивляются: какая это может быть память, какой это можно сувенир сделать из старой, запачканной, прожженной и простреленной шинели?

Иван Коростелев видит это удивление на их лицах и объясняет. И откуда только у него слова взялись? Ведь его у нас всегда молчаливым считали. Но сейчас слово к слову очень ловко ложилось, лучше чем у самого записного оратора, потому что все от души шло и все сущая правда,— это мы, его товарищи по отделению, все, как один, можем подтвердить.

А после политрук даже похвалил, сказал, что лучше любого митинга получилось.

И правда, душевно говорил тогда Ваня.

— Вы,— говорит,— наверное, удивляетесь, на эту шинель глядя. Дырявая она, и сожженная, и запачканная. Такую с плеч долой да и забыть, а не то что на память держать... А для меня, дорогая тетя Нюша, вы об этом и сестре и матери скажите,— а для меня каждая дырка, каждое пятно свое значение имеют, свой смысл, свою историю. Вот видите это пятно? От крови оно. Не моей это кровью сукно здесь набухало, но мне в тот час, может быть, легче было бы, если бы это моя кровь сюда стекала. Это была кровь командира нашего батальона, старшего лейтенанта товарища Петрова. В прошлом году это случилось, в августе месяце. У озера Ярви бой шел... В каждой роте потом рассказывали, что старший лейтенант Петров все время с ними был и именно у них его ранило. Они так думали потому, что Петров — отчаянный товарищ.

В самый трудный момент появлялся он в самом опасном месте. Ну, а ранили его под вечер совсем на другом участке. Нас там десяток бойцов отрезали было финны от батальона. То есть мы тогда так думали. В прошлом году еще не понимали, какое это может быть окружение в лесу! Особенно когда ночь. При умении всегда выйти можно. Но тогда мы еще только начинали воевать, да и автоматов у нас маловато было, не то что теперь. Вот мы и думали, что попали в окружение. Старший лейтенант Петров пробрался к нам, чтобы вывести. Дошел до нас, обругал, дух поднял и повел. Ну, а надо сказать, что стрельба ужасно какая! Казалось в те часы, что враг с каждой сосны стреляет. Старший лейтенант был ранен в руку. Разрывными пулями гады били, но он не только что из строя не вышел, но никому даже слова не сказал. Ну, а через двадцать минут другая пуля ему в грудь угодила, на счастье,— обыкновенная пуля, не разрывная. Вижу я, он покачнулся, обеими руками за грудь схватился и на мох упал. Я к нему подбегаю, а он отстегивает пуговицу на правом кармане гимнастерки и говорит:

«Товарищ Коростелев, возьми мой партийный билет. А меня, говорит, здесь оставьте. Со мной вам теперь не выйти».

«Ну, это ты брось, товарищ командир,— отвечают наши бойцы.— Ты без нас пропадешь, и нам без тебя никак нельзя!»

И сделали мы тут наскоро носилки из еловых и сосновых веток, на хвою сверху подложил я под старшего лейтенанта эту мою шинель. Одиннадцать километров несли мы по лесу, с кочки на кочку, через бурелом и лощинки нашего командира. Вот он, друг, больше в арьергарде был, отстреливался от белофиннов! — и тут Ваня на меня показал.

Это правда, я шел позади вместе с Приходько и Саволайненом и отстреливался от белофиннов, прикрывая всю группу.

Мы даже нарочно, чтобы отвлечь внимание от раненого командира, пошли влево. Удалось нам тогда за нос провести белофиннов. Так что Ваня Коростелев делегатам сущую правду говорил.

— Все думали, что мы уже погибли, а мы пришли и принесли раненого командира и сдали его на медпункт. А пятно от крови — осталось на сукне. Вот оно! Правда, за год оно потемнело и немного затерлось.

Когда Иван рассказывал про это пятно на своей шинели, я сразу вспомнил ту ночь, когда мы несли старшего лейтенанта. Еле шевеля губами, он нам шептал: «Теперь, ребята, поверните вправо к ручью». Вспомнил, как сучья цеплялись за ноги, как какие-то здешние ночные птицы неугомонно чирикали всю ночь и как останавливалось сердце, когда вдруг с громким хрустом ломался под ногами сухой сучок.

Иван перевернул шинель. Около него кружком стояли делегаты и внимательно слушали.

— А вот здесь, снизу, у правой полы, кусок шинели затвердел немного. Видите, он даже посветлее, чем остальное сукно. Это глина. Я ее почти всю отмыл, но все же немного осталось. Это на нас налетели финские самолеты — два на один грузовик. Первый бросил несколько больших бомб на дорогу и начал поливать нас из своих пулеметов. Второй шел сразу за первым. Но когда он снизился, наш грузовик уже горел, а мы все лежали в канавах по обочинам дороги. Тогда третьи сутки лил дождь, бесконечный полярный осенний дождь. Даже странно, что в такую погоду летают самолеты. В глине размытой дороги вязли сапоги. И просто удивительно, с какой быстротой мы очутились в придорожных канавах. Ноги скользили по глинистому скату. Мы лежали в холодной осенней воде. Я чувствовал себя вроде щенка, которого топят. Вытащат за шиворот из воды и снова окунут, а щенку куда как неохота лезть в воду...

Самолеты прошли низко и развернулись для второго захода. Пилот высунулся из кабинки, и мы могли его отлично видеть. Пулеметы строчили с воздуха. Рядом со мной застонал товарищ.

Ах, так, думаю, и прицелился. Взял на мушку летчика и выстрелил. Самолет прошел дальше и начал набирать высоту. По второму самолету выстрелил Приходько и попал.

Вспыхнуло пламя, что-то загудело по-иному, и, взглянув наверх, я увидел, как самолет развалился на три куска и каждый кусок падал отдельно.

Мы сразу же выскочили из канавы, насквозь промокшие, с отяжелевшими от воды и глины шинелями, и побежали через лес к обломкам машины. Все вокруг было мокро, только губы наши пересохли от волнения. Мы были насквозь мокры, на каждый сапог налипло по пуду глины, а мы стояли у обломков и смеялись.

Черта с два! Мы были живы! Живы, черт побери! А он, фашист, который сделал все, чтобы нас не стало на свете, сам валялся у наших ног.

И это Иван рассказал правильно. Я могу подтвердить. Только он мог бы сказать, почему он промазал, а Приходько попал точно. Дело в том, что Коростелев целился точно в немца, а Приходько, как иному может показаться, целился не в немца, а в воздух. И Приходько был прав: он сделал упреждение на три фигуры, учитывая скорость полета машины. Только, знаете ли, когда волнуешься, то забываешь, что надо делать такое упреждение, и целишься прямо в фашиста. И для стрельбы по небесным целям даже хорошим земным снайперам надо доучиваться.

— Ну, а вот эти несколько дыр, видите их? — продолжал тем временем Ваня, показывая дырки на шинели делегатам.— Это от фашистских пуль. Вы спросите: почему у тебя шинель вся пробита пулями, а ты сам цел остался и даже ни одной царапины не получил? В этом-то вся и штука. Мы двигались вперед. Это было в мае. А тут, как назло, противник нам во фланг выбросил несколько снайперов. Они мешали продвигаться товарищам. Ко мне подполз командир и сказал: «Обнаружь этих снайперов и уничтожь! Я на тебя полагаюсь».

«Я знаю первомайский приказ главнокомандующего»,— ответил я и, притаившись за камнем, поросшим мхом, стал ждать. Фрицы молчали. Тогда я дал короткую очередь, думая, что они откликнутся и тут у нас пойдет разговор. Но они молчали, видно, выучились кое-чему за год у своих союзничков белофиннов. Что делать? Тогда я привесил на палку свою каску и приподнял над камнем. Тут клюнуло. Сразу два вражеских снайпера откликнулись на приманку. Я засек и дал очередь. Но ведь и они не круглые дураки. После двух моих очередей стали садить по моему рабочему месту. Пули совсем рядом ложились. Надо менять позицию. А как ее переменить, когда неподалеку находятся вражеские автоматчики? Надо вывертываться. Ну, тут думать долго уже не приходилось. Я скинул шинель и положил ее так, чтобы она казалась замаскированной и в то же время была неплохо видна фашистским снайперам. И сразу же шинель была пробита в нескольких местах. А пока немцы расстреливали мою шинель, я благополучно отполз в сторону, переменил позицию и засек положение фашистов. Один из них расположился на самой

земле, прячась за узловатыми корневищами, другой, как и я, за камнем лежал, третий с елки бил.

Ну, что долго рассказывать. Передайте дома, тетя Нюша,— нас год войны здесь так научил, что для нас, советских снайперов, сказать «увидел врага» — все равно что сказать «уничтожил врага». Редко когда ошибешься. Ну, я постарался не ошибиться...

Тут командир Петров, провожавший делегацию, подтвердил:

— Это точно. В том бою товарищ Коростелев уничтожил пятерых немецких снайперов и облегчил нашему подразделению движение вперед.

— И вот когда я смотрю и пересчитываю дыры на моей шинели, я вспоминаю этот майский день. Здесь, в Карелии, он не такой теплый и ясный, как у нас дома, тетя Нюша. К вечеру в тот день даже снег пошел. А все ж таки на душе было и тепло, и радостно потому, что знал я, что и моя доля есть в том, что приказ Главного командования будет выполнен. На, возьми шинель и передай матери вместе с моим приветом! Вот и все.

Коростелев замолчал и вдруг, заметив, что окружен толпою, что не только Анна Петровна, но и все окружающие его внимательно слушают, смутился и, быстро прижав к груди старушку, хотел было уходить.

Руководитель делегации уже давал команду садиться в грузовики.

— Теперь у меня новая шинель,— обратился вдруг снова Коростелев к старушке.— И ты, тетя Нюша, можешь передать дома всем нашим мое обещание: если случай придет такой, то и на новой шинели все повторится, как на старой,— и пятно от раны, и дыры от пуль, и заскорузлость от глины. И еще от имени всех бойцов передай, что в новых шинелях мы домой с победой вернемся. Не будем ее носить полный срок службы. Так и скажи дома!

Делегаты уехали. А мы в землянке долго еще разговаривали о встрече, потом — как душевно Коростелев рассказывал про старую шинель и каждый вспоминал какой-нибудь случай, потому что за год боевой жизни много у нас накопилось славных историй.

1943

КАРЕЛЬСКИЕ ДЕВУШКИ

Анне Лисицыной и Марии Мелентьевой
посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза

I

На третий день своего пути по лесу они дошли до родника, пробивавшегося, казалось, из-под самых корней старой ветвистой березы.

— Здесь было условлено, в дупле,— сказала Аня и подошла к дереву.

Марийка стояла рядом, не сводя своих голубых глаз с подруги.

Аня вытащила из дупла сложенную, как конверт, бересту и развернула ее. Внутри лежала записка. Обе головы — Анина с гладкими, тонкими косичками, которые так смешно подпрыгивали, когда она играла в волейбол, и Марийкина, тоже светлая, но с подстриженными, завивающимися и как всегда взлохмаченными волосами,— склонились над запиской...

— Вот тебе и раз! — опечалилась Аня, прочитав две лаконичные строки.

Сказала она это по-вепски, но Марийка поняла ее разочарование. В записке была только одна фраза: «Нас здесь нет. Дома вас ждут».

Фраза эта означала, что партизанский отряд Ивана Власовича, который посылал девушек в длительную разведку в родное село Ани — Шелтозеро, оккупированное белофиннами, ушел в другие места. Это означало еще и то, что, если девушкам удалось получить важные сведения, они должны были немедля доставить их через линию фронта к своим. А сведения действительно были очень важные.

Аня и Марийка шли, радуясь тому, что они смогут точно по карте указать места, где расставлены орудия неприятельских батарей, что они знают расположение неприятельских гарнизонов в окрестных деревнях и их численность. Они поименно знали также и всех предателей в районе и могли рассказать партизанам о тех жестокостях, которые в своем неистовстве совершили враги. И, наконец, они несли подлинные документы оккупантов и неприятельского командования. Каждый день «командировки», длившейся почти месяц, каждый час ее, каждая минута угрожали девушкам мучительной смертью... И вот теперь, после трех дней ходьбы по лесу, без

еды, с одним только маленьким пистолетом, без карт, они стояли у старой березы и перечитывали записку, предписывающую им дальнейший одинокий путь. Отсюда, из глубокого вражеского тыла, до линии фронта по прямой было восемьдесят километров. Прямая при таких обстоятельствах только относительно является кратчайшим расстоянием между двумя точками. А на войне, особенно когда приходится идти по густому лесу, пересекать топкое болото, вскарабкиваться на каменистую высотку, переправляться через быструю речонку,— это не всегда так.

— Ну, что ж, не будем задерживаться, пойдем,— сказала Аня и посмотрела на циферблат компаса, прилаженного, как часы, на правой руке.

— Пойдем,— повторила Марийка.— Пусть Иван Власович не пожалеет, что отправил нас.

Иван Власович был учителем той школы, в которой до войны училась Аня. И еще совсем недавно ему и в голову не могло прийти, что он будет командовать партизанским отрядом, а его бывшая ученица придет в отряд как рядовой боец.

— Так я на вас рассчитываю,— сказал он, беседуя с девушками перед тем, как они отправились в «командировку».— Помните партизанскую присягу?..— спросил он подруг. И сердце его сжалось, когда он вдруг подумал о том, что грозит им, если они попадут в руки врага.— Лисицына, можно ли тебе доверить такое дело? — вдруг строго спросил Иван Власович у Ани.— Дисциплина у тебя в школе хромала. К тому же ты никогда не сознавалась, когда не знала урока. Помнишь, я как-то спросил у тебя, где находится Красное море, а ты ответила: «У нас в Карелии. Раньше оно называлось Белым, а после революции его переименовали»? — И Иван Власович улыбнулся.

Марийка прыснула со смеху, а Аня покраснела:

— Так ведь то когда было? Я теперь взрослая: через неделю восемнадцать лет стукнет...

После этого разговора прошло уже больше месяца. И сейчас, возвращаясь обратно, Ане было приятно думать, что Иван Власович будет доволен их работой.

«Я расскажу ему про нашу школу»,— думала она, отмахиваясь от надоедливых комаров.

В ту школу, где совсем еще недавно училась Аня, сейчас прислали учителя из Финляндии. Учитель этот бьет детей линейкой по рукам и по ушам. Он избил Володьку Полубедова,

который всего на два класса был моложе Ани, за то, что тот ответил ему на какой-то вопрос по-вепски.

— Про племя вепсов,— говорил еще в школе Иван Власович,— наверно, мало кто знает, и от каждого из нас зависит прославить его на весь мир...

II

Очень легко объяснить, как надо идти в лесу по азимуту, но самому проходить через густой осенний лес, когда каждый сучок норовит или хлестнуть по лицу, или изорвать в клочья платье, когда надо прислушиваться к каждому шороху, таясь перебегать дороги, обходить стороной жилье,— очень сложно и трудно. Особенно, если за твоей спиной всего восемнадцать лет и ты еще совсем недавно боялась оставаться одна в темной комнате. А Ане еще не было восемнадцати лет. И, возвращаясь вечером домой от подруги, она, дрожа от страха, пробегала темный коридор и с облегчением вздыхала, распахивая дверь освещенной комнаты. Но сейчас рядом ровным, размеренным шагом шла Марийка, и Аня, глядя на подругу, успокаивалась.

Они шли целый день без отдыха, на ходу грызли хрустящие на зубах сухари, которые казались им самым изысканным яством.

Вокруг стоял пестрый карельский лес. Ровная гладь тихих прозрачных озер у берегов покрыта была золотым ковром листьев, опавших с берез. Осины трепетали всем своим разноцветным оперением при малейшем дуновении ветерка. Хвоя елей казалась совсем темной, а стволы сосен — розовыми. Влажная, усыпанная листвой земля пахла поздними грибами. Серевший на валунах мох был совсем седым. На маленькой лужайке осанисто ходили два тетерева и важно поклевывали бруснику. Они даже не обратили внимания на девушек. Подруги тоже изредка нагибались, чтобы на ходу сорвать горсть холодной и тяжелой багряной ягоды. Но останавливаться нельзя было — надо спешить. Шли они всю ночь и только перед рассветом часа на два забылись неуютным лесным сном. Спали полусидя, прислонившись спинами друг к другу, чтобы было теплее, потому что при таком сне раньше всего холодеет спина.

Утром траву покрыл иней. Девушки шли дальше. Они радовались тому, что до сих пор все было спокойно и никто не пересек им пути.

Над лесом стоял зыбкий утренний туман. Подруги пробирались, видя перед собой всего на несколько шагов. Солнце было уже высоко, когда туман разорвался, и Аня вдруг увидела, что они идут по черной земле. Земля и стволы сосен были совершенно черные, и только хвоя — оранжевая, цвета апельсиновой корки.

Это был тот самый лес, который в июле подожгли партизаны, чтобы выгнать белофиннов на дорогу. Всего в нескольких шагах от девушек быстро прошла, раздвигая кусты, лосиха с двумя лосятами...

— Жаль, ружья нет!

— Все равно нельзя стрелять,— отозвалась Аня, но при мысли о жареном мясе у нее засосало под ложечкой.

Потом земля стала мягкой. Следы наливались водой.

Аня остановилась у ели перемотать портянки. И вдруг она услышала всплеск и легкий вскрик. Она быстро сунула ногу в тяжелый яловый сапог и поспешила вперед к подруге; перескакивая с кочки на кочку, она прошла метров тридцать и остановилась. Шагах в десяти перед ней в трясине барахталась Марийка. С каждой минутой она погружалась все глубже и глубже. Аня растерянно оглянулась, не зная в первый момент, что же делать, чем помочь. Увидев Аню, Марийка поднесла руку к шее и стала развязывать шнурок, на котором был кисет с бумагами, добытыми в финском штабе.

«Аня их доставит»,— подумала Марийка.

Невдалеке стояло сухое, тонкое мертвое деревцо.

Аня, уже не разбирая дороги, скользя по мшистым кочкам, падая и снова поднимаясь, подбежала к деревцу. Сухое деревцо легко поддалось ее усилиям. Она притащила легкий сломанный ствол к тому месту, где все глубже завязала подруга. Трясина доходила Марийке уже чуть ли не до груди. Аня протянула ей деревцо. Марийка не могла до него дотянуться. Аня подтолкнула деревцо вперед.

— Клади его поперек! — закричала Аня.

— Тише ты! — негромко отозвалась Марийка и дотянулась наконец до сучковатого ствола.

Упершись грудью в него, она подтянулась на руках и, уже совсем изнеможенная, выбралась из трясины. Когда Аня увидела, что подруга в безопасности, она сразу как-то неожиданно ослабела и, чтобы не упасть, прислонилась к колючему можжевеловому кусту.

Марийка, выйдя на сухое место, выжала свою юбку, и обе девушки двинулись дальше в путь.

— Это я в кино видела, как человек из болота спасся. Доску поперек положил, оперся на нее и выполз,— говорила Аня, останавливаясь около брусничной россыпи.— Вот так и я с тобой сделала,— продолжала она, опрокидывая в рот полную ладонь вкусных, чуть горьковатых ягод.

— А ты так ловко с елкой управилась,— сказала Марийка,— как настоящий лесоруб. Ты кем собираешься быть? — спросила она вдруг и сама удивилась, что, познакомившись и подружившись в отряде, они об этом до сих пор не разговаривали.

— Я очень платья разные люблю, материи цветные,— хочу после войны в текстильный химический институт пойти, по окраске материи работать. А ты?

— Я? Я в позапрошлом году летчицей собиралась быть. Даже с парашютом прыгала... Потом решила, что буду морским капитаном. Но началась война. Мне еще два класса оставалось... Мы в Пряже жили... Я сначала хотела вместе с другими эвакуироваться, чтобы продолжать учиться. Но, знаешь, в июле ребятишки играли на улице, копались в пыли — и вдруг налетели фашистские самолеты. Что тут было!.. Они из пулеметов стали расстреливать детишек. Соседскую девочку — шестилетнюю — убили. Я ее на руках в комнату внесла... Такая хорошая девочка была, умница. Мать ее с ума сошла... В тот день я решила, что нет, не буду эвакуироваться, что не будет мне спокойствия, пока...

— Понимаю,— прервала ее Аня,— понимаю.

III

К вечеру девушки вышли на берег широкой, быстрой реки.

До наших оставалось не больше двадцати километров. Но теперь надо было перебраться на противоположный берег. Лесистый и обрывистый, он чернел в каких-нибудь двухстах метрах от того места, куда вышли из чащобы девушки.

Было уже совсем темно. Над полноводной северной рекой стояли темные леса. Высокие звезды отражались в ночной реке. И когда Аня нагнулась, чтобы напиться, и губами втянула холодную воду, ей показалось, что она вот-вот вместе с водой вберет и звезду, но та, отраженная, продолжала сиять на прежнем месте.

На другом берегу горели костры. Видно было, как черные фигурки суетятся около костров, подбрасывают хворост, под-

вешивают к треноге котелок. Девушки прошли вниз по реке метров двести.

Дальше снова были видны костры.

— Ох, погреться бы у костра, попить горячего чаю и надеть легкие тапочки! — мечтательно сказала Аня.

— Тоже мне вояка! — снисходительно улыбнулась Марийка.

И ей, особенно после болота, хотелось погреться у костра, но она боялась сознаться в этом подруге.

Вблизи от реки лежало несколько поваленных сухих, тонких деревьев. Видимо, кто-то из окрестных крестьян еще в прошлом году заготовлял себе дрова, да, застигнутый какой-то бедой, так и оставил их валяться на берегу.

Девушки стали вязать плотик. Пошли в ход и косынки, и пояса, и гибкие ивовые ветви...

Через час плотик был готов.

— Ты веришь в гаданье? — спросила Марийка.

— Чепуха! — откликнулась Аня.

— Конечно, чепуха! — повторила Марийка и вспомнила, как вместе со своей подругой Паней Савватьевой в ночь под Новый, сорок первый год они вышли на лед озера.

Невдалеке от берега чернели свежесрубленные двухэтажные дома Пряжи. Девушки долго стояли в темноте, на морозе, прислушиваясь, откуда залают собаки. В ту сторону, стало быть, и предстояло выходить замуж.

— Аня! — тихо сказала Марийка.— Если что-нибудь со мной случится, передай, пожалуйста, в Беломорск Васе, что я очень много о нем думала...

— Передам.— И Аня оттолкнула плот от берега.

Марийка стояла на коленях, отталкиваясь от берега суковатой длинной палкой. Река была широкая и быстрая. Нескладно, наскоро сделанный плот уже метрах в десяти от берега стал распадаться, косынка развязалась, стволы уходили из-под ног, холодная вода подобралась к щиколоткам. До противоположного берега было еще далеко. Скоро плот совсем распался. На остатках его девушки добрались обратно к тому берегу, от которого только что отплыли.

— Плаваешь? — спросила Марийка у Ани.

— Конечно!

— Тогда надо будет переплывать. Холодновато, но зато к утру обогреемся уже у наших. Наедимся в четыре горла.

Девушки не торопясь разделись, оставив на себе только трусики. Марийка положила финские бумаги себе в берет и

снова приладила его на голове. Все свое платье девушки связали в узелок, в который уложили и пистолет.

— Я поплыву с ним,— сказала Аня, и, решительно тряхнув головой так, что кончики косичек подпрыгнули выше затылка, она вступила в реку.

Ступня ее ощутила прикосновение мелкого, бархатистого рассыпчатого песка; холод почти такой же, как у ключевой воды.

— Ох! — сказала она, сделав шаг вперед, и погрузилась по горло в воду.

Марийка тоже вошла в реку. Она оттолкнулась ногами от дна и, глубоко вдохнув воздух, поплыла к противоположному берегу. От холода заныло все тело. Плыла она, как говорят мальчишки, по-лягушечьи — выкидывая вперед руки и разводя их.

Аня плыла быстрее, чем Марийка, но все же ее скорее, чем Марийку, прохватил пронизывающий холод.

Она взглянула вперед. Перед ней поднимался крутой лесистый берег. Отдельные деревья в темноте были неразличимы. Лес стоял плотной, темной, непроницаемой стеной. До этого берега было сейчас дальше, чем до берега, оставленного позади. Аня плыла и слышала ровное дыхание немного отставшей Марийки и плеск разрезаемой телом воды. Вдруг судорогой свело левую ногу. И сразу же, испугавшись, она стала плыть, взмахивая руками теперь вразнобой. Рот ее полуоткрылся, и она хлебнула немного холодной невкусной воды. Слева она видела дробящееся в воде зыбкое отражение пламени костров. Оттуда раздавались громкие голоса.

«Вот крикну — и спасут!» — мелькнула у нее мысль, и эта мысль сразу как-то успокоила ее. Она стала дышать ровнее и попробовала, может ли двигать левой ногой, но режущая боль судороги уже подобралась и к правой ноге.

«Если закричу — спасут!» — снова мелькнула у нее мысль. И вдруг она страшно испугалась того, что она действительно закричит, и сбегутся от костров белофинны, и, вытащив из воды, схватят ее и Марийку, и тогда все, что они узнали, вся их работа пойдет прахом, и Иван Власович тихо скажет себе: «Напрасно я так понадеялся на этих девчонок».

И она вспомнила лицо Ивана Власовича, родное, трогательное и немножко смешное, когда он хочет казаться строгим. Нет!

— Марийка,— задыхаясь, спросила Аня,— ты доплывешь? Доплывешь, Марийка?

— Доплыву.

— Ты все помнишь: и про батареи, и про гарнизоны.

— Помню.

Берег был уже не так далек. Течение шло очень сильное, и казалось, что берег быстро плывет им навстречу. Аня снова глотнула воды.

— Ой, закричу!

Костры горели по-прежнему. И тогда, более всего на свете боясь, что она закричит и они попадут к врагу, Аня закусила правую руку повыше кисти и почувствовала на языке солоноватый вкус крови.

Марийка, подплывая к Ане, услышала последние слова подруги. Она увидела, как голова Ани ушла под воду и снова вынырнула, увидела знакомые блестящие глаза, закушенную руку. Подплыв к Ане, Марийка ухватилась за кончик косички и потянула ее к себе, но от чрезмерного усилия сразу потеряла дыхание и сама чуть не захлебнулась. Холод колол ее тело тысячью острых, каленых иголок, и она поняла, что если еще хоть минуту промедлит возле подруги, то и сама не выплывет. Марийка подняла руку к голове. Берет был совсем сух. Под ним топорщились бумаги. Часто и прерывисто дыша, чувствуя, что сердце бьется где-то словно у горла, Марийка подплывала к берегу. Она ухватилась обеими руками за выступавший высоко над водой узловатый корень старой сосны, подтянулась, выползла на берег и встала. Тело ее дрожало непрерывной мелкой дрожью. Разглядывая гладь реки, Марийка даже не заметила, что зубы ее стучат.

Вода была темной.

— Аня,— тихо сказала Марийка,— так вот ты какая!

Не замечая времени, она стояла на берегу, разглядывая реку, зная, что некого ждать, и все же еще сердцем не веря в гибель подруги.

Потом она сняла берет, проверила, на месте ли документы финского штаба, положила шуршащую бумагу обратно, натянула на голову берет и вдруг вспомнила, что ей не во что одеться.

Сверток с платьем утонул.

IV

Голодная, в одних трусах, Марийка упрямо шла по лесу, изредка проверяя по компасу, туда ли она идет. Ветви царапали тело в кровь, но она шла, не обращая внимания на ца-

рапины. Тело ее посинело от холода. Густыми тучами носились вокруг острые, жалящие комары. Сначала она веткой отмахивалась от них, но потом перестала: все равно не отобьешься! Все тело казалось теперь одной большой зудящей раной. Днем, надергав моха с кочек и покрывшись им, забылась коротким и тревожным сном, пригреваемая косыми лучами солнца. Внезапно она проснулась... Ей показалось, что она забыла, в каком гарнизоне сколько белофиннов, что она забыла имена предателей... Тогда она стала перебирать в памяти места, где были расположены орудия, и имена, и все, о чем следовало рассказать своим. Но нет, хотя голова у нее кружилась от слабости, она хорошо помнила все, что следовало. Она встала со своего разрытого ложа и, преследуемая комарами, пошла дальше.

На другой день, когда Марийка лежала, прикрытая мохом, она услышала чужую речь... Невдалеке от нее по дороге прошел неприятельский патруль. Потом проехал автомобиль. Ей не хотелось вставать. Была такая слабость, что казалось, нет большего наслаждения, чем лежать так, без движения, без дум, и самая мысль о смерти ей не казалась тяжелой. Но вдруг словно электрический ток прошел по телу Марийки. Она вскочила и пошла. Ей вспомнилось милое, навсегда родное лицо, голубые глаза и какой-то незнакомый мотив вепской песенки, которую любила напевать Аня...

Теперь она шла, уже не нагибаясь, чтобы сорвать ягоды: когда она нагибалась, ее тошнило, кружилась голова, и потом ей трудно было снова определить, в какую сторону надо идти... Так она добрела до большого завала, который тянулся влево и вправо на несколько километров; сбоку от него начиналось топкое болото.

«Здесь пройду»,— решила Марийка и стала переползать через бревна.

Сучья завала царапали ее, приподнять ногу казалось непосильным трудом... Она ложилась всем телом на бревно и затем медленно переваливалась на другую сторону. Там ей надо было несколько минут отдыхать, прежде чем снова повторить движение. Два или три раза она засыпала среди деревьев, а проснувшись, не помнила — утро сейчас или вечер. И, взяв в рот сухую, горькую кору, снова начинала переползать через поваленные деревья со вздыбленными ветвями...

Лежавшую почти без чувств голую девушку нашли около завала наши разведчики.

Через три часа Марийку, укутанную в одеяла, уже отпаи-

вали горячим чаем с коньяком. У нее пересыхали губы, и глаза тоже были сухие. И только через три дня, рассказывая медсестре об Ане, она вдруг вспомнила веселую косичку и робкий голос: «Доплывешь?» Вспомнила руку, закушенную, чтобы не закричать,— и залилась слезами...

Через некоторое время вражеские гарнизоны и батареи, о которых сообщила Марийка, были уничтожены партизанами. И это было лучшим лекарством для лежавшей в госпитале девушки.

Месяц спустя она написала в Кемь своей подружке-однокласснице Пане Савватьевой, что ее наградили орденом. И среди воспоминаний о том, как они вместе ходили гулять на «Горку любви» в Пряже, как разговаривали о пушкинской Татьяне, были такие, написанные разбросанным, еще не устоявшимся почерком строки: «Если бы не было войны, то сейчас мы с тобой учились бы уже в десятом классе... Вот было бы хорошо!»

...На всю жизнь в памяти Даши Дудковой осталась эта минута, это прощание в предрассветной полумгле, когда Марийка, торопливо обняв, поцеловала ее в щеку, а затем повернулась и зашагала к лесной опушке. Пройдя шагов двадцать, она обернулась, помахала рукой подруге и, уже не оглядываясь, перескакивая с кочки на кочку, скрылась за деревьями. Уже давно исчезла в глубине чащи ее невысокая, плотная фигурка, уже солнце поднялось над лесом, а Даша все еще стояла, глядя в ту сторону, куда ушла Мария Мелентьева. По дороге домой Даша не раз рукой трогала в кармане комсомольский билет, в котором лежал плотный, вчетверо сложенный лист бумаги.

Весь вечер перед этим Марийка начинала писать какую-то записку. Но, видимо, ей никак не удавалось написать задуманное, потому что она рвала написанное на мелкие клочки, снова писала и снова разрывала.

— Даша,— наконец сказала она,— ты ведь все знаешь! Помоги мне, а то я очень волнуюсь, и у меня ничего не получается.

И было отчего волноваться Марийке.

Выздоровев, она стала требовать, чтобы ее отправили назад, в партизанский отряд.

— Я там нужнее, чем здесь! — говорила она.

И может быть, оттого, что в такие минуты она особенно ясно вспоминала Аню, ее синее сатиновое платьице в белую полоску, ее упрямый, резко очерченный рот и выгоревшие на

солнце, совсем белые, как колоски, брови, просьба Марии была настолько убедительна, что ее наконец решили послать для связи в один из партизанских отрядов, действующих далеко в тылу врага.

Весь день она заучивала наизусть то, что следовало передать в отряд, а вот теперь вечером, перед уходом, хотела написать письмо Василию, с которым они вместе учились в школе, которого она любила и который любил ее не так сильно, как бы ей хотелось.

«Ну вот, Василий,— писала она,— через несколько часов я буду очень далеко от тебя, а ты совсем не вспомнишь ту девушку, которая любила тебя. Для тебя это не новость...— Тут у Марийки перехватывало дыхание, и карандаш начинал дрожать в ее руке.— Видишь ли, Вася, когда мы шли по лесу с Аней, мы много говорили о жизни и о любви... Я говорила ей о тебе...»

С помощью Даши письмо было дописано поздно вечером.

— Отдай ему через несколько дней,— попросила Марийка, ложась спать.

Она приподнялась, чтобы еще что-то спросить, но Даша пригнула ее голову к подушке:

— Все равно разговаривать с тобой не буду... Спи! Рано вставать надо.

Всю ночь Даша не спала, сидя у изголовья подруги. Она должна была разбудить Марийку на рассвете и боялась проспать.

V

Уключины были обмотаны тряпками и не скрипели. Ночь стояла темная и холодная. В нескольких метрах впереди и позади нельзя было разглядеть ничего. И только потому, что Марийка знала, что позади движется другой карбас, она слышала легкий плеск воды. Кроме нее, в лодке было еще трое разведчиков, фамилий которых она не знала и по законам разведки даже и не спрашивала. Одного из них — в шерстяном вязаном подшлемнике — звали Ваня; другого, не промолвившего ни слова за весь путь,— Саид; у третьего же было странное прозвище — «Пламенный Привет».

— Почему его так зовут? — тихо спросила Марийка у сидевшего рядом на скамье Вани.

— Солнце взойдет, сама увидишь! — отозвался он.

И Марийке в его ответе послышались смешливые нотки.

«И правильно,— укоряла она себя,— не надо спрашивать».

В лодке, шедшей позади, сидели восемь бойцов с легким пулеметом. Им было поручено во что бы то ни стало провести Марийку и ее спутников через линию фронта и самим возвратиться.

Даже и днем берега этого огромного озера скрывались за линией горизонта. В темноте же порой на середине озера вдруг казалось, что берег всего в нескольких метрах от карбасов, а когда он и в самом деле был уже вблизи, Марийке, натрудившей веслами руки, казалось, что черной, густой и холодной воде конца-краю не будет.

Гребли по очереди. Начав переправу в шесть вечера, к к четырем ночи приблизились к противоположному берегу.

То и дело над берегом быстро взлетали в черное небо и медленно опускались к сырой земле ракеты, освещая все вокруг ровным, немигающим зеленоватым светом. Луч прожектора шарил по кучевым плотным облакам и вдруг опускался вниз на гладкую, словно застывшее масло, воду. И когда он подходил близко к лодке, сердце Марийки опускалось, как бывает у человека на самолете, быстро теряющем высоту. Но, уже почти доходя до лодки, луч внезапно уходил вправо. Потом светлое пятно бежало по сизым облакам. И тогда от сердца отлегало, и пригнувшиеся гребцы снова распрямляли спины. Вдруг блуждающий луч набрел на первую лодку, прошел по ней влево и снова вернулся, точно поймав ее. И прежде чем Марийка успела что-нибудь сообразить, она почувствовала толчок и сразу очутилась в холодной, пронизывающей воде.

Вода доходила Марийке до груди. Это Саид рывком перевернул кверху дном ладью. Люди очутились в озере, и белофинским наблюдателям черная, просмоленная лодка с поднятым кверху килем могла показаться одним из многих прибрежных камней. И, сразу поняв, что надо делать, бойцы с лодки, шедшей позади, открыли стрельбу по прожектору, привлекая внимание к себе. С берега послышалась ответная стрельба. Луч прожектора поймал вторую лодку и застыл на ней. Дрожа от пронизывающего все тело холода, Марийка стояла, подогнув колени так, чтобы над поверхностью воды осталась только одна голова.

Луч уже не бегал по озеру — он застыл, не выпуская из своих цепких объятий лодку с бойцами.

Брызги, поднятые миной, разорвавшейся около второго

карбаса, обдали ледяной пылью лицо Марийки. Ваня тронул ее за локоть.

— Давай будем выбираться на берег! — тихо сказал он.

И, пользуясь тем, что все внимание врага было приковано ко второму карбасу, они вышли на берег.

Быстро пробравшись в прибрежный лесок, Марийка, выжимая платье, не отрывая глаз, смотрела, как отходит карбас с товарищами обратно к тому берегу, где было сейчас все, что дорого ее душе. Рядом с карбасом, почти у самого борта, то и дело поднимались вверх сверкающие в свете ракет зеленые фонтаны от разрывов мин.

Ухнул орудийный выстрел. Снаряд лег далеко впереди лодки. Где-то неподалеку дробно рокотал пулемет.

«Уйдут ли?» — с тревогой подумала Марийка.

— Уйдут, теперь это не твоя забота,— сказал Ваня, словно угадав ее мысли.— Твоя забота теперь свое дело как следует сделать! Пойдем!

Они пошли в глубь леса на запад.

Если бы не холод от облегавшей тело мокрой одежды, то идти по этому лесу было бы нетрудно, потому что приходилось шагать налегке: заплечные мешки утонули, и не было времени разыскивать их на дне озера. Оставалось лишь по нескольку сухарей в карманах. Только у одного Пламенного Привета был автомат с диском, у других же — лишь тульские пистолеты Токарева.

— Ничего, дойдем! — подбодряя других, сказала Марийка.— И то счастье, что нынче уже комаров нет!

— А то как же! — улыбнулся Пламенный Привет, тоже совсем молодой парнишка.— Я ведь лодку сейчас так накренил, что она обязательно затонет. Даже никто и не подумает, что две было... И место подметил, чтобы в случае чего обратно выбираться!..

— Ты раньше туда дойди! — перебил его Ваня.

Когда солнце поднялось высоко, разведчики легли отдыхать, зарывшись в мох. Устраиваясь поудобнее, Пламенный Привет снял шапку и положил ее под голову... У него была густая ярко-огненная шевелюра.

Марийка никогда не видела таких рыжих волос. Поймав взгляд Марийки, он улыбнулся и произнес:

— Спокойной ночи! Привет!

«Теперь понятно, почему его так прозвали»,— подумала Марийка.

Они спали, согревая друг друга теплом своего тела. Один

по очереди дежурил. Укладываясь поудобнее, Марийка подумала о том, что Даша уже встала и пошла на работу, а письмо она передаст Василию только завтра...

С этой мыслью она заснула, и плечо товарища казалось ей мягче, чем маленькая девичья подушка на кровати в комнате в Беломорске.

VI

Так шли они, обходя стороной редкие обезлюдевшие деревушки. Ели крупную багряную бруснику, сладковато-горькую рябину и кое-где еще сохранившиеся ягоды пьяного гонобобеля. У одного глухого маленького озерка Ваня бросил в воду двухсотграммовую шашку тола, и через несколько минут они собрали штук двадцать щучек, окуньков, линьков и сижков. Марийка поджарила рыбу днем на маленьком костре из сухих сучьев, предварительно содрав с них кору, чтобы не было дыма. И хотя у них не было ни щепотки соли, рыба показалась им чудесной.

На четвертые сутки такого блуждания по лесу, когда уже больше чем полпути к условленному месту было пройдено, они приблизились к деревушке Топорная гора.

На небольшом совещании было решено, что Ваня, не заходя в деревню, пойдет дальше и в десяти километрах остановится, чтобы подождать остальных.

— Если через десять часов мы не догоним тебя, иди дальше один,— сказала Марийка.— Значит, нам не удалось достать в деревне ни хлеба, ни соли, или еще того хуже...

Марийка одна из всей группы говорила по-карельски и по-фински.

— Я пойду в деревню одна! — сказала Марийка товарищам.— Вы меня здесь за околицей ждите.

— Ну нет, не на таких напала! Мы тебе защитой будем,— грубовато сказал Пламенный Привет.

Так и сделали. Ваня пошел дальше, а двое разведчиков с Марийкой притаились среди кочек леска около деревни и, наблюдая через косой плетень за тем, что происходит на деревенской улице, дожидались сумерек.

Солнце садилось далеко за озером, и маленькие окна бревенчатых изб, украшенные резными наличниками, горели, отражая дальний неуемный пожар заката.

Ослабевшая за несколько голодных суток, Марийка с тру-

дом поднялась по крутым ступенькам высокого скрипучего крыльца и, потянув щеколду, вошла в тесные сени. За нею, нагибая голову, чтобы не удариться о низкую притолоку, вошел в сени Саид. Пламенный Привет шел позади, держа палец на спусковом крючке автомата.

Из горницы доносились громкие голоса. Марийка вошла в комнату и окинула ее взглядом.

Несколько женщин, сидя на лавочке и суча нитку кудели, вели между собой оживленную беседу. Два старика с окладистыми седыми бородами сидели молча около окошка. Девушка с толстой косой налаживала чадившую лампадку. Когда Марийка вошла в комнату и следом за ней появился Саид, беседа сразу приостановилась. Девушка отставила в сторону лампадку, повернулась к Марийке и радостно воскликнула:

— Ты от наших, правда?

И не успела Марийка промолвить и слова, как все повскакали с мест, обступили ее и стали расспрашивать:

— Ну, как там? Да как ты решилась сюда прийти? Здесь и без всякой вины в беду попадешь! Где наши сейчас стоят?

На эти и еще десяток других жадных вопросов Марийка должна была сразу же ответить. И так радостно было ей говорить правду этим запуганным, обездоленным людям! Все они слушали ее с напряженным вниманием, и никто не заметил, как из горницы вышла кривая старуха. В сенях она увидала разведчика, стоявшего у дверей. Старуха знаками показала Пламенному Привету, что ей необходимо в отхожее место, которое было тут же, в коровнике, и отделялось от сеней невысокой дощатой перегородкой.

В горнице девушка с толстой косой подошла вплотную к Марийке:

— Родная моя! Возьми меня с собой, прошу тебя! — взмолилась она.— Все, что угодно, я буду там делать. Только вызволи отсюда! — И она опустилась на колени перед растерявшейся Марийкой.

— Ой, женки! — вдруг спохватилась хозяйка избы.— А куда же Петровна скрылась?

Все переполошились.

— Не иначе как к лахтарям побежала... У нее сын ведь еще в двадцать втором году в Финляндию скрылся. Недавно нашла его. Посылку прислал ей... Быть беде!..— быстро, перебивая друг друга, затараторили женщины.

— Голубушка, что ж ты стоишь, иди скорее! — торопили они Марийку.— Иди прячься...— Говоря это, они совали

ей в руки куски хлеба. Хозяйка избы вытащила из печи котелок с картошкой и, обжигая пальцы, стала запихивать в карманы Марийке и Саиду горячие, дымящиеся картофелины.

— Эх ты, Пламенный Привет, что ж ты ее выпустил! — с упреком сказала Марийка, быстро выходя в сени.

— Да не выпустил, она здесь! — весело ответил разведчик и, с силой выдернув задвижку, распахнул дверь в уборную.

Она была пуста. Две большие доски отодвинуты в сторону.

— Ух ты, сволочь! — выругался Пламенный Привет и выскочил на крыльцо вслед за Марийкой.

Вместе с Саидом она уже шла по улице. Сбегая по ступенькам, Пламенный Привет вдруг увидел, что из-за угла навстречу Марийке вместе с кривой старухой вышло несколько вражеских солдат. Один из них держал на поводке повизгивающих собак. Пламенный Привет поднял автомат и дал по солдатам длинную очередь. Несколько белофиннов упало. Другие забежали за угол двухэтажной избы.

Марийка быстро повернула к баням, стоявшим у ручья, за которыми начинался лес на болоте. Пламенный Привет большими, размашистыми шагами побежал туда же... Несколько выстрелов раздалось им вслед.

— Ну, вот и попались! — тихо сказал Саид, проверяя, сколько патронов осталось в обойме его пистолета.

— Уйдем! — уверенно бросил Пламенный Привет.

Но в эту минуту они услышали заливистый лай собак на дворе.

— Не уйдем! — прислушиваясь к лаю, сказала Марийка и, помолчав, добавила: — Надо идти назад, в другую сторону, чтобы не подвести Ваню.

Они пошли, перескакивая с кочки на кочку, проваливаясь в болото, обратно на восток.

— Знаешь, Марийка, далеко на Каме, у самого берега, деревня моя стоит. А там жена моя, Айши,— сказал Саид.— Один только год мы с ней прожили, Марийка. Глаза у нее черные, и голос тоже совсем другой, а все ж таки, когда я смотрю на тебя, чем-то ты на нее очень похожа. Если что, Марийка, разыщи ее и скажи, что в последний мой час думал я о ней. Пусть она замуж выйдет за Илаева. Он хороший парень. А ругал я его потому, что ревновал Айши.

— Ладно, скажу. Все скажу,— ответила Марийка и вспомнила, как на берегу реки сама просила Аню рассказать обо всем Васе.— Ладно, скажу,— еще раз повторила она.

Собачий лай раздался совсем близко. И не успела Марийка перескочить еще несколько кочек, как сзади в подол ее юбки вцепилась зубами овчарка. Марийка остановилась и выстрелила в собаку. Раздался жалобный вой, собака разжала челюсти.

Марийка остановилась.

Навстречу из леса шли солдаты с собаками. Саид лег в болото. Рядом с ним улегся Пламенный Привет. Марийка тоже опустилась на сырую землю.

В это время раздалась длинная очередь из автомата.

Пламенный Привет работал точно. Человек шесть солдат как подкошенные упали и больше уже не поднимались. Послышались стоны. Потом все смолкло, и только слышно было, как жалобно чавкает болотистая почва и повизгивают сдерживаемые собаки. Солдаты подползали к кочкам, между которыми таились разведчики. Потом они начали стрелять. Огонь был плотный. Марийка прижалась плашмя к холодной, сырой земле.

«Последнюю пулю сберегу»,— решила она.

Над самой ее головой нависал кустик брусники, отягощенный ягодами.

Есть почему-то не хотелось, а вот выпить она бы могла сейчас целый ковш. Брусника, наверно, утолит жажду. Пули посвистывали в нескольких вершках от нее. Марийка хотела сорвать ягоды, но не успела поднять руки, как кустик свалился в сторону, срезанный пулей.

Снова раздалась очередь автомата. Пламенный Привет бил безостановочно.

— Чего ты торопишься, экономь! — прикрикнул на него Саид.

Но тот не отвечал и продолжал стрелять.

После небольшого молчания со стороны противника раздались выстрелы; одной из первых пуль был убит Пламенный Привет. И в предсмертных судорогах он пальцем нажимал на спусковой крючок автомата. Палец его не распрямился и после того, как окончился диск.

Еще автомат Пламенного Привета продолжал стрелять, когда в двух шагах от Марийки выросла фигура солдата. Марийка прицелилась и выстрелила. Солдат рухнул на землю,

но в то же мгновение что-то тяжелое обрушилось сзади на Марийку и вдавило ее в зыбкую почву. Теряя сознание, она успела еще крикнуть:

— Смерть захватчикам! — и услышала гортанный голос Саида, выкрикивавшего по-татарски проклятия.

Очнулась она уже на рассвете в холодном и темном подвале. Голова тяжело ныла. Рассеченная нижняя губа кровоточила, мокрое платье было разодрано.

Рядом во тьме стонал человек.

— Саид? — окликнула Марийка.

— Ты жива? — спросил Саид.— Лучше бы ты уже умерла!

Они лежали молча на холодной, влажной земле. В наступившей тишине только и слышны были шаги часового, ходившего взад и вперед около дома. Время потянулось в молчании, продолжавшемся, может быть, несколько минут, а может быть, и несколько часов.

— Марийка! — окликнул ее вдруг Саид.— Спасибо тебе за все!

— Послушай,— молвила Марийка,— сколько мог пройти Ваня? Мы десять часов лежали у деревни. Потом разговор — час, да бой — час. Теперь, наверно, утро наступает. Сколько времени мы здесь?

И они стали шепотом подсчитывать, далеко ли успел уйти Ваня. То, что он был теперь, вероятно, ближе к условленному месту, чем к деревушке, в подвале одной из изб которой они были заключены, успокаивало их и радовало сейчас больше всего на свете. Захотелось есть. Марийка вытащила из кармана две картошки и протянула одну Саиду. Картошка была вкусная, рассыпчатая, и только из-за рассеченной губы было больно откусывать. Над головой заскрипели доски и застучали сапоги. Послышались голоса. И среди других фраз Марийка услышала:

— Посмотри там, очнулась она или нет? Если пришла в себя — доставь сюда. Девушка будет сговорчивее, чем этот чертов татарин!

Со скрипом поднялся квадрат люка. Яркий свет ударил в глаза Марийке. Она застонала. Спустившийся в подполье солдат толкнул ее в бок ногой. Она не шевельнулась. Солдат поднес к лицу девушки карманный фонарик. Веки ее были плотно смежены.

Солдат прикрикнул:

— Вставай!..

Она не ответила. Тогда он, кряхтя, полез наверх и с силой захлопнул крышку люка.

— Для чего ты так сделала? — спросил Саид.— Мук боишься? Все равно не уйдешь, для чего ж тянуть?

— Ване каждая лишняя минута дорога!

— Ты хорошая девушка! — сказал Саид.

...Прошло еще несколько часов, прежде чем их вытащили из подвала, вывели на деревенскую улицу и поставили около плетня поблизости от большой избы.

Недавно прошел дождь — дорога была грязная и вязкая, но небо было уже синее, и в большой луже перед домом отражались бегущие по небу облака. Марийка оглянулась. Казалось, вся деревня вымерла — ни одного жителя не виднелось на улице. Лишь вблизи стояло несколько солдат. Саид едва держался на ногах. Взглянув на него, Марийка содрогнулась: лицо его было неузнаваемо — сплошная кровоточащая рана.

«Неужели так и у меня будет?» — подумала Марийка. И ей, так недавно печалившейся из-за нескольких веснушек на лице, стало страшно.

— Ну, девушка,— вежливо сказал офицер,— ты мне сейчас ответишь на вопросы.

Он говорил по-русски. Марийка ответила по-фински, чтобы все стоящие поблизости солдаты понимали разговор:

— Смотря какие вопросы будешь задавать.

— Так ты финка? — удивился офицер.— Ну, тогда другой разговор!

— Я карелка.

— Это тоже неплохо. Одним словом, твоя жизнь в твоих руках. Откуда вы пришли?

— Мы — народ! Мы — здешние!.. А если бы мы на минуту раньше из деревни вышли, так вы ни за что бы не взяли нас! — вдруг добавила она.

Офицер посмотрел на ее бледное, похудевшее лицо, на синюю, рассеченную, кровоточащую губу, на спутанные волосы, на оборванное платье и засмеялся.

— Ну, нет! Я за вами с собаками от самого берега шел. Минута-другая тут роли не играет.

И Марийка поняла, что офицер ничего не знает про Ваню, что они остановили погоню и приняли ее на себя. И от этого сознания ей стало легко и радостно, словно не смерть ее ждала сейчас, а большая удача. Лицо ее просветлело. Голубые глаза засияли.

Удивленно глядя на нее, офицер продолжал ее допрашивать:

— Сколько вас было? Трое?

— Ну нет! Нас не только трое! Нас больше, чем тебе кажется!

— Не обманешь! — усмехнулся офицер.— Один из вас в болоте лежит — значит, осталось двое. А теперь...— Он вытащил из кобуры пистолет и выстрелил прямо в лоб Саиду.— А теперь ты одна осталась!

Саид упал навзничь. Он лежал в грязи на дороге, у ног Марийки. Девушка покачнулась; слезы подступили к глазам. Она ухватилась рукой за неровные жерди плетня. Переводя дыхание, она взглянула на облака, бежавшие по высокому голубому небу. И перед ней возникло лицо Ани, когда она спросила: «Доплывешь?»

— Доплыву! — прошептала Марийка и заплакала.

— Вот плачешь,— сказал офицер, довольный произведенным впечатлением,— а если будешь хорошо вести себя, мы дадим тебе возможность и порадоваться!

— Я и сейчас радуюсь! — громко, чтобы слышали солдаты, сказала Марийка.— Я и сейчас радуюсь тому, что порученное мне задание выполнено. А плачу я от злости, что не могу убить тебя, фашистскую собаку.

И в ее широко открытых глазах, наполненных слезами, глядящих на него в упор, офицер увидел такую неприкрытую ненависть, что внутренне содрогнулся. Подняв пистолет, он отвел в сторону глаза и, не целясь, выстрелил в Марийку. Резко повернувшись к стоящим чуть поодаль солдатам, он вдруг увидел лицо старой женщины, прильнувшей к стеклу маленького окошка избы на другой стороне улицы, и во взгляде ее он прочитал ту же ненависть, которой светились и большие голубые глаза застреленной им девушки. И тогда он снова выстрелил в уже лежавшую неподвижно рядом с Саидом Марийку и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны в обойме.

Ваня дошел до отряда и выполнил то, что было поручено. Жители деревни похоронили девушку и ее погибших товарищей. Рассказы крестьян о том, как умерла Марийка, были подтверждены показаниями взятого в плен финского солдата, который присутствовал при последнем допросе и был свидетелем последних минут жизни Марии Мелентьевой.

* * *

Советская Армия разгромила вражеские орды на всех фронтах Великой Отечественной войны. В освобожденной от оккупантов Карелии кипит напряженная жизнь. Гудят в карельских лесах электропилы. Яркими, радующими глаз огнями отражается, дробясь в бесчисленных озерах, свет сельских электростанций, построенных после войны. Видны эти огни и из широких окон школы имени Марии Мелентьевой в Пряже. Вспыхивает яркий свет лампочек Ильича в длинные зимние вечера в избах колхоза имени Анны Лисицыной на берегу Онежского озера в селе Шелтозеро. Знает и любит своих героев советский народ и свято бережет в сердце своем память о них.

1943—1945

«ЛЕБЕДЬ»

Героической команде «Лебедя»

Доставив в город пленного немца, сержант Чайкин торопился обратно в часть. Полк его находился на самом северном участке фронта, на крайнем правом фланге, и бился у изрезанного глубокими бухточками и узкими каменистыми заливчиками берега Баренцева моря. И дорога к нему через каменистые сопки еще не была проложена. А тут началась обычная для этих мест предвесенняя апрельская метель, когда холодный и резкий ветер несет неисчислимые хлопья мокрого, пушистого снега, заваливает им все ложбины и в несколько часов неузнаваемо преображает весь мир. Трех суток такой непроглядной снежной бури оказалось достаточно, чтобы засыпать все тропы и сделать непроходимыми ущелья. И теперь к полку было ни проехать, ни пройти.

Чайкин в крайнем случае мог бы дождаться, пока через три-четыре дня установится дорога, но дело было не в Чайкине. В полку кончались снаряды. Об этом радировали несколько раз. И теперь добираться в полк можно было только по морю, на небольших, малозаметных суденышках, которые могли прошмыгнуть мимо береговых немецких батарей.

«Лебедь» — рыболовецкий бот — уже закончил погрузку снарядов и патронов, когда Чайкин появился на пирсе. Пора

было отваливать, но капитан, часто взглядывая на часы, все еще почему-то медлил.

— Чего это мы здесь канителимся, товарищ Сизюхин? — спросил Чайкин матроса, взявшегося за румпель.

— А вот чего,— кивнул рулевой: по пирсу, торопясь к мотоботу, полубегом приближались две девушки.— Разве без кока можно двигаться в путь!

«Вот она, штатская расхлябанность! Эх, рыбаки!» — укоризненно подумал Чайкин, взглянув на вновь прибывших.

Одна из них, круглолицая, которую звали Тамара, несла какой-то тяжелый сверток.

— Андрей Григорьевич,— крикнула она, еще не доходя до бота,— сегодня в рыбкоопе тарелки и чашки раздобыли, с цветочками! Первый класс!

Капитан строго сказал:

— На место! А то задерживаемся.

Вторая, остролицая, быстренькая, вихрастая девушка, пробегая мимо капитана, бойко проговорила:

— Сегодня мало! Всего одиннадцать! — и исчезла в каюте.

— И чего это ей так пишут?..— развел руками капитан и дал приказ отваливать.

Сразу все засуетились, забегали, и через минуту мотобот уже шел по широкому заливу.

В черных каменных кубах, облитых вечным зеленоватым светом луны, Чайкин угадывал дома ночного, притаившегося, израненного города.

Ровно и негромко рокотал мотор. Сиявшая на просторном небе луна, казалось, озаряла своим светом только снег на высоких и скалистых берегах и теряла свою силу, достигая воды. Вода же была из черного непрозрачного стекла и нехотя пенилась за кормой у винта. Было совсем безветренно, и «Лебедь» шел по фиорду, пыхтя и пофыркивая.

— Плохая погода! — покачивая головой, сказал капитан «Лебедя», коренастый и усатый помор, похожий на моржа, обращаясь к сержанту Чайкину.— Вот вчера и позавчера было чудесно! Такая метель — за двадцать шагов ничего не видать!

— Андрей Григорьевич, а луна-то какая! Прямо зверская! — подошла к капитану вихрастая, остролицая девушка в комбинезоне.

Она вышла из машинного отделения, и руки ее были запачканы маслом.

— Да, Тоня, беда — ясная погода!

— Ничего, и на этот раз проскочим, Андрей Григорьевич! — успокаивающе сказала мотористка и снова словно провалилась в черную дыру люка.

Сержант Иван Чайкин, наоборот, был очень рад тому, что погода тихая и ясная. Откровенно говоря, бесстрашный на суше, он боялся, что его на море укачает. И если бы не желание скорее добраться к товарищам в разведвзвод, он ни за что не взошел бы на мотобот. И еще его радовало, что внизу, в трюме, были снаряды и патроны. Тяжело нагруженный мотобот медленно шел по заливу. Если бы Чайкин не видел плывущих назад, залитых лунным сиянием прибрежных снеговых гор, ему казалось бы, что «Лебедь» совсем не двигается. Красным ровным светом равнодушно мигали фонари, обозначая фарватер. И Чайкин подумал о своем доме — ему стало грустно. Затем он вспомнил ребят своего взвода: может быть, в эту минуту гитлеровцы снова пошли в контратаку, а полковые пушки молчат, экономя последние снаряды.

— Черт дери, как мы медленно идем! — выругался он.

— Да, пять узлов немного! — сказал рулевой матрос Сизюхин.

Он сменялся. Увидев золотую нашивку под распахнувшимся полушубком Чайкина, Сизюхин стал расспрашивать его о службе разведчика.

— Трудно! — признался от души Чайкин.— Бывает, десять часов лежишь почти перед самой немецкой траншеей и смотришь так, что глаза заболят. А замерзнешь как! Просто и не рассказать! Ползешь обратно, а ноги и руки не действуют, окоченели совсем. Ну, что делать? Возьмешь автомат в охапку, сожмешься весь, подберешься — и покатишься так по склону, под сопку вниз, по снегу, как кубарь какой, честное слово! Жуть!

— Тоже нашел чем хвалиться! — вмешалась в разговор подошедшая к ним Тоня. Она слышала только последние слова Чайкина.— Я вот сегодня одиннадцать писем от разных людей получила и то не хвастаюсь. А верно ведь — хорошая у меня работа. Столько людей встречаешь! У нас здесь, на море, людно... И всякий парень норовит адресок спросить. Авось встретимся! А потом на письма только и отвечай!

«Пустая девчонка! Вздорная девчонка!» — подумал Чайкин и степенно сказал:

— Так я что... Вот ребята у нас бедовые.

— Лево руля! Лево руля! — крикнул капитан и с неожи-

данной для своего возраста и комплекции быстротой метнулся к штурвальному колесу.

И в это мгновение Чайкин краем глаза уловил какой-то отдаленный отблеск.

...Оглушительный разрыв снаряда. Такой близкий, что Чайкин машинально, управляемый новым, создавшимся на фронте чувством, упал плашмя на палубу, растянувшись почти у ног капитана.

— Ну, это далеко еще! — сурово сказал капитан.— Вам, сухопутным, кажется, что близко, потому что над водой звук сильнее раздается... А это километр в сторону.

Из камбуза выскочила Тамара и стала смотреть на берег, откуда били немецкие орудия.

Чайкин почувствовал себя неловко и подумал: «Ладно, поглядел бы я на вас в разведке!»

Немцы били из четырех орудий, и Андрей Григорьевич повел судно зигзагами. В ночном, неверном свете трудно точно определить расстояние. Воздух был прозрачен и тих. Высоко, разливая холодный свет, сияла северная луна. И с вражеского берега — на фоне сверкающих снегом склонов — мотобот был ясно виден, словно вырезанный из черной глянцевитой бумаги силуэт на белоснежном листе. Второй, третий, четвертый выстрелы.

Капитан повернул свой корабль прямо на немецкие батареи. Теперь уже совсем невдалеке разорвались, не долетая до воды, два снаряда.

«Достаточно одного, чтобы мы все очутились в вагоне для некурящих»,— подумал Чайкин, ни на минуту не забывая о грузе.

И снова судно изменило курс.

Чайкин понял, почему так мечтал о снегопаде Андрей Григорьевич.

Самым тягостным для него сейчас было ощущение своей беспомощности, словно он попался в ловушку. Вот если бы он мог стрелять сам или хотя бы врукопашную схватиться с врагом, он чувствовал бы себя прекрасно. Но здесь! Погибнуть так бесславно и не дать сдачи! Нет, пожалуй, действительно не стоило садиться на эту посудину. Пешком и то быстрее! Но тут Чайкина облило с ног до головы. Совсем близко разорвался в воде снаряд. Осколками снаряда была разбита спасательная шлюпка.

И вдруг заблестели вспышки и раздался гул выстрелов с другого берега. Это отвечали наши батареи.

— Так держать! — сказал капитан рулевому.— Вышли из опасной зоны. Немцы остались за горой... Ну как, сухопутный товарищ? У меня вот осколком перебило машинный телеграф и крышку компаса. Ну, да это неважно. По этим местам я и вслепую судно проведу. Все эти воды избороздил.

— Андрей Григорьевич! Семьдесят девять! — раздался снизу звонкий голосок Тони.

— Правильно! Семьдесят девять! — ответил ей Андрей Григорьевич.— Это ей, товарищ сержант, поручено считать, сколько снарядов по «Лебедю» выпущено! Вот в прошлый раз было девяносто два и три прямых попадания. Это невесело... Ну, теперь уже скоро рассвет. А там опять держись!

И капитан пригласил Чайкина в камбуз.

— Выпейте чайку и поспите немного. Молодые спать любят! — сказал он и лукаво улыбнулся.— Я так мог в вашем возрасте двадцать четыре часа проспать подряд. Правда, и по двадцать четыре часа работу ломили. Это тоже бывает. Все ж таки «Лебедь» наш по всем морям известен. Хорошо рыбу ловили!

Через полчаса, напившись чаю из новой чашки, которую ему поднесла Тамара, Чайкин мирно заснул, привалившись спиной к подрагивающей стенке рубки. Проснулся он от тревожного гудка.

— Тревога! Тревога! Летят! — крикнула Тамара.

Гул самолета уже раздавался над самой головой. Чайкин выбежал на палубу.

«Лебедь» шел уже по открытому морю, и только слева сверкали покрытые снегом скалы берега.

Был ясный и прозрачный солнечный день. И вдруг тень от черного крыла пронеслась над самой палубой и на мгновение закрыла солнце.

За первым «фокке-вульфом» шел второй, и низко над зеленой морской водой на бреющем полете приближался третий.

Раздался грохот — взметнулся фонтан воды и обрушился на палубу.

Словно мокрой простыней хлестнуло по всему телу Чайкина. И опять так же близко раздались второй и третий взрывы. Утлое суденышко задрожало, затрепетало.

«Да, здесь до дна морского не меньше чем полкилометра»,— подумал Чайкин. И хотя ему стало очень страшно от сознания этой бездонной глубины, от которой груз тяжелых снарядов и он сам были отделены только несколькими то-

нелькими досками, он теперь все-таки не чувствовал себя таким беспомощным, как ночью.

Он прицелился из своего автомата и выпустил сразу всю обойму. Но самолет как ни в чем не бывало развернулся и пошел на второй заход.

На носу заработал спаренный зенитный пулемет. Это бил штурман Келарев.

Тяжелый взрыв потряс снова до основания все суденышко, и очереди судового пулемета были перекрыты очередями трассирующих зажигательных пуль, летевших сверху. Стервятник бил всеми своими пулеметами по палубе. И снова вслед за первым самолетом и второй и третий обрушили огонь своих пулеметов на низкую палубу мотобота.

— Почему же ты больше не бьешь? Бей! — крикнул Чайкин, подбегая к пулемету.

— Заклинило! — с отчаянием в голосе ответил штурман и махнул рукой.— Тяжелая система! «Браунинг»! — И в это время он заметил, что суденышко, круто повернув, пошло прямо к берегу.

Над зеленой, мерно раскачиваемой водой, в том месте, куда теперь плыл «Лебедь», поднимались и ниспадали белые гребешки. Подводные камни!

— Сизюхин! — крикнул штурман.

Но Сизюхин не ответил. И в быстрой тени от крыла сержант увидел, что рулевой, положив голову на штурвал, грузно, как мешок, оседает на доски палубы.

Штурман, оставив пулемет, бросился к штурвалу и, разжав пальцы Сизюхина, опустил тело на палубу. Схватив румпель, он с силой повернул его.

Фашистские самолеты не унимались: они кружились над беззащитным ботом и продолжали делать заход за заходом.

И опять трепетало утлое суденышко, и снова острые брызги хлестали палубу, и привкус соленой воды все время застывал на губах Чайкина.

Вдруг рядом с бортом, словно со дна морского, взметнулся высокий столб воды и отбросил в сторону «Лебедя».

Из кубрика на палубу выскочила Тамара.

— Сволочи! — крикнула она.— Всю посуду перебили!..— И, увидев сержанта, стоящего у пулемета, крикнула ему: — Почему не стреляешь?

«Фокке-вульф» шел в пятый заход.

— Заклинило! — злобно ответил Чайкин и махнул рукой. Как ему хотелось, чтобы это был «Дегтярев», или «мак-

сим», или хоть немецкий пулемет. Но это был незнакомый — «браунинг». Тамара быстро подскочила к пулемету и привычной, умелой рукой стала подвинчивать что-то, передвигая рычажки.

— Действует! — крикнула она и хотела стрелять по второму «фокке-вульфу», пикировавшему на «Лебедь», но щепкой, сорванной с палубы немецкой пулей, ударило ее по правой руке, и она, оставив пулемет, схватилась за ушибленное место.

В это время третий стервятник в пятый раз пошел на мотобот.

Теперь у пулемета стоял Чайкин. Он поймал кабину «фокке-вульфа» в самую сердцевину паутинки прицела и выпустил длинную очередь.

Что произошло на самолете, никто не узнает, никто даже не успел увидеть пламени вспыхнувшего мотора.

Взрыва не было. Пулеметные очереди не прочертили палубу. Машина, так и не выйдя из пике, всей своей стремительной тяжестью врезалась в изумрудную воду и канула на морское дно.

Оставшиеся два «фокке-вульфа» сделали еще по одному кругу, уже в вышине, и, не стреляя, не бросая бомб, ушли на запад.

Но зажигательные пули сделали свое дело: горела палуба над люком, в котором были снаряды. Чайкин, скидывая с себя на ходу полушубок, метнулся к дыму, к тоненькой струйке пламени на палубе. Плотник по профессии, он не раз тушил начинающиеся на стройках пожары. Сейчас его больше всего волновала мысль о том, что мотобот взорвется и тогда товарищи его, ведущие смертный бой с гитлеровцами, не получат снарядов.

Когда боцман, сорвав огнетушитель со стены надстройки, подбежал к Чайкину, прижавшему свой полушубок к палубе, пожар был уже затушен, так и не успев разгореться.

И стало необыкновенно тихо, и слышно было, как журчит вода, рассекаемая грудью «Лебедя», как по-прежнему неутомимо, но с какими-то перебоями рокочет судовой мотор. И еще Чайкин услышал, как громко, с хрипом, дышит у руля штурман Кеиарев. К штурману подходил капитан.

— Да ты ранен, братец! — сказал он.— Иди немедленно к себе в каюту, отдохни!

И снова на палубе появилась Тамара с санитарной сумкой. Она наклонилась над штурманом, который теперь даже не

мог пошевелиться. У него было шесть ран. Чайкин помог Тамаре перетащить раненого в рубку.

Когда Чайкин вышел наверх, около капитана стояла Тоня. Комбинезон девушки был залит кровью.

— Не беспокойтесь, Андрей Григорьевич! — сказала она.— Это у Степанова кровь из носу. Ему дурно... Задыхается!

— Ну, а как там в машинном?

— Ничего! Дышать еще можно! Вот только плохо проворачивается гребной вал. И воды прибавилось! Но теперь недалеко, дотянем!

Тоня вся была вымазана маслом и мазутом. Из-под синей косынки выбивались светлые пряди волос, и в лице было все то же детское упрямое выражение и та же еле уловимая морщинка у губ, как будто ее кто-то дразнит, а она делает вид, что это ее совсем не касается.

— Ты бы помог мне вытащить Степанова, а? — обратилась она к Чайкину.

— Ну, что же...— согласился Чайкин.

...Внизу было так чадно, что Чайкин чуть не задохнулся в этом густом, отравленном отработанным газом воздухе. А Тоня проскользнула, как ловкая и быстрая ящерица, и, наклоняясь над какими-то краниками, подворачивала их, подвинчивала какие-то гаечки, всматривалась в дрожащие стрелки непонятных циферблатов. Здесь она была у себя дома. И пока Чайкин, задыхаясь, вытаскивал потерявшего сознание механика, она настороженно прислушивалась к перебоям в ритмическом постукивании поршней.

На палубе Чайкин с наслаждением полной грудью вдохнул свежий, холодный воздух. Механик тоже начал дышать ровнее. Мертвенная бледность стала сходить с его щек. Чайкин положил его на доски палубы и, подняв глаза, увидел высокие прибрежные каменистые сопки, за которыми дрались его товарищи, увидел мерно колыхавшуюся водную гладь.

— Сержант! — позвал его Андрей Григорьевич.— Штуртросы порвало! Видишь, не действует.

И он круто повернул несколько раз штурвальное колесо, но «Лебедь» ни на йоту не сдвинулся. И Чайкин увидел, что их несет на пенящуюся, каменистую подводную гряду.

— Надо впрячься! — сказал Андрей Григорьевич.

Вместе с матросом Конопляниковым Чайкин впрягся. Он стоял, держа трос у одного борта, а Конопляников — у другого, и когда капитан приказывал: «Лево руля!» — Чайкин, срывая кожу на руках, изо всех сил упираясь ногами в скольз-

кую леденеющую палубу, тянул неподатливый промерзший трос, а когда капитан командовал: «Право руля!»— Чайкин постепенно отпускал трос, а тянул Конопляников.

Это была нелегкая работа. Но зато мотобот теперь шел уже по положенному курсу.

Через два часа такой работы, которая совершенно вымотала Чайкина, из машинного отделения вышла Тоня. Она была очень бледна. Комбинезон ее промок до самого пояса.

— Фильтры пробило осколком! Я пластырь наложила, но все-таки заливает. Вода уже выше колен. Большая течь, а водоотливной насос не действует.

Капитан, надвинув на глаза свою шапку, спустился вслед за Тоней в машинное отделение.

Чайкин взглянул на море и увидел, что оно стало ближе. Суденышко осело, и теперь вода была значительно выше ватерлинии — всего в каком-нибудь метре от фальшборта.

— Да-с! — озабоченно сказал Андрей Григорьевич, поднимаясь наверх. С него струилась вода и быстро заледеневала на без того скользких досках палубы.— Да-с! Случилось то, чего я опасался. Не выдержала сотрясения посудина. А может, где и днище осколком пробило... До места еще восемь километров — не дотянуть! Да к тому же каждую минуту могут снова налететь.— И он взглянул на берег.

На высокой, нависшей над морем скале видна была бревенчатая построечка. Пост.

— Сигнал! — приказал Андрей Григорьевич Конопляникову.

И матрос, взяв сигнальные флажки, пошел на нос.

С поста ответили: «Принимаем!»

— Семафорь! — громко диктовал Андрей Григорьевич: — «С грузом снарядов выбрасываемся под скалой у поста. Вызывайте прикрытие! Сообщи командиру прибытие груза!»

С поста просигналили: «Прочли! Поняли! Делаем!..»

— Ну, а теперь на место! — скомандовал Андрей Григорьевич, кивком указывая на концы штуртроса.

Чайкин и Конопляников подошли к своим концам. «Лебедь» круто повернул к берегу и пошел к нависшей над морем скале.

В это же время раздался низкий рокот мотора. По морю быстро шел катер — морской охотник. Он обходил стороной мотобот, и маленький рыжий дымок за его кормой все вырастал и продолжал, густея и темнея, расти и подниматься вверх,

отрезая плотной стеной «Лебедь» от моря, застилая открытую даль.

Чайкин не сразу понял, что морской охотник закрывает «Лебедь» от нападения фашистских самолетов с моря. Ему было даже немного жаль, что скрывается из глаз манящая своей прозрачностью морская даль.

Зато с каждым мгновением все ярче и подробнее вырисовывался крутой и высокий каменный берег, словно грифельная доска, исчерченная полосами выветривания. И на черных скалах, как следы мела, лежали снеговые прожилки.

Все глуше и прерывистее билось сердце «Лебедя», и он толчками приближался к скале. Она уже нависала над его единственной мачтой, которая теперь казалась низкой, почти игрушечной: волна дохлестывала до самого фальшборта.

Мотор заглох. Из люка показалось истомленное лицо Тони. Она была теперь изжелта-бледная.

— Больше нельзя! — сказала Тоня.— Все залито! И я, кажется, тоже не могу...

— Больше и не надо...— ответил Андрей Григорьевич.— Иди в надстройку. Переоденься.

Морской охотник подошел вплотную к «Лебедю». Молоденький высокий младший лейтенант спросил, может ли он помочь чем-нибудь.

— Возьмите раненых и убитого,— попросил Андрей Григорьевич.

— А остальные как будут?

— Просто: разгрузимся, поставим пластырь, откачаем воду и потихоньку тронемся домой. А если мотор не потянет, попросим буксир.

«Однако как же здесь разгружаться?» — подумал Чайкин, взглянув на нависавшую скалу.

Но тут сверху раздались голоса:

— Берегись!

И на палубу грохнулся конец толстого пенькового просмоленного каната. Он извивался как живой.

А когда отчалил с телом Сизюхина и ранеными морской охотник, оставляя за собой пенный след и ставя вторую дымовую завесу, все, кто был на «Лебеде», стали вытаскивать из трюма ящики со снарядами. Первый ящик вытащили Андрей Григорьевич с механиком, второй тащили Тоня с Чайкиным...

Ящик привязали к опущенному со скалы канату. И после

того, как капитан три раза дернул канат, ящик со снарядами поплыл вверх.

«Значит, они не в первый раз ходят в такие рейсы, раз без слов все слажено!» — подумал Чайкин. И он не ошибся.

Это был девятнадцатый боевой рейс «Лебедя» за последние месяцы.

Выгрузка продолжалась почти до самых сумерек. Вместе со всеми работали, опускаясь в наполненный водой трюм и вытаскивая тяжелые ящики, кок Тамара и мотористка Тоня. Дело ускорилось, когда на канате спустились со скалы вниз на палубу пять бойцов. Один из них узнал Чайкина:

— Ну и дела, товарищ сержант! Бьем немца почем зря! Если снаряды подтянуть, не то еще будет!

И они с жаром принялись за выгрузку.

Было любо смотреть, как уходят вверх тяжелые ящики. Было любо смотреть, как понемногу поднимается над водой корпус «Лебедя».

— Я был прав: есть пробоина в подводной части,— сказал капитан Чайкину.— Ну ничего, с этим мы справимся. За нами еще идут другие мотоботы. А ты там, товарищ сержант, передай привет фронтовикам от нас, от службы тыла!

— Ладно, передам! — горячо сказал Чайкин.

И когда «Лебедь» уже был разгружен и Чайкин привязывал себя к канату, чтобы подняться наверх, на скалу, он вдруг торопливо задал очень важный и существенный для него вопрос:

— Тоня, а как ваша фамилия? По какому адресу письмо отправить?

— Устиновская, Мурманск, улица Полярных Зорь, семьдесят семь,— тихо ответила Тоня.

— Вот еще один тебе будет письма писать,— устало улыбаясь, сказал Андрей Григорьевич.

Но Чайкин уже не слышал того, что сказал капитан. Его вытащили наверх товарищи, и вместе с другими бойцами он, держа автомат на ремне перед собой, потащил по снеговой тропе к батарее снаряды.

А в вечереющем многоцветном небе разыгрывался воздушный бой между нашими «лагами» и «мессерами». И на каменистой северной земле, отбив все немецкие контратаки, наши подразделения снова устремлялись вперед.

1944

НОЧЬ СВАДЬБЫ

Еще не было и пяти часов, но на улицах Мурманска уже царила непроглядная темь сырой заполярной осени, когда Надя Скребкова вернулась из родильного дома с первенцем. Едва успела она распеленать младенца и уложить его в плетеную корзинку, стоящую в углу на двух табуретах, как небольшую комнату уже заполнили подруги по сандружине. Неразлучные Таня и Тася пришли со своими мужьями, обе в новых, одинаковых платьях. Больше всего суетилась Надина мать — дородная, подвижная Ольга Федоровна. Она совсем еще недавно вернулась из эвакуации. И вот сегодня ей пришлось совмещать испытанную роль гостеприимной хозяйки дома с новой, еще непривычной для нее ролью бабушки. Поэтому она то бросалась от уже готового и накрытого стола к импровизированной колыбели, чтобы проверить, не сбилось ли в сторону одеяльце, то снова возвращалась к столу, чтобы блюдо с пирожками поставить на то место, где стояла свиная тушенка, а свиную тушенку передвинуть на место маринованных грибов. В хозяйственных хлопотах ей помогала Соня, черноглазая подруга Нади, невысокая, с буйной копной коротко подстриженных волос. Николай Скребков — молодой отец, в морской робе, но уже без погон,— торопил всех к столу.

После первого тоста за здоровье молодых родителей, бабушки и внучка, словно торопясь сообщить важную новость, Николай сказал:

— Слово моему ближайшему другу знаменитому водолазу старшине первой статьи Борьке Широкову!..

И когда тот, коренастый и могучий, поднялся со стула, Николай подмигнул ему и торжественно добавил:

— Сейчас Борис скажет о самом главном. Я сегодня вам сюрприз приготовил!

— Это с вашей стороны благородно, что вы назвали новорожденного Борей. В мою честь. Не забываете, значит, друга. И то правда, что, не будь меня, не было бы вашей свадьбы. То есть, может, свадьба эта и была бы, но после, через месяц, а то и через полгода,— обратился к молодым родителям Борис.— Правда, бывали тогда у меня такие минуты, что я просто мечтал, чтобы свадьба ваша не состоялась... Ну да черт подери, дружба победила. А впрочем, какая тут дружба, когда я еще издали видел, что Надя любит тебя, а не меня. Ты мне не делай знаков, пусть знают, что Борису Широкову мила была твоя Наденька. А если сегодня по случаю прихода ее до-

мой с младенцем выпито малость, так тоже не беда. Ты, Сонюшка, не обижайся, что было — то было.

Ты, Борька, спи, тогда о тебе еще и разговору не было. Родителям твоим, конечно, приятно будет вспомнить про день, а точнее сказать — про ночь свадьбы. Ведь это я тебя, Колька, с Надей познакомил. И совсем это мимо моих глаз прошло, как все у вас закрутилось. Ну, а приходит однажды в кубрик Николай и говорит: не хочет Надя за меня замуж идти, пока война не кончится.

Ах, думаю, уже до этого дошло! А у самого кошки на сердце заскребли и в ушах и в сердце заколотилось.

«Что же, только за этим дело стало?» — спрашиваю.

Ты, Коля, так своими переживаниями занят был, что и не заметил, чего мне стоило твои слова слушать.

Ольга Федоровна, вы теперь по моей милости бабушкой стали, и я прошу вас не удивляться и не ужасаться этим разоблачениям. Но раз я взялся помогать, то уж помогал всерьез. Тем более что Колька действительно мой настоящий кореш,— и если Надя не за меня вышла, то лучшего мужа я ей пожелать не могу.

...И вот снова приходит ко мне Николай через некоторое время, садится на койку. Бушлата не снимает и говорит:

«Боря, а Боря! Попроси старшего лейтенанта, чтобы дал мне увольнительную на завтрашний вечер и ночь и до утра. Если выхлопочешь — будем гулять на свадьбе».

«На какой свадьбе?»

«На моей с Надей!»

Ну, думаю, значит, дело мое окончательно швах. Может, лучше мне не ходатайствовать? Может, у них все это с течением времени разладится, и тут я заявляюсь собственной своей персоной с красной звездочкой на груди. Но, однако же, понимаю, что всегда легче хлопотать за другого, чем за самого себя, и отправляюсь такой уверенной развалочкой к старшему лейтенанту и говорю с ним с глазу на глаз, как мужчина с мужчиной.

«Ну, а какова девушка?» — спрашивает старший лейтенант.

«Про глаза, что ли, ее хотите узнать? Таких больших и зеленых глаз — на десять метров в глубину самую гальку можно разглядеть, вот до чего прозрачные,— таких глаз я в жизни не видал...»

«Ну, когда женщину начинают хвалить и говорят про гла-

за, значит, ничего в ней такого особенного нет! — отвечает старший лейтенант.— Это еще французы так выдумали!..»

«Не знаю, что выдумали французы,— возражаю я ему,— во всяком случае, они свой Париж сдали, а вот мы здесь, в Заполярье, защищаем Мурманск уже второй год и — клянусь вам своей краснофлотской совестью! — отстоим его, хоть это и не Париж! И помогают нам в этом такие девчонки... Такие девчонки, говорю, потому, что она, эта самая Надя, активистка в сандружине Кировского района. Про эту сандружину в «Полярке» вы не раз читали». Ну, да что говорить, одним словом, выхлопотал я увольнительную для нас на восемнадцать часов. И взяли мы прямой курс. На катере сначала. Потом пехом в самый конец проспекта... Там трехэтажный домик, и в нем, между прочим, комнатка Надежды Семеновны, ныне Скребковой. Эта самая комнатка. Когда мы пришли, почти все гости уже были в сборе.

Борис остановился и обвел взглядом собравшихся. Молодой отец разливал в разнокалиберные рюмки и стопки, взятые на вечер у соседей, чистую, прозрачную водку.

— Ну, вот и Соня была, и Люба, и Таня, и Таисия. Все, кто и сейчас сидит за столом. И еще эта, ваша главная в сандружине... фамилии не помню. Знаете, Ольга Федоровна, главной у них была агроном из порта. То есть даже не агроном, в карантине работала, наблюдала, чтобы растительной болезни вместе с семенами не завезли к нам или там жучка вредного.

— Переходи к главному, Борис, не томи! — прервал Коля, ставя на место графин.

— Ну конечно, еще Надя была — сама невеста, какая-то старушка соседка,— продолжал, словно не расслышав, Борис,— вас, Ольга Федоровна, не было, тебя, Анатолий Андреевич, тоже не было, но, хотя можно считать, что был, потому что Татьяна твоя что ни слово про тебя вспоминала и даже пить заставила за зенитную артиллерию, и Самсонова тоже не было. Ты, Таисия, кажется, не была с ним еще знакома. Короче говоря, мужчин в столовой, кроме жениха и меня, не было. Ну, а на столе все в порядке было. Треска свеженькая, тресковая печень, брусничное варенье —дикорастущее, кисленькое, в блюдечках, без сахара, и даже пирог девушки исхитрились спечь с грибами. Просто удивительно для того времени. И напитки. Мы с Колей только две буханки военно-морского хлеба притащили, все остальное девушки расстарались. Не в обиду вам, Ольга Федоровна, будь сказано — ей-богу, не хуже, чем сейчас.

И только то различие и было, что у каждой девушки огромная такая санитарная сумка сбоку. Я, помню, даже подумал, что сумка эта перевесит вашу Таисию, товарищ Самсонов! Ну, главная, конечно, дала разрешение, и сумки эти навалом, в кучу сложили вот в том углу, где сейчас колыбелька. Стали мы закусывать. Один тост я сказал за невесту.

— Короче, чем сегодняшний,— прервал снова молодой отец.

— Ну, так ведь увольнительная всего на восемнадцать часов была,— вступилась за Бориса Надя,— а теперь можно без регламента.

— Вот я и говорю, выпили мы первый тост, подзакусили. И Сонечка стала патефон заводить. Невеста ей и говорит: «Поставь нашу».— «Ладно, отвечает, поставлю».

И приятный такой, грудной голос запел: «Любимый город может спать спокойно!» — и все мы за столом подпевать начали. Любимый город — это про Мурманск, разумеется... Может спать спокойно... Ну это уже, конечно, мечта была! И в самом деле. Только первый куплет спели — как бац! Воздушная тревога! И сразу стрельба. Бомбежка! Вся заполярная программа.

Девушки повскакали с мест, бросились к сумкам своим, надели их, побежали вниз по лестнице. Им положено было во время воздушной тревоги находиться в штабе.

Начальница и говорит:

«Надя, по случаю свадьбы освобождаю тебя на сегодняшнюю ночь от работы. Можешь оставаться здесь с Николаем».

Ну да разве Надежда такая?

«Нет, говорит, ни за что. От дружины не отстану». И тоже надевает через плечо свою сумку, все это быстро, на ходу. Недоеденные закуски — в тарелках. Нам с Колей тоже неохота одним оставаться, а тем более дежурные могли заявиться и погнать в бомбоубежище. Да и перед девчатами неловко — они на посты, на работу, а мы, словно суслики,— в нору.

«Я с тобой!» — вскочил Николай. взял Надину сумку и вслед за ней из комнаты. Мы одни с Соней замешкались — бескозырку найти не мог, а она патефон остановила, чтобы пластинка зря не портилась. Потом выключила свет и подняла штору маскировочную. Очень мне это спокойствие ее понравилось, тогда я в первый раз по-настоящему взглянул на нее. Но это, как говорят, из другой оперы. Догнали мы Надю с Колей уже за углом. Смотрю, снимает она с головы большую медную кастрюлю, кладет в какую-то нишу в стене и бежит

дальше. Ничего я не понял тогда. Но, думаю, на войне все бывает...

— Это Прасковья Ивановна,— засмеялась молодая мать.— Она мне все во время тревоги медный таз давала, чтоб на голову надеть. От осколков помогает, мол. Не стану же я старуху обижать. Надену, а потом за углом сниму и спрячу. Одного только боялась — как бы ученики мои не заметили. Засмеяли бы после свою учительницу...

— Да,— подтвердила Ольга Федоровна,— уезжая, я просила Прасковью за тобой приглядывать.

— ...Ну, бежим мы к штабу,— продолжал Борис,— а со всех сторон осколки от зениток так и сыплются. По мостовой ударяют! Бомбы рвутся не так уж далеко. Все гремит. Ночь темная. Звезд не видать. Прожектора по облакам бегают. Зеленые осветительные ракеты над портом остановились. Зажигалки. Фугаски. А под ногами еще и сырость осенняя. Обстановочка для свадьбы в самый раз. Постовые ко мне цепляются. Нет пропуска. Загоняют в убежище. Николаю легче — у него через плечо сумка,— укажет на нее — и дальше. Ну, мне тоже для беспрепятственной циркуляции пришлось с Сони снять сумку. Думаю, как они с этой нагрузочкой так быстро бегают? Молодцы девочки! Так до штаба и добрались... А там сразу дали направление. Дом деревянный вблизи от «Арктики» загорелся. И жертвы есть. Дружинницы сразу же к месту происшествия. И мы с Николаем тут же. Мимо «Арктики» пробегаем. Светло как днем. Горит гостиница. Там ведь всегда было полно иностранцев. И вот бегу и вижу — из горящего здания эти англиши вкупе с американцами выволакивают что-то. Большое такое, грузное. И они, значит, в противовоздушную оборону включились. Роба у них такая разноформенная — кожаные курточки на меху с «молниями», канадки, и притом большинство простоволосые. Вокруг чего ж они так сгрудились? Подхожу ближе и вижу: медведя волокут. Огромное чучело с подносом в лапах. В вестибюле стояло. Русский медведь. Вот они и вообразили, что это самое ценное, что надо от огня спасать.

— Этого медведя потом перетащили в Межрейсовую,— сказала Надя и, переглянувшись с Николаем, засмеялась.

— Ну вот, должно быть, загляделся я на то, как англичане медведя волокли, и чуть не потерял Соню. Слышу, она кричит: «Борис, Борис! Товарищ Широков!» Понимаете, сумка-то ее у меня. Только у назначенного места и догнал я ее... Дом этот деревянный перекосило. Крыша набок. Угол горит.

«За мной»! — кричит Сонечка — и на второй этаж.

Плач детский услыхала. Вбежали. По комнате мать мечется с ребенком на руках. Почему она не выбежала сама, я только потом понял. Тут Соня хватает ее за руку и зовет: «Скорее на улицу, а то дом рухнет...»

Доски с потолка прямо над кроватью нависли. Женщина передала свою девочку Соне, наклонилась и вытащила из-под кровати какой-то сверток. Сует его мне в руки. Я, конечно, беру. Может, это последние ценности этой женщины. И вместе с Соней тороплю:

«Скорее, скорее!»

Сверток этот тяжелый был. Я его под мышку — и на улицу. А там Надя перевязки делает. Соня тоже женщину перевязала. Небольшая царапина. Еще двум раненым помощь подала. Здесь и кончилась воздушная тревога. Отбой. Ну, айда поскорее к дому, свадьбу продолжать. Женщину с ребенком в санпункт надо было доставить, при отделении милиции. Опять идем мимо «Арктики». А медведь посреди улицы на мостовой стоит, поднос у него кто-то из лап выбил. Рядом торговля разгорелась. Пацаны английским и американским морякам продают и выменивают на сигареты мелкие осколки бомб. Для сувениров. Домой повезти, показать, в какой опасности находились. Вот осколки, мол, от немецких бомб. Большие они любители сувениров. За маленький осколочек две пачки сигарет давали. Ну, а пацаны, известно, этим делом пользовались. Проходим дальше, от свертка у меня рука совсем онемела. Вошли в санпункт. Вот вам наша женщина с ребенком, вот вам ее вещи. И бросаю я сверток в угол. Шмякнулся он об пол. И как заверещит! У меня просто волосы дыбом встали. А женщина ко мне бросилась. Ругает на чем свет стоит. Там, оказывается, в тряпье, второй ребенок упакован. С перепугу от грохота затаился и как глухонемой молчал. А тут ударился и, естественно, запищал. Вдоволь все тогда надо мной посмеялись.

— Если бы ты моего Борьку так, я бы с тобою не знаю что сделала, — и Надя с тревогой взглянула на плетеную ивовую корзинку в углу.

— Пришли мы домой. Вся компания уже в сборе. Вспоминают происшествия, друг над другом посмеиваются, особенно над Татьяной: «Плохо, Таня, твои зенитчики работают... Плохо...» Ну тут, конечно, Коля снова рядом с Наденькой сел. Рюмки, как сейчас, полные налили. Бензином отдавало от той

водки — ну да ничего. Один тост. За здоровье новобрачных. Закусили. Второй тост. За будущее. Старушка соседка по старинке завела: «С вечера девица, с полуночи молодушка, под утро хозяюшка...» Соня снова патефон наладила, и снова ту же пластинку. И опять, как только раздалось: «Любимый город может спать спокойно», в репродукторе: «Граждане, воздушная тревога!» И пошло — бах! бах! Все с мест повскакали. Сумки через плечо — и опять айда в штаб ПВО.

Дело прошлое, каюсь, в суматохе я сунул четвертинку в карман бушлата.

На улице темно, хоть глаз выколи. Полная маскировочка. А тут по дороге в доме капитанов прямо как приманка — на четвертом этаже свет такой, даже глаза режет. Надя мне и Николаю скомандовала:

«Ребята, вы сначала с этим беспорядком покончите, а затем за нами в штаб!»

Ну а там, оказалось, одна стена рухнула. И так это ловко вышло, что на четвертом этаже не была повреждена даже электропроводка. Комната открыта, как на сцене, а стены нет. И свет по-прежнему горит. Вижу я, за столом теплая компанийка собралась, вроде как у нас на свадьбе. Только не было сандружинниц и никто никуда не торопился. Откровенно скажу, там и мои приятели были. Три краснофлотца с базы подлодок и три их дружка-партизана из отряда «Советский Мурманск». Собрались свеженькие ордена обмывать. А тут воздушная тревога. Не бежать же в убежище. Я даже думаю, что не все они и заметили, как стена обрушилась,— во всяком случае, не прекращать же из-за такой мелочи торжества? Про свет и совсем позабыли... А он как маяк светит. Хорошо еще, что не на запад переулок выходил, а на юг. Мы с Николаем кричим:

«Эй, вы там, черти полосатые, гасите свет! Если у вас маскировку сорвало!»

Один из них, минер кажется, встал, чтобы посмотреть, не им ли это кричат. Подошел к облому и у самой пропасти остановился. Испугался, наверное. Потом сложил руки рупором и крикнул:

«Телефон испорчен. На лестнице провал! Вызывайте пожарную команду, чтобы нас сняли!» — крикнул и опять к столу. а там ему своя братва уже полный стакан подносит.

— Боря, не пора ли к самому главному? А? — перебил Николай.— Это все древняя история.

— Нет, пусть говорит! Я ничего этого не знаю! — живо сказала Ольга Федоровна.— Хочу знать, как дочка моя замуж выходила. У нас это было совсем иначе.

— Ну вот! — Борис пригубил рюмку.— Ну вот, они погасили свет, а мы добежали до пожарников и сказали, что к дому капитанов надо везти раздвижную лестницу.

«Знаем!» — сказал брандмайор.— Пусть до утра попируют. Мои люди сейчас на огневой работе!»

В штаб нас, однако, не пустили. Загнали в убежище, потому что налет еще продолжался, а у нас пропусков не было.

Кольке, конечно, неловко торчать в убежище, когда его Наденька, как говорится, на линии огня. Ну и о ней, разумеется, беспокоился. А вокруг разные гражданки, советские служащие. Мурманчане к такой обстановке люди привычные. И, конечно, смешно им, что Коля так тревожится.

«Военный, а нервничает!» — говорит одна гражданка задорного возраста.

Тут я вступился:

«У нас увольнительная на восемнадцать часов дана, совсем без учета, что такая петрушка может случиться. Мы сюда жениться прибыли, а сами видите, как тут жениться, если налет за налетом!»

Одни над такими словами смеются, другие, наоборот, сами думают, что я над ними смеюсь. Словом, пожалел я, что на такую тему заговорил. Разные предположения пошли, шуточки. А Николаю и без того невесело.

«Как же это, говорят, вы сразу оба женитесь?»

Но зенитчики на этот раз нас выручили из переплета. Подбили «мессера». Я еще когда к пожарным бежал, видел, как он вспыхнул в небе. И никак нельзя было подумать, что летчик спасется. А он, когда выбросился с парашютом, да и спланировал прямо на улицу. Тут его и схватили, вблизи от убежища, где мы с Николаем отсиживались.

Из этого летчика мог выйти чудесный «язык». А тут сверху зажигалки сыплются, осколки. Стрельба. Ну, милиционер и приволок его к нам в убежище. Женщины, которые там были, все к нему бросились. Каждая сама хочет влепить. Помилуйте, столько недель каждую ночь бомбежки. Такой город разрушен! А он руки поднял. Шапку долой, волосы растрепанные, глазки бегают. Сам, сволочь, понимает, что не за что его женщинам щадить. Ну тут мы с Николаем вмешались. Окружили

этого фрица. Милиционер с одной стороны, я с другой, Коля с третьей.

«Гражданочки,— кричу во весь голос,— не трогайте этого прохвоста. Он нашему командованию ценные сведения даст!»

А женщины в ответ мне и Кольке:

«Женихи, это вас не касается! Не в свое дело не встревайте».

А Колька отвечает:

«Нет, касается! Это боевая задача — «языка» достать! Из-за этого люди на смертный риск идут. А здесь он сам в руки живой попался».

Ну, кое-как, конечно, убедили. Оттеснили мы нашего голубчика в угол. Он руки нам, подлец, целует. И каждый раз, когда снаружи бомба грохается, на женщин нервно взглядывает, к нам поближе теснится... Я его за руку и к выходу подвел:

«Смотри, говорю, подлец, что на небе делается».

А там бой идет. Стрельба. Прожектора бегают. Земля, кажется, до самой Полярной звезды трясется. Свист от осколков. Он сразу назад попятился.

И здесь, под землею, женщин страшится, и на воздух боится выйти, трепещет, чтобы от своих же стервятников не погибнуть.

Повозились мы с ним немного — и снова отбой. Быстренько доставили пленного в комендатуру и еще быстрее к Наденьке — пировать. А там они, милые, уже все в сборе, тревожатся, почему мы не идем. И больше всего, конечно, хозяйка. Оно и понятно — никому неохота из невест сразу вдовой становиться. Только вошли, она прямо на Колю бросилась и целует его и ругает, куда запропастился. А на меня ноль внимания. Что ж, мое дело холостое. Только смотрю — Сонечка накладывает мне в тарелку заливную треску и вообще следит, чтобы ел я и пил. Эге, думаю, хочет, чтобы и в следующий раз ее сумку на себе тащил. И тоже любезно так спрашиваю:

«Как ваша сумка?»

«Ничего,— отвечает она,— в этот раз полегче стала. Я восьмерым помощь оказала».

«Вот молодчага-то».

«Этого немецкого летчика, наверное, Танин зенитчик сбил!» — сказала Люба.

«Непременно»,— подтвердила Надя.

Таня вся зарделась от удовольствия.

Тут опять тосты пошли. Потом Соня взялась за ручку пате-

фона. Я нарочно пластинку «Любимый город» спрятал. Так она «Полярный вальс» завела.

Но ничего не помогает! Опять та же история. Репродуктор орет: «Граждане, воздушная тревога!» Надо же! А? Я поглядел на часы и вижу, что скоро конец нашей увольнительной.

«Коля, говорю я, от имени всех военных моряков Красного флота, и Северного в особенности, от имени всех сандружинниц Заполярья очень прошу тебя и Надю на этот раз воспользоваться разрешением и остаться хоть на эту тревогу здесь вдвоем... В следующие побежите вместе с другими. Будьте спокойны, до утра еще минимум два налета будет». Коля смутился, смотрит на меня.

«Да! — повторил я.— Не делай меня лгуном перед начальством! Оставайся!»

И вот остались они в комнате, а мы все бегом в штаб. На этот раз я снова помогал Соне тащить сумку и перевязывать раненых.

И что? Разве оказался не прав? Сколько еще было в ту ночь тревог?

— Три! — отозвалась Надя.

— Представьте себе, Ольга Федоровна,— сказал Борис,— к себе на базу мы вернулись точно. Как было указано в увольнительной... Так вот, вспомнив ночь вашей свадьбы, дорогие друзья, я нахожу, что вы по-честному поступили, дав мальчику мое имя! И посему еще раз предлагаю выпить за Борьку Николаевича Скребкова!..

Предложение это было принято, Николай снова наполнил рюмки, встал и обвел всех торжествующим взглядом:

— Ну, а теперь, товарищи, перейдем к главному событию сегодняшнего дня, которое так оттягивал своей речью Борис, просто ему приятно было вспомнить ночь, когда познакомился с Соней, а сегодня они решили объявить друзьям о том, что они, не знаю, стали или станут мужем и женой!

Все зашумели, задвигали стульями, и, вероятно, от этого шума проснулся и заплакал новорожденный. Ольга Федоровна бросилась к нему, держа в руке наготове сухую пеленку.

— Этого давно следовало ожидать! — сказала Таня своему мужу...

И, перекрывая поднявшийся в комнате шум, Николай продолжал, обращаясь к Борису и Соне:

— Так не забывайте, что за вами должок! Сына своего вы должны назвать Колей.

ОСТРОВ ИЛЬИНА[1]

Прощай же, товарищ! Здесь нет ничего
На память могилы кровавой —
И мы оставляем тебя одного
С твоею бессмертною славой.

Когда, на каждом шагу проваливаясь по колено в трясину, разведчики прошли от боевого охранения километров двадцать, их настигла непроглядная, дремучая темнота.

— Ну что, Кочколазы,— спросил капитан Суслов шедших впереди Ильина и Пенияйнена,— спать будем на болоте?

«Кочколазами» прозвали Ильина и Пенияйнена потому, что никто другой не ходил по болотам и трясинам лучше, чем они, и никто так ловко не перескакивал с вязкой кочки на другую, такую же зыбкую.

— Да, лучше идти утром,— ответил Пенияйнен.

— Правильно, Уголек,— сказал Суслов.

Таково было прозвище Вани Пенияйнена. Светловолосый, краснокожий от ветреного северного загара, он и впрямь походил на неостывший веселый уголек: светится, а в руку не возьмешь — жжется. Разведчики называли друг друга по именам или кличкам — никто из посторонних не должен был услышать настоящих фамилий. Сам Суслов назывался «Батька», хотя двадцатидвухлетний капитан был ровесником своих разведчиков и сейчас отличался от них только тем, что вместо пилотки носил вязаный подшлемник.

На ночлег остановились в болоте. Было мокро и холодно, костры раскладывать запрещалось. Спали, подстелив плащ-палатки, на краю трясины, почти касаясь ногами ржавой, тинистой воды.

— И откуда только у тебя терпения хватает? — спросил стоявший на страже Ильин у секретаря комсомольской организации роты Алексея Алексеева,— отдыхал бы как все!

Сидя на камне, Алексеев держал на коленях тетрадь и, освещая ее темным синим светом ручного фонарика, что-то записывал.

— Не мешай, Робинзон! — отозвался он, не отрываясь от тетрадки.

«Робинзоном» Ильина называли потому, что он любил ходить в разведку один и прекрасно ориентировался без карты

[1] Все четырнадцать участников описанного в рассказе поиска награждены орденами Красного Знамени. Николай Ильин — посмертно — орденом Ленина.

и компаса. Ему для пробы друзья завязывали глаза, кружили, затем снимали повязку, и он безошибочно шел сразу же туда, куда назначено. Такой удивительный дар был у человека!

Ильин пожал плечами и отошел от комсорга.

Впрочем, ни для кого в группе не было секретом, что Алексеев тщательно изо дня в день, перед тем как лечь спать, записывает в дневник свои мысли и события из жизни отряда.

Суслов прикорнул рядом с бойцами. Устало вытянувшись, он закрыл глаза и, прижавшись спиной к широкой спине коренастого Пенияйнена, чтобы согреться, еще раз подумал о прошедшем дне и остался доволен им.

Предстояла серьезная операция. Для нанесения удара противнику командованию необходимо было добыть контрольные сведения, и разведчикам приказано было во что бы то ни стало достать «языка». Тщательно продумав все возможности, Суслов решил добыть его в гарнизоне единственного населенного острова огромного озера. В таком глубоком тылу финны даже и подумать не могли о налете разведчиков. И вот сегодня разведчики вышли в свой опасный и трудный путь по болотам, лесам и озерам, с тяжелым грузом за плечами. Каждый нес патронов на пять полных дисков, по шесть гранат и продуктов на две недели.

Поднявшись на рассвете после первой ночевки, шли по болоту двенадцать километров, пока наконец не вышли к большому озеру, к рыбачьей деревне на берегу закрытого залива. Стояло радостное, теплое утро, и в ярких лучах солнца еще мрачнее выглядело то, что осталось от деревни: обугленные до черного блеска головешки, треснувшие валуны фундаментов, ржавые ведра с выбитыми днищами, расписное колесо от сломанной прялки.

Отряд был уже в глубоком тылу врага.

— Вот так с домом каждого из нас могут сделать! — мрачно сказал Ильин, а Пенияйнен горько задумался. Его деревня была захвачена фашистами в первые же дни войны, и что стало с родными и девушкой, с которой гулял, он не знал и даже боялся подумать об этом.

На ровный, гладкий песчаный берег мерно накатывала волна.

Ни в самой деревне и нигде поблизости не было ни одной исправной лодки. Казалось, вот она, целая,— но стоило только тронуть ее, взяться за борт крепкой рукой, как каждая доска начинала шевелиться, легко отделялась от другой, и в конце

концов обнаруживалась где-нибудь у кормы огромная дыра. Боясь разведчиков, финны пробили лодки гранатами.

За несколько часов поисков удалось найти только одну лодку, ремонтом которой стоило заняться.

Вместе с наступившим вечером пришел ливень. Он шел всю ночь без перерыва. На плащ-палатке, под которой примостились спать, скопились тяжелые, глубокие лужи дождевой воды. Так прошла вторая ночь. Утром спящих разбудил громкий и веселый голос Ильина:

— А ну, бегом на рейд! Крейсера устанавливать!

Проснувшись на рассвете, Ильин вместе с Ковалевым решили, что здесь должны быть и затопленные лодки. Они разделись, вошли в воду по пояс и стали шарить по дну ногами. И действительно — вскоре удалось нащупать несколько затопленных лодок.

— Не хватило у шюцкора гранат! — сказал Ильин и пошел будить остальных.

Вода леденила тело, но работали дружно и быстро вытащили на берег две лодки. Дырявыми ведрами вычерпывали из них воду. «Начахо» группы, старший сержант Хачатуров, извлек из своего бездонного заплечного мешка паклю и веревку. Щели были быстро законопачены, «живые» доски приколочены гвоздями.

Прищепа в это время с товарищем вырубал в прибрежном леске сосенки для мачт.

На потрескивающем костре кок — Вася, напевая песенку, готовил обед. На сладкое было подано варенье из только что собранной клюквы.

Лодки были готовы. После работы в воде разведчики, чтобы согреться, выпили по сто граммов «жми-дави» и стали рассаживаться по пять человек в лодку. Оттолкнулись веслами от песчаного берега и вошли в залив. Поверхность залива была гладкая, и только пробегавший изредка ветерок поднимал едва заметную быструю рябь, в которой дробился ослепительный блеск высокого солнца.

В первой лодке плыли Кочколазы, Олег Василевский, Блинов. На руле был Леша Ковалев. А на второй лодке шел Суслов.

Как только вышли из заливчика, перед глазами открылось огромное, бескрайнее озеро. Берегов совсем не видно. Только один неровный от волн горизонт. И сразу же брызги высокой волны ударили в утлую посудину, в лица разведчиков. Вместо паруса поставили плащ-палатки. Ручной компас был привязан

к скамейке у мачты. Оставленный берег быстро таял за спиной.

Когда на волнах резко закачалась ладья, Кочколазам показалось, что наступил их последний час.

Но это было только начало.

На озере разыгралась буря. Сняли парус, и Ковалев поставил лодку носом против ветра. Она прыгала по волнам, как мяч. Волны вставали рядом. Они были выше двухэтажного дома. Казалось, вот-вот волна захлестнет ладью, но в следующее мгновение лодка уже забилась на высоком гребне.

У Пенияйнена кружилась голова. Он нагибался, набирал полный котелок воды и выливал ее за борт. Потом стал работать, не разгибаясь,— так было легче и не надо смотреть на каждую подходившую волну. Ильин делал то же самое, и все-таки воды в лодке становилось все больше — она доходила уже до щиколотки.

— Не теряй, кума, напрасно сил — опускайся сразу на дно! — услышал Пенияйнен донесшийся по ветру голос Суслова.

Шутка командира подбодрила разведчиков.

В кромешной ночной тьме они боролись с бурей, и, когда уже казалось, что нет конца этому ветру, волнам и темноте, Ковалев вдруг заметил черную полоску островка. Волны били о борта. Лодка скрипела и, накреняясь, готова была опрокинуться десятки раз в каждую минуту. Трудно было причалить к берегу, не разбив ее о камни.

Вскоре причалила и вторая лодка. Но это была не та, на которой шел Суслов.

Ветер продолжал хлестать промокших до последней нитки разведчиков, холодная вода подступала к ногам, но они стояли не двигаясь и пристально вглядывались в ночную мглу. Лодки с Сусловым не было. Ковалев стал сигналить синим карманным фонариком. Тонкий пучок синих лучей прорезал темноту.

— Неужто погиб командир,— тихо сказал Блинов.

Ильин зло взглянул на него, но не сказал ни слова. Так в молчании сидели они на холодных камнях больше часа. Затем Ильин, Ковалев и Василевский все так же молча пошли по берегу, надеясь, что лодка Суслова, пристала в другом месте.

Они шли по берегу и вдруг услышали скрип весел. В полукилометре от двух первых лодок приставала лодка Суслова.

...Над озером, в рваных тучах, уже занимался малиновый рассвет. При дневном свете нечего было и думать о том, что-

бы плыть дальше. Вытащили на берег лодки, замаскировали их между скалами, поставили часовых, а сами ушли поглубже на островок и там, среди деревьев, где было чуточку теплее, мокрые повалились спать.

Так прошла третья ночь и наступил четвертый день похода. Он был ясный, солнечный, но холодный ветер пронизывал до костей промокших разведчиков. Они наблюдали в бинокль за соседним островом.

— Уголек, погас ты, что ли? Почему молчишь? — спросил Ильин.

— Тебе хорошо, ты — Робинзон, привык на острове жить,— отозвался Пенияйнен.

— Брось привязываться с охотничьими историями,— махнул рукою Ильин и подбросил в костер сухую ветку.

— А ты расскажи свою, рыбачью! — рассмеялся Пенияйнен.

Но Ильин не стал рассказывать рыбачьей истории, за которую он получил Красную Звезду, потому что ее знали все. Незадолго перед этим походом, также находясь в тылу у неприятеля, Ильин заметил разъезжавших в лодке по озеру двух финских солдат. Они глушили рыбу гранатами. Ильин, таясь за кустами, долго шел по берегу за этой лодкой. Он выждал, когда солдаты пристали к берегу, и в ту минуту, когда они собирались уже выходить, Ильин вскочил в лодку, пристрелил одного солдата, а второго, растерявшегося, приволок через линию фронта на командный пункт...

...На пятую ночь похода разведчики переправились на большой скалистый, поросший густым лесом остров. Он считался необитаемым. За ним была цель похода — долгожданный остров с неприятельским гарнизоном.

На рассвете, оставив около вытащенных и припрятанных на берегу лодок пятерых разведчиков, Суслов с остальными отправился осмотреть окрестности.

На берегу валялись гильзы расстрелянных патронов, сломанные лыжи.

Пенияйнен увидел между двух камней останки красноармейца в валенках.

— Дело, значит, было зимой,— тихо сказал Ильин.

Лес и днем казался безлюдным.

Но вдруг неподалеку раздались винтовочные выстрелы. Что за чертовщина! На острове, значит, есть люди! Как бы не напороться на неприятность.

— Леша,— приказал Суслов Ковалеву,— влезай на эту сосну, погляди, в чем дело.

Сосна была высокая, но ветвистая, и Ковалев, сбросив гранаты и снаряжение, быстро взобрался на дерево.

— Там триангуляционная вышка! — сказал он.

И разведчики отправились к вышке, построенной на высокой скале, торчащей из болота. В бинокль увидели телефонный аппарат. Разведчики заняли оборону вокруг вышки, а капитан взобрался на самый верх. Оттуда далеко была видна огромная ширь озера и можно было разглядеть соседний остров, к которому стремились наши разведчики. А внизу под вышкой раскачивались и шумели вершины сосен. Суслов взглянул на провода, идущие от телефона, проследил, куда они шли, и заметил сизый дымок жилья.

— Надо уничтожить тех, кто здесь находится. Нельзя идти дальше, оставляя их у себя в тылу,— сказал он, спустившись вниз.— Сделаем это ночью.

Остаток дня проводили у лодок. Пытаясь скрыть друг от друга свое волнение, в который раз разведчики проверяли свои не однажды уже проверенные автоматы.

Ночью снова подобрались к вышке на середину острова и решили идти к вражескому логову не по пробитой стежке, а вдоль проводов. Шли гуськом, и, как всегда, впереди шел Ильин. Вдруг он остановился и схватился за куст, чтобы не упасть. Скала обрывалась, и провода круто спускались вниз, в лес. Разведчики пошли за проводами. В страшной темени они спотыкались о камни, налетали друг на друга, на стволы сосен. Провод окончился. Концы его лежали на сыром мху.

Разведчики залегли, ожидая, что вот-вот темноту лесной ночи разрежут вспышки выстрелов. Только бы угадать, с какой стороны.

— Провокация,— тихо сказал Ильин,— заманили нас в засаду...

Вся тщательно продуманная и стоившая таких трудов операция могла провалиться.

— Пойдем дальше,— сказал кок,— и разобьем гарнизон. Их тут не может быть много.

Но Суслов рассердился:

— Сам разведчик, а хочешь действовать вслепую. Численность врага неизвестна! Днем разведаем — и ударим!

Так проходила шестая ночь похода. Она казалась бесконечной. Пенияйнен разобрал записи в унесенной с вышки тетради финского поста и прилег на камнях.

— Не могу спать,— сказал он.

— И я тоже,— отозвался Ильин.

Так в ожидании молча они лежали рядом.

С рассветом нашли тропу от вышки и осторожно пошли по ней. День был ясный. Лесные птицы на ветвях подавали голоса. Дятел где-то поблизости выстукивал свою однообразную песню. И вдруг Ильин поднял руку и показал: снова начались и пошли провода. Вскоре товарищи увидели на другом конце болота у берега озера несколько срубов.

— Прищепа,— приказал Суслов,— возьми четверых и иди в обход к берегу. Ударишь слева! А мы пройдем напрямик и будем ждать вас, чтобы начать вместе.

Но, пробравшись через болото, Суслов не стал ждать. Разведчики услышали, как хлопнула дверь сруба, и через секунду кверху взвился сизый дымок. Они поняли, что часовой вошел в помещение. Держа автоматы на боевом взводе, разведчики безмолвно поднялись и побежали к первому срубу. Ильин распахнул дверь.

Внутри было пусто.

— Да это баня, черт бы ее побрал! — сквозь зубы выругался он и замер. Из-за кочки на разведчиков в упор смотрел станковый пулемет «максим»... Но у пулемета никого не было.

— Уголек, ты пулеметчик!

Пенияйнен пополз к пулемету, залег около него и стал наводить его на второй сруб, из-за которого выступал угол третьего. Около пулемета лежали две ленты.

— Разрешите зарядить?..

— Обожди! Хлопать будешь! — отозвался Суслов и сам побежал ко второму срубу, около дверей которого стояла пирамидка. Блинов навел автомат на дверь, прикрывая командира.

Суслов взял автомат «Суоми» из пирамидки, принес и положил рядом с автоматом Пенияйнена. Затем он принес финскую винтовку. Когда он в третий раз снимал оружие, с пирамиды, гремя, упала на землю винтовка. На шум выскочил финский часовой. Блинов срезал его из автомата. Суслов застрелил второго выскочившего из сруба финна, Ильин покончил с третьим. Блинов и Пенияйнен также открыли огонь. Ковалев швырял в окно гранаты. Товарищи ему передавали свои, и за минуту он бросил в помещение семнадцать штук. Подоспел Прищепа с товарищами. Они открыли огонь по окнам

третьего сруба. У окна стояла рация. Немецкий радист метнулся к ней и был убит наповал. Перезаряжая пулемет, Перияйнен услышал финские выкрики:

— Сдаемся!

— Батька,— крикнул он Суслову,— шюцкоровцы сдаются! Не стреляйте, а то «языка» не останется...

В эту секунду Ильин метнулся к третьему срубу. Из внезапно открывшейся двери раздался выстрел. Пуля попала прямо в сердце Николая. Он упал навзничь, не выпуская из взметнувшейся вверх руки автомата, и тот продолжал бить до тех пор, пока не опустел диск. Пенияйнен видел это, и сердце его упало.

Первым из финского сруба, подняв руки вверх, держа в правой руке платочек, вышел прапорщик-фендрик Мартикайнен — он сдавался по всем правилам устава. За ним вышел второй. Из немецкого сруба тоже вышло двое с поднятыми руками.

— Иди допрашивать, Уголек,— сказал Суслов.

У Пенияйнена сердце разрывалось от горя при взгляде на тело друга.

— Спроси, успели ли они запросить помощь по радио?

— Не успели,— перевел Пенияйнен ответ фендрика.

— Может, правду говорит, а если врет — на самом деле вызвал, а теперь хочет выиграть время? — сказал задумчиво Суслов.— Нет, нам нельзя терять ни одной минуты!

И он приказал захватить оружие и пленных и немедленно отходить к лодкам.

— А ты, Уголек, с Лешей похоронишь Николая и уничтожишь рацию,— сказал Суслов, перехватывая взгляд Пенияйнена.

Пенияйнен с Ковалевым подняли тело товарища, отнесли его подальше от сруба, обложили камнями и мхом. Они стояли над камнями, как бы молча беседуя с самым близким своим товарищем. Трудно оставить тело друга на чужом берегу. Тяжко последнее прощание. Наконец Ковалев прервал молчание.

— Клянемся! — тихо сказал он.

— Клянусь! — еще тише повторил Пенияйнен.

Надев пилотки, товарищи молча пошли к срубам. Собрали документы, разбили рацию. Пенияйнен насчитал шесть трупов финских солдат и два немецких.

Дело было сделано. «Языки» взяты. Надо было скорее доставить их командиру.

Суслов, опасаясь погони, решил, что надо избрать путь самый дальний. Поэтому пошли не на север, а на юг, держась вблизи от финского берега.

И действительно, через некоторое время послышался шум мотора катера. Разведчики опустили весла в воду, засунули пленным в рот платки и притаились. Но вскоре гул мотора затих, потому что катер пошел догонять по кратчайшей — на север.

День был ясный. Озеро с зеркальной ясностью отражало вершины прибрежных лесов. По-прежнему Ковалев сидел у руля, Василевский и Блинов у весел; Пенияйнен допрашивал финского офицера и все время чувствовал пустоту оттого, что в лодке не было Ильина... И никогда его не будет рядом. Потом Пенияйнен сел за весла.

— Переведи ему,— сказал Ковалев,— что они влипли, как кур в ощип, потому что с дисциплиной у них дело неважнецки.

Пенияйнен переводил. Офицер с сокрушением покачивал головой, а ребята громко смеялись. Возвращались с большим успехом! Захватили вместо одного — четыре «языка» и убили восемь фашистов, потеряв только одного товарища. Правда, этот один был Николай Ильин. Вскоре проехали остров, на котором они дневали. Потом появился финский самолет. Если бы самолет их заметил, то все погибло бы. В озере он мог обстрелять их и потопить, на берегу — навести погоню на след. Заслышав гул мотора, разведчики вытащили свои лодки на берег и запрятали среди скал. Сделав несколько кругов,— о, как мучительны были эти минуты! — самолет ушел обратно. Разведчики поплыли на своих утлых посудинах дальше. И так шли без отдыха весь день и всю ночь. На другой день одну из лодок волною бросило на камень, и она расползлась по швам. Пришлось разместиться по девять человек в лодке. Теперь от края борта до воды было только два пальца. А порою казалось, что борта идут вровень с уровнем воды. Но и этот день и ночь гребли без отдыха и останавливались у прибрежных островков только для того, чтобы поесть.

Веки у всех были воспалены, глаза красны. Ладони покрылись огромными водяными волдырями.

— Знаете, почему на острове была стрельба?— спросил Пенияйнен, перевязывая кровоточащую ладонь бинтом, и сам же ответил, кивнув на офицера: — Это шюцкоровцы на лосей охотились. И никакой засады не было. Провода лось порвал!

Вслед за Пенияйненом и все остальные намотали на каждую руку по целому индивидуальному пакету и продолжали грести. Распухшие пальцы не могли держать карандаша, и Алексееву пришлось записать в свой дневник обо всех этих событиях значительно позже.

На исходе третьих бессонных суток разведчиков обстреляли. Но это были наши! Первое наше боевое охранение. Ведь никто не мог знать, что сюда, так далеко, выйдет группа Суслова.

На другое утро все разведчики — тринадцать человек — выстроились в шеренгу на самом берегу, и капитан Суслов вышел вперед и сказал:

— Товарищи, простимся с озером. Товарищи, будем мстить за Ильина! Товарищи, назовем этот остров островом Ильина.— Дальше он говорить не смог. По лицу его текли слезы.

— И мы все заплакали,— рассказывает Пенияйнен,— потом дали салют на весь диск и пошли дальше через болото с пленными.

Скалистый остров на дальнем северном карельском озере отныне будет носить имя Николая Ильина. Недавно именем сержанта Сергея Тюрпека названа здесь отвоеванная им высота. Рубежи, острова, озера, деревни, высоты проходят свое второе крещение. Так рождается в наши дни новая география, география доблести и славы.

1943

ГОЛОС ЖИЗНИ

Лейтенант Марфин с ожесточением смотрел на прозрачную, рыжеватую воду быстрой реки. По ней, сталкиваясь и кружась, плыли льдины. Течение несло их на черные, словно отполированные временем и водой камни. Марфин отвел взгляд от воды и стал пристально через амбразуру вглядываться в противоположный восточный берег. Далеко-далеко — насколько хватало зрения — виден был низкий берег, поросший кустарником. У самой воды, около кустов, одна за другой разорвалось несколько мин, подняв в воздух взвихренные смерчи золотистого песка.

— Ну, Шошин, сегодня подмоги ждать нечего, будем держаться!— сказал лейтенант молодому синеглазому сержанту — радисту.

— Что же, продержимся! — ответил Шошин и погладил небольшой зеленый ящик переносной рации.

Вчера, за полчаса до смены караулов, ранним весенним рассветом, после пятиминутной «физзарядки», как здесь шутя называли утренний артиллерийский обстрел, бойцы группы Марфина, еще ночью переползшие на высокий лесистый западный берег, поднялись и быстрым штыковым ударом и гранатами выбили немцев из двух линий окопов и захватили высотку с несколькими блиндажами. И Марфину, и сержанту Шошину, и сорокалетнему усачу Архипову, и только начинающему жизнь девятнадцатилетнему вихрастому Кольке Платову, и людям на командном пункте дивизии показалось неожиданным то, что все дело закончилось в каких-нибудь пять-шесть минут.

А ведь готовились больше недели! С вечера душевное напряжение непрерывно возрастало, оно росло и ночью, когда ползли по двое по льду реки к западному берегу, оставив в обжитых землянках даже котелки, чтобы, как-нибудь случайно звякнув, они не выдали ползущих. Напряжение это не спадало и в те два часа, проведенные у проволоки в ожидании сигнала. И все это разрешилось и закончилось в несколько считанных минут.

Немцы были выбиты из двух линий окопов. Первый кусок земли на западном берегу взят. Шошин ворвался в офицерский блиндаж. Перешагнув через убитого унтера, лежащего на пороге, возбужденно озираясь по сторонам, он сразу же заметил стоящий в углу на опрокинутом фанерном ящике, рядом с пухлым альбомом пластинок, маленький голубой патефон.

— Ну, теперь в нашем взводе музыка есть,— сказал он вошедшему вслед за ним Архипову.

— Музыка, музыка,— проворчал в усы Архипов,— а ты заметил, когда ползли, какой лед был черный и тонкий.— Взяв лежавшую на нарах пачку немецких сигарет «Тур киш» и распечатывая ее, он добавил: — Боюсь, что другие за нами не успеют пройти.

Нагибаясь, чтобы не задеть о притолоку головой, в блиндаж входил Марфин. Хотя он вместе со всеми полз по льду реки, перебирался через проволочные заграждения, бежал в атаку и всего несколько минут назад врукопашную схватился с двумя солдатами, шинель его казалась совсем несмятой. Движения Марфина были неторопливы, хотя в ту минуту ему хотелось плясать от радости. Еще бы! Высота «Лесная» была

взята почти без потерь. Внезапность удара решила все. Теперь оставалось только расширить так удачно захваченный плацдарм.

— Ну, как дела? — спросил лейтенант Архипова и, не дожидаясь ответа, засмеялся. И Архипов, и Шошин, и все находившиеся в землянке бойцы тоже засмеялись.

— Хороши дела,— ответил Архипов,— вот сержант даже о музыке думает! — И он кивком головы показал на Шошина, который, склонясь над альбомом, с трудом разбирал немецкие надписи на пластинках.

— Все будет! И музыка будет! — весело сказал Николай Марфин и хлопнул ладонью по своей туго набитой полевой сумке.

И действительно вскоре началась «музыка».

* * *

Марфин знал своих людей, уважал их и любил. Он восхищался их храбростью, неприхотливостью, самоотвержением и знал, что они могут сделать еще гораздо больше, чем делали до сих пор. Но он никогда не думал, что если бы его бойцы не видели в его поведении каждодневного примера, не ощущали его любви и доверия, то и он сам не имел бы возможности столько раз ставить их в пример другим и не считался бы самым удачливым командиром в полку.

Месяц назад Марфин приехал из отпуска после ранения. Отпуск он проводил у жены в Москве.

Вечерами они бродили по знакомым улицам затемненной Москвы, заходили в Александровский сад перед Университетом, где впервые Николай в группе студенток увидел Лелю. Бродя по тропинкам сада, они отыскивали лавочку, где сидели после лекции в первый день их знакомства. И в который уже раз Леля расспрашивала его о том бое под Ольховской, где он был ранен.

— Погоди минуточку,— вдруг остановила она его,— дай вспомнить, что же я делала в этот день, в этот час?

Весь месяц они не расставались, и только в последний день отпуска, уже отметившись у военного коменданта, он улучил четверть часа и тайком от жены зашел в студию звукозаписи «Живое письмо». Уезжая домой — так он называл свой полк,— Марфин вложил в полевую сумку две маленькие, наклеенные на открытки пластинки. И вот сейчас, глядя на сталкивающиеся льдины, на совсем черную посредине реки и

прозрачную, ржавую у берега воду, Марфин вспомнил почему-то этот последний день его отпуска.

Вчера, через час после того, как бойцы Марфина заняли окопы на западном берегу, немцы, опомнившись, открыли интенсивную стрельбу из орудий и минометов и затем трижды переходили в контратаку. Но ни разу им не удалось даже дойти до окопов. С большими потерями они откатывались назад. Один из них, видимо, самый быстрый, сжимая в правой руке винтовку, лежал в двадцати шагах от окопа, уткнувшись лицом в землю.

Река была открыта для обстрела, и командир дивизии решил перевести на захваченную Марфиным высоту другие подразделения и вести бой за расширение плацдарма ночью. Немцы же, убедившись, что лобовым ударом им не вернуть утраченных позиций, перенесли огонь десятка батарей на лед реки.

Наблюдая за тем, как снаряды, перелетая через блиндажи и окопы, пробивали лед и взметали кверху сверкающие на солнце фонтаны, бойцы торжествовали.

— Вот мажет-то!

— Опять перелет!

«Жалко, что Леля никогда не увидит этого»,— подумал Марфин, глядя, как вблизи взметенных снарядами фонтанов мгновенно возникает и кусочками угасает многоцветная радуга.

Но когда после первого обстрела порвался провод связи, Марфин помрачнел. Он понял замысел врага.

Река, готовая вскрыться каждый час, казалось, только ждала первого толчка. И толчок этот был дан немецкими снарядами.

Ночью, лавируя между льдинами, дважды переплывала к Марфину плоскодонная лодка с ящиками патронов и буханками хлеба. Когда второй раз лодка возвращалась, в борт ее ударила большая льдина и, подталкивая, потащила к кипящему каменистому водоскату. Льдина вышибла доску из днища лодки.

Марфин и его бойцы с тоской глядели, как медленно погружалась в воду ладья, и ничем не могли помочь.

Другой лодки поблизости ни на том, ни на этом берегу не было.

— Та-ак,— протянул Марфин,— значит, мы здесь одни остались. Теперь, Шошин, имей в виду,— твой аппарат в центре мира!

— Что же, элементы в порядке! — отозвался радист.

Так заканчивались первые сутки, проведенные ими на западном берегу.

Немцы перестали обстреливать реку и весь огонь перенесли на свои бывшие окопы. Влажная земля подымалась комьями в воздух и рассеивалась мелкой пылью. Десять батарей били сейчас по одной высотке. Марфину показалось, что он оглох,— таким грохотом был заполнен воздух.

— Не унывай! — крикнул он, приникая к самому уху Шошина.— Не унывай! Так долго не может быть. Выдохнутся!

Но уже больше часа продолжался огонь, не утихая, не уменьшаясь в своей злобной, неистовой силе.

— Ишь развязал свой мешок немец! — с укоризной покачал головой Архипов в своем окопчике, на дно которого невесть откуда успела натечь вода.

Он оглянулся и, не находя ничего более подходящего, быстрым движением засунул руку под шинель, оборвал полу нижней рубахи и обернул ею затвор винтовки, чтобы не засыпало землей.

Затем огонь затих, и по тому, что он услышал, как высоко над головой прошелестел снаряд, уходивший от наших батарей к немцам, Марфин понял, что не потерял слуха.

Полагая, что все на высоте уничтожены, немцы снова пошли в атаку. Марфин решил, что подаст команду — огонь! — только тогда, когда солдаты добегут до убитого в первой атаке немца, не выронившего из правой руки винтовки. Каска с головы мертвеца теперь была сбита, а ноги засыпаны поднятой снарядами землей. Но Марфин не удержался, скомандовал гораздо раньше, чем намечал, и сразу же рассердился на себя:

— Нервы сдали! Подумаешь, барышня какая выискалась!

Немцы, не ожидавшие сопротивления, залегли и затем, преследуемые частым ружейным огнем, стали отползать.

В это время Шошину удалось связаться с командным пунктом.

— Держимся,— сказал он.— Лейтенант просит подбросить угольков!

— Держитесь, богатыри! Делаем все, чтобы соединиться,— отвечал командир.

На КП боялись, что на «Лесной» все уже погибли, и по-

этому обрадовались, услышав знакомый хриплый голос Шошина.

— По пятьсот снарядов на гектар немец положил,— сказал начарт,— а они еще атаки отбивают! Молодцы!

И опять перед окопами, словно дымовая непроницаемая завеса, встала стена поднятой в воздух земли, смешанной с камнями.

Снаряды трехдюймовок, шестидюймовок, шрапнель, фугаски, мины полковые, батальонные, ротные шли с такой густотой, что, казалось, сталкивались в воздухе.

«В середине ночи можно снова ждать атаки»,— подумал Марфин. Но он ошибся. Немцы всю ночь били из орудий, желая вконец измотать наших и днем уже наверняка возвратить потерянное.

Ни Архипов, ни Шошин, ни Платов — никто из бойцов не мог рассказать потом, что они прочувствовали и пережили в эту ночь. За двадцать километров было видно дрожащее зарево канонады, и жалобно звенели стекла окон в избах окрестных деревень.

И все же, когда в солнечное, погожее весеннее утро неприятель дал передышку своим батареям и поднялся в контратаку, он снова был встречен точным пулеметным и ружейным огнем.

Коля Платов стоял в окопчике, засыпанный по колено землей. Руки его дрожали от напряжения и усталости,— и все же он спокойно целился из полуавтомата и стрелял одиночными выстрелами.

И то, что он был занесен землей выше колен, и то, что стрелял не торопясь,— отметил про себя Марфин. Сам он подполз к передней ячейке, где замолк пулемет Дегтярева, отодвинул убитого пулеметчика и, целясь, стал бить по немцам, которые подобрались совсем близко.

И этот внезапно оживший пулемет решил исход схватки.

— Сынок! Сынок! — услышал Марфин знакомый голос и оглянулся. В нескольких шагах от него стонал Архипов. Губы его были совсем синими, посеревшее лицо искажено гримасой боли. Он был засыпан землей по грудь. Руки его тоже были засыпаны.

— С ночи вот так! — прошептал он.— Некому откопать!

Марфин оглянулся. Рядом никого не было. Тогда он сам принялся шанцевой лопаткой откапывать бойца. Земля подавалась туго.

— Ну как, подмога нам будет?

— Будь уверен! — Ему удалось освободить руки солдата от земли, но они онемели, и Архипов сам не мог откапывать себя.

Снова началась ружейная стрельба, и, оставив Архипова, Марфин опять метнулся в пулеметную ячейку.

Немцы находились уже шагах в пятидесяти от окопов. Марфин нажал гашетку. Диск был израсходован полностью. Второй тоже опустел. Марфин оглянулся и увидел, как двое бойцов отползали назад.

«Неважное дело»,— подумал лейтенант, и его словно осенило какое-то вдохновение. Он положил на бруствер свой автомат, выскочил из окопа навстречу немцам и, закричав «За мной! За мной! Ур-ра!» — бросил перед собой гранату, подхватил автомат и побежал вперед. И сразу же откликнулось несколько голосов. Бойцы выскочили из окопов и устремились за лейтенантом. Марфин почувствовал сильный удар в руку. Ложе его автомата было разбито. Лейтенант нагнулся, выдернул из сжатой руки убитого немца винтовку и, торжествуя, поднял над головой...

Шестая атака была отбита.

Возвращаясь в землянку, Марфин в ходе сообщения увидел Архипова, который ковылял, опираясь на винтовку. Его за это время успели уже откопать.

— Живем, папаша? — спросил разгоряченный боем Марфин.

— Живем, сынок! — ответил, покряхтывая, боец, и оба они вошли в блиндаж.

На пороге Марфин оглянулся. Вершины деревьев, еще позавчера густо покрывавших высоту, почти все были скошены, и только торчали редкие, голые, обломанные сучья. Огромная порыжелая ветвь сосны, которая еще час назад свисала над офицерским блиндажом, теперь лежала у самого входа, срезанная осколком. Марфин шагнул внутрь блиндажа. В эту секунду зашипел и с грохотом разорвался снаряд, разворотив бревенчатый угол блиндажа. Огромные тяжелые бревна были искорежены и оборваны, как тонкие веточки, а фанерный ящик с патефоном и радиоаппаратом со штырем, находившиеся в противоположном углу, даже не шелохнулись. Шошину показалось, что он обжег чем-то правую руку. Он посмотрел: мизинец был сорван и держался только на коже. Шошин с тревогой оглянулся. Ему очень не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил, что его ранило. И он увидел, как, тяжело вздохнув, лейтенант медленно опустился на табурет и прило-

жил руку к груди. Через перекореженное оконце Марфину видна была река, на которой играли льдины. Он с надеждой вглядывался в противоположный берег, где начиналась бесконечно родная, свободная земля. На льдине сидела нахохлившаяся птичка, совсем не обращавшая внимания на то, что льдина, вращаясь, несет ее к камням в кипящей пене. И вдруг птичка сорвалась с места и, быстро семеня тонкими ножками, перебежала через белую, уже темнеющую по краям льдину, остановилась у самого края и стала чистить перышки.

Шошин оторвался от аппарата и метнулся к Марфину.

Лейтенант протянул руку, жестом приказывая оставаться у рации.

— Я связался с артиллерией. Что передавать? — шепотом спросил Шошин, снова приникая к аппарату.

Медленно, словно каждое слово стоило ему большого труда, но очень ясно Марфин ответил:

— Скажи, что у нас совсем не осталось патронов! Пусть прикрывают артогнем! Сейчас начнется новая атака.

Немецкие батареи стихли, и теперь были слышны наши орудия. Архипов выполз из землянки.

— Начали, пошли! — кричал он Шошину.— Снаряды наши далеко ложатся!

— Перелет! — передавал Шошин.— Приблизительно метров пятьдесят.

— Вот! В самый раз! — радостно вскрикнул Архипов.— Четырех в воздух поднял!

Наши батареи били часто и точно.

Немецкие цепи редели, но продолжали приближаться.

— Передай по окопам: пусть приготовят гранаты,— прошептал Марфин и стал медленно сползать на земляной пол блиндажа. Шошин, сидевший спиной к лейтенанту, сообщил команду Архипову, и тот передал ее по окопам.

Сейчас прямо в нескольких шагах от брустверов вставала земляная завеса от рвущихся наших снарядов. И все же недалеко от окопов, слева, раздались взрывы гранат и немецкие возгласы.

— Наводи еще ближе,— тихо сказал Марфин.

Шошин взглянул ему в глаза. Лейтенант с усилием кивнул головой.

— Передавай.

— Еще десять метров ближе! — передал Шошин и замер в ожидании.

Но снаряды ложились почти там, где они рвались и минуту назад.

На батарее поняли, что огонь корректируется «на себя», и решили дать небольшую оттяжку — полделения... Это могли сделать только виртуозы-артиллеристы.

Встреченные гранатами и накрытые точнейшим артиллерийским огнем, немцы дрогнули.

Что-то треснуло совсем рядом.

— Аппарат разбит! — устало сказал Шошин и облизнул пересохшие губы. У него гудело в голове, и вдруг он вспомнил, что двое суток не ел. Но он не понимал, что сейчас — утро или вечер?

«Надо сделать лейтенанту перевязку»,— подумал он и подошел к Марфину.

Шошин стал расстегивать шинель лейтенанта.

— Не надо, дружище,— еле шевеля губами, произнес Марфин,— лечить меня поздно. Я убит. Возьми сумку, там...

Но он не договорил.

— Умер! — тихо сказал Шошин входящему в землянку Архипову.— Умер. Не верю!

Шошин бережно приподнял тело лейтенанта и положил на разбитые нары.

Ему казалось, что сердце его, кружась, опускается в неведомую бездну. Он отстегнул от портупеи Марфина и медленно раскрыл зеленоватую полевую сумку, начал перебирать бумаги, конверты, тетрадки, карты, зубную щетку, круглое зеркальце и нашел два тяжелых фирменных конверта студии «Живого письма». На одном прямым каллиграфическим почерком было выведено: «Жене моей Елене», и на втором: «Дорогим товарищам — бойцам моей роты».

Шошин распечатал второй конверт. Внутри лежала небольшая пластинка, наклеенная на открытку.

— Я пойду в окопы и передам приказ лейтенанта, чтобы брали винтовки немецкие! — сказал Архипов и вышел из блиндажа.

Небо было в перистых красных облаках, отражавших пламя весеннего заката. И если хорошенько прислушаться, то в ту минуту, когда затихали орудия, можно было услышать, как шуршат на реке льдины.

— Коленька! — сказал Архипов Платову.— Лейтенант погиб!

Весть о гибели командира разнеслась среди бойцов. Ору-

дийный обстрел не утихал. Земля струйками стекала по стенкам блиндажей и окопов.

За несколько минут перед атакой в вечерней темноте наступила удивительная, опасная, настороженная тишина. И тогда в этой тишине вдруг раздался голос сержанта Шошина:

— Слушайте слово погибшего за родину лейтенанта Марфина!

Шошин бережно вынес из развороченного блиндажа патефон, поставил его на валун и отпустил рычажок. Сначала раздалось обычное шипение патефонной пластинки, а затем, заглушая его, в тихом воздухе весеннего вечера полился знакомый, звонкий и ясный голос лейтенанта:

— Родные мои! Друзья! Товарищи мои — герои! Вы помните, в каких мы с вами бывали передрягах! Под Сулой, у деревни Ольховки — и все-таки вышли с победой! Помните ночной переход и бой в октябре! Нелегко было, а все ж таки наша взяла! Родные вы мои! Шошин, Архипов, Платов, Ольгин, Алымов, Фокин и все мои друзья, нас зовет родина — вперед!

В окопах стояла небывалая, напряженная тишина. Затаив дыхание, сжимая в руках винтовки, потрясенные бойцы слышали зовущий вперед голос погибшего командира.

И когда в холодном воздухе весеннего вечера прозвучало: «Вперед!» — кто-то в окопах громко повторил:

— Урра! Вперед! Вперед!

Архипов узнал голос Платова и сам поддержал его.

И все, кто остался в живых и мог двигаться, выскочили из окопов и побежали вперед, на врага. Их вел Марфин! Их вела воля к победе, которая сильнее смерти.

Ноги у Архипова ныли. Он на секунду остановился и вдруг услышал позади себя громкое возрастающее «ура!».

Это бежали, устремляясь в атаку, красноармейцы.

За два дня в нескольких километрах от фронта были сколочены плоты. Их скрытно подтянули к берегу. В темноте переправились через реку, отталкиваясь шестами от льдин. И сейчас высадившиеся на берег бойцы бежали в атаку на Лысую высоту, недавно еще называвшуюся «Лесной». Они бежали выручать роту Марфина, расширять плацдарм прорыва немецкой обороны.

1943

Письмо из дома почтальон, веселый рябоватый паренек, передал Саиду Ахмедову в ту минуту, когда он вместе с Карху и Родионовым уже уходил на задание. С письмоносцем друзья столкнулись на узкой, скользкой, протоптанной в глубоком снегу тропинке.

— А ну-ка попляши, тогда получишь кое-что! От невесты!— выпалил почтальон.

— Как же, в самый раз он тебе попляшет, Весь минами обвешан! Пожалуй, сам не обрадуешься! — отозвался Родионов и, выхватив из рук почтальона сложенное треугольничком письмо, передал его Саиду.

Тот и в самом деле нес три ящичка с толом, а в карманах у него лежали запалы. В лесу было уже совсем темно, и, хотя Ахмедов изнывал от желания прочитать то, что писала ему Мариам, он понимал, что из-за этого возвращаться нельзя. Глубоко вздохнув, Саид засунул письмецо поглубже в карман к запалам, представил себе счастливую минуту, когда он будет в землянке при мерцающем свете мигалки читать неровные, написанные карандашом строки, и еще быстрее зашагал по тропе.

— Опять от Мариам небось? — спросил его Родионов, шедший в затылок товарищу.

В отделении все знали, что у черноволосой Мариам глаза голубые, как карельские озера в тихий летний день, как знали и про молодую жену Родионова, Надю, из Смоленщины угнанную в рабство куда-то под Кенигсберг. Каждый в отделении знал почти все про товарищей. Сколько в землянке было переговорено долгими северными вечерами, а письма, адресованные одному, переходили из рук в руки и обсуждались сообща.

Иной раз, просыпаясь ночью на своих нарах, Саид замечал, что Родионов не спит, думая свою неотвязную думу. И тогда, представив вдруг, что было бы с ним, если бы Мариам угнали в Германию, Саид содрогался, проникаясь чувством острого до боли сострадания, и не знал, что бы такое сделать и как утешить товарища. И ему как-то неловко было при Родионове читать ласковые письма Мариам и быть счастливым от ее тоски о нем.

Вскоре тропинка кончилась. Товарищи встали на лыжи и пошли по целине. Первым шел молчаливый и с виду неуклюжий, а на самом деле очень ловкий Карху. Это он, в течение

нескольких дней наблюдая за передним краем немецкой обороны, обнаружил место, откуда солдаты брали питьевую воду. То была маленькая прорубь в нескольких шагах от высокого каменистого берега извилистой лесной речки. И вот сейчас, минуя проволочные заграждения, Карху вел Саида и Родионова к этой никем не охраняемой проруби. На склоне нашего берега товарищи оставили лыжи, воткнув их пятками в снег, рядом поставили палки. Оксло лыж, спрятавшись за большим камнем, остался Родионов. С этого места отлично было видно все, что делалось на льду речки до самого ее изгиба, и спуск к проруби по склону чужого берега. Отсюда Родионов должен был прикрывать своих товарищей, пока они ставят мины на ведущей к проруби немецкой тропе. И как всегда — Саид и на этот раз старался точно запомнить заминированные места, хотя казалось, что сейчас в этом не было необходимости. Одну мину он поставил у камня, напоминающего медведя с огромной снеговой шапкой, ставшего на задние лапы, другую — напротив невысокого можжевелового куста.

Карху понимал Саида без лишних слов, и так как Ахмедов был отличным сапером, то минут через двадцать, закончив свое дело, товарищи уже направились в обратный путь. Внезапно, как это часто бывает в Карелии, начался густой безветренный снегопад. Снег шел влажный, лохматыми, крупными хлопьями... Друзья шли и радовались этому снегу, заносившему их следы.

— Вот хорошо,— сказал Родионов,— все заметет.

— Я больше всего боялся наследить около мин,— отозвался Саид. И хотя снег был влажный и начиналась оттепель, лыжи шли свободно и легко.

— Видите! — сказал, торжествуя, Карху.— Снег не липнет к лыжам! Не пожалеете, что по-моему сделали! Правильный у меня секрет!

Секрет Карху состоял в том, что, когда все смазывали лыжи прибывшей из города в тщательной упаковке лыжной мазью, он, не доверяя этой мази, оторвал у селедки голову и стал ею натирать нижнюю сторону лыж. А когда началась оттепель и у всех бойцов на лыжи налипали большие комья снега, делавшие невозможным движение, лыжи Карху свободно скользили по увлажненному снегу. И теперь перед уходом Саид и Родионов подготовили свои лыжи по рецепту Карху.

— Это потому, что в селедке есть и жир, и соль, которая не дает жиру замерзнуть,— убежденно говорил Карху.

Он казался медлительным и неуклюжим, голубые глаза его испытующе глядели на мир, а льняные волосы с первого взгляда могли показаться седыми. Казалось, трудно найти двух людей, внешне более несхожих, чем Тойво Карху и Саид Ахмедов,— и все же в роте не было более близких друзей, чем они. Правда, когда Саид бывал взволнован чем-нибудь, он быстро сыпал словами, не соблюдая правила грамматики, и тогда Карху не всегда мог разобрать смысл речи товарища. В таких случаях толмачом вступал в разговор третий корешок — рассудительный и все понимающий с полуслова Родионов.

— Стой, ложись! — вдруг тихо сказал Карху и, остановившись, начал прислушиваться. Родионову казалось, что над всем миром стоит какая-то, словно зачарованная, тишина и даже ракеты, вспыхивавшие и на мгновение озарявшие окрестности зеленоватым нежным светом, тоже были немыми. Но Карху в лесу различал неуловимые для других звуки. «А вот в степи так бы стоял и прислушивался не Карху, а я. Я степь умею слушать»,— подумал Саид и, переложив обе палки в левую руку, поправил на груди автомат. Через несколько минут и Саид, а затем и Родионов услышали шуршание лыж.

— Стой! — крикнул Родионов вышедшему на прогалину человеку в маскхалате. За первым шло еще несколько.

— Хальт! — тоже крикнул незнакомец и поднял высоко над собой гранату. При этом движении открылся капюшон его маскхалата, и Саид ясно увидел, как блеснул лак на козырьке офицерской фуражки. Но офицер не успел бросить гранату. Она беззвучно упала в снег вместе с ее владельцем. Он лежал, скошенный пулей Карху.

Из лесу выбегали еще люди в маскхалатах.

— Один, два, три, пять, десять, пятнадцать,— успел сосчитать, открывая стрельбу, Саид.

— Иди обратно,— приказал он Родионову,— доложи капитану, что к нам в тыл пытаются пробраться фашисты, примерно взвод. Доложи, что мы с Карху будем держать их до прихода подмоги.

— А нельзя ли Карху послать, я здесь останусь? — спросил Родионов.

— Нельзя! Тебе нужно еще до Кенигсберга дойти! Иди выполняй!

— Слушаюсь, товарищ сержант! — сказал Родионов и через мгновение скрылся за деревьями, похожими на огромные сугробы.

Появлявшиеся на секунду из лесу люди сразу же бесследно исчезали. Они падали в снег, и непонятно было — то ли от пули упали, то ли для того, чтобы плашмя ползти к разведчикам. Совсем близко, казалось, шагах в пятнадцати, работал немецкий ручной пулемет. Пули свистели почти у самого уха.

Карху, лежа за поваленным деревом, норовил выстрелить тогда, когда работал неприятельский пулемет. И после каждого его выстрела застывал без движения невысокий снежный холмик, который, казалось, продвигался к разведчикам.

«Родионов, наверное, сейчас уже доходит до КП, до капитана»,— подумал Саид и увидел, что расстрелял весь свой диск.

У Карху было два запасных, и он передал один из них товарищу. И снова они вели огневой бой еще с четверть часа. Вражеские выстрелы стали раздаваться уже и справа и слева. Фашисты начинали обтекать разведчиков. Разрывные пули, ударяясь об обледеневшие стволы сосен, разрывались с неприятным треском.

«Сейчас, наверно, капитан уже отдал приказ, и нам на подмогу идет взвод, а то и два. Ладно, ладно, обтекайте нас, а капитан вас окружит!» — подумал Саид и улыбнулся.

У Саида иссякли патроны и во втором диске. Карху молчал уже минуты две. А враги по-прежнему стреляли без умолку. Неожиданное сопротивление там, где они его не ожидали, привело немцев в ярость. Саид подполз поближе к Карху. Тот лежал плашмя, уронив голову в снег, рядом с пустым диском. Сбоку, уже запорошенный непрерывно падающими снежинками, валялся безмолвный автомат.

— Брат! — прошептал, наклонившись над ним, Саид и пополз вперед. Он добрался до убитого офицера. Стрельба стала совсем редкой.

«Получили на орехи, теперь не полезут больше»,— подумал Саид, подбирая офицерский автомат с рожком, полным нерасстрелянных патронов.

Но он не успел сделать и пяти выстрелов, как кто-то, подкравшийся сзади, ударил его прикладом по затылку, и Саид потерял сознание.

...Первое, что он почувствовал, когда очнулся, была тупая ноющая боль в голове, потом какое-то странное, неудобное, неприятное ощущение во рту. Шерстинки кололи язык, хотелось плюнуть, и нельзя было ни открыть рта, ни сжать челюсти. Саид понял, что ему забили в рот влажную, заснеженную

меховую варежку и освободиться от нее невозможно. Кто-то крепко, до боли стискивая, держал его под мышки и тянул за собой по снегу. И вдруг сознание Саида пронзила мысль, что это его, Саида Ахмедова, волокут к себе в плен гитлеровцы, это их руки сжимают до боли его тело, это у него во рту чужая рукавица, а сам он попал в «языки» к немцам.

Он пошевелился и хотел стать на ноги, но солдат, шедший сзади, сильно толкнул его в спину, и ноги у Саида, по-прежнему волочась, заскользили по снегу. И сразу ему вспомнился треугольничек непрочитанного письма от Мариам и как провожала она его на сборный пункт райвоенкомата. Он всю ночь работал на косилке. Утром забежал на минутку домой проститься с матерью. У нее было усталое, загорелое и морщинистое лицо, и она изо всех сил старалась не заплакать на прощание. А потом они шли с Мариам по влажной степной дороге и присели отдохнуть у придорожного косого плетня, а лошадь чинно шла одна по дороге, и пегий жеребенок обегал ее, и возвращался, и так смешно взбрасывал вверх копытца. И в эту минуту Мариам сказала, что она знает, что он вернется, она будет ждать его, она знает, что он герой.

А он поцеловал ее в сухие от горя губы и сказал, что он простой боец, а не герой, но он ее очень любит и будет помнить всегда. И вдали дрожал воздух над нагретыми солнцем полями, и пахло полынью, и стрекоза, медленно кружась, перелетела через дорогу. И все это было — Родина, счастье, и он этого больше никогда не увидит. И еще придут к матери другие старухи и скажут, что ее сын предатель. И вот тогда-то она заплачет.

Из глубины его существа возник и вырвался наружу стон, глубокий стон беспомощного отчаяния.

— Легче держи его, а то еще умрет в пути от неизвестной причины,— сказал по-немецки один из солдат, и все трое засмеялись.

Саид не понимал того, что говорят немцы, но смех их заставил еще раз сжаться его сердце.

«Больше ни одного стона они не услышат от меня»,— подумал он и стал исподлобья осматриваться.

Он увидел, что теперь немцы волокли его к тому самому пути, по которому еще час назад он проходил с товарищами. Вот и склон берега, вот впереди камень, где они оставили лыжи и за которым таился Родионов, оберегая их. Взглянув на немца, который держал его справа, выламывая назад руку, Саид ужаснулся. Лицо солдата показалось ему диким, преры-

вистое дыхание омерзительным, а при взгляде на выступившие на лбу солдата капельки пота Саида затошнило.

«Вот такие сволочи,— подумал он,— будут пытать меня и добиваться, чтобы я рассказал все, что знаю про капитана, про Родионова, про всех моих друзей...»

И он ужаснулся при мысли о тех пытках, которые ему перед смертью предстоит вынести.

«Нет, я не герой,— с горечью подумал он.— Мне не вынести этого. Какое будет несчастье, если я что-нибудь скажу». И Саид еще раз взглянул на немца.

По напряженному лицу его катились крупные капли пота, а может, это был тающий на лице снег. Немцы заскользили по льду речки. Они прошли совсем рядом с прорубью, и видно было, как, касаясь черной воды, гаснут падающие белые хлопья снега.

«Нет, я не герой,— подумал еще раз Саид,— если бы я был герой — тогда не страшно. А так надо выпутываться во что бы то ни стало». Ему страшно хотелось услышать позади шум погони и хотя бы отдаленную стрельбу. Но нет,— ничего. И если бы не затрудненное дыхание немецких солдат и не отчаянное биение своего сердца, вокруг стояла бы полная тишина. Солдаты сошли со льда реки и стали подыматься не по тропке, а рядом с ней, так как в ряд троим по тропе нельзя было пройти. И в ту минуту, когда двое солдат волокли его по снегу, а сзади, подталкивая в спину, шагал третий, Саид увидел камень, похожий на медведя, вставшего на задние лапы, с огромной шапкой.

«Есть!» — обрадовался вдруг Саид. Головная боль исчезла, сердце забилось учащеннее. Он понял, что ему нужно делать, и, приняв решение, почувствовал себя счастливым.

В тот самый момент, когда конвоиры, волочащие его по снегу, поравнялись с камнем, Саид, собрав все свои силы, подтянул ноги вперед, оперся на них, встал и бросился, увлекая висевших на нем немцев, на мину, которую он сам поставил у камня полтора часа назад.

Раздался страшный взрыв, и Саид понял, что это пришла смерть.

* * *

Он пришел в себя через день. В госпитале было совсем светло. Саид пробовал пошевелиться и не мог. Ноги были в гипсе, а голова кружилась от слабости.

— Значит, все-таки жив! — удивленно прошептал он.

— Жив и в строй возвратишься, доктор поручился за это! — сказал, склоняясь над ним, Родионов.

И он рассказал, как подошедший к месту боя взвод нашел тело Тойво Карху и восемнадцать трупов фашистов. И как взвод пошел по следам, и, не доходя до речки, все услышали взрыв мины, а на месте взрыва нашли двух убитых немцев, одного раненого и лежавшего без чувств Саида.

— А где письмецо Мариам? — забеспокоился вдруг Саид, вспомнив сунутый в карман ватника бумажный треугольничек.

Родионов громко, на всю палату рассмеялся и сказал:

— Твой ватник так был разодран взрывом, что от письма не осталось и строчки. Но ничего, Мариам тебе напишет еще много, много писем, одно лучше другого.

1943

КОСТЕР НА СКАЛЕ

— У нас, на севере, земли нет — камень или болота,— сказал сержант Аркадьев.— Камень красивый — розовый гранит, но все же камень, и окопов в нем много не нароешь. Так из камня и приходится брустверы накладывать. Скалы ломаем и из каменной породы окопы выкладываем, сверху только землицей присыпаем, дерном прикрываем. Вот тебе и окоп. А землянки! Это только слово, что землянки, на самом деле надо бы их «камнянками» называть: из битого камня сложены, и только земли и есть что в пазах, в щелях наложено. А бывает, что и там земли нет — один мох заполярный. Такая уж у нас здесь, на севере, жизнь каменная. И люди как каменные стали — стена. Ни шагу не уступят! Потому какая земля — такие люди. Северные — из загорелого камня, розового гранита. Ну, а душа — то, конечно, человеческая. Она и радуется, и грустит, и поет.

Сержант Аркадьев замолк и, приложив ладонь к глазам, стал рассматривать огромную скалу, высоко вставшую над поворотом горной тропинки.

В часть пришло молодое пополнение, и нужно было достать камня, чтобы сложить для прибывших землянки. Аркадьев взялся за это дело, и теперь мы с ним поднимались по горной тропе.

— Да, этот камень будет подходящий! С самой вершины и начнем,— снова сказал он.

По дороге он то и дело наклонялся и срывал тонкие невысокие прутья с мелкой листвой. Это были многолетние стволы карликовой, стелющейся березы. Он попросил, чтобы и я делал то же. И мы, отдирая с корнями эти выносливые деревца, медленно продолжали подъем. Стволы берез были крепкими, корни их цеплялись за камни и яростно сопротивлялись руке. Во время подъема Аркадьев продолжал разговаривать. Ему очень хотелось поделиться со мной тем, что его сейчас волновало. Это был рябоватый и, с первого взгляда, неказистый человек, но весь исполненный сознанием важности своего дела, солдатской гордостью, прямотой и душевностью. И гордость эта солдатская отражалась и в ловкой осанке его, и в том, как сидела складно прилаженная на его коренастой фигуре гимнастерка, и в начищенных сапогах, и в аккуратно заштопанных на коленках брюках.

— И кто эту душу человеческую понимает, тот из человека и камень сделать может, и воск, по мере надобности,— продолжал Аркадьев.— Вот, к примеру, парторг наш, капитан Белокуров. Дело это было так. Был в нашем батальоне, короче говоря — во взводе нашем, боец. Так, видимость одна, что боец,— замухрышка. Шинель до пят — балахоном. Сапоги не смазаны. Ну, а про бритье он неделями забывал. Уставы и оружие знал он тогда, конечно, посредственно. А тут еще письмо получил из деревни и загрустил, затосковал. И не ведаю как, но товарищ Белокуров узнал, что было в этом письме. А было оно нехорошее. Жена писала, что она ничуть не жалеет, что избавилась от него, рохли такой, и чтобы он на нее впредь не рассчитывал.

И вот вызывает капитан бойца этого к себе и спрашивает:

«Любишь ты свою Катю?» (А ее Катериной звали.)

«Люблю»,— отвечает.

«Горько тебе?»

«Горько, товарищ командир».

«Ну, а ты на себя посмотри, какой ты есть: неряшливый, небритый, помятый, нечищеный. И выправки в тебе нет, как мешок. Ну, как тебя такого-то стоящая женщина любить сможет? Какой ты есть мужчина, каков воин? Рохля!»

Такие слова, конечно, не утешение, хотя и правильные. Но видит капитан Белокуров горе бойцовское и строго-настрого говорит ему:

«Стань, Егор, настоящим солдатом, настоящим мужчиной,

бей врага по-большевистскому, и, поверь моему слову, все дело на хорошее повернется».

«Это он так для моего утешения говорит»,— подумал Егор, но все же стал за собой приглядывать. Вроде, как говорится, уздечку на замок запирает после того, как коня из конюшни уж вывели. Ну, а капитан спуску ему не дает: оборванной пуговицы не пропустит, двухдневной щетины на щеках не простит и все в самые боевые и опасные дела посылает этого бойца, Егора-то. Немного и времени прошло с этого разговора, как Егор «языка» приволок.

Встретились они с немцем один на один. Навстречу, лицом к лицу, из-за скалы вышли. Каждый за своим валуном схоронился. Стреляют оба. Но у Егора думка была: во что бы то ни стало живьем немца захватить. Вот тут-то он и схитрил. Схватил камень, что под рукой валялся, и запустил его в фашиста. Ну, а тому, разумеется, невдогад, что это камень, думает — граната. Прижался это он к земле, разрыва гранаты ждет, голову обеими руками прикрыл, сжался, глаза зажмурил. Короче одной минуты все дело было. Ну, а Егору и этого хватило. Он, как кот на мышь, метнулся на этого немца. Кулаком по затылку, на всякий случай руки за спину прикрутил и в таком виде к командиру доставил.

Кажется, ничего такого особенного не сделал, а, однако же, капитан Белокуров человеку в самую душу смотрел. Представили Егора к ордену Славы третьей степени. И что бы ты думал! В тот же день по предложению парторга всем взводом пишут письмо в родную деревню Егора. И все описывают, что он сделал, и говорят, что боевые его товарищи даже за героя его считают,— и пусть об этом в деревне все знают. И еще просьба: дать прочитать в колхозе это письмо всем и каждому, за исключением жены, потому что она недостойна своего мужа и, в то время когда он на переднем краю республики находится, собирается его бросить. Вот какие дела! Ну, конечно, у капитана расчет правильный был. Жене-то, может быть, первой письмо это показали или, может быть, и не показали, сделали все по-писаному, но только, конечно, она обо всем узнала. Не знаю, что она там думала. А только у Егора служба военная идет своим чередом, но, конечно, духа и гордости у него прибавилось. И через некоторое время приходит к нему от жены письмецо о том, что ее, мол, всей деревней стыдили, что она ошиблась в Егоре и в своем понимании действительности и что просит Егора простить ее и забыть то нехорошее письмо.

Егор любит ее. Все же она хорошая женщина, красивая, работящая. Вот он, конечно, ног под собой от радости не чувствует.

Только сел он за бумагу, чтобы ответ писать: прощаю, мол, как в землянку капитан Белокуров заявляется.

«Ты что же это, Кате пишешь? Прощаешь ее небось?» — спрашивает он.

«Прощаю! — весело отвечает Егор.— Такое ведь дело! Спасибо, товарищ командир!»

«Ну, знаешь ли,— говорит капитан,— это ты неправильно делаешь! Гордости в тебе еще мало! Я не советую сразу так прощать. Ты же лучше ее. У тебя боевые дела! Смотри — на груди орден Славы, какое слово! Выправку наладил. Да за тебя теперь сотни пойдут! Так вот и напиши ей, чтобы знала. А там посмотрим!»

Егор в душе опасался, что такое письмо очень досадит Катерине, но сделал по совету капитана. Письмо-то он послать послал, а на сердце у него было неспокойно... Ну, вот мы и пришли,— оборвал свой рассказ Аркадьев.

Мы находились на вершине скалы. Отсюда в голубой дымке, куда ни посмотришь, виднелись высокие скалистые вершины гор. Они, как огромные волны, катились от этих мест до самой Норвегии. А справа глубоко в сушу вдавались темно-зеленые языки Баренцева моря. Мы стояли на краю высоченного скалистого обрыва. Далеко внизу, спотыкаясь и пенясь на камнях, усердно бежала быстрая речка. Место, на котором мы сейчас находились, отлично просматривалось с высот, занятых неприятелем.

— Вот здесь-то мы и разведем костры,— сказал, с удовлетворением оглядываясь, Аркадьев и сложил к ногам свою охапку берез.— Березка свеженькая, дыму хватит!

— Зачем это здесь, на виду у врага, костры разводить? — спросил я, недоумевая.

— А затем, что я обязался за два часа достать камня на постройку пяти землянок! — загадочно ответил Аркадьев, и я не стал его больше расспрашивать.

Аркадьев разложил три больших костра, зажег их. И когда после долгих усилий наконец заиграл среди ветвей огонек и над вершиной тонким столбом потянулся к небу сизый дымок, Аркадьев крикнул мне:

— А теперь айда скорее вниз! Вниз!

Мы побежали по узкой извилистой тропе вниз. Камешки, вырываясь из-под ног, обгоняли нас на бегу. Тропа уводила

нас влево, и только у берега быстрой горной речки мы остановились, чтобы перевести дух. Вершина, на которой мы только что были, отсюда казалась недоступной, отвесной стеной. Переводя дыхание и уже угадывая замысел Аркадьева, я спросил:

— Почему вы так подробно рассказали мне историю про этого бойца?

— Это про замухрышку-то бывшего? — улыбнулся он и, оглядев свой костюм, довольным голосом закончил: — Да потому, что я сегодня получил от Кати третье письмо с просьбой о прощении. И ответ отправил: прощаю, мол, и поставил свои условия.

— Так это, значит, вы и есть тот Егор?

— А вы не догадались?

— Начал было догадываться, да вот что помешало,— я указал на его грудь, где рядом с орденом Славы поблескивала еще и Красная Звезда.— Ведь про нее вы мне не рассказали.

— Ну, это другая история, и про нее капитан тоже писал в деревню...

Но эту историю Аркадьев не успел в тот раз досказать, потому что раздалось гудение снарядов и последовал оглушительный разрыв. И хотя снаряд разорвался метрах в двухстах от нас, мы все же прилегли за валуны.

Немцы долго били по зажженным Егором Аркадьевым кострам.

И каждый выстрел крушил скалу розового гранита, и по сторонам разметывались и сыпались вниз, к подножью каменной стены, слоистые камни — большие, маленькие, плоские и гладкие, рваные, длинные, короткие, острые, иззубренные. И от скалы подымалась и развевалась в воздухе каменная пыль.

— Тут на десять землянок хватит! — с удовлетворением сказал Егор Аркадьев, поднимаясь из-за своего валуна, после того как, поработав с четверть часа, германская артиллерия все же притушила его костры.

1943

У НАС НА СЕВЕРЕ

Отправлялись в поход, когда минер-разведчик Иван Минин после двух лет молчания получил письмо из дому. Вернее, оно было от сельсовета, потому что, как сообщалось в этом письме, дома Мининых уже не было. Немцы, отступая, сожгли всю

деревню. И семьи тоже не было. Отец, мать убиты, старшая сестра Наташа угнана в Германию на каторгу. И по дороге на каторгу, в той же колонне, где шла Наташа, умерла от истощения Ольга.

Ольга! Она провожала его на призывной пункт. Ночью прошли они по пыльной дороге восемнадцать километров. И, хотя с тех пор минуло много военных дней и ночей, никогда он не забудет той ночи. Вот, кажется, и сейчас рука его чувствует теплоту ее руки.

Прочитав письмо, Иван Минин вдруг почувствовал себя невыразимо одиноким, сердце его сжалось в тоске. И так было все время, пока они пробирались во вражеский тыл, пока минировали дороги и даже когда подорвали две вражеские машины. Щемящее чувство не оставляло его. И все — лейтенант Качалов, ефрейтор Репин, Цветаев, Ефимов — знали про горе Ивана Минина. Но чем могли бы они помочь ему? Автоматчик Петин сказал у костра Репину:

— Такому горю одно только время может пособить!

Минин слышал этот разговор и подумал о том, какие хорошие люди служат во взводе. Даже забравшись далеко во вражеский тыл, среди ежечасных опасностей он не чувствовал себя одиноким. «Правда, это дружба боевая,— думал он иногда.— А как только наступит мир, все разъедутся по домам и займутся своими делами». В эти горькие минуты ему казалось, что, может быть, лучше погибнуть в бою.

Через неделю похода, выполнив все, что они должны были выполнить, небритые и усталые, разведчики уже собирались идти обратно, но столкнулись с большим немецким отрядом.

Лейтенант Качалов подозвал к себе Минина и сказал:

— Самое главное — доставить командованию эти документы.— И он протянул Минину снятую с немецкого офицера полевую сумку, вложив туда свою записку.— Мы здесь будем вести бой, прикроем тебя, а ты пробирайся!

Минин решил идти напрямик, через озеро, хотя знал, что под снегом на льду вода. Сразу за озером на много километров простиралось скалистое плато, а потом по самой линии фронта шли бескрайние северные леса.

Минин, пробив лыжной палкой тонкий лед родника, набрал в котелок воды и стал осторожно смачивать ею валенки. Было не более пяти градусов мороза, на валенках быстро образовалась наледь. Минин спокойно, словно рядом не шла ожесточенная стрельба, начал смачивать водою эту тонкую хрусткую наледь, и на валенках образовалось нечто вроде ле-

дяного панциря. Валенки стали тяжелыми, но зато в них можно было теперь шагать прямо по лужам.

Товарищи вели бой, отходя постепенно к югу, отвлекая на себя внимание врага. Минин же двигался прямо на восток. Но уйти незамеченным ему не удалось. Когда он был уже невдалеке от противоположного берега озера, немцы заметили его и бросились в погоню.

На озеро выскочили шесть солдат. Они не стреляли. Очевидно, у них было задание взять его живым.

— Ладно, ладно, догоняйте! — усмехнулся Минин, оглядываясь через плечо.— Посмотрим, что вы запоете через часок-другой.

Он выбрался на берег. На озере стояла подснежная вода, но портянки у него были совсем сухие. Немцы же неизбежно должны были промочить ноги. Минин стал на лыжи, поправил у пояса трофейную полевую сумку и быстро пошел по своему маршруту, на восток.

Выбрались на берег и немцы. Они тоже стали на лыжи и пошли по его следу.

Минин оглянулся. «Черт знает что,— подумал Иван.— Пожалуй, они откроют стрельбу, и тогда сумка не попадет к командиру. Нет, уж лучше я покончу с ними!»

И вскоре он нашел удобное для выполнения своего замысла место — высокую гранитную скалу с нависающим выступом и с несколькими небольшими валунами перед нею, на которых снег лежал в виде больших пушистых папах.

Когда немцы, шедшие по лыжне, были уже метрах в трехстах от скалы, Минин хотел открыть огонь, но сдержался. Немцы замедлили ход. Они шли теперь, озираясь, вглядываясь в следы. Вот они уже в полутораста метрах.

Минин нажал курок автомата. Два немца один за другим рухнули и недвижно распластались на снегу. Остальные быстро залегли и открыли ответную стрельбу. Минин лежал, не отвечая. Пули ударялись о скалу, о валуны, зарывались в снег совсем близко от него.

Потом немцы замолчали, но, переползая от камня к камню, продолжали приближаться к скале. Один подполз к валуну. Минин приподнялся и швырнул гранату.

Снеговую папаху смело с камня. Минин обнаружил себя, но зато теперь в живых оставалось только трое немцев.

Весенний день приближался к концу. Немцы ждать не могли: сводило ноги от холода, и они решили ускорить развязку. Они подползли ближе и стали швырять гранаты. Но гранаты,

ударяясь о выступ скалы, нависавшей над Мининым, отскакивали обратно и рвались за валунами. Место было выбрано удачно.

Вскоре гранаты у немцев кончились. Минин лежал тихо, не шевелясь, дыша в рукавицу, чтобы пар от дыхания не выдал, что он жив. И через четверть часа ожидания немцы решили, что враг уничтожен, встали и подошли к скале, к валуну, за которым таился Минин. А еще через несколько минут Минин уже снял с вражеских трупов документы и вложил их в трофейную сумку.

Его трясло от холода.

— Здорово же я промерз,— сказал он вслух.

Но от этого ему не стало теплее. Место было голое, каменистое, вокруг ни одного кустика. Минин собрал палки, деревянные рукоятки немецких гранат и разжег костер. Иван грел руки над пламенем, а на сердце у него становилось все холоднее. Ему вспомнилось, как сидели у костра втроем — Наташа, Ольга и он.

На другой день Минин был уже в батальоне.

* * *

Сдав трофейную сумку и доложив обо всем командиру, Минин плотно заправился в кухне, а затем пошел спать. У землянки он вспомнил: вот здесь ему дали в руки письмо из сельсовета, здесь он его прочитал. И снова к сердцу бойца подступила тоска.

— А вот и сам он, товарищ Минин,— сказал парторг, увидев вошедшего в землянку разведчика.

В землянке было людно. Сюда набились бойцы из соседних взводов. На стенах висели те же вырезанные из газет фотографии, что и в день выхода в разведку. По-прежнему из большой жестянки, прибитой к бревенчатой стене, через иголочное отверстие медленно, по каплям сочилась вода в подставленную кружку — окопные часы. Все здесь оставалось по-старому. Только вот женщина, да еще в штатском платье, сидевшая у столика, выглядела непривычно и странно.

— Это и есть Минин,— повторил парторг и, обращаясь к Ивану, сказал: — А это товарищ Саша из Красноярского края, из колхоза «Первое мая».

«Почему меня так торжественно знакомят?» — подумал Минин, смущенно протягивая молодой женщине руку.

Женщина ответила крепким рукопожатием и даже поцело-

вала Ивана. Все вокруг зааплодировали. Потом женщина протянула Минину какую-то книжечку.

— Это вам колхозная книжка,— сказала она высоким, звонким голосом.— Вы теперь член нашего колхоза. Мы приняли вас на общем собрании... Мы тебе избу новую отстраиваем,— вдруг перешла она на «ты».— Наш колхоз четверых принял.

«Какой у нее голос хороший»,— подумал Минин. А женщина продолжала:

— И если кто из вас четверых больной с войны воротится, пусть не смущается: мы будем средний заработок колхозника ему выплачивать. Воздух у нас привольный, в колхозе достаток... Сибиряки и соседние колхозы тоже так решают...

Снова все захлопали в ладоши. Минин стоял растерянный посредине землянки, держа в руках маленькую книжечку. Сердце его взволнованно билось. Он чувствовал за собой всю свою великую добрую Родину-мать, весь народ и знал, что его приезда после войны действительно ждут в далеком, еще незнакомом, но уже родном колхозе. Нет, здесь, в бревенчатой сырой землянке на краю света, он не одинок! И он смотрел в глаза молодой женщине в сером шерстяном платье, не зная, что ей сказать.

— Я бы с удовольствием побыл тут еще, да только чашка до краев полна, а это значит, что мне надо на пост,— сказал парторг.

Медленно падавшие капли заполнили кружку точно за два часа.

Парторг был очень доволен. Не напрасно составлял он список бойцов, родные которых — в оккупированных местах! Не зря отправил этот список в далекий Красноярский край!

Парторг вышел, и через распахнувшуюся дверь Иван Минин, и женщина из сибирского колхоза, и все остальные в землянке, увидели синее небо с сияющей над талыми апрельскими снегами луной, на которую набегали быстрые прозрачные облака...

1943

НОЧЬ В ТРАНШЕЕ

Темное морозное небо полно звезд. Ни облачка. Но здесь, на холодной северной земле, бушует метель. Острый колючий ветер переметает мелкий сыпучий снег через поляны, набрасы-

вает на скалы, наглухо заносит дороги, у едва приметных бугорков наваливает огромные сугробы. Он добирается и до ходов сообщения, до узких извилистых траншей переднего края нашей обороны, как бы стремясь во что бы то ни стало засыпать их. Снег в траншее, в начале смены доходивший до щиколоток, к концу ее добирается до колен. Надо все время разгребать его и выбрасывать за бруствер, который час от часу растет.

Красноармеец Петренко берет длинную, узкую лопатку, похожую на весло и, просунув ее в амбразуру, откидывает в сторону нанесенный ветром снег, закрывающий поле обзора. Сделав это, он снова пристально вглядывается в ночную тьму.

Высоко в небе вспыхивает ярко-зеленая ракета, и свет, с необычайной резкостью подчеркивая все тени, озаряет и лес, и полянку, и высокий склон сопки, и ложбинку под ним,— ложбину, по которой, пенясь и перепрыгивая через обледеневшие камни, бежит не замерзающий даже в эти морозные дни ручей. А за ним — противоположный склон, и на этом склоне — опоясанный минными полями и проволочными заграждениями передний край обороны врага. Наши наблюдатели приникают к амбразурам, стремясь в короткие секунды, пока светится вражеская ракета, вобрать в свои глаза возможно больше. Разведчик Кишкин засекает место, откуда пущена ракета. При ее свете можно разглядеть и нашу траншею, заснеженную, заледенелую, похожую на узкий проход между сжимающимися айсбергами. Ракета гаснет, и над всеми этими высотками, носящими неожиданные названия: «Сердце», «Старушка», «Гусиная шейка», «Новая земля»,— снова воцаряется непроглядная ночь. Кишкин считает про себя секунды до следующей ракеты: он хочет узнать длину финской траншеи. Обычно их ракетчик запускает ракету в одном конце окопа и затем вторую — в другом конце. Вот вспыхнула и вторая. И кажется, словно и нет ничего вокруг, кроме этой нависшей над островерхим лесом ракеты, освещающей все вокруг своим холодным зеленоватым светом. Но каждый из бойцов — и Поликарпов, стоящий у пулемета в ячейке, и разведчик Кишкин, и разгребающий перед амбразурой снег Петренко — знают, что никогда днем в окопах не бывает столько людей, сколько сейчас, в эту морозную, метельную ночь. За каждым выступом таится стрелок. И только покажись враг — оживут, ощетинятся спокойные, отяжеленные снеговым покровом деревья, взъерошенные, цепкие кусты.

И вдруг громко, кажется, совсем рядом, раздается голос из радиорупора. Это сообщение Советского информбюро на финском языке. Вчера вечером было громогласно объявлено, что передача состоится сегодня ровно в двенадцать ночи. Но ветер бил в лицо, затрудняя движение, и агитаторы со своей аппаратурой запоздали. Однако, как только зашипел репродуктор, с финской стороны донеслись выкрики:

— Русс, даешь сводку!

Эти возгласы радуют диктора. Он знает, что его передачу ждут. В морозном воздухе раздается звонкая речь. И далеко в темном, неподвижном карельском лесу разносится голос, перечисляя номера дивизий, разгромленных под Сталинградом, и фамилии генералов, сдавшихся в плен.

Пользуясь тем, что внимание белофиннов приковано к передаче, разведчик Кишкин ловко перемахнул через снежный бруствер и пополз к их обороне. Сегодня он должен наметить места, где завтра нужно будет резать проволоку. Через секунду-другую его уже не видно, словно растворился в метельной мгле.

Но вскоре голос из рупора замолкает. Агитатор уходит, и снова темно и тихо в траншеях. И если бы не взвивающаяся время от времени ракета, даже нельзя было бы предположить, что вот там, метров за двести по прямой, мерзнут в своих окопах вражеские солдаты.

«В такой мороз пулемет может отказать»,— думает Поликарпов. И вместе с товарищем вытаскивает из бревенчатого гнезда пулемет, относит его шагов на пятнадцать в сторону — чтоб не засекли — и дает длинную, звонкую очередь. Пулемет действует превосходно. Бойцы тащат его обратно в свою деревянную пещерку. В ответ на выстрелы — лай финского пулемета. Ему вторит другой. Оба они стреляют без перерыва несколько минут, прошибая темноту ночи красными светляками трассирующих пуль. Финны жгут без конца ракеты, тратят без счета патроны, желая подбодрить самих себя и показать, что не спят. Наши наблюдатели пользуются этой иллюминацией и высматривают то, что им надо.

А ночь все тянется! Брови стали белыми и мохнатыми от инея. Даже в валенках пальцы холодеют. Рассвет еще далек. Кажется, ночи не будет конца. Но это только кажется. Опытный боец распознает приметы, которые безошибочно свидетельствуют, что ночь идет на убыль. Вот на той стороне раздалась условная очередь автомата «Суоми». Значит, у них смена. Через бруствер обратно в окоп переваливается Киш-

кин, идет по узкой траншее уставший, но довольный: в точности разведал место, по которому завтра ночью пройдут смельчаки-охотники за «языком». Он идет обратно к себе в блиндаж и, на пути своем повстречав в траншее снайпера Андреева, пропускает его, сторонится, прижимаясь спиной к выступу валуна. Андреев идет к своему месту — это тоже значит: близок рассвет. Андреев в маскхалате, но и шинель стоящего на посту Петренко запорошена снегом так, что кажется маскхалатом. Андреев осторожно переползает через бруствер к своей верной позиции — бугорку.

— В добрый час! — напутствует Петренко.

Скользя на скатах, ударяясь о мерзлые стенки, нагибаясь в три погибели, чтобы пройти под бревенчатыми перекрытиями ходов сообщения, отыскивая Петренко, пробирается по траншее лейтенант, помполит командира роты. Он останавливается, и даже в темноте видно, что глаза его светятся.

— Товарищ Петренко, поздравляю тебя! Сейчас принесли в роту «Последний час». Ворошиловград свободен! Поздравляю!

— Свободен! До чего же здорово! Спасибо, товарищ командир! — Петренко счастлив.

Он давно уже ждет этой минуты. В Ворошиловграде прошло его детство, там он учился, там начинал работать, там полюбил.

— Спасибо, товарищ командир! — повторяет он. Но лейтенант уже идет дальше. В роте есть еще люди из освобожденных сегодня мест. Надо им передать радостную весть. Лейтенант исчезает за поворотом хода сообщения. Петренко остается один. Он пристальнее всматривается в мглистую метель. И так же, как сейчас здесь, на всем многоверстном нашем фронте, в ночных траншеях переднего края, идет напряженная жизнь.

Но вот разводящий приводит смену. Обычный порядок передачи поста. Петренко идет вслед за старшим сержантом. Через двадцать минут его ждет тепло землянки. Снова бьет длинными очередями финский пулемет. Пули свистят над головой, сбивая с бруствера слежалый снежок.

— Нагни голову! — шепчет старший сержант, и румяное его лицо в сумерках наступающего рассвета кажется сероватым.

Петренко идет по ходу сообщения с поднятой головой. Ворошиловград освобожден! И наступление продолжается.

1943

ДВЕНАДЦАТЬ

Притаившись за высокой смолистой сосной, Владимир Немчиков старался рассмотреть, что делается на другом берегу реки. Но, кроме кольев и нескольких рядов колючей ржавой проволоки среди зеленых кустов, так ничего и не смог увидеть.

Густой смешанный лес на северном песчаном берегу Свири подступал чуть ли не к самой реке, настойчиво катившей свои темные, быстрые воды к уже близкой отсюда Ладоге. Река была безлюдной, пустынной, и только одно, неведомо откуда взявшееся бревно, медленно переворачиваясь, плыло по течению.

Владимир Немчиков проводил его долгим взглядом.

«Вот,— подумал он,— бревно это пройдет Ладожское озеро, и Нева принесет его в Ленинград».

То был родной город Немчикова. И сейчас, когда гвардейцы стояли на южном берегу Свири, старший сержант Владимир Немчиков, разглядывая противоположный берег, занятый врагом, знал: наступает и его срок отплатить врагу за все несчастья, испытанные Ленинградом.

В дни ледохода, в дни весенних разливов, когда снега не сошли еще с заливных лугов, молодые гвардейцы на учениях в глубоком тылу не раз форсировали реки, ручьи и речушки. И сейчас они догадывались о том, какая операция им предстоит.

За спиною Немчикова, в глубине леса, как неугомонные дятлы, стучали топоры.

В глуши приоятских и свирских лесов, под ветвистыми, раскидистыми деревьями, были сооружены козлы-верстаки, на которых умелые бойцы быстро и ловко сшивали дощатые плоскодонные лодки со специальными ручками у кормы, чтобы легче нести. Свежие стружки извивались у ног, прозрачные капли пахучей смолы проступали на обструганных уже ручках. И хотя таких лодок сделано было более пяти тысяч, топоры все еще продолжали стучать.

— Это место,— сказал командир, показывая на разбитый финскими снарядами деревянный город,— называется Лодейное Поле, потому что Петр Великий строил здесь свой флот, свои ладьи, на которых разбил неприятеля на Ладоге и вошел в Неву. Теперь снова оправдывается старинное название этих

мест. Мы снова строим здесь ладьи, на которых одержим новую славную победу.

Но Владимир Немчиков, так же как и другие гвардейцы, догадываясь, что предстоит большое дело, еще не знал о том, какую роль в этом деле ему предстоит играть.

* * *

Помощник командира объявил, что на рискованное задание, из которого, может быть, никто не вернется живым, требуется двенадцать человек. Когда он сказал об этом, из строя выступили вперед более полутораста смельчаков.

Слух дошел и до роты автоматчиков, которые стояли на отшибе и оттуда явились недовольные:

— Почему от нас никого не берут?

Майор знал, что на его зов встанут сотни, но выбрать нужно было только двенадцать.

И при выборе майор повторял каждому:

— Дело рискованное. Нужно уметь плавать. Идете на смерть. Подумайте хорошенько.

Но отобранные им люди больше всего боялись, что в последнюю минуту их заменят кем-нибудь другим, и каждый приводил доводы, почему именно он должен пойти на опасное задание:

— У меня немцы убили на фронте отца, а семья вымерла от голода в Ленинграде,— сказал Борис Юносов, вставая рядом с неразлучным другом своим Немчиковым.

— Брат мой погиб, защищая Одессу,— сумрачно промолвил молодой скуластый казах Серказ Бекбосунов.— Я кровник.

— Мой батька партизанит. Он заслужил орден Ленина. Возьмите и меня! — настойчиво повторял рослый чернобровый Паньков.

Все они были люди разных профессий: помощник машиниста вихрастый Виктор Малышев, пекарь из Махачкалы Иван Мытарев, столяр Михаил Попов, счетовод Тихонов, недавний школьник Юносов, тракторист Ваня Зажигин, плотник Маркелов, донбассовец Паньков и восемнадцатилетний круглолицый Аркадий Барышев из Мелекеса, с большой мохнатой родинкой на щеке. Кроме русских, здесь были казах Бекбосунов и мордвин Павлов. И всех их объединяла молодость — комсомол. Самому старшему, Малышеву, недавно исполнилось двадцать

лет. Большинству же было по девятнадцать. А Маркелов, видя, что из-за его небольшого роста командир колеблется — брать его или не брать,— покривил душою и прибавил себе год...

* * *

Ночью ходами сообщения, пересекавшими все Лодейное Поле, командир батальона капитан Матохин провел смельчаков к переднему краю. Все дома оставленного жителями города были разбиты финскими снарядами. Черными пустыми глазницами разбитых окон уставились на улицы бревенчатые избы. Окопы тянулись вдоль по берегу Свири.

На другом берегу реки были враги. Два с половиной года они укрепляли северный берег, рыли окопы, строили доты, вкапывали в землю стальные колпаки, опутывали бесчисленными рядами колючей проволоки. Весь наш берег был у них отлично пристрелян. А на противоположном чуть ли не вплотную к воде подходил густой лес, скрывавший противника.

Свирь. Это рубеж, на котором в октябре 1941 года были остановлены финские приспешники Гитлера. Именно здесь они стремились сомкнуться, соединиться с немецкими войсками, создать непрерывный от Баренцева до Черного моря фронт и тяжелым, неразмыкаемым кольцом на дальних подступах замкнуть в блокаде Ленинград. Отсюда они собирались броситься на Вологду, отрезая север страны от центра. И здесь, на Свири, были остановлены.

Под Тихвином в ноябре — декабре 1941 года войска генерала армии Мерецкова остановили, затем разгромили и далеко назад отбросили группировку немецких войск Шмидта, которые должны были соединиться с финнами.

После этого противник принялся лихорадочно укреплять северный берег Свири, которая в ряде документов объявлялась им как естественная, нерушимая государственная граница Финляндии. И все-таки, боясь, что наши войска перейдут в наступление, финны зимой толом взрывали лед на Свири, и от непрерывного света ракет в темные длинные зимние ночи здесь бывало светлее, чем в ясный день.

Два с половиной года ждали наши бойцы приказа — вперед!

И вот этот час настал. Капитан Матохин спокойно, словно речь шла о самом простом, обыденном, сказал:

— Нам предстоит форсировать реку. Посмотрите, там противник.

Немчиков, Бекбосунов, Юносов, Малышев — все двенадцать комсомольцев-гвардейцев — с волнением смотрели из наших окопов на противоположный берег.

Каких-нибудь полкилометра — и враг.

— Холодная вода! — тихо сказал кто-то.

— Может, и холодная, да наша, русская! — ответил Немчиков.

— Для того чтобы форсировать, нужно подавить огневые точки переднего края противника. А они будут молчать до последней минуты,— сказал капитан Матохин.— Надо заставить их говорить. И вот вы первые, понимаете, первые, за полчаса до общего срока должны в разных местах броситься в воду и поплыть на другой берег, привлекая к себе все внимание, а значит, и весь огонь противника. Вы поможете обнаружить и подавить огневые точки. Это облегчит переправу другим. Понятно?

Все было понятно.

— Но для того чтобы вызвать огонь всех точек,— продолжал капитан,— вы станете толкать перед собой плоты, на которых будут сидеть чучела. И вам за плотами плыть тоже безопаснее.

Молча закончили ночную рекогносцировку, и только «сипуха» — так называли вражеский шестиствольный миномет — все время бил по нашему берегу.

Когда возвращались на бивуак, уже прозвучала боевая тревога.

Полк переходил на исходную позицию для переправы.

Смельчаки разбились на группы по трое.

* * *

Теперь все сидели у костров и писали последние письма родителям и девушкам.

Над лесами, озерами, болотами и заливными лугами стояла прозрачная белая ночь — совсем такая же, как в Ленинграде. И все двенадцать были убеждены, что они встречают последний восход солнца в своей жизни. И очень хотелось жить и любить, но никто из них на секунду не пожалел о том, что вызвался стать самодвижущейся мишенью, и все были счастливы, что выбор остановился на них...

Миша Попов гордился фамилией своей Катюши. Знаменитая фамилия — Суворова! Она работает бухгалтером в потребсоюзе Ульяновской области.

«У меня не такая знаменитая фамилия,— торопясь и ломая карандаш, писал он,— но, если я вернусь домой, тебе не стыдно будет ее носить».

* * *

У другого костра Бекбосунов, Мытарев в который раз показывали друг другу фотографии близких, рассказывали о своей недолгой жизни и думали о будущем. Еще так недавно Бекбосунов работал бухгалтером, а теперь он, боевой гвардеец, и так же как Тихонов и Зажигин, мечтал стать летчиком и ставить рекорды.

Немчиков хотел быть инженером-изобретателем.

У всех была своя мечта, и нужно было ее хотя бы высказать в те несколько часов, которые оставались у каждого.

— Ну, пора идти? — сказал Малышев, отойдя от костра.

Друзья посмотрели друг на друга и обнялись.

* * *

Началась знаменитая трехчасовая артиллерийская подготовка к переправе, которую можно сравнить только с вулканическим извержением. Но это была плененная разумом человеческим стихия, управляемая единой волей.

Многое еще будет написано о форсировании Свири, об исключительно слаженной работе артиллерии, авиации, пехоты, инженеров, о том, как впервые была произведена такая сложная операция — при ярком свете солнца, на таком большом участке.

В одном ряду с операциями по форсированию Днепра, Десны, Днестра, используя весь их опыт и ни в чем не уступая им, встает в истории героическая переправа через Свирь.

Это было не просто форсирование большого водного рубежа, а одновременно и прорыв сильно укрепленной полосы, построенной за два с половиной года. Операция усложнялась тем, что на другом берегу, чуть ли не вплотную к воде, подходил лес, скрывавший противника.

Орудия всех калибров безостановочно били по всей глубине вражеской обороны.

Несколько сот самолетов утюжили вражеский берег.

Но в грохоте артподготовки и сокрушительной работы нашей авиации, когда вокруг дрожала земля, Немчиков, Юносов, Бекбосунов, Мытарев и Паньков уже ни о чем теперь не думали, кроме того, что им предстояло сделать.

Ночные мысли, разговоры, письма ушли куда-то далеко.

Теперь вся жизнь, весь ее смысл заключались для них в трехстах пятидесяти метрах этой свинцовой воды, в куске противоположного берега.

У нашего берега стояла изба.

Позади нее артиллеристы-самоходчики выкопали в земле углубление и поставили орудие.

Дуло глядело на дверь. Вылетая через разбитое окно, снаряды рвались на другом берегу.

Немчиков видел, как взрывной волной при выстреле самоходки разбило дощатую лодку, стоявшую на берегу рядом с избой.

Плыть предстояло в сапогах и обмундировании.

Немчиков и Юносов, для того чтобы было удобнее, сняли нижнее белье и портянки. Плавательных костюмов не надели, а приладили одни только жилеты.

У каждого был автомат с шестью кассетами да еще по семьсот двадцать патронов.

Немчиков оглянулся.

Плоты и чучела были готовы, но автоматчики еще не успели как следует нарядить их.

— А черт с ними, с этими чучелами! — решил Немчиков и вместе с Юносовым и Тихоновым побежал к воде.

В тройке Малышева плот с чучелами был разбит еще на нашем берегу разрывом финского снаряда.

Гвардейцы с разбега бросились в воду и поплыли.

И хотя еще гудела наша канонада, через минуту финский берег загремел огнем.

Финны били по смельчакам из минометов.

Заработала батарея трехдюймовок, застрочили пулеметы.

Немчиков и Юносов, да и остальные не могли потом припомнить, каким стилем они плыли. По-лягушечьи? Саженками? Брассом? Кролем?

Холодная упругая вода стремилась снести их к Ладоге, тя-

желый груз патронов тянул на дно. Стальные каски пригибали голову к воде — трудно было даже приподнять ее, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха.

Издали казалось, что плывут одни каски. Но так как они плыли, противоборствуя течению, финны видели, что люди живы, плывут, приближаются к северному берегу.

И это вызывало новые шквалы огня.

— Хорошо, хорошо! — шептал Немчиков, отфыркиваясь.— Хорошо!.. Это вот нам и нужно!

Мины и снаряды ложились совсем рядом, и тогда Немчикова подбрасывало волной. Вода забивалась в нос, захлестывала с головой.

Но все двенадцать — хорошие физкультурники-парашютисты, а чернобровый Паньков был даже мастером спорта.

От капель воды, попадавшей в глаза, северный берег двоился, искрился всеми цветами радуги.

Борис Юносов плыл рядом с Немчиковым, не отставая от Владимира. У него все время сползали сапоги с ног. Без портянок они оказались слишком просторными. То и дело приходилось подтягивать.

Над головами пловцов посвистывали пули. С пронзительным повизгиванием лопались мины.

Двенадцать комсомольцев сделали свое дело — заставили финнов открыть запрятанные, затаившиеся огневые точки.

С нашего берега по обнаружившим себя и ожившим огневым точкам врага на участке батальона теперь било восемнадцать пулеметов, и бойцы вели огонь из винтовок.

Вражеская пуля пробила поплавок у Мытарева.

— Держись, пекарь! — крикнул ему Бекбосунов и вместе с Поповым подплыл к товарищу.

Поддерживая его с обеих сторон, они вместе продолжали плыть к противоположному берегу.

Волна, поднятая разорвавшейся миной, снова захлестнула с головой Немчикова. Он вынырнул и, вспомнив, как в кинокартине Чапаев переплывал через Урал, громко крикнул:

— Врешь, не возьмешь!

Юносов тоже что-то кричал.

Бекбосунов плыл, поддерживая товарища, и думал: «Сколько еще продержусь? Сейчас каюк».

Услышав гудение мотора, он поднял глаза и увидел в синем небе самолеты и красные звезды на крыльях.

«Взаимодействуют!» — понял он, и от вида этих «ястребков» ему стало спокойно на душе и вспомнился почему-то случай, происшедший во время учебных прыжков.

Все товарищи вышли уже на крыло и стояли, ожидая сигнала. А он, последним выйдя из кабины, споткнулся и толкнул кого-то. Тот, пошатнувшись, задел второго. И так все, один за другим, словно кегли, рухнули вниз, в открытое воздушное пространство.

И вспыхивают один за другим купола парашютов, и рядом с товарищами летит и во все горло кричит он — Бекбосунов:

— Будь спок!

Так сокращенно звучала привычная фраза — будь спокоен!

И сейчас он громко сказал себе:

— Серкал, будь спок!

* * *

Доплыв до середины реки, Немчиков оглянулся и увидел, как бойцы сталкивают с берега лодки, садятся в них. Некоторые уже отчалили.

Река была усеяна плотами и плоскодонными дощатыми лодками. Одна из них вскоре догнала Немчикова и Юносова.

Рядом разорвалась мина, простучала дробь пулеметной очереди. Люди, сидевшие в лодке, повалились на дно. Весла выпали из рук и поплыли по течению.

Лодка завертелась. Ее понесло вниз.

Финны продолжали бить по этой лодке.

Немчиков и Юносов подплыли к плоскодонке, выровняли ее. Они подали весла раненому бойцу Артамонову и под огнем потянули лодку к берегу.

Артамонов в это время каской вычерпывал воду из лодки, и вода эта от крови была багровой.

Выскочив на песок, Немчиков и Юносов подтянули плоскодонку и вытащили из нее раненых.

В разных местах к берегу подплывали друзья-гвардейцы.

Немчиков увидел, как, взмахнув рукой, пригибаясь, стреляя на ходу, вперед к проволоке побежал Бекбосунов.

Немчиков и Юносов устремились за ним.

Они подползли под вражескую ржавую проволоку — четыре ряда ее были на самом берегу — и влезли в первую тран-

шею. От грохота канонады песок струйками сбегал по стенкам, а на дне валялись тела убитых.

Траншея была заминирована, но Юносов заметил мину, и, обезвредив ее, товарищи пошли дальше.

И тут они услышали голос комбата Матохина.

Капитан был уже в траншее и звал вперед.

Выбравшись на берег, смельчаки должны были образовать ячейку управления батальона. Они бросились к комбату. И тут стало ясно, что все двенадцать остались живы и все в строю.

Вперед! Вперед!

Счастье окрыляло их. Они сделали то, что надо, и остались живы! Живы!

Не беда, что холодно без белья, не беда, что за двое суток им даже не пришлось поесть! С собой были взяты только патроны.

Они шли по болоту и словно впервые в жизни видели только что распустившиеся цветы.

— Слышишь, как поют птицы даже в канонаду? — сказал Попов.

— Радуются тому, что мы идем,— ответил Бекбосунов.

Немчиков не слышал пения птиц — разорвавшийся рядом снаряд сделал его на несколько дней тугоухим.

Продвигаясь вперед, Тихонов в тот день огнем автомата уничтожил пятнадцать вражеских солдат — прислугу батареи.

Малышев снял «кукушку» на просеке.

Юносов и Немчиков перерезали шесть линий вражеской связи.

И все двенадцать шли вперед, ликуя, и с каждым шагом росла за их спиной освобожденная земля.

Перебравшись через реку, они в первый день прошли с боями по болотам семнадцать километров.

Шли, пробираясь по лесной топи, мерзли, недоедали, но шли вперед, не зная еще о том, что их имена разносит по свету радио, что их имена повторяет с благодарностью советский народ.

В тот день Свирь была форсирована на всем протяжении от Онежского озера до Ладожского, от Вознесенья до Лодейного Поля.

Это было начало освобождения Карелии.

Победы, подобные форсированию Свири, слагаются из отдельных подвигов сотен и тысяч людей. И часто подвиг, кото-

рый кажется единственным и неповторимым, в том же бою повторяется десятками бойцов.

Так было и на этот раз на всех участках Свири.

Войска Карельского фронта уже далеко за собой оставили свирские берега...

В эти дни мне выпало счастье быть на двух митингах, запечатлевшихся в памяти на всю жизнь.

Первый — в полночь, под дождем, на болоте; второй — в солнечный полдень на городской площади.

Весть о переименовании дивизий в Свирские долетела до гвардейского полка вечером.

В болотистом лесу, под дождем, на большой прогалине выстроилось каре полка, прошедшего уже большой путь от недавно форсированной Свири.

Тяжелые дождевые капли стекали по металлическим каскам, поблескивали на плоских штыках. Плащ-палатки коробились от влаги.

И в полутьме дождевой летней ночи, перед застывшим в ожидании строем полковник читал приказ-благодарность главнокомандующего. А потом, подняв высоко над головой свое прославленное оружие, гвардейцы поклялись разгромить врага.

И рядом с командиром стояли Немчиков, Бекбосунов, Малышев, Юносов, Мытарев, Попов, Тихонов, Зажигин, Маркелов, Паньков, Павлов, Барышев — первые в ярком свете солнечного дня переплывшие Свирь [1].

По этой реке проходили ушкуи дружин Александра Невского... По этой реке Петр Великий провел корабли из Белого моря на Балтику... Здесь, выполняя план Советского командования, в 1919 году проходила на Видлицу Онежская флотилия... Эта река омывала Свирьстрой — гордость пятилеток. Свирь — река русской славы!..

А второй митинг был в только что освобожденном Петрозаводске, у подножия разрушенного врагом памятника Ленину.

Освобожденные из лагерей советские люди — женщины, старики, дети, мужчины — плотной многотысячной толпой обступили трибуну. И вот, когда оратор сказал о том, что о них, томившихся в неволе, все время помнил и думал советский народ, о том, что их горе было общим горем, по толпе про-

---

[1] Всем двенадцати героям рассказа присвоено звание Героя Советского Союза.

неслось рыдание. Плакали все — и дети, и женщины, слёзы катились по бородам стариков, мужчин, и была в этом плаче несмываемая обида поруганной души и радость избавления.

Никто из бывших тогда на митинге никогда не забудет этой высокой, очищающей минуты, этой обиды народного сердца и несказанной радости.

И в сознании моем навсегда совместились воедино и это рыдание народа на площади в Петрозаводске, и грозная клятва мести героев на ночном болоте перед боем.

1944

СОДЕРЖАНИЕ

Геннадий Семенович Фиш

ПИСЬМО НАДЕЖДЕ

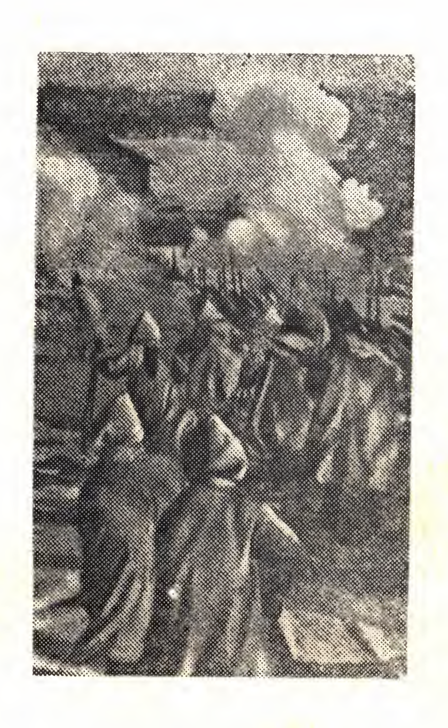
М., «Советский писатель», 1982, 392 стр.
План выпуска 1982 г. № 140

Редактор *М. В. Иванова*
Худож. редактор *Е. Ф. Капустин*
Техн. редактор *Е. П. Румянцева*
Корректоры
В. Е. Бораненкова и *Г. И. Ольвовская*

ИБ № 3349

Сдано в набор 20.07.81. Подписано к печати 11.01.82. А06804. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 23,02. Тираж 100 000 экз. Заказ № 550. Цена 1 р. 50 к.
Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109

1 р. 50 к.






Геннадий ФИШ • Письмо Надежде